



ЛЕГЕНДА
О СЧАСТЬЕ

*проза и стихи
русских художников*

**Константин Фёдорович Юон
Павел Андреевич Федотов
Василий Григорьевич Перов
Ефим Васильевич Честняков
Аполлинарий Михайлович Васнецов
Константин Алексеевич Коровин
Николай Константинович Рерих
Легенда о счастье. Стихи и
проза русских художников**

OCR Busya

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=309002

*«Легенда о счастье. Сборник» / Сост., вступ. ст. и примеч. Вл. Б.
Муравьева: Московский рабочий; Москва; 1987*

Аннотация

Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, – явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Шевченко, Репин, Рерих – имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие – и какие имена! – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете, Гюго, Киплинг и длинный ряд русских писателей и художников. Многие художники тонко чувствуют слово и умело

пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных, беллетристических жанрах. Таких произведений в литературном наследии художников также немало. Что заставляет художника-живописца обращаться к писательской деятельности? Что такое – литературное творчество художника и какое место оно занимает в его творческом самовыражении?

В настоящем сборнике представлены беллетристические произведения некоторых русских художников XIX–XX веков, которые уделяли довольно значительную часть своего времени и сил литературному труду. Их творчество убедительно свидетельствует, что обращение художников к литературе имеет устойчивую непрерывающуюся традицию, а также показывает все многообразие литературы художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусством и художественной литературой своего времени. В книгу включены прозаические и стихотворные произведения А. М. Васнецова, В. Г. Перова, К. А. Коровина, П. А. Федотова, Н. К. Рериха, Е. В. Честнякова и других русских художников.

Содержание

Литература и живопись	7
П. А. Федотов	59
К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям	59
Поправка обстоятельств, или Женитьба майора	68
Рацея[21]	103
Пчела и цветок	111
Усердная Хавронья	115
Словно север магнит...	118
Что слеза течет...	119
Счастье заперто золотым ключом...	120
Со вчерашнего дня...	121
Бог взамен великих сумм...	126
Из послания к Н.С. Шишмаревой	127
К живому идеалу	130
В. Г. Перов	132
Тетушка Марья	132
На природе	143
Под крестом	170
Новогодняя легенда о счастье	205
Медовый праздник в Москве	228
К.А.Коровин	245

Первая любовь	245
Меценат	254
Фонарь	263
«Этот самый Пушкин...»	272
Толстовцы	281
Звери	288
Белка	294
Васина супруга	302
Ночь и день	311
Свое	320
На севере диком[44]	327
Испания	350
А. М. Васнецов	372
Сельский иконописец	372
Облик старой Москвы[56]	440
Н.К.Рерих	474
Иконный терем	474
По пути из варяг в греки	491
Сказки	511
Е. В. Честняков	549
Чудесное яблоко	549
Иванушко	553
Сергиюшко	557
П. А. Родимов	561
І. Природа	561
ІІ. Деревня	572

Ш. Черед жизни	592
О родном и близком[116]	617
К.Ф.Юон	637
Москва в моем творчестве	637

**Павел Федотов, Николай
Рерих, Константин Юон,
Константин Коровин,
Ефим Честняков, Василий
Перов, Аполлинарий
Васнецов, Павел Радимов**

**Легенда о счастье
Стихи и проза
русских художников**

Литература и живопись

Рисующий писатель и художник, обращающийся к литературному творчеству, – явления не такие уж редкие. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Репин, Рерих – имена, которые мгновенно приходят на память. За ними вспоминаются другие, очень и очень многие – и какие имена! – Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете, Гюго, Киплинг и длинный ряд

русских писателей и художников – от неистового протопопы Аввакума, «жалованного» живописца Симона Ушакова и до наших современников.

Профессионализация труда художника и литератора привела к тому, что в представлении большинства людей эти две области оказались разделенными и обособленными. Укрепилось это представление и в среде самих художников и литераторов. Но в то же время на практике писатели берутся за кисть, художники – за перо, писателей хвалят за «живописность», художников упрекают в «литературщине», историки в очерках культуры того или иного времени обычно объединяют их соединительным союзом «и» – «литература и живопись»...

Собственно говоря, нет даже необходимости говорить о глубинной, внутренней общности изобразительного искусства и литературы – она очевидна. (Впрочем, как и общность других видов искусства и науки, что у древних греков даже получило отражение в мифологической модели: Аполлон и музы.)

Многие художники тонко чувствуют слово и умело пользуются им. Чаще всего литературный талант художника воплощается в жанре мемуаров, в письмах. Воспоминания И. Е. Репина, М. В. Нестерова, А. Н. Бенуа, книги Н. В. Кузьмина и многие другие мемуарные произведения художников – великолепные образцы этого жанра – получили широкую известность и заслужили любовь читателей.

Гораздо менее известны литературные произведения художников, написанные в безусловно художественных, беллетристических жанрах. Таких произведений в литературном наследии художников также немало. Хотя при этом нужно сказать, что и многие их мемуары представляют собой литературно-художественные произведения.

Что заставляет художника-живописца обращаться к писательской деятельности? Что такое – литературное творчество художника и какое место оно занимает в его творческом самовыражении?

В настоящем сборнике представлены беллетристические произведения некоторых русских художников XIX–XX веков, которые уделяли довольно значительную часть своего времени и сил литературному труду. Их творчество убедительно свидетельствует, что обращение художников к литературе имеет устойчивую непрерывающуюся традицию, а также показывает все многообразие литературы художников, ее связей и взаимоотношений с изобразительным искусством и художественной литературой своего времени.

Творчество Павла Андреевича *Федотова* (1815–1852) и современники, и нынешние историки искусства сопоставляют с творчеством Гоголя. В. В. Стасов в 1862 году писал: «С такими художниками, как Гоголь и Федотов, наше искусство вступило, наконец, на свой настоящий, единственный для него путь»; в 1863 году, говоря о жанровых картинах, занявших большое место на академической выставке, он отме-

чает: «...все это произведения поколения, тронутого и движнутого вперед Федотовым и Гоголем». Стасов ставит их в один ряд и по степени таланта; о картине «Утро чиновника, получившего орден, или Свежий кавалер» он сказал, что она «чисто гоголевское создание по таланту, юмору и силе». Один из главных создателей Товарищества передвижников И. Н. Крамской в 1885 году писал в письме к В. И. Сурикову: «Федотов являлся отражением литературы Гоголя».

Да, они были современниками. Гоголь был старше Федотова на шесть лет – разница ощутимая, но все-таки это одно поколение, их творчество формировалось в одних общественных условиях. Гоголь знал картины Федотова и высоко их ценил. Сам Федотов об отзыве Гоголя сказал: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!»

Стасов, Крамской и Гоголь говорят, о Федотове-художнике. Но творчество Федотова-литератора также относится к гоголевскому периоду и направлению. Поэтому совершенно закономерно и справедливо мнение Т. Г. Шевченко: «Мне кажется, что для нашего времени и нашего среднего полуграмотного сословия необходима сатира, только умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова (имеется в виду поэма Федотова «Поправка обстоятельств». – *Вл. М.*), «Свои люди – сочтемся» Островского и «Ревизор» Гоголя». Не случайно тут и появление имени А. Н. Островского.

Павел Андреевич Федотов родился в Москве в приходе

церкви Харитония в Огородниках, местности, известной нам прежде всего тем, что там жил в детстве А. С. Пушкин и там же он поселил по ее приезду в Москву Татьяну Ларину:

*...и вот у Харитонья в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился.*

Московское предание утверждает, что Пушкин имел в виду дом на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков, и называло его «домом Лариных» (снесен в 1941 году). На другой стороне Большого Харитоньевского переулка, почти напротив «дома Лариных» стоял одноэтажный домик с мезонином, принадлежавший отцу Федотова – небогатому чиновнику, выслужившемуся из солдат до чина поручика и перешедшему затем на статскую службу. (Ныне на месте дома Федотовых, снесенного в 1912 году, доходный дом № 14.)

В автобиографических набросках П. А. Федотов дает яркое описание местности Харитония в Огородниках в годы его детства, а главное, говорит о том, что его детские московские наблюдения и впечатления легли в основу всего его дальнейшего художественного и литературного творчества.

«Все, что вы видите на моих картинках (кроме офицеров, гвардейских солдат и нарядных дам), было видно и даже отчасти обсуждено во время моего детства, – пишет Федотов, – это я заключаю как по воспоминаниям, так и по тому, что, набрасывая большую часть моих вещей, я почему-то представлял место действия непременно в Москве. Быт москов-

ского купечества мне несравненно знакомее, чем быт купцов в Петербурге; рисуя фигуры добрых старых служителей, дядей, ключниц и кухарок, я, сам не зная почему, переношу мыслью в Москву... Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной фонд моего дарования».

Когда Федотову исполнилось одиннадцать лет, его определили в 1-й московский кадетский корпус, находившийся в Лефортове.

В годы учения в кадетском корпусе определились интересы Федотова. По воспоминаниям однокашника, «между товарищами он пользовался репутацией отличного рисовальщика, певца и поэта», «корпусная поэзия» имела свои давние традиции: можно вспомнить «Кулакиаду» – поэму кадета Рылеева, так называемые юнкерские поэмы Лермонтова. Еще в конце XVIII века сложился образ офицера-поэта, дилетанта, посвящающего литературе лишь досуги, не претендующего на звание сочинителя; созданию и упрочению этого образа особенно способствовал Денис Давыдов с его утверждением: «Я не поэт, а партизан». Так же традиционно говорит о своей поэзии и Федотов:

Я не отъявленный писатель...(...)

Меня судьба, отец да мать

Назначили маршировать...

Однако в этом утверждении, как, впрочем, и у Дениса Да-

выдова, больше позы, чем истины.

В 1833 году он окончил корпус с отличием и получил назначение в лейб-гвардии Финляндский полк, находившийся в Петербурге.

Дальнейшая жизнь Федотова была подчинена одной цели. добиться права профессионально заниматься любимым делом – живописью и поэзией. Будучи офицером, он посещает рисовальные классы Академии художеств и, прослужив десять лет, выходит в отставку.

Ни у кого, пожалуй, из художников не связана так тесно собственно художническая работа с литературной, как у Федотова. Сюжетная картина по природе своей повествовательна, в ней художник заведомо рассчитывает на зрительские знания и ассоциации. У Федотова картины и рисунки, по его замыслу, требуют литературных, словесных пояснений. Ему было чуждо противопоставление «литературы» и «живописи».

Свои рисунки Федотов часто снабжает подписями, которые представляют собой законченное миниатюрное литературное произведение, без которых рисунок или просто непонятен, или теряет свою остроту.

Многие современники оставили воспоминание о том, как Федотов, демонстрируя свои картины на выставках, сопровождал их чтением стихов, поясняющих и развивающих заложенную в них идею.

Но литературное творчество Федотова имеет и самосто-

ательное значение. Многие литературные произведения – басни, лирические стихи, поэмы – не имеют параллелей в рисунках или живописи; кроме того, необходимо отметить, что литературное творчество Федотова получило большое общественное звучание.

Литературные произведения Федотова, как и произведения Гоголя, принадлежат к одному направлению, оба они представители, по определению Н. Г. Чернышевского, «сатирического – или, как справедливее будет назвать его, критического направления». Изображение и критика пороков и недостатков николаевской России – главная черта этого направления, верность изображения и острота критики определяли достоинство и успех у публики того или иного произведения.

Центральное место в литературном творчестве Федотова занимает поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора». Цензор, запретивший печатать поэму, пересказывает ее содержание так: «В этом стихотворении представляется в грустном виде положение военного человека, судьба которого зависит от произвола и личного взгляда начальника, который за малейшую и не заслуживающую внимания ошибку может лишить насущного хлеба своего подчиненного, употребившего большую часть жизни на военную службу и уже неспособного более ни к какому делу». Надобно сказать, что этот отзыв по сравнению с содержащимися в поэме обличениями еще очень мягок. Представляя размышления

пустого и глуповатого бурбона-майора, Федотов описывает бессмысленную муштру, царящую в армии, взяточничество чиновников (майор прикидывает выгоды штатской службы), казнокрадство, изображает власть денег, распространяющуюся даже на загробную судьбу, потому что, только получив плату,

*...Весь век молиться
Будет пастырь за тебя.
А без денег за себя
Сам молись.*

Но майор из всех способов разбогатеть выбирает простейший – жениться на богатой купеческой дочке, больше он действительно ни на что не годен.

Поэма была написана как литературное произведение, а лишь затем Федотов приступает к картине «Сватовство майора».

Поэма Федотова распространилась в рукописных списках. Об ее широком распространении сообщают современники, ее читали и в Петербурге, и в Москве, и в провинции, помнили ее и много лет спустя. В. Апушкин, автор статьи «Федотов-поэт», напечатанной в 1902 году, пишет: «Если вы жили в провинции, если вы знавали там старых офицеров времен венгерского похода, кавказской или крымской войны, вы, без сомнения, наталкивались на таких, которые наизусть читали вам длинную федотовскую поэму «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора». Вы слушали их своеобраз-

ную декламацию, и слушали с благоговением, потому что видели, как тени прошлого пробежали по их старческим лицам, как образы их юности и молодости вставали в их памяти под магической силой федотовских стихов. Они любили их».

В Петербурге круг знакомств Федотова включает в себя художников, писателей. Он был связан с петрашевцами, близок к редакции «Современника», знаком с Шевченко, Некрасовым, Достоевским... Интерес Федотова к литературе отмечают многие мемуаристы. «С некоторых пор я начал сознавать всей душой, – говорил Федотов писателю Дружинину, – что всякий художник нового периода не может жить без чтения. Я знаю многих талантливых людей, не имевших случая образоваться в этом отношении: их труд и слава от этого терпят много-много». Описывая квартиру художника, Дружинин пишет: «На полу, на этажерке и около стола разбросаны были книги: в изобилии валялся Винкельман, Пушкин и английские учебные книжечки. По книжной части в квартире Федотова всегда можно было найти что-нибудь необыкновенное: или том Кантемира, или какой-нибудь журнал екатерининских времен, или «Почту духов», или разрозненный том старых мемуаров на французском языке, или какую-нибудь рукописную поэму». Хорошо знал Федотов и современную литературу, особенно любил И. А. Крылова, от которого он получил «поощрительный отзыв и благословение на чин народного нравоописателя», ему нравились Гоголь, Островский, Лермонтов.

В 1850 году Федотов привозил свои картины в Москву. «Мои картины производят фурор, – сообщает Федотов Дружинину, – и мы здесь помышляем устроить маленькую выставку из моих эскизов и конченных работ. Новым знакомствам и самым радостным теплым беседам нет конца. Каюсь здесь, кстати, в одном прегрешении: моя стихотворная безделушка ходит по рукам, и меня часто заставляют ее читать».

Федотов бывает в салоне Е. П. Ростопчиной, знакомится с московскими писателями, в разных домах демонстрирует картины, читает стихи. Профессор Московского университета И. М. Снегирев записывает в дневнике:

«24/II – 1850. На вечере был у С. П. Шевырева, где Островский читал свою оригинальную комедию «Банкрот», Федотов казал свою картину «Сватовство майора к купеческой дочке» с объяснениями в стихах, а Садовский забавлял нас своими рассказами о республике французской. Там были профессеры: Армфельд, Соловьев, Грановский, Варвинский, Погодин, кроме того, Свербеев, Хомяков, Буслаев, Кошелев, Меншиков, несколько студентов, затем ужинали.

24/III – 1850. На вечере был у Корнильева, где встретился с Ф. Глинкою, губернатором Капнистом и пр. Павел Андр. Федотов читал свои объяснения в стихах картинам из народного быта. Ужинали».

Кроме того, Федотов бывал у П. Я. Чаадаева, А. П. Ермолова. Его друг П. С. Лебедев вспоминает,

что Федотов «всегда с удовольствием вспоминал о радушном приеме москвичей».

При жизни Федотова ни одно из его литературных произведений не было напечатано. Изданная в 1857 году в Лейпциге поэма «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора» была запрещена для распространения в России, и лишь в 1872 году эта поэма увидела свет в сокращенном цензурой виде. В настоящее время литературные произведения Федотова включаются в историю русской поэзии и совершенно закономерно занимают свое место в сборнике «Поэты 1840 – 1850-х годов» серии «Библиотека поэта».

Василий Григорьевич *Перов* (1834–1882) в своем творчестве выступает прямым наследником Федотова: и в том, что из всех видов живописи избрал преимущественно жанр, и по демократичности направления, и в том, что на первых порах иногда прямо подражал его работам. Одна из ранних, 1860 года, картин Перова «Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» вызывает в памяти не только федотовские работы вообще, но даже совершенно конкретную вещь – «Свежий кавалер. Утро чиновника, получившего первый крестик». На картине Перова изображен молодой, но не юный, человек с тупой и надменной физиономией, стоящий босиком, но притом в гордой наполеоновской позе. Идет примерка новых – штучных – модных, полосатых – брюк. Старуха портниха из так называемых домашних, которая за недорогую цену обшивает всю семью, что-

то прилаживает: наверное, впервые ей довелось шить такую модную вещь, и можно предполагать, какова она получится. Рядом мать новоиспеченного чиновника в простой крестьянской одежде утирает слезы уголком платка. В отдалении стоит отец-дьячок, вся поза его выражает почтительность к сыну, в руке он мнет снятую при входе шапку... На стене висит гитара... Эта картина – настоящее повествование, по ее деталям можно многое рассказать и о предыстории события, изображенного на ней, и о взаимоотношениях действующих лиц, и о характере главного героя, да и о его будущем – тут все высказано и все досказано. В искусствоведческой литературе встречается характеристика «Первого чина» как «самой федотовской» картины Перова.

Столь «федотовская» картина показывает, под влиянием какого круга общественных идей, литературных и художественных произведений изначально развивался и складывался талант Перова.

Если творчество Федотова сопоставимо с творчеством Гоголя, то имя Перова связывается с именами писателей иного времени – с Н. А. Некрасовым и Ф. М. Достоевским.

Картину Перова «Проводы покойника» (ее называют также «Похороны» и «Деревенские похороны») сопоставляют с эпизодом поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос». Такое сопоставление оправдано: поэма издана в 1863 году, картина написана в 1865 году. Однако достаточно обратиться к тексту поэмы и можно убедиться, что это не иллюстрация.

Но в то же время сходство неоспоримо: сходство в сюжете, в настроении, в социальной трактовке темы, в гражданском направлении. Эти произведения идейно близки.

В. В. Стасов писал о ней: «Перов создал в 1865 году одну из лучших своих картин: «Деревенские похороны». Картина была маленькая по размерам, но великая по содержанию. (...) Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно «объясняло» ее, оно «произносило свой приговор» над ее явлениями».

Творчество Перова целиком отвечало той роли, которую отводили революционные демократы искусству, он был одним из ярчайших выразителей в искусстве идей шестидесятников. На этот путь он встал сознательно и убежденно с самого начала творческой жизни.

Любовь к родной стране, к народу, боль за его страдания лежали в основе деятельности шестидесятников. «Я лиру посветил народу моему», – сказал Некрасов. Так же поступил и Перов. Отправленный пенсионером от Академии художеств в Париж, он присылает до истечения срока своего пребывания такое прошение в совет академии:

«Осмеливаюсь покорнейше просить Совет о позволении возвратиться мне в октябре месяце 1864 года в Россию. Причины, побудившие меня просить об этом, я постараюсь здесь представить: живя за границею почти два года и несмотря на все мое желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая

была бы удовлетворительна, – незнание характера и нравственной жизни народа делают невозможным довести до конца ни одной из моих работ; я уведомлял Совет Академии о начатых мною работах, которыми я занимаюсь и в настоящее время, и буду иметь честь их представить в Академии в октябре месяце этого года, но не как конченные картины, а как труды для разработки технической стороны искусства; посвятить же себя на изучение страны чужой несколько лет я нахожу менее полезным, чем по возможности изучить и разработать бесчисленное богатство сюжетов как городской, так и сельской жизни нашего Отечества. Имею в виду несколько сюжетов из русской жизни, которые я бы исполнил с любовью и сочувствием и, надеюсь, более успешно, чем из жизни народа мне мало знакомого; при этом желание сделать что-нибудь положительное и тем оправдать милостивое внимание ко мне Совета – дает мне смелость надеяться на снисхождение к моей покорнейшей просьбе».

Перову было разрешено вернуться. Один из первых русских сюжетов, над которым он работает по возвращении из Парижа, была картина «Проводы покойника».

В своих жанровых картинах Перов обнаруживает склонность к повествовательности и подробной описательности, его «Первый чин» можно назвать с большим основанием физиологическим очерком, подробно и в развитии исследующим определенное социальное явление. Впоследствии художник избавляется от излишних подробностей, от этого

главная идея и образ становятся значительнее, символичнее. Показательна в этом отношении работа над картиной «Утопленница». В первоначальном варианте изображена вокруг утопшей женщины толпа: тут и купец, и отставной солдат, и чиновник в цилиндре, и художник с папкой, и газетный репортер, расспрашивающий жандарма, и еще целый ряд персонажей. В окончательном варианте ничего этого нет. Только распростертое на набережной тело женщины и старик полицейский, который, присев на борт лодки, курит трубку и задумчиво смотрит на женщину. Было – городское происшествие, стало – раздумье о жизни, о несчастной, загубленной жизни.

Перову запомнились слова одного из преподавателей Училища живописи, ваяния и зодчества С. К. Зарянка о границах и возможностях живописного полотна (Перов воспроизвел их в воспоминаниях «Наши учителя»): «Живописи доступно все видимое, но только неподвижное: если же она и изображает что-либо движущееся, то может это движение изображать только в один момент. Другими словами: живописи доступны явления моментальные, но она никак не может и никогда не должна изображать времени и действия, а также и момента, нераздельного с этим действием». Рассуждение С. К. Зарянка вспомнилось Перову, вероятно, еще и потому, что он сам задумывался о том, что в картину он не смог вместить все, что хотел бы рассказать в ней. Обращение Перова к литературному творчеству было закономерно

и, можно сказать, неизбежно.

Перов был внимательным, тонко чувствующим и понимающим литературу читателем. Но ему была понятна также и психология писателя, что дало ему возможность написать ряд портретов писателей, отмеченных большой глубиной постижения, по которым и складывается наше представление о внешнем облике писателя, как бы оттесняя все другие изображения, потому что в этих портретах слиты внешний и внутренний, творческий образы писателя. Ведь еще Н. М. Карамзин в статье «Что нужно автору?» утверждал: «Творец всегда изображается в творении и часто – против воли своей». Перов написал портреты А. Н. Островского, В. И. Даля, Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, А. Ф. Писемского, М. П. Погодина. Вот отзыв современника о портрете М. П. Погодина работы Перова: «Портрет, снятый... с г. Погодина, замечателен не только по исполнению, но и по тому совершенству, с каким художник понял характер московского писателя, окружив его старческое лицо подходящею обстановкой: никакой другой костюм, кроме этого патриархального халата нараспашку, никакой другой аксессуар, кроме этого посоха, как бы взятого из некоего древлехранилища, никакое другое седалище, кроме этого кресла, не соответствовали бы представлению, которое выносишь об этом писателе из его сочинений». О портрете Достоевского А. Г. Достоевская рассказывает: «Перов навещал нас каждый день в течение недели; заставлял Федора Михайловича в самых различных настро-

ениях, беседовал, вызывал на споры и сумел подметить самое характерное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли. Можно бы сказать, что Перов уловил на портрете «минуту творчества Достоевского»...» «Такое выражение я много раз примечала в лице Федора Михайловича, когда, бывало, войдешь к нему, заметишь, что он как бы «в себя смотрит».

Литературное наследие Перова сохранилось и дошло до нас скорее всего частично. В печати его произведения появлялись лишь в течение короткого времени, в последние годы его жизни, но, видимо, создавались в разное время, и можно предположить, что художник к литературному труду обращался не только в тот отрезок времени, когда печатался.

Можно продолжить сравнение сюжетов картин Перова с некрасовскими: «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду» Перова и «Плач детей» Некрасова, «Охотники на привале», «Сельский крестный ход на Пасхе», «Чаепитие в Мытищах» – также вызывают в памяти некрасовские образы, описания. Но общность творчества Перова и Некрасова гораздо глубже, чем частные, хотя бы и очень важные совпадения, – общей является их общественно-идейная основа, их отношение к главному вопросу времени – крепостному праву.

Основная тема творчества Некрасова – крепостное право. Реформа 1861 года не облегчила положения крестьян. Крепостное право, вьевшееся в психологию, в самую натуру че-

ловека, продолжающее оказывать свое мертвящее и разрушительное влияние на общество после официальной отмены, – об этом писал Некрасов во многих стихотворениях, поэмах, в «Кому на Руси жить хорошо».

Та же тема и в творчестве Перова. В его литературных произведениях она получила такое же глубокое воплощение, как и в живописи.

Перов рассматривает ее с единственно плодотворной точки зрения: не с точки зрения постороннего (хотя бы и благожелательного) наблюдателя, а с точки зрения самого крепостного и бывшего крепостного, потому что только так, побывав в шкуре крепостного, можно по-настоящему понять, что это такое. Ведь и Некрасов про не испытавших на себе трагедию рабства сказал:

Была капель великая
Да не на вашу плешь.

Страшное влияние, которое крепостное право продолжало оказывать на общественную жизнь России и после его отмены, описывает Перов в рассказе «Под крестом». И опять-таки вспоминаются строки Некрасова:

Порвалась цепь великая,
Порвалась – расскочилась:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..

Оставшийся после освобождения без всяких средств к существованию старик крепостной Христофор Барский мечтает попасть в богадельню. Богатый купец Щукин устраивает старика в приют, но при этом он унижает его, и старик, в котором, несмотря ни на что, живо человеческое достоинство, предпочитает умереть на улице, чем переносить унижения богача. «Конец мой близок, – говорит он, – и в новое рабство, еще более постыдное, чем то, в котором я находился весь свой век, больше не пойду!»

И еще одного писателя как параллель к творчеству Перова нужно назвать – это Достоевский. «Целый ряд его картин, – писал о Перове Н. Н. Ге, – в которых изображены и страдания детей, и страдания женщин, и страдания взрослых людей, вообще говорит о том, что страдание ему было знакомо, что он его видел и чувствовал и хотел его выразить». Совершенно «Достоевский» рассказ Перова «На натуре».

Параллели с творчеством писателей-современников не заключают в себе никаких указаний на подражание, они свидетельствуют лишь о том, что в литературном творчестве Перов обращается к тем же темам и подходит к ним так же, как передовая современная литература.

Рассказы Перова сами по себе замечательные литературные произведения. Яркие, точные, поистине изобразительные его описания. Он виртуозно владеет языком. Об его портретах один современник писал: «Поглядите пристальнее на пе-

ровский портрет, и, если вы знакомы с изображенною личностью, немудрено, что вам почудится, послышится голос знакомца». В рассказах голос, вернее множество голосов, потому что каждый персонаж говорит по-своему, – как, например, толпа в рассказе «Медовый праздник в Москве», – слышен так отчетливо, будто не читаешь написанное, а слышишь живую речь.

Константин Алексеевич *Коровин* (1861–1939) выступил в печати как писатель в 1929 году. Ему тогда было уже 68 лет. Сам Коровин на вопрос «Как вы стали писателем?» в 1934 году ответил так: «Был я болен, живописью заниматься не мог, лежал в постели. И стал писать пером – рассказы. Закрывая глаза, я видел Россию, ее дивную природу, людей русских, любимых мною друзей, чудаков, добрых и так себе – со всячинкой, которых любил, из которых «иных» уже нет, а «те далече»... И они ожили в моем воображении, и мне захотелось рассказать о них». В письме 1925 года из Парижа в Москву Б. Б. Красину он также рассказывает о начале писательства. В то время его сын Алеша лежал в больнице и находился в тяжелом психическом состоянии. «...Я живу воспоминаниями о друзьях (...) – писал в этом письме Коровин. – Каждый час я (вспоминаю) и даже написал целую книгу «На рыбной ловле» и посылаю написанное в больницу к Леше, стараясь развлечь его печальный дух. Я читал Феде (маленькому Шаляпину) и дочери П. Ключевского – юные сердца меня похвалили».

Первые же опубликованные литературные произведения Коровина обратили на себя внимание яркостью, занимательностью, незаурядным литературным талантом и мастерством.

В 1932 году, в связи с пятидесятилетием творческой деятельности Коровина, критик Валериан Светлов (Ивченко) писал о художнике: «Он еще поэт и художник слова. Кто слышал его удивительные рассказы в дружеской беседе, тот никогда не забудет их юмора, их красочности, их непосредственной прелести потому, что рассказчик Коровин говорит так, как он пишет картины: он находит для рассказов оригинальные словесные краски, блики, штрихи, как находит их на своей палитре для картин. В последнее время он стал печатать эти рассказы, воспоминания, эпизоды своей многообразной жизни, и в этих литературных произведениях нет «литературы», в них неиссякаемым ключом бьет сама жизнь со всеми ее красками. Перед читателем возникают образы, пейзажи и сцены, как будто он видит их написанными на холсте в той же живой, блестящей, импрессионистской манере, которая является органической природой этого изумительного художника-поэта».

Литературное творчество занимало у Коровина в последние десять лет его жизни очень большое место. Даже в просто количественном отношении оно огромно. И. С. Зильберштейн и В. А. Самков в предисловии к весьма объемистому тому литературных произведений Коровина («Констан-

тин Коровин вспоминает...» М., 1971) сообщают, что с 1929 по 1939 год он опубликовал более 360 мемуарных очерков, рассказов, сказок, книгу «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь» и, кроме того, остались еще неопубликованные рукописи.

Начав с воспоминаний – первым был подготовлен к печати и напечатан очерк «Из моих встреч с А. П. Чеховым», – Коровин уже в них выступает не как протоколист-информатор о том, чему был свидетелем, а создает художественные образы. Он строго отбирает факты, так как рассказать мог несравнимо больше, чем попало на страницы его воспоминаний, выделяет и подчеркивает ту или иную черту характера персонажа. Он создает свои мемуарные очерки по законам художественной прозы. Конечно, говоря о таких своих современниках, как А. П. Чехов, М. А. Врубель, В. А. Серов, И. И. Левитан, Ф. И. Шаляпин и другие, Коровин все же выступал прежде всего в роли мемуариста и был связан необходимостью точно следовать фактам. Это ограничивало его художественную свободу. Поэтому довольно скоро в его литературном творчестве начинает преобладать иной жанр: рассказ, в основе которого лежат действительные случаи и у героев которого существуют реальные прототипы. Но при этом в передаче Коровина случай приобретает характер типичных обстоятельств, а прототип преобразен в характерный для данного времени и определенного социального слоя тип.

Появление литературных произведений Коровина наряду с восхищением вызывало и удивление современников, даже самые близкие друзья, например Шаляпин, не подозревали в нем литературного дара. Однако обращение Коровина к литературе было закономерно. Его литературная одаренность, чувство языка и стиля проявлялись и раньше, но в основном лишь в устной форме. (Правда, еще в 1890-е годы он делал отдельные записи в альбомах, но в более или менее законченные литературные произведения не оформлял.)

По многочисленным свидетельствам современников, Коровин был великолепным рассказчиком. А. Н. Бенуа сравнивает его с Шаляпиным, также пользовавшимся у современников славой мастера рассказа.

«Чудесно умел рассказывать Шаляпин, – пишет Бенуа, – и нельзя было не заслушаться Федора, но из этих двух я все же предпочитал Коровина. Шаляпин повторялся, у Шаляпина были излюбленные эффекты, а актерская выправка сказывалась в том, что эти свои эффекты он слишком заметно подготавливал. У Коровина были и небылица сплетались в чудесную неразрывную ткань, и его слушатели не столько «любовались талантом» рассказчика, сколько поддавались какому-то гипнозу. К тому же память его была такой неисчерпаемой сокровищницей всяких впечатлений, диалогов, пейзажей, настроений, коллизий и юмористических деталей, и все это было в передаче отмечено такой убедительностью, что и не важно было, существовали ли на самом деле те люди, о

которых он говорил; бывал ли он в тех местностях, в которых происходили всякие интересные перипетии; говорились ли эти с удивительной подробностью передаваемые речи, – все это покрывалось каким-то наваждением, и оставалось только слушать и слушать».

О сходстве и различии характера рассказов Шаляпина и Коровина пишет в своих воспоминаниях и артистка МХАТа Н. И. Комаровская. «Коровин был великолепным рассказчиком. Наблюдательный, с острой памятью, обладающий большим юмором, он превращал свои жизненные наблюдения в живые сценки, создавая целую галерею типов. С Шаляпиным у них установилось нечто вроде своеобразного соревнования. Кто только не был объектом этих рассказов! Сюжет варьировался бесконечно, импровизировались положения, в которые неожиданно попадали их герои. Подчас трудно было установить авторство. Бывало так, что рассказ Шаляпина прерывался неожиданным замечанием: «Постой, Федор, – останавливал его Коровин, – это же мое». «Извините, Константин Алексеевич, – ехидничал Шаляпин, – автор этого рассказа я». Впрочем, эти пререкания нисколько не мешали им продолжать и усложнять эту игру. Что касается сюжета, его занимательности, неожиданных развязок, то тут пальма первенства, безусловно, принадлежала Коровину. Зато Шаляпин успешно конкурировал с ним исключительным даром вхождения в образ того или иного лица: манера, голос, интонация передавались в совершенстве. Успех этих импро-

визаций, особенно в артистической среде, был неизменным. Одним из любимых героев этих рассказов был «купец Иван Панкратич». Миллионщик, невежда, мнящий себя меценатом, Иван Панкратич едет за границу. Его сопровождает кичащийся своей «образованностью» управляющий. Диалоги Ивана Панкратича с управляющим, путающим все иностранные слова и названия, и возникающие попутно недоразумения составляли канву рассказа».

Комаровская также сообщает о том, что Коровин «легко владел стихом и ради шутки иногда импровизировал то «под Бальмонта», то «под Игоря Северянина».

Коровин с раннего детства отличался острой восприимчивостью к образному слову. Он вспоминает, как совсем маленьким слушал рассказываемые неграмотными няньками русские народные сказки. «Окружающие меня простые люди, – вспоминает он, – не могли удовлетворить здоровой любознательности ребенка и развлекали мою пытливость различными сказками с их бесконечной для ребенка таинственностью. Сказочные герои, навеянные этими рассказами, в воображении моем получали хотя довольно неопределенные, но зато грандиозные образы. Я сам воображал себя героем этих сказок. Все окружающее меня: двор, деревенские бани, лес – все это наполнялось различными призраками. Такое фантастическое направление моего детского ума приучило меня смотреть на природу как на что-то одушевленное и, может быть, было первым важным зародышем моих

художественных стремлений». И другое, сильнейшее литературное впечатление детства: творчество Пушкина. Бабушка Коровина – Е. И. Волкова – видела Пушкина и рассказывала внукам о нем, она говорила, что «это был самый умный человек в России». «Несказанно я любил слушать бабушку, когда она читала Пушкина. И все как-то было полно им: и вечер, и зимняя дорога, тройка, когда меня взял с собой мой дед в Ярославль, дорога, остановка на постоялом дворе, калачи, поросенок, икра, и месяц, и страшный лес на дороге. И нравился мне Пушкин. Как верно и хорошо он написал про что-то, все самое мое любимое. И я знал уже много его стихов наизусть».

Стихия народной речи, фольклора и высшие образцы литературы письменной, профессиональной – творчество А. С. Пушкина легли в основу литературного воспитания и образования Коровина, и под влиянием этих двух начал сформировался его литературный талант.

Коровин много читал. Читал не для того, чтобы блеснуть начитанностью, а для себя. В. С. Мамонтов, долгодетный приятель Коровина, в своих воспоминаниях говорит: «За наше долгодетнее знакомство я решительно не помню, да и не могу себе представить Костеньку читающим какую-нибудь книгу». Легенду о «невежестве» Коровина подхватили некоторые искусствоведы, встречается она, к сожалению, и в современных статьях и книгах. Однако сообщение Мамонтова далеко от истины и характеризует, видимо, более самого

автора, чем Коровина. Например, Н. М. Комаровскую «многосторонность знаний» Коровина поразила при первом знакомстве. Глубокие и разнообразные знания Коровина проявлялись в подходе к работе над декорациями к пьесам европейской и русской классики, где требовалось понимание замысла автора, знание эпохи, то есть хорошее знание литературы, в том числе и научной. Уже при поступлении в Училище живописи, ваяния и зодчества на экзамене обнаружилось, что четырнадцатилетний Коровин прочел «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина, «Историю России» С. М. Соловьева.

В классической русской литературе Коровин выделял Пушкина и Лермонтова, в западной – Шекспира. К сожалению, прямых высказываний о литературе, о творчестве того или иного писателя (исключая Пушкина) у Коровина почти нет. Причина этого заключается, видимо, в том, что он, не считая себя достаточно компетентным, сознательно избегал оценок. Однако вообще литературу он ставил очень высоко, отмечал ее влияние на общество и ответственность перед обществом. «Слово – величайший дар, – утверждал Коровин, – и обращаться с ним нужно честно».

Собственное литературное творчество Коровина самобытно и оригинально, в нем проявились те же черты выразительности, те же творческие принципы, что и в его живописи, но средствами литературы. В то же самое время оно входит в литературу определенной эпохи и связано с творче-

скими поисками и стремлениями других писателей, несет на себе отпечаток времени. В этом отношении Коровин наиболее близок, пожалуй, к Бунину.

Коровин называл свои сочинения «рассказами о любви к людям». Он бесконечно верил в силу эмоционального, художественного воздействия искусства. «Моей главной, единственной, непрестанно преследуемой целью в искусстве живописи всегда служила красота, эстетическое воздействие на зрителя, – говорил он, – очарование красками и формой. Никогда никому никакого поучения, никогда никакой тенденции, никакого протоколизма. Живопись, как музыка, как стих поэта, всегда должна вызывать в зрителе наслаждение. Художник дарит зрителя только прекрасным». Но это ни в коей мере не значит, что у Коровина не было никаких убеждений, они у него были, и он твердо следовал им. Ему свойственны демократизм, гуманизм, любовь к людям и всему живому, мечта и вера в справедливость. «...Только в справедливости создается жизнь (...)» – писал он в 1920-х годах. – Я не хочу и не хотел говорить неправды о ценном.

Я никого не осуждаю. Это не осуждение. Это защита моего понимания прекрасного, солнца, жизни и свободы, свободы для добра, а не зла (...) Во мне есть защитник блага для человека (...) Вы на это скажете, что миры кончаются. Верно то. Но ценности-то не кончаются. Ведь они заставят себя ценить, так как они дух есть. Это ведь жизнь и ее лучшее».

Творческий метод Коровина, необходимость «натуры»

определили собой и тематику его произведений. Он родился, вырос и жил в Москве, любил и знал Москву. (Характерно, что спустя десятилетия он вспомнил слова А. А. Пушкина – старшего сына поэта о том, что его отец говорил, что «любит зиму и Москву».) Москва, московский быт, московские типы конца XIX – начала XX века – содержание многих его рассказов. С большой проникновенностью, любовью и знанием описывает он природу, животных; «на природе, в лесах, далях, в тишине на приволье человек тишает и умнеет – добреет человек», – говорит один из героев его рассказа, и таково же мнение автора. Ряд рассказов посвящен его путешествиям по России и за границей, и тут, замечая множество живописных и характерных деталей, он всюду – в людях и природе – ищет и находит доброту.

Аполлинарий Михайлович *Васнецов* (1856–1933) известен как создатель единственной в своем роде серии работ, посвященных истории Москвы. В автобиографических заметках «Как я сделался художником и как и что работал» об этой области своей творческой работы он говорит: «Многие задают мне вопрос: почему я занялся старой Москвой и так увлекся ею? На это трудно ответить. Может быть, потому, что я люблю все родное, народное, а старая Москва – народное творчество в жизни прошлого. Может быть, повлияло и то, что, очутившись в Москве в 1878 году после деревенской жизни в селе Быстрице – месте моей учительской деятельности, был поражен видом Москвы, конечно, главным

образом Кремлем. Жил неподалеку от него, на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было «кружение около Кремля»; я любовался его башнями, стенами и соборами... Но едва ли не главной причиной было то, что я вообще люблю науку: собирать материал, классифицировать факты, изучать их и т. д., в данном случае факты археологического значения. Все это, вероятно, и послужило главной причиной тому, что для всех интересующихся искусством на мне написано: «Старая Москва».

Картины и рисунки Васнецова, изображающие старую Москву, производили на современников, как производят и сейчас, большое впечатление. «Его художественные работы, в которых он воскрешает облик старой Москвы разных периодов, – писал о Васнецове К. Ф. Юон, – производят впечатление выполненных непосредственно с натуры. Они настолько убедительны и правдивы, что могут служить буквально документами о прошлом времени».

Но такое впечатление обусловлено не только их документальностью, но и – а может быть, и в первую очередь – художественной убедительностью, художественной правдой. Ф. М. Достоевский о картине Перова «Проповедь в селе» сказал: «Тут почти все правда, та художественная правда, которая дается только истинному таланту». Такая же художественная правда присуща и работам Васнецова о старой Москве.

Обычно, представляя свое новое произведение о Москве

на заседании общества «Старая Москва», Васнецов сопровождал показ докладом. Доклады Васнецова наряду с историческими справками, ссылками на документальные источники заключали в себе порой и художественные описания. Средствами слова он воссоздавал эпоху не менее впечатляюще, чем изображал ее на картинах.

Васнецов был многосторонне талантлив: он занимался астрономией, геологией, историей, писал очерки, рассказы, повести. В 1880 – 1910-е годы он напечатал в различных периодических изданиях очерки «Святки в селе», «Из поездки на Урал», рассказы «Сельский иконописец», «Дедушкино бюро» и др., в его архиве сохранились также неопубликованные литературные произведения.

В юности Васнецов находился под влиянием революционных народнических идей, сам «ходил в народ», и это наложило отпечаток на все его дальнейшее творчество: тема народа, народной жизни вошла и в его картины о старой Москве, она же является и главной темой его литературных произведений, написанных в традициях, русской демократической литературы конца XIX – начала XX века. Васнецов был близок к кружку Н. Д. Телешова «Среда», на заседаниях которого читал свои рассказы.

В 1930 году Васнецов подготовил для издания книгу своих литературно-художественных произведений, в нее вошли и печатаемые в настоящем сборнике рассказ «Сельский иконописец» и очерк «Облик старой Москвы».

Литературное наследие Николая Константиновича *Рериха* (1874–1947) сейчас известно достаточно хорошо, опубликованы многие его публицистические статьи, описания путешествий, стихи, художественная проза. Вся литературная и общественная деятельность Рериха преследовала одну цель: защиту созданной человечеством культуры от гибели, от посягательств различного рода варваров и милитаристов. Сейчас вопросы, поднятые Рерихом, стоят перед человечеством еще более остро, чем в его время. Экология культуры – вот та область, в которой решается будущая судьба человечества. Культура – это знание, это нравственность, это единственное, что связывает человечество, ибо все остальные области только разъединяют. Гуманистическими идеями пронизано все литературное творчество Рериха, и о чем бы, и в каком бы жанре он ни писал, главная идея его жизни и творчества прослеживается очень четко. Литературно-художественные произведения также не являются исключением.

Стихи, рассказы, сказки, притчи, путевые очерки – вот основные жанры художественной прозы Рериха.

Грань XIX и XX веков в России – время усиливающегося интереса к русской национальной культуре, он проявляется и в произведениях литературы, и в изобразительном искусстве. Все более и более начинают привлекать внимание общества вопросы охраны архитектурных памятников. Рерих становится одним из главнейших деятелей этого движения. Он проводит свои идеи в живописи, в литературной и обще-

ственной деятельности. Но надобно иметь в виду, что Рерих, говоря о национальной русской культуре, вовсе не противопоставлял ее никакой другой культуре, он рассматривал ее развитие в ряду всех других национальных культур.

Первоначальной задачей своих работ он считал пропаганду идеи международного культурного обмена. «Только на почве истинного осведомления, на почве подлинного знания установятся отношения между народами, – утверждал он, – настоящим проводником будет международный язык знания и искусства. Эти проводники могут установить глаз добрый, так необходимый для созидания. Ибо путем грубости, вражды, поношения все равно никуда не прийти и ничего не сделать. А в природе человека осталась же душа, осталась же совесть, которая стремится к справедливому познанию. Долой все темное, все злобное. Человечество уже достаточно почувствовало на себе темную руку зла».

В натуре Рериха соединялись как бы два начала: научно-исследовательское и художественное. При этом он ощущал потребность свои научные исследования воплотить в художественной форме. По требованию отца, относившемуся с неодобрением к его желанию стать художником, он должен был окончить юридический факультет университета. Правда, и здесь Рерих находит точки соприкосновения со своими художественными интересами. Для дипломной работы он выбирает тему «Правовое положение художников древней Руси», которая заключала в себе обе особо интересующие

его области – историю и искусство. Рерих уже в самом дипломе выходит за пределы собственно юридических вопросов, в проспекте он так раскрывает его содержание: «Русское живописное дело – положение художников, их быт, жалование, права, обязанности»; в процессе работы над дипломом он углубляется в историю древнерусской культуры и приходит к выводу: «В древней и самой древней Руси много знаков культуры: наша древнейшая литература вовсе не так бедна, как ее хотели представить западники». Работа «Правовое положение художников древней Руси» представляет собой основательный и серьезный исторический труд. Но Рерих не ограничивается написанием научной работы, на ее материалах он пишет рассказ «Иконный терем» о русских художниках второй половины XVII века – мастерах московской Оружейной палаты. Для русского изобразительного искусства это было очень важное время перехода от древнего – преимущественно церковного – искусства к светскому, новому, более заметной становится роль индивидуального творчества, личности художника. Пафос рассказа – в выявлении и утверждении значения художника в общественной жизни страны, народа.

Из рассказа Рериха «Иконный терем» читатель узнает о работе московских живописцев, их обычаях, быте, отношении к своей работе и творчеству вообще. Рерих цитирует постановление Стоглавого собора (XVI в.), в котором говорится, как высок должен быть нравственный облик художника:

«Подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, наипаче же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением».

Идея рассказа Рериха – прославление творчества. Творчества честного, самоотверженного, высоконравственного, нужного людям.

Повсюду у Рериха мы встречаем противопоставление созидания – разрушению, добра – злу. Своим творчеством он воспевает созидание и добро и восстает против разрушения и зла, в каком бы облике они ни проявлялись.

Описания путешествий Рериха по России и зарубежным странам – значительная и яркая часть его художественной прозы.

Живописность описаний, интересные и живые картины современной жизни народа, экскурсии в историческое прошлое в его путевых заметках сочетаются с яркой публицистикой. Среди множества вопросов его волнует проблема сохранения исторических памятников. Написанное им в 1900 году, чуть ли не сто лет назад (впрочем, для истории человечества, культуры народа – срок не такой уж большой), сохраняет свое значение и сейчас: «Вечная история! Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться, – на постройку или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания, а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых ис-

торических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью? – думается, такое время все-таки да будет». Это из очерка «По пути из Варяг в Греки», посвященного поездке по русскому Северу.

Сказки и стихи Рериха, относящиеся к началу XX века, по тематике и идеям общи с его живописью и другими сочинениями. Одновременно они отразили в себе поиски и формы современной русской литературы, и прежде всего того широкого и плодотворного спектра литературных явлений, которые получили условное название символизма. Брюсов, Блок, Ремизов, Городецкий, Федор Сологуб – вот первые приходящие на память имена, с чьим творчеством обнаруживается соприкосновение у Рериха. Но при этом необходимо оговориться, что тут чаще всего нет прямого влияния, причина совпадений – влияние эпохи, они были современниками и сотворцами искусства и литературы своего времени.

Имя и живопись Ефима Васильевича *Честнякова* (1874–1961) в последнее десятилетие получили всемирное признание. Но еще во многом неизвестен и загадочен его облик, еще не раскрыто и не осознано его место в истории русского искусства и шире – русской культуры. В очень незначительной степени опубликовано его литературное наследие. Од-

нако и то, что мы знаем, дает право предполагать, что в будущем это имя станет вровень с именами крупнейших деятелей отечественной культуры первой половины XX века.

Сын недавнего крепостного крестьянина из глухой костромской деревни, он в раннем детстве почувствовал «страсть к рисованию», затем великую тягу к знанию, добился права и возможности учиться в Академии художеств у Репина, выучившись, получил высокую оценку учителя: «Вы уже художник», ему советовали ехать со своими работами в Париж, предрекая славу, а он вернулся в родную деревню и прожил там всю жизнь, крестьянствуя, деля судьбу с земляками и занимаясь их художественным и культурным просвещением.

В 1914 году, когда началась первая мировая война, он обращается с призывом ко всему Человечеству:

«Собратья страдающие, дети земли! Кто бы вы ни были, обращаюсь к вам, ибо кажется мне, что все вы думаете одно, все желаете мира, но не имеете средства, чтобы могли сказать об этом все и всем, чтобы все слышали вас. Вот я говорю вам, и будто видится мне, что говорю то, что вы хотите сказать: прекратите войну, примиритесь, изберите все народы от себя представителей, чтобы они собрались в одном месте и обсуждали международные нужды, желания, и чтобы ваши обсуждения тотчас же рассылались печатью, телеграфом, иными средствами по всей земле, и чтобы со всей земли суждения ваших собраний сообщались международному

учреждению, и чтобы таким образом вырабатывались незамедлительно и обстоятельно условия мирных отношений.

Прекратите теперь же военные действия и, пока идут мирные переговоры, займитесь культурной работой и беседами, обсуждением переговоров международного собрания и выработкой своих проектов к мирному улажению международных отношений...»

За словами этого призыва встает образ благородного, но наивного утописта. Да, это действительно утопия, если рассматривать призыв в связи с последующими событиями войны. Но если взглянуть на него с точки зрения здравого смысла и логики, то он не так уж и утопичен. Действительно, народы желают мира и мирное, полюбовное решение спорных вопросов, конечно, предпочтут войне, поэтому открытые, гласные, контролируемые народом переговоры политиков, безусловно, должны привести к «мирному улажению международных отношений». Честняков верил в коллективный разум народа и в то, что в конце концов народ будет сам решать свои дела. Эта вера лежала в основе его жизненной философии, которую он всей своей жизнью попытался воплотить практически. Здесь он выступил трезвейшим реалистом. Он начал с собственной деревни. Неся в народ знания, развивая его эстетический вкус, проповедуя гуманистические идеи, он, по его убеждению, способствовал естественному ходу развития истории. «Род человеческий, – писал он, – путем страданий и труда освобождается от тьмы и

бедствий... идет к свету, правде». Как символ будущего он создал образ Города Всеобщего Благоденствия. О нем он говорил, писал, его рисовал.

«Фантазия – она реальна, – утверждал он, – когда фантазия сказку рисует – это уже действительность... и потом она войдет в обиход жизни так же, как ковш для питья... И жизнь будет именно такой, какой рисует ее наша фантазия...»

В выражении идей и художественно-эстетических образов живопись и литература («словесность», «поэзия», как называл он) служили Честнякову в одинаковой степени; в разные периоды жизни он ставил впереди то одно, то другое, но всегда говорил о них нераздельно.

В литературном наследии Честнякова сказки, пьесы, стихи, автобиографические рассказы, философские сочинения, самые разнохарактерные записи в записных книжках. В середине 1910-х годов он опубликовал несколько сказок в журналах, три из них издал отдельной книжкой. Отрывки и цитаты из его произведений напечатаны в различных статьях на страницах советской периодики в последние годы, в очередном (1985 г.) сборнике «Новые открытия советских реставраторов». Основная же часть его литературных произведений еще не опубликована.

В своем литературном творчестве Честняков исходил из основного принципа своей деятельности: народ сам должен творить свою культуру. Прежде всего, национальную по форме. В 1902 году в письме Репину он пишет: «Вся суть

дела в том, что не хочу я профанировать свою русскую душу, потому что не понимают, не уважают ее; и не хочу ее заменить скучной, корректной, лишенной живой жизни душой европейца – человека не артиста, полумашины. Поэтому мне и приходится гордо замыкаться в себе. Потому что в стране не мы хозяева: все обезличившее себя заняло первенствующие места, а великое русское – пока вынуждено молчать до «будущего». Но настоящее развитие национальной русской культуры он видит не в распространении «русских» сувениров, имитирующих кустарные поделки прошлого, а во внимании к настоящей, сегодняшней народной жизни. «Хотите воскресить задавленное самобытное русское? – размышляет он в заметке по поводу кустарной выставки в Петербурге в 1902 году. – Поздно: народ понимает, что его искусство навивно, и хочет большего. Действительно ли вы уважаете русскую нацию? Если – да, то покажите на деле, во всем – в государственном строе, во всех деталях жизни. До сих пор русский был вынужден скрывать свою душу». Честняков мечтал о создании «универсальной культуры», основанной на национальных началах с обогащением их опытом всемирной цивилизации. «Русский... от культуры других народов возьмет все, что ему нужно, – писал он, – и вместе со своим элементом создаст великую универсальную культуру».

Литературные произведения Честнякова написаны живым народным языком – не архаизированным, музейным, зафиксированным в записях фольклористов прошлых деся-

тилетий, и не сглаженным, занормативизированным литературным. Свое право писать именно таким языком он защищает в письме к редактору журнала, в котором его сказки подверглись языковой правке: «Нет у нас ни одного издания, которое бы печаталось чисто русским языком... язык их же-манный... от людей, фальшиво его понимающих. Это неправильный взгляд на живой язык, он вечно развивается, освобождает себя от неуклюжей громоздкости, стремится к музыкальности, легкости, красоте, к удобству произношения... Язык вырабатывается великим творчеством народа, и если книжники относятся к нему небрежно, то это признак того, что они не отличают в нем пшеницы от плевелов. Они тормозят совершенствование языка... А родной язык, очевидно, наши ученые хуже знают... потому, что комитеты эти, исследующие язык и издающие правила, сидят как бы между двумя стульями, а именно: между родной страной и чужими. Но вполне русской страны не знают...»

Сказки Честнякова – не пересказы народных сюжетов, они целиком авторские, но, написанные живым народным языком, который «стремится к музыкальности, легкости, красоте, к удобству произношения», они воспринимаются как высокий фольклор.

Проблема введения народного языка в литературное произведение – одна из важнейших проблем русской литературы начала XX века. В ряду писателей, занимавшихся ею – Ремизова, Чапыгина, Шергина и других вплоть до Бажова,

опыт Честнякова, пожалуй, из наиболее удачных.

Огромно было влияние Честнякова на односельчан. «Его советы все не мимо шли», – говорят о нем земляки. На его могиле они установили крест с надписью: «Спи спокойно, наш учитель».

«Радимов Павел я, художник и поэт», – сказал о себе в одном из стихотворений Павел Александрович *Радимов* (1887–1967). Его стихи и живописные полотна близки другу другу, как только могут быть близки литературное и живописное произведения. Одни и те же темы – пейзажи, деревенские бытовые сцены; те же изобразительные средства – неброские краски, скромные мотивы; небольшой размер – короткие стихи, малоформатные этюды (иной раз чуть больше почтовой открытки); и главное – одно и то же настроение безграничной, немногословной, тихой, но верной любви к родной земле и желание показать людям, сколько красоты заключено в самом обыденном, мимо чего проходят, порой не замечая.

Рисовать и писать стихи Радимов начал почти одновременно – в детстве. Он родился в семье бедного сельского священника, чей быт ничем не отличался от быта его прихожан – крестьян обычного подмосковного села.

Родители хотели, чтобы и сын пошел по отцовскому пути, его отдали в духовную семинарию, где обучение для детей священнослужителей было бесплатное, что, надобно сказать, играло в решении родителей большую роль. Учась в се-

минарии, Радимов с особой старательностью занимался на уроках рисования.

По окончании семинарии Радимов не захотел принимать духовного сана, он намеревался учиться дальше. Отец решительно отказался содержать его, если он пойдет учиться живописи, но согласился, чтобы сын поступил в университет. Радимов окончил Казанский университет по историко-филологическому отделению и стал преподавать литературу и историю искусств в Казанской художественной школе.

В 1908 году Радимов начал выступать на выставках, в 1911 году его картины были приняты на выставку Товарищества передвижников, это было уже признание. В 1912 году выходит его первый поэтический сборник «Полевые псалмы», в 1914 году второй – «Земная риза». Стихи Радимова были замечены. Среди положительных отзывов на эти книги был отзыв В. Я. Брюсова, особо отметившего поэму «Поппида», в которой обстоятельно, гекзаметрами была описана история сватовства и выход замуж бабушки автора Анны Петровны.

Стихами Радимова заинтересовался М. Горький. В письме начала 1920-х годов Л. М. Леонову из Сорренто он писал: «...судя по некоторым догадкам моим, Вы должны бы знать казанского поэта Радимова, автора интереснейшей «Поппиды» и книги стихов «Земная риза».

Когда в 1928 году Горький приехал в СССР, Радимов встретился с ним лично. Сначала на официальном совеща-

нии. Радимов описал эту встречу в книге воспоминаний: «Вот он неожиданно повернулся, моя рука в его руке, говорит окающим баском: «Какой вы еще молодой! Знаете, где мы читали вашу «Попиаду»? В Сорренто. Знаете, кто читал? Шаляпин!» Затем были встречи на квартире у Горького. «Первая беседа началась со стихов, – вспоминает Радимов. – Горькому нравились мои деревенские гекзаметры, он упомянул, что ему из этого цикла нравится стихотворение «Брань», где в горячем споре, пока стелют холсты, сошлись две горячие на слово и словцо кареглазые молодки».

Стихи Радимова высоко ценил С. А. Есенин, о его книге «Деревня» он сказал: «Мне эти стихи понравились, под ними и я бы подписался».

Тонкую и точную характеристику поэзии Радимова дал И. Е. Репин. В 1926 году группа советских художников, в том числе Радимов, ездила к Репину в Пенаты. «Я привез Репину свои книги стихов «Попиада» и «Деревня», – рассказывает Радимов. – Репин любил их слушать, но читать их ему самому было трудно, так как в стихах не было привычной его взору буквы «ять». «Как Гомер», – похвалил меня кто-то из друзей. «Нет, – тотчас же заметил Репин. – Как Феокрит». Репин был прав: не подвиги войны, а деревенская идиллия были уделом моего творчества».

Избранная Радимовым форма – архаический гекзаметр – для описания современной деревни сначала вызывала недоумение, но только сначала, потому что буквально через

несколько строк читатель погружался в стихию деревенского быта, о котором повествовалось обстоятельно, детально, с эпической неторопливостью и сдержанной страстью и драматизмом. Радимов в обыденном, в сложившемся веками народном обиходном опыте увидел красоту и содержащийся в нем высокий смысл – материальную основу жизни человечества, потому-то сельскохозяйственные работы, домашнее хозяйство, описываемые гекзаметром, не теряя своей знакомости, близости читателю, вырастают в эпос.

Радимов старался быть точным и близким к правде жизни. Он жил в деревне у старухи Даниловны, «бойкой говоруньи-свахи, охотницы до песен и до нечаянной рюмки», как он характеризует ее, и «ее простодушные рассказы... перекладывал в гекзаметрические стихи о деревне. Делал я это с большой точностью, упоминая в строках и подлинное имя героини».

Многие стихи Радимова посвящены Подмосковию (он родился в Коломенском районе и с начала 1920-х годов жил в Москве). Эти миниатюры, «простые стихи», как он называл их сам, воссоздают пленительные подмосковные пейзажи в разные времена года, описывают исторические места.

До преклонных лет Радимов сохранил и свежесть поэтического чувства, и способность воспринимать красоту и ощущать простые, но вечные и прекрасные радости, которые дарует общение с природой, его стихи, такие простые и понятные, в действительности полны глубинной и доброй муд-

рости: в юности это была мудрость поэтического прозрения, в старости ее обогатил и жизненный опыт.

Всего Радимов издал около двух десятков стихотворных сборников.

Константин Федорович Юон (1875–1958) пишет в автобиографии, говоря о вступлении в зрелый период своего творчества: «Моя художественная и общественная деятельность стала развиваться в четырех основных направлениях: 1) в области личных живописных работ; 2) в области педагогики; 3) как театрального постановщика-декоратора; 4) в области научно-художественной и критической». Четвертый пункт можно, точнее следовало бы, обозначить как литературную деятельность. Если бы автобиография писалась не в 1950-е годы, а в 1900-е, о которых идет речь, автор скорее бы всего сказал именно так или бы даже назвал это направление своей деятельности «писательским». В XIX – начале XX века термин «писатель» имел более широкое и общее значение, чем имеет теперь. Писателем называли всякого человека, пишущего и издающего свои произведения для широкой публики, существовало разделение по тематике литературной деятельности: «писатель по вопросам экономики», «писатель по медицинским вопросам», «писатель по вопросам искусства» и так далее. И в этом ряду существовало наименование «писатель-беллетрист». Но надобно отметить, что любой «писатель», пишущий для широкого круга, в свои произведения неизменно вводил элемент собственно

художественной, «беллетристической» литературы, некоторые из этих произведений сейчас назвали бы научно-художественными, иные художественной публицистикой, так что почти каждый «писатель по вопросам...» в своем творчестве то и дело вступал в область «писателя-беллетриста», хотя и не считал себя им. Наверное, самым очевидным и убедительным образом это проявилось в том случае, когда он обращался к чистому, безусловно художественному жанру. Юон наряду с критическими статьями, учебными трактатами, мемуарными заметками писал стихи.

Кстати, в стихах он сформулировал свои заветные мысли о сути труда художника, о его общественной роли и природе художественного творчества:

Художник тот, кто вместе с веком
Идет вперед своим путем,
Кто верит в разум человека,
Кто голос сердца слышит в нем.

Литература сопровождала Юона на всех этапах его жизни, в некоторые периоды она оказывала решающее влияние на его работу художника, и всегда он ощущал необходимость наряду с художественным творчеством обращаться к литературному.

Юон родился в Москве, на 4-й Мещанской улице, в то время окраинной, похожей более на улицу какого-нибудь заштатного городка или большого села – с садами и огорода-

ми, деревянными домами, провинциальной простотой. Но в то же время это была Москва с ее культурным влиянием: его старшие сестра и брат учились в консерватории, среди друзей родителей (его отец служил страховым агентом) был художник-любитель, который помог мальчику освоить начала рисования. «С восьми лет я начал заниматься живописью и не отходил более от нее», – рассказывает Юон в автобиографии. Темой его живописных работ становится Москва, преимущественно Москва историческая.

«Все основные черты, из которых складывалось мое будущее искусство, имели прочные корни уже в раннем детстве и юности. Так, мое пристрастие к историческим памятникам и преданиям воспиталось органически вместе с первыми детскими впечатлениями, воспринятыми мною в Лефортове – московской окраине, насыщенной историческими преданиями и памятниками петровского времени. В этой части Москвы я проживал с пятилетнего возраста вплоть до поступления в Училище живописи».

Дом, в котором жил эти годы Юон, стоит и сейчас (ул. Карла Маркса, 23). Этот особняк типичного московского ампира конца XVIII – начала XIX века, сохранившийся в пожаре 1812 года, по мнению специалистов, построен по проекту М. Ф. Казакова. В конце 1810-х годов дом принадлежал И. М. Муравьеву-Апостолу – отцу трех братьев-декабристов, здесь жили его сыновья, бывали многие декабристы. Невдалеке на той же улице возвышается церковь Никиты-мучени-

ка середины XVIII века – чудесный памятник стиля барокко, на Разгуляв – замечательный дворец конца XVIII века Мусиных-Пушкиных, в котором жил знаменитый владделец единственного списка «Слова о полку Игореве». Спускающиеся к Яузе улицы и переулки также сохранили немало памятников XVIII века, свидетелей эпохи Петра I.

Но не только сами исторические постройки, которые на улицах и в переулках Лефортова действительно встречались на каждом шагу, вызывали и воспитывали интерес Юона к ним, этот интерес одухотворяла литература. «Углублению моего интереса к Москве и ее историческим богатствам, – пишет Юон, – в значительной мере способствовали прочитанные в школьном возрасте замечательные исторические романы Загоскина, Лажечникова, А. К. Толстого и других авторов».

После окончания Училища живописи, ваяния и зодчества, в 1900–1903 годах, Юон находит свою тему творчества – образы старых русских провинциальных городов с их древней архитектурой и ярким современным бытом. Он едет в Нижний Новгород, Ростов, Углич, Торжок, Троице-Сергиеву лавру. «Поездки по городам, – пишет он, – я совершал иногда не без влияния и прочитанного. Меня тогда очень увлекали рассказы Горького, которого я до сих пор очень люблю. Первым городом, куда я поехал, был Нижний Новгород».

К своей литературной работе Юон относился с большой ответственностью. Идеалом для него был Пушкин. В стихо-

творении «А. С. Пушкину» (1946 г.) он пишет:

И ключ родного языка
В Твоих твореньях сбережется;
Для всех – пример Ты на века,
В ком сердце творческое бьется!

«Я люблю Пушкина, – говорит он в статье «Мой творческий путь», – и по-пушкински люблю русскую природу. Хотелось создать пейзаж по-пушкински – пейзаж Подмосковья, средней полосы России».

Юоновские пейзажи вошли в классику русской пейзажной живописи. Он любил природу, много писал ее.

Но несмотря на то что Юон писал много сельских пейзажей, несмотря на восторженную любовь к природе, все же главное место в его творчестве занимает город – старый русский город, и прежде всего Москва. Уже почти в конце жизни в одной из статей он пишет: «Всю свою жизнь пишу я Москву и все не насытюсь!»

И поэтому последний его литературный труд – книга «Москва в моем творчестве» – это вдохновенный рассказ не только о своем творчестве, но в первую очередь о Москве. Великолепные картины Москвы, увиденные глазами художника, тонко подмеченные черточки быта – все это окрашено личным отношением и создает яркий образ особой – юоновской – Москвы.

Завершает книгу Юон проникновенными публицистиче-

скими страницами о своей мечте, какой бы он хотел видеть Москву в будущем.

«Будучи старым патриотом Москвы, – пишет Юон, – я приветствую ее плановое строительство как новой советской столицы и ничего лучшего не могу пожелать ей, как бережно сохранить все памятники русского национального зодчества, являющиеся ценнейшим народным достоянием, и рядом с ними воздвигнуть новые творения архитектуры и искусства, достойные нашей великой эпохи».

Федотов, Перов, Коровин, Аполлинарий Васнецов, Рерих, Честняков, Радимов, Юон – художники очень разные, оригинальные. Так же своеобразно и оригинально их литературное творчество.

Вл. Муравьев

П. А. Федотов 1815–1852 гг.¹

К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям

Кто б ни был, добрый мой читатель,
Родной вы мой или приятель,
Теперь хочу я вас просить
К моим стихам не строгим быть.
Я не отъявленный писатель,
Хоть я давно ношусь с пером,
Да то перо, что носят в шляпе,
А что писатель держит в лапе,
Я с тем, ей-богу, не знаком
И не пускаюсь в сочиненья,
А уж особенно в печать.
Меня судьба, отец да мать

¹ «К моим читателям, стихов моих строгим разбирателям», «Поправка обстоятельств, или Женитьба майора», «Рацея», «Пчела и Цветок», «Усердная Хавронья» печатаются по изданию: «Поэты 1840 – 1850-х годов». Л.: Советский писатель, 1972. (Библиотека поэта. Большая серия.) Остальные произведения по изданию: *Лецинский Я. Д.* Павел Андреевич Федотов. Художник и поэт. Л.; М.: Искусство, 1946.

Назначили маршировать,
Ходить в парады, на ученья
Или подчас в кровавый бой
За славой или на убой.
Но как от русского штыка
Дыра довольно глубока,
Враги все наши присмирели,
Ругая нас издалека,
Тревожить явно уж не смели, —
То я спокойно десять лет
Без пуль, картечь и разных бед
Возился с службой гарнизонной.
Вот довод, кажется, резонный,
Что не могу я быть поэт.
Не правда ль?... Не угодно ль стать
Во фрунт поэту записному
Да не угодно ль помечтать
Или начальнику иному
Рапорт стихами написать.
Хоть будь вполне литературно,
Да не по форме, скажут: дурно!..
Начальник распечат — и прав:
Что сочинять, где есть устав,
Где шаг, малейшее движенье —
Всё так обдуманно давно
И с вас потребуют одно
Слепое лишь повиновенье
И распекут за сочиненье.
Иль пусть какой-нибудь поэт,

Какого лучше в свете нет,
Слетает к бесу на расправу,
То есть на сутки на заставу.
Займись там выпренинной мечтой,
Да подорожной хоть одной
Не просмотри, пренебреги,
Да на звонок не побеги, —
Такого зададут трезвону,
Забудешь всех – и Аполлона,
И девять муз, и весь Парнас.
Нет, некогда мечтать у нас.
Солдат весь век как под обухом:
Тревоги жди пугливым ухом,
Поэты ж любят все покой,
А у солдат покой плохой!
Для стихотворного народа
Всегда торжественна природа,
Ему мила и непогода.
Он все поет: и дождь, и гром,
И ветра в осень завыванье;
Сам льет в стакан спокойно ром,
Сидя в тепле. Нет, в нашей шкуре
Попробуй гимны петь натуре:
Воспой-ка ручейки тогда,
Как в сапогах бурчит вода,
Воспой под дождь в одном мундире
Когда при строгом командире
Денщик твой, прогнанный в обоз,
Твою шинель упрягал в воз;

Иль в сюртуке в одном в мороз
Простой, начальство ожидая,
Тогда как пальцы, замирая,
Не в силах сабли уж держать,
Изволь-ка в руки лиру взять
Да грянь торжественную оду
На полунощную природу.
Нет, милый, рта не разведешь
И волчью песню запоешь.
Поэтам даже свод небесный
Какой покос дает чудесный!
А нам красавица луна
Напомнит только ночь без сна
На аванпостах. Ясный Феб,
Луна и Феб – поэтам хлеб,
А нам от Феба пыль да жарко,
Нам Феб – злодей, коль светит ярко
Он нам не недруг лишь, когда
Вблизи холодная вода.
И эти звезды, что высоко,
Что в поэтическое око
Так бриллиантами блестят,
Нам дальностью своей твердят,
Что и до звезд земных далеко
(С прибавкой славы и любви).
Вот всё, что в пышущей крови
Вздывает сильное брожение,
Что кипятит воображение.
А нам?... Наш брат ослеп, оглох,

Нам это всё – к стене горох.
Блаженство наше: чарка в холод,
Да ковш воды в жару, да в голод
Горячих миска шей, да сон,
Да преферанс... – и Аполлон,
И с музами, спроважен вон.
И даже самая любовь,
Хотя подчас волнует кровь,
Да только кровь. А сердце – дудки!
Нас не поддеть на забудки,
На нежности; наш идеал:
Нам подавай-ка капитал,
Затем что ведь и в нас, мы знаем,
Не лично мы всегда прельщаем,
Прельщает чаще наш мундир,
Российских барышень кумир.
Смешно же бескорыстных строить:
Одно должно другого стоять
(О совести ни слова тут).
Но если ж мишуру берут
Взамен святой Любви личной,
Так уж умнее взять наличный
За это капитал. У нас
Примеров всяких есть запас.
Есть, точно, по любви женаты,
Да что они? Бывали хвататы,
Теперь – кислятина: ухвататы,
Горшки, пеленки на уме,
Век с плачем о пустой суме,

С роптаньем, – и сказать ужасно:
На добродетель ропщут гласно!
Они, завидуя ворам,
Скорее к выгодным местам
Бегут казной отогреться,
Казной за голод отъедаться.
Меж тем иной, как холост был,
Глядишь, честнейшим малым слыл.
Выходит, что жена и дети —
Лишь только дьявольские сети
Без золота. Так вот любовь!
Ей тоже денег подготовь,
Не то готовь и скорбь и слезы.
Где ж тут поэзия? где ж розы?
Те розы вечные, о коих так твердят?
Любовь без денег – просто яд.
И яд тем более опасный,
Что он на вкус такой прекрасный:
Лизнешь – не хочется отстать.
Коварна брачная кровать!
А полюбить да не жениться,
Так, право, лучше утопиться!
Да и топились не раз.
Ведь есть же Лизин пруд у нас.²

² Есть в Москве пруд, прозванный «Лизин», потому что в нем, с отчаяния в любви, утопилась Лиза – и есть надпись: «Здесь утопилась Лиза, Эрастова невеста. Топитесь, девушки, для всех довольно места». (Примеч. автора.) Лизин пруд – пруд возле Симонова монастыря, который в повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» описан как место гибели героини повести. В конце XVIII – начале

Когда же с жизнью жаль расстаться,
Душой и телом век больной,
Ты будешь по свету таскаться,
Всегда рассеянный, шальной
И, стало быть, всегда смешной.
Ну вот влюбленных перспектива.
Нет, эта цель не так красива,
Чтобы любовь боготворить.
Нам с нею каши не сварить!
Теперь мы примемся за славу,
Необходимую приправу
Поэзии. Но славе пир
Дает война, а тут был мир.
С трубою, с крыльями кумир
Не принимает приношенья
От тех, кто знает лишь ученья,
Парады, лагерь, караул, —
Кровавый любит он разгул.
Поэзию он в уши трубит
Лишь тем, кто больше губит, рубит,
Кто кровь людскую льет рекой.
Я ж десять лет моей рукой
Махал на вольном только шаге, —
Другой ей не было отваги,
И мой смиренный кроткий меч
Не знал кровавых грозных сеч;

XIX в. пруд был местом паломничества поклонников таланта Карамзина, на окружавших пруд деревьях они вырезали различные надписи, одну из которых приводит Федотов.

Тупой родясь, умрет не точен;
В крови пред славой непорочен,
Служить он мог лишь как косарь,
Щепя лучину под алтарь.
А груды тел и крови реки
Принести ей в дар – не в том, знать, веке,
Ошибкой родился мой меч.
Итак, об славе кончим речь.
Ну вот и всё, чем стих поэта
Питался от начала света.
Еще пересчитаем вновь:
Природа, слава и любовь!
Иное, точно, кровь мутило,
Да не до рифм тогда нам было,
Мутило с желчью пополам,
Иное ж вовсе чуждо нам.
На чем же тут душе развиться,
Воображенью порезвиться?
Пускай рассудит целый свет:
Поэзии тут пищи нет!
Где ж было мне практиковаться
И чистоты в стихах набраться
Такой, чтоб критик злой иной
Не отыскал стишок больной?!
Не придирайтесь, бога ради,
Пока стихи еще в тетради,
Пока не жались под станок.
Я сам к печатным очень строг,
В печать не лезу – знак смиренья,

А это стоит снисхожденья.

Начало 1850 г.

Поправка обстоятельств, или Женитьба майора

(Предисловие к картине)

Вот майором десять лет,
А надежды нет как нет
В подполковники подняться:
Всё смотры мне не клятся,
Всё робею на смотрах.
Слово «смотри» наводит страх.
Право, хуже всякой бабы!..
Нервы, что ли, стали слабы?
Чуть начальник впереди
Покажись, стеснит в груди
И, как иглами уколот,
Весь вздрогнешь, по телу холод
И мурашки пробегут,
Зубы дробь во рту забьют,
Как в карете стекла; волос
Станет дыбом, рвется голос,
Звон глухой гудит в ушах,
Звезды бегают в глазах,
Поле будто всё кружится —

И изволь тут отличиться!..
Пить для храбрости?... И пил,
Да лишь вдвое наглупил.
Позапрошлый год стояли
Мы в каре³ и всё стреляли.
Вдруг командуют: «Вперед!»
С фланга мне пришел черед.
Уж недаром ненавижу
Я каре; засуетясь,
Тут забыл назначить фас,⁴
Гаркнул: «Марш!» И что же вижу?
Фасы – кто куда лицом,
Как стояли врозь крестом,
Дуют-дуют по долине...
Я ж торчу один шестом,
Одуревши, в середине.
Музыканты тоже врозь,
Кто куда... Беда, хоть брось!
Не забуду и поныне,
Как тогда со всех сторон,
Как на пададь тьма ворон,
На меня поналетели
Командиры, – ели, ели!
Как душа осталась в теле!
А начальники у нас,
Как расходятся подчас,
Матер (шиной) так и хлещут,

³ *Каре* – военное построение в форме четырехугольника.

⁴ *Фас* – военное построение в одну линию.

И иные этим блещут.
Прошлый год, судьбе назло,
Мне как будто повезло:
На смотру и в построеньях
Лучше шло, чем на ученьях.
Я ошибся только раз,
Да и то дым пушек спас.
Ну, я думал: в добрый час!
Чтоб не сглазить, перед старшим
Церемониальным маршем
Нам пройти уж нипочем!
Не замеченный ни в чем,
Верно, буду я представлен!
План уж был в уме составлен,
Как полковника схвачу,
Как и выше поскачу.
И в мечтах лечу, лечу...
Вижу: армия большая,
Все колоннами идут
И, знамена преклоняя,
Все мне почести воздают;
Барабаны громко бьют,
Громко музыка играет,
И народ кругом зевает,
Дамы так ко мне... а я
Так марширую свободно...
Но постой, мечта моя!
Наяву идут повзводно,
Вот идут, идут, идут,

Ровным шагом землю бьют,
Поле чистое трясется,
Эхо близких роц и гор
Вторит музык стройный хор,
Сквозь аккорды крик несется:
«Рад стараться, ваше...ство!»
И на лицах торжество.
Взвод щетинистой грядою
Взвод сменяет чередою;
Всё вперед, вперед, вперед...
Вот подходит мой черед.
Рад – и страшно, сердце бьется:
Что как вдруг с ноги собьется
Батальон мой?... Никогда!
Нет, взошла моя звезда!..
Но... и вдруг мечта остыла,
Точно громом поразило,
Точно с неба слышу: «Стой!..»
Барабанов смолкнул бой,
Стихло все, остановилось,
Разом в землю пригвоздилось,
Замерло – лишь там и сям
Потихоньку по рядам
Офицеры пробегают
И ряды свои ровняют;
Вот и те уж по местам,
Все чего-то ожидают,
Все боятся; но зачем?
Для чего бояться всем?

Есть за всех один несчастный —
Это я!.. О рок ужасный!
Так и есть: в мой пятый взвод
Прямо корпусный идет.
Вот всевидящее око!
Он подметил издалека
У каналы у одной
В пятом взводе под сумой
С табаком кисет проклятый.
Погубил меня взвод пятый!
Ждал схватить иль чин, иль крест,
А попался под арест!
Хуже всех годов мне это
Было нынешнее лето.
Только третий боевой
Как пойдет – хоть волком вой!
Знал претвердо на ученье,
Тут не то – нашло затменьё!
А жолнера⁵ поутру
Как просил я на смотру
Подсказать мне, но лукавый
Всё об Леленьке кудрявой
Об своей, видно, мечтал,
В голове всё, видно, бал...
Молодежь!.. А мне от бала
От его уж так попало,
Хоть в отставку подавай!

⁵ *Жолнер* – офицер или солдат, поставленный во время смотра для указания линии, по которой выстраивается часть.

Эх, отставка – вот так рай!..
Никаких смотров не знай!
Сам себя лишь только знаешь,
Сам себе лишь отвечаешь.
Вот другим везет... а я?
Знать, такая колея!..
Больше ль знает Пятогреев?
Иль умней меня Михеев?
Ха-ха-ха! Или Рубцов?
Уж глупейший из глупцов!
А Зубанов с красной рожей,
На говядину похожей,
А Биршнапс, а Муано?
Все полковники давно,
Все с полками набивают,
Чай, карман да поживают,
Как царьки; один лишь я...
Просто дрянь судьба моя!
Всюду запятые, точки.
Знать, родился не в сорочке.
Нет, довольно! Решено —
Выйду! Уж пора давно
На покой, чего тут ждать?
Ведь мне каждый смотр обидно
Перед фронтом срам глотать.
А устав мудрен! Мне, видно,
Нечего здесь больше ждать,
Генералом не бывать!..
Да и это не завидно!

Ну, положим, генерал...
Экой важный капитал!
Что от этого прибудет?
Ведь начальство, всё же будет,
Так же будет распекать,
Да тогда еще стыднее.
А ведь с чином не умнее
Станешь – так же будешь врать!..
Содержанья и прибудет,
Так расходов втрое будет:
Надо уж себя держать
На вельможескую статью;
И шитье, да и нельзя же
Обойтись без экипажа...
Голь, как нынче, будет та же.
Вышел бы, да вот беда:
Чем кормиться-то тогда?
Пансион?⁶... Велико дело!
А уж крепко надоело!..
Разве к статским перейти?
От смотров хоть бы уйти,
Но и там беда повсюду:
В статской я надворным⁷ буду,
А надворный там велик,
Там надворный, без сомненья,
Уж начальник отделенья —

⁶ *Пансион* – здесь: пенсия.

⁷ По табели о рангах майор при переходе в штатскую службу получал чин надворного советника.

Я ж к бумагам не привык.
Что ж я буду за начальник?
Мне любой столоначальник
Завернет везде кавык:
Там, где взять, – себе оставит,
А бумажку ту представит
Мне, с которой лишь беда,
И распутывай тогда!
А как дел-то сам не знаешь
Да в законах не смекаешь —
Не подскажет важный чин,
И, не справившись один,
Поневоле всякой мошке
Поклонись чернильной в ножки,
А не то тебя под суд
Эти мошки упекут.
В статской важны чин и званье,
Но важней законов знанье.
Впрочем, есть и там места,
На которых и спроста,
Без особенной науки,
Можно греть порядком руки.
Не об жалованьи речь,
Совесьть можно сбросить с плеч!
Не такие нынче годы!
Говорится про доходы.
Например, комиссарьят,⁸
Или провиантский штат,

⁸ *Комиссарьят* – Комиссариат – учреждение, ведавшее снабжением армии.

Иль полиция, таможня...
Вот уж, говорят, там можно!
Только с прочими делись,
А иначе берегись!..
Прах возьми! Да я б делился,
Да и сам бы понажился!
Этак бы сначала дом
В пять этажей, да притом
Чтоб и в нем всего битком.
После сбил бы помаленьку
В хлебном месте деревеньку.
А хозяйством править лень —
Клал в ломбард на черный день
Чистоган... Когда б понажил,
Я б раскланялся и зажил,
Как второй Сарданапал,⁹
И тогда задай-ка бал...
Глядь, в числе гостей попал,
С уверениями в дружбе,
Тот, кто прежде так на службе
Просто со свету сживал.
Принимая всех радушно,
Я б простил великодушно
Прошное врагам моим,
Я бы даже на смех им
Задавал обеды часто.
«Ваше пр-во» тогда б уж баста!

⁹ *Сарданапал* – Ассурбанипал (669 – ок. 633 до н. э.) – царь Ассирии; здесь имеется в виду его богатство и пристрастие к роскоши.

Клим Матвейч, Петр Лукич, —
Поименно просто кличь.
Вот к такому бы местечку
Приютиться человечку
Славно б!.. Кто ж добру не рад!
Только вот что говорят:
Что туда без денег вряд
Попадешь... подсунуть надо,
Да ведь как!.. Исчадья ада
Ведь нельзя сказать *берут* —
Чисто-начисто дерут,
Начиная с самой справки.
Ты придешь: как точно в лавке,
Там на всё уж такса есть,
И не стоит мало несть.
Единичными рублями
Там с простыми писарями
Не поладишь, им на чай
Тож полсотенку подай, —
Вот тогда язык развяжут
И вакансию укажут,
Да научат и уму,
То есть сколько и кому
Да и в руки ль самому.
Может, где важней супруга
Иль секретная подруга,
Что и к ним с поклоном снести,
Где и к ним лазейка есть.
Ведь с бумагами ему, чай,

Не ровён бывает случай,
Часто в ночь... так дай ему.
Умный писарь – член в дому.
Он и там смекнет делишком,
Где, хоть это редко слишком,
Что начальник – правовед
Иль студент задорных лет —
Щекотлив вдруг до дохода;
Ведь в семье не без уroda, —
Их глупцами и зовут.
Ну, так писарь верно тут,
Как всегда, на шаг от плюхи,
Знает хоть, когда он в духе.
Что ж, и это верный ключ;
Гром гремит не все из туч,
Часто из... Так писаря,
Откровенно говоря,
Даром, что ли, прижимают?
Нет, себе, чай, цену знают!
С виду мошки; а министр,
Как ни будь умом он быстр
И глубок, а донесенье
Иль секретное решенье
Пишет сам ли?... Писаря:
Четко нужно для царя.
А министру до того ли?...
У великих всех людей
Быстро бьет фонтан идей,
В спехе брызжет поневоле,

Да наставит лишь крючков:
Почерк гениев таков.
А иной бы рад стараться,
Да спасует... а, признаться,
Поглядишь: барчата все
Бойко мелют по-франсе.
А взгляни в чистописанье —
Тотчас встретишь оправданье:
«Кантонистов,¹⁰ что ли, нет?
Это низко нашим чадам!»
Русский ум наш крепок задом.
А вот тут... с писцом секрет
Государственный и важный
Раздели... Хоть не продажный
Этот писарь, может быть,
Да мадерцы как не пить?...
Часто нехотя напьется,
А напьется – и проврется,
И, что читается за секрет,
Глядь, обходит весь уж свет.
И шути тут с писарями!..
Еще милостивы с нами!
Много ль есть учителей,
Чтобы смысл науки всей,
Смысл в ученье столь глубоком,
Как достать местечко с соком,
Передал одним уроком

¹⁰ *Кантонисты* – выпускники школ кантонистов – солдатских детей, в которых готовили, в частности, писарей для армии.

И полсотни только б взял?...
Бескорыстья идеал!
Право, сотню дам охотно.
Так, купив себе маршрут
И карман набивши плотно,
Отправляйся выше... тут,
Тут уж тысячи берут.
Выше – уж десятки тысяч!
Ух бы их на конной¹¹ высечь!
Поневоле после всяк,
Заплатив за место так,
Всё вернуть скорей захочет
И, как жадный волк, наскочит
Вымещать все над казной.
И бессовестно иной
Вслух кричит: «Казна богата!
Грех обидеть ближних, брата,
У казны ж не грех украсть,
Есть кому ее накласть;
Коль казны и неостанет,
Так министр кой-как натянет:
Министерский ум глубок,
Он из камня выжмет сок —
И казна опять богата!»
Так, забывши всё, что свято,
Рассуждается у нас.
Только если в добрый час

¹¹ Имеется в виду городская площадь, на которой во время ярмарок торговали лошадьми, там же совершались публичные наказания.

Совесьть как-нибудь разбудишь, —
Вовсе иначе рассудишь.
Тут увидишь, что казна
Не для кражи собрана.
Сборы все и приношенья
На благие учрежденья
С нас правительство берет.
Стало, кто казну дерет,
Тот у ближних благо крадет.
Пусть, кто хочет, душу гадит,
Мне ж таких не надо мест —
Совесьть грозная заест.
Всё терпением залечим,
Да притом подсунуть нечем:
Шарф на выжигу, темляк,¹²
Ну хоть два, хоть три, да знак¹³ —
Вот и всё... Нет, с этим дудки!
С этим близ трактира будки
Не получишь. Вот мечтай,
Замки строй и рассуждай:
Ноль на ноль сто раз помножа,
Всё в итоге будет то же.
Всюду деньги! Даже в рай
Хочешь – денежки подай,
Хоть умри без покаянья.
Но когда есть состоянье,

¹² *Темляк* – лента на рукоятку сабли или другого холодного оружия; *шарф* и темляк в русской армии XIX в. могли быть наградными.

¹³ *Знак* – здесь: орден.

Лишь пожертвуй в церковь вклад,
Да побольше – что тут ад!
Нипочем! Весь век молиться
Будет пастырь за тебя.
А без денег за себя
Сам молись. Беда, коль грянет
Невзначай последний час
И застанет среди проказ!
Бедный! Кто тогда предстанет
Пред судьей на небесах
Выручать тебя в грехах?
Кто врата отворит рая?
Чья молитва? Отпевая,
Пастырь, сам как бы стыдясь
Бога за тебя, свой глас
Не возвысит в песни сладкой,
А, как будто бы украдкой,
Он сквозь зубы над тобой
«Со святыми упокой»
Проворчит в скороговорку
И в червивую каморку
Не проводит бедняка:
Вишь, от церкви далека.
С стройной, громкою мольбою
Над богатым к небесам
Из кадила фимиам
Вьется пышною, густою
Ароматною волной.
Бедным фимиам иной.

Им, посмотришь, и кадило
Только-только бы чадило.
Деньги, деньги – счастья ключ!
Но постой! Надежды луч
Не совсем угас покуда,
Не совсем еще мне худо —
Дай-ка я за ум возьмусь:
Почему я не женюсь?
Да, женюсь, и на богатой,
Дам щелчка судьбе рогатой.
Как богатой мне не взять!
Иль невест богатых мало?
Иль во мне что недостало?
Чем не муж я? Чем не зять?
Штаб,¹⁴ густые эполеты,
Шпоры, конь, усы и лета!
Что ж, в поре я, просто хват,
Хоть немножко толстоват...
Это возбудит почтенье;
Хуже ж, если б был худой.
Скажут: верно, он больной
Иль худого поведенья.
Всё, что надобно жене
Ждать от мужа, есть во мне:
Чин высокоблагородный,
И притом собой дородный.

¹⁴ *Штаб* – штаб-офицерами назывались офицеры в чине от капитана до полковника, которые в отличие от младших офицеров имели погоны с бахромой – эполеты.

Что ж еще? Уж для купчих —
Это сущий клад для них.
Кстати ж, слышал, у Кулькова,
У подрядчика лесного,
У купца-бородача,
Старовера, богача,
Хлебосола записного,
Уж назначен миллион
Дочери. Когда бы он
Отдал мне ее... Не худо!
Аппетитненькое блюдо!
Право, нечего зевать,
Надо сваху засылать,
А потом принарядиться
Поновей, понадушиться,
Можно и духов достать
И помады хоть у франтов,
У бригадных адъютантов,
Взять у них же орденки,
Да батистовый платок,
Да часы на случай, с дочкой
Коль придется говорить,
Пальцем баловать с цепочкой
И носочком такту бить;
Шарф надеть, позвонче шпоры,
Да, поднявши плечи, грудь,
Эполетами потряхнуть,
Да погромче в разговоры...
Посмотрю я, как тогда

Мне откажет борода!
С бородой, в сибирках, тести —
Деньги есть, так ищут чести.
Раз при мне один купец,
Мужа дочери смекая,
Как заботливый отец,
Все сословия сличая,
Вот что вывел наконец:
«Выдать за купца не худо,
Да не худо, как покуда
Хорошо дела идут;
Но беда подчас и тут.
Сколько б в руки ни попало
Денег, – кажется всё мало:
Хочется учетверить —
В оборот рискнет пустить
Да с казной в подряды вступит,
Думая, что вот-то слупит!
Ан, глядишь, в капкан попал,
Поминай свой капитал!
До ковша в дому опишут
Да в мещане перепишут.
А мещанин – что холоп:
Чуть набор – забреют лоб.
Зять – солдат, и дочь – солдатка, —
Нет, для батюшки несладко.
Я умри, умри жена —
Дочь пропадшая. Она —
Иль на месте оставайся

Век замужнею вдовой,
Иль цыганкой век шатайся.

.....
.....

..... Вот подчас

Что случается у нас,
У купцов, от оборотов!
Долго ль дело до банкротов!
А коль чуть остерегись,
С капиталъцем поприжмись,
Так беда от патриотов —
Только и звенит в ушах,
Что торговля-де в руках
Наша вся у иноземцев,
Англичан, французов, немцев,
А что наши-де купцы
Просто неучи, глупцы.
Вот как хочешь и вертись.
Впрочем, если попадися
Зять почетный гражданин,¹⁵ —
А, тут не кафтан один
Шитый, тут уж есть и льготы;
Впрочем, всё же обороты!..
То ли дело дворянин!
По уму хоть бы не годен
И душой неблагороден —

¹⁵ *Почетный гражданин* – почетное звание, даваемое богатым купцам за какие-либо заслуги перед государством; имеющие это звание получали ряд привилегий: освобождались от рекрутской повинности, телесных наказаний.

Всё ж себе он господин,
Хочет – спит, а хочет – служит
И об детушках не тужит:
Хочет – воспитает сам,
Нет – раздаст по корпусам;
И того нет – всё ж барчаты —
Не посмеют взять в солдаты.
Но коль выше забирать,
О, так надобно, чтоб зять
Неприменно был военный, —
Это самый сан почтенный!..
Ни фальшивых нет весов,
Нет ни взяток, ни крючков,
Что в других так ненавистно:
Тут всё чисто, бескорыстно».
Оттого-то, как магнит,
Так мундир к себе манит.
Всех, кто с чистою душою
И невинной простотою.
Дети... дай им барабан,
Дай гусарский доломан,
Саблю, знамя... А в предмете
У девиц в семнадцать лет,
Хоть в глуши живут, хоть в свете,
Всюду, вечно эполеты,
Шпоры, усики, колеты.
Да и все, – явись в мундире,
Все дают дорогу шире.
Да еще бы!.. Кто же нас

И спасает в грозный час?
Шутка, право, нелегка ведь
Лоб и грудь свою подставить,
Чтоб другой лишь был прикрыт,
И за всё лишь полусыт.
Поневоле уваженье
К ним питаешь и почтенье!
Только немцы на Руси,
Боже нас от них спаси,
То есть те, что здесь торгуют,
Про мундир всегда толкуют,
Что не стоит он гроша.
А в нем нет, знать, барыша!
Говорят вишь: «Гольден трессен,
Абер только нихтс цу фрессен!...»¹⁶
С жиру бесятся они,
А на совесть загляни —
Что всё держит? Штык российский.
Что же, прусский, иль австрийский,
Иль (еще) иной какой
В мире водворит покой,
Чтоб спокойно проживали
Да спокойно торговали?...
А, да что и говорить,
С ними бисер лишь сорить!
Бросив родину святую
И навек в страну чужую

¹⁶ *Гольден трессен, абер только нихтс цу фрессен!* (нем.) – Золотые галуны, но только нечего жрать!

За одним лишь барышом
Кто бежит – что толку в нем?
Уж плохие эти братья,
Их иудины объяття!
Деньги бары к ним везут,
Деньги сами здесь сосут
И живут, как бары, пышно.
В благодарность только, слышно,
Все мерещится им кнут, —
А народ зовут рабами
И бесчестными плутами!
Честен немец в мелочах,
Только царство их в бедах
Век Россия выручала.
Что ж, своих сынов, что ль, мало
У отчеств славных их?
Нет, не мало, коль от них
Нам, и дома мы, а тесно;
Отчего ж им неизвестна
Плутовская наша честь
Рабская – всё в жертву несть,
Чтоб спасти страну родную?
С честью их забравши сбрую,
Деньги, трубку и кисет,
Всякий там бежит от бед,
Чтобы как в тревоге шумной
Свой титул благородный,
Разорись, не запятнать,
Чтоб у нас им щеголять.

Чести он у них замена;
Нипочем для них измена,
Так от них нельзя и ждать,
Чтобы должное воздать
Бескорыстной чести ратных —
Это чуждо душ развратных.
Но корысть что хочешь ври,
А посмотришь, все цари
И у нас, и в целом мире
Отчего всегда в мундире?
Знать, в мундире что-то есть,
Что ему такая честь!
Слухи ж ходят об невесте
Таковы, что ей не к чести,
Да она, быть может, тут
Как ни в чем... Ведь это плут
Распустил всё Курозвонов,
Подпоручик. По его,
Я ведь тоже из бурбонов.¹⁷
У него ведь ничего
Нет святого – хвастунишка,
Пустомелишка, мотыжка;¹⁸
Хуже нет в полку у нас,
А посмотришь, как подчас
Нос подымет, глазки сузит,

¹⁷ *Бурбон* – презрительное прозвище невежественного и ограниченного кадрового военного; первоначально так называли офицеров, выслужившихся из солдат.

¹⁸ *Мотыжка* – мот.

Зафидонит,¹⁹ зафранцузит
И с презрением на свет
В свой расколотый лорнет
По верхам глядит!.. О, я бы
Вышколил его, когда бы он
В мой попался батальон:
Надежурился бы он!..
Соком бы бурбон достался,
Не к чему бы придирался,
Младшего легко прижать
И всегда остаться праву,
В каждом что-нибудь сыскать
Можно, что не по уставу;
Ну хоть пуговица будь
Набок нумером чуть-чуть —
И довольно. Сбил бы с тона,
Я бы дал ему бурбона,
Дурь бы в нем поунялась.
Вот что сбредил: будто раз
Сваха вдруг к нему явилась,
Уверяя, что в него
До безумия влюбилась
Дочь Кулькова, и его —
Было свахе порученье —
Звать к обедне в воскресенье,
И обещан миллион.
Будто б и поехал он,

¹⁹ *Зафидонит* – от французского «fi donc» – междометия, выражающего пренебрежение, презрение.

Да взглянул: ряба, в веснушках,
Да в таких как будто в мушках,
Носа, глаз не разберешь,
И как двадцать пять одеж.
Двадцать пять, и все на вате,
Вот какая в перехвате...
Руки! Плечи! Но, скрепясь,
Будто он на этот раз
Подмигнул ей для потехи.
Сваха видит: есть успехи,
И с зарей к нему опять,
Тащит в дом уж представлять.
Будто был он у Кульковых
И что тьму достоинств новых
Там он в дочке их открыл,
То есть, что бы ни спросил, —
И аза в глаза не знает,
Книгу в руки забирает
Вверх ногами, как подашь,
И по всякой «Отче наш»,
«Богородицу» читает
По складам, не жди конца,
Кличет «тятенькой» отца,
Словом, словом – просто дура,
На невест карикатура...
Будто он – поклон и вон,
Несмотря на миллион.
Видишь, партией такую
Он рассорился б с роднёю,

Что родные – все князья,
Говорит: «И сам-то я
Был пажом и по талантам
И ученью первым был;
Верно б, в гвардии служил,
Был бы флигель-адъютантом,
Если б ротный командир
Не придрался. И мундир
Был уж сшит Преображенский...²⁰
Мужичина деревенский!..
Сам курил, а нам курить
Вздумал строго запретить.
Ну, конечно, нагрубил —
Мы почти уж сами были
Офицеры!» – И затем
Им надели лямки всем.
И в полку нам без того бы
Не видать его особы.
И давно б он вышел вон,
Да в полку хороший тон
Без него пиши пропало!
Нас ему, вишь, жалко стало,
Да полковницу притом,
Что она всегда по нем,
Чуть его в гостиной нет...
С муженьком постыл ей свет,
А иначе почему ж
Так к нему придирчив муж?

²⁰ *Преображенский* – т. е. гвардейского Преображенского полка.

Службу он ведь твердо знает,
И полковник распекает
За жену – не за устав,
А что он всегда был прав,
Несмотря что раз в неделю,
Верно, он свою постелю
На гауптвахту посылал.
Словом, столько он болтал,
Лгал по поводу Кульковых,
Столько фраз про них суровых
В полк изволил распустить,
И затем всё, чтоб отбить
И других, кому жениться
Вдруг охота разгорится,
Чтоб, попав в Кулькова дом,
Не развели о нем
И, конечно б, осмеяли,
Как узнали б о скандале,
С каковым его Кульков
Сам прогнал. А от долгов
Как мундир уж был в закладе,
Как пришлось уж Христа ради
Занимать у денщиков,
Как за всё уж он хватался
И к Кульковым подбирался,
Отчего ж и бредил он,
Что какой-то миллион
Скоро где-то он достанет,
Всех купать в шампанском станет.

Бредил месяц или два,
Знать, надеялся сперва,
И тогда про дом Кулькова
Никому в полку ни слова,
А напротив, иногда
Говорил, что не беда
Человеку борода:
И за что ж ее поносят?
Ведь ее французы ж носят,
И что в царстве, наконец,
Дело первое – купец.
Будь век мир – солдат не нужен,
Честен люд – судья досужен,
Некого судье судить,
Некого солдату бить,
А покушать всяк попросит
И одежду тоже носит.
Где же взять всё?... У купца.
Видно, видно шельмеца!
Так Кулькова пусть красою
И не славится большою,
Да в красе и толку нет!
Будь теперь хоть маков цвет,
Будь она хоть розан, всё же
Будет, верно, в сорок лет
На ровесниц всех похожа.
Кто тогда их разбирать
Станет голову ломать,
Кто тогда была какая,

Иль кривая, иль косая, —
Все равны, а той лишь честь,
У которой деньги есть,
У какой попить, поесть
Можно вкусно, той и честь.
Где обед хорош и вины,
Где на славу в именины
Пир на праздники дают —
Все туда с поклоном льнут,
Все покушать даром падки,
Да к тому ж, коль блюда сладки,
Так посмотришь, не один
Там хлебает господин,
Позабыв породу, чин.
Выгодным найдя смиренье,
Там забыл про вдохновенье,
Примирился с толпой, поэт...
И кого, кого там нет!
Штука важная обед!
И спроси из нас любого,
Хоть профессора иного,
Про хозяйку: что, умна ль?
Что, любезна ль? что, ловка ль?
Да подобной нет – все скажут:
Сласти всем язык подмажут.
И про нас заговорят,
Что такие есть ли вряд.

Майор зовет денищика.

Сидор, Сидор! Спишь? Живее,
Поликарповну скорее!
Ну, что свахою слывет.
Знаешь, где она живет?
Отыщи ее где хочешь,
Ты не даром похлопочешь;
Да смотри, не будь глупцом:
Баба станет обо всем,
Об житье-бытье моем
У тебя осведомляться,
Так прошу ей не поддаться...
Первое, что спросит, – чин,
Отвечай, что господин
Твой майор еще покуда,
Но чрез год он, худо-худо,
Будет полный генерал.
Побожись, что не соврал:
Бабе только побожиться
Да с божбой перекреститься —
Всё за чистое сойдет.
Об достатке речь зайдет,
Не проврьсь про кухню нашу,
Что едим век щи да кашу,
А скажи: на днях умрет
Барский дядя пребогатый,
Что огромные палаты,
Что заводов, деревень,
Что чего не счесть и в день,

Всё, чем заживо он правит,
То, мол, всё ему оставит,
Что наследник, мол, один
У него мой господин.
Что, мол, добр; солдат как учит, —
Он не бьет их и не мучит,
Что и сам, мол, я пока
В жизнь не слышал «дурака».
Хоть под левым глазом сине
У тебя, да сам, разиня,
Напросился на кулак —
Ты сапог мне подал как?
Ну, уж с этим разом баста,
Помиримся. Только глаз-то
Чем-нибудь затри, закрась,
В лазарет зайди. На мазь
В счет поставь пятиалтынник.
Да и весь ты, точно блинник,
Весь засален, весь в дырах, —
Это в счет идет у свах.
Где б достать всё поновее?
У кого-то есть ливрея?
У женатых попроси, —
Вот записку отнеси.
Кстати, помни, подстригися, —
Вишь, как пудель!.. И явился
К свахе, будто на парад.
Еще тут важнее, брат,
Надо лгать, а так ведется,

Что смелее франтам врется
И скорее верят... Да,
Сколько хочешь, лги тогда!..
Что, мол, просто барин славный,
А уж к службе – ох, исправный!..
Чуть про службу спор и толк,
Сам полковник, целый полк,
Смотришь, прут к нам за советом.
Барин, мол, там первый в этом,
И, мол, диво ли, когда
В рот хмельного никогда.
Даже трубки он не курит,
Карт и в руки не берет,
А гостей коль соберет,
С ними только балагурит,
Да и то коли когда
Чуть об девушках нескромно
Молодежь заври – беда!..
Для него и то скромно.
В обхожденьи ласков, прост,
Аккуратно держит пост,
Не бывал ни раза болен,
Как бывают иногда
Все другие господа.
Бедных любит, богомолен
И что им и царь доволен!
И что, кажется, его,
Господина моего,
Он к себе в министры прочит —

Это целый полк пророчит!..
И лукавая одна
Пребогатая княжна
К нам уж сваху засылает:
Вишь, ужасно влюблена
В барина. Да пусть страдает!..
Барин свистни, так княжон
Налетит со всех сторон —
Выбирай себе любую.
Да не хочет. Нет, уж он
Выбрал сердцу дорогую.
С год, мол, день и ночь ему
Всё вертится на уму
Дочь какого-то Кулькова
(Может быть, и нет такого).
А меж тем: Кульков! Кульков!
Затверди ты это слово.
Тут ведь нет немецких слов,
Трудных так для денщиков,
Помни про кулек!.. не сбейся,
Будешь говорить – не смейся!..
Побожись, что по ночам
Бред мой часто слышишь сам,
Вдруг, мол, вскрикнет: «О Кулькова!
О мой ангел! друг!» – и снова
Прихрапнет, потом опять,
Да ведь за ночь-то раз пять,
Как в горячке!.. Утром встанет,
Так, глядишь, на нем лица нет!

Просто страх меня берет.
Так и жди – с ума сойдет.
Ну, потеря!.. Спать, пожалуй,
У кого умишка малый,
А ведь барин по уму
Не спустил бы никому!..
Да чего, преосвященный,
Раз приехавши к нему,
Говорит: «Хоть ты военный,
А уж друга не оставь,
Ты мне проповедь поправь!»
Он ведь с ним на «ты», почтенный,
Вот так просто, как друзья;
Значит – ум!.. А нынче я
За него весьма боюсь
И тебе уж поклонюсь
В ножки, добрая моя.
Ты судьбой людскою мечешь,
Холостую скуку лечишь
И безденежья недуг
Лечишь ты, – так будь нам друг,
Припаси ты нам лекарства,
Сбереги подпору царства!
Понял, Сидор? Ну, смотри,
Бабе ты очки вотри.
Ты, я знаю, как захочешь,
Так на шею черту вскочишь,
Ты, я знаю, брат, не глуп...
Например: откуда суп

С курицей у нас являлся?
Я тогда уж притворялся,
Молча ел. – Ведь денег я
Не давал... Казна моя
Станет лишь на щи да кашу.
Помнишь, как-то простоквашу,
Как-то жареный петух,
А в моих подушках пух?...
Что, нашел?... Нашел, ну, ладно!
Ты всегда соврешь прескладно.
Так пойдя ж, похлопочи,
Тут ведь есть магарычи.
Как женюсь, разбогатею,
И тебя, братец, пригрею
И наградою заслуг
Уж не старый архалук,
Как теперь, – тогда придется,
Как у важных бар ведется,
В галунах ливрею сшить,
В аксельбанты нарядить.
Голод нынешний забудешь.
У меня ты просто будешь
Целым домом заправлять,
Да другими понукать,
Да прикрикивать – и только!
Любо? – Хлопочи ж, изволь-ка!..

Рацея²¹

(Объяснение картины «Сватовство майора»)

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,
Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.

Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счет жуют.
Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.

Вот извольте-ко посмотреть:
Вот купецкий дом, —
Всего вдоволь в нем,
Только толку нет ни в чем:
Одно пахнет деревней,

²¹ Рацея (*лат.*) – рассуждение, объяснение.

А другое харчевней.
Тут зато один толк,
Что всё взято не в долг,
Как у вас иногда,
Честные господа!

А вот извольте посмотреть:
Вот сам хозяин-купец,
Денег полон ларец;
Есть что пить и что есть...
Уж чего ж бы еще?
Да взманила, вишь, честь:
«Не хочу, вишь, зятька с бороною!
И своя борода —
Мне лихая беда.
На улице всякий толкает,

А чуть-чуть под хмельком,
Да пойди-ка пешком вечерком,
Глядь! – очутишься в будке,
Прометешь потом улицу сутки.²²
А в густых-то будь зять —
Не посмеют нас взять...
Мне, по крайности, дай хоть майора,
Без того никому не отдам свою дочь!...»
А жених – тут как тут, и по чину – точь-в-точь.

²² Применявшееся полицией наказание к простолюдинам за проступки против общественного порядка.

А вот извольте посмотреть,
Как жениха ждут,
Кулебяку несут
И заморские вина первейших сортов
К столу подают.
А вот и самое панское,
Сиречь шампанское,
На подносе на стуле стоит.

А вот извольте посмотреть,
Как в параде весь дом:
Всё с иголки в нем;
Только хозяйка купца
Не нашла, знать, по головке чепца.
По-старинному – в сизом платочке.
Остальной же наряд
У француженки взят

Лишь вечер для самой и для дочки.
Дочка в жизнь в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не страшась,
Плечи выставила напоказ. —
Шейка чиста,
Да без креста.

Вот извольте посмотреть,
Как в левом углу старуха,

Тугая на ухо,
Хозяйкина сватья, беззубый рот,
К сидельцу пристает:
Для чего, дескать, столько бутылок несет.
В доме ей до всего!
Ей скажи: отчего,
Для чего, кто идет, —
Любопытный народ!

А вот извольте посмотреть,
Как, справа, отставная деревенская пряха,
Панкратьевна-сваха,
Бессовестная привираха,
В парчовом шугае, толстая складом,
Пришла с докладом:
Жених, мол, изволил пожаловать.

И вот извольте посмотреть,
Как хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком,
Он знаком больше с армяком;
Как он бьется, пыхтит,
Застегнуться спешит:
Нараспашку принять – неучтиво.

А извольте посмотреть,
Как наша невеста
Не найдет сдуру места:

«Мужчина чужой!
Ой, срам-то какой!
Никогда с ними я не бывала,
Коль и придут, бывало, —
Мать тотчас на ушко:
«Тебе, девушке, здесь не пристало!»
Век в светличке своей я высокой

Прожила, проспала одинокой;
Кружева лишь плела к полотенцам,
И все в доме меня чтут младенцем!
Гость замолвит, чай, речь...
Ай, ай, ай! – стыд какой!..
А тут нечем скрыть плеч:
Шарф сквозистый такой —
Всё насквозь, на виду!..
Нет, в светлицу уйду!»

И вот извольте посмотреть,
Как наша пташка собирается улететь;
А умная мать
За платье ее хватить!

И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице, —
Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:

«Я, дескать, до денежек доберусь!»

Теперь извольте посмотреть:

Разные висят по стенам картины.

Начнем с середины:

На середине висит

Высокопреосвященный митрополит;

Хозяин христианскую в нем добродетель чтит.

Налево – Угрешская обитель²³

И во облацах над нею – святитель...

Православные, извольте перекреститься,

А немцы,

Иноземцы,

На нашу святыню не глумиться;

Не то – русский народ

Силой рот вам зажмет.

И вот извольте посмотреть:

По сторонам митрополита – двое

Наши знаменитые герои:

Один – батюшка Кутузов,

Что первый открыл пятки у французов,

А Европа сначала

Их не замечала.

Другой

Герой —

²³ *Угрешская обитель* – монастырь под Москвой, основанный в 1381 г. Дмитрием Донским в память победы в Куликовской битве.

Кульнев,²⁴ которому в славу и честь
Даже у немцев крест железный есть.²⁵

И вот извольте посмотреть:
Там же, на правой стороне, —
Елавайский²⁶ на коне,
Казацкий хлопчик
Французов топчет.
А на правой стене хозяйский портрет
В золоченую раму вдет;
Хоть не его рожа,
Да книжка похожа:
Значит – грамотный!

И вот извольте посмотреть:
Внизу картины,
Около середины,
Сидит сибирская кошка.
У нее бы не худо немножко
Деревенским барышням поучиться

²⁴ *Кульнев Я. П.* (1763–1812) – генерал, участник и герой Отечественной войны 1812 года.

²⁵ Имеется в виду прусский орден «Кульмский крест» за сражение при Кульме (17–18 августа 1813 г.), в котором войска союзников одержали победу над наполеоновскими войсками. С именем Я. П. Кульнева учреждение этого ордена связывается ошибочно.

²⁶ *Елавайский* – Иловайский И. Д. – генерал-майор, командир казачьего отряда, первым вступившего в Москву 11 октября 1812 г., когда французы начали отступать из города.

Почаще мыться:
Кошка рыльце умывает,
Гостя в дом зазывает.

А что, господа, чай, устали глаза?
А вот, налево, – святые образа...
Извольте перекреститься
Да по домам расходиться.

Пчела и цветок

Летая по свету, конечно, за медком,
Пчела влетела в дом.
Увидевши в окне горшочки

И в тех горшках цветочки,
Ну как не залететь?
Где до любимого коснется,
Не только что пчелам – и нам, людям, неймется.
Любимое хоть в щелку поглядеть —
И то отрада, —
А тут пчеле цветы – чего ж ей больше надо?
К тому ж людской разборчивый и прихотливый род
Цветов к себе дурных в хоромы не берет,
А из отличных всё пород.
Коль и на взгляд иной не так приятен,
Так уж, наверно, ароматен.
И подлинно, пчела
В дому один цветок породистый нашла,
Да только, не в родню, он что-то рос так бедно
И цвел так бледно,
Что не на что взглянуть.
Пчела подумала: «Попробую нюхнуть!
Авось утешусь ароматом,
Авось медку найду хоть атом!»
Но что же?... И того

Не оказалось у него.

Пчела плечами только жала:

«Земля, что ль, под тобой, цветочек, отошала?»

Подумала и вниз сползла —

Земля хорошая была

И полита как надо.

Трудолюбивую пчелу взяла досада.

(Кто сам трудолюбив,

К бездействию других ужасно щекотлив;

Сейчас подумает, что, верно, тот ленив.)

И, приписав всё лени,

Пчела укоры, пени

На хилого цветка

Посыпала как из мешка:

«Урод, – жужжит она, – позор своей породы!

Ты знаешь, как ее повсюду чтут народы?

А ты свои дары природы

Куда девал?»

И жало

Уж мезтью задрожало.

«А я, – тогда цветок уныло отвечал, —

Блажен, когда б об этом и не знал.

Желаньем не томясь и к цели равнодушный,

Я, может, лучше б цвел и в этой сфере душевной!

Окно на север здесь, любезная, взгляни!

Насупротив – стена, и я всю жизнь в тени.

В тени!.. Меж тем с порой изящества начало

В душе про сладкое про что-то зашептало,

Но вместе с тем, увы, тогда ж казалось мне,

Что что-то здесь в моем окне
Тот сладкий шепот заглушало,
Но я тогда еще был мал,
Неясно это понимал И рос, как все. Когда ж с явлением
почек
Все закричали: «Вот цветочек!» —
Тогда широкая молва
Души неясные слова
Собой мне разъяснила.
Я понял, чем меня природа одарила,
Какой блестящий мне дала она удел.
За ним, достичь его желаньем полетел —
Душа лишь только средств искала, —
Но в них, увы, судьба мне жадно отказала!
Я жажду солнца, но оно
В мое не жалуется окно!
Желанья пылкие желаньями остались,
От безнадежности лучи их к центру сжались,
И спертый жар теперь как ад во мне палит
И весь состав мой пепелит!
Так не дивись, пчела, что я цвету так вяло,
И не брани меня, не разобрав, за лень.
Ничтожности моей начало —
Тень!..»

Талант, молись, чтоб счастья солнце
Взглянуло иногда в твое оконце.
Иначе, как цветы,
В тени замрешь и ты.

10 июля 1849

Усердная Хавронья

Не далее как в нынешнем году
В одном саду
Любимая из барыниных дочек,
Лет четырех, сама цветочек,
Хотела розанчик сорвать
Да, позабывши про колючки,
С разбега хватъ —
И ободрала ручки!
«Ай, ай!» – швырнувши прочь цветок,
Бедняжка зарыдала.
На звонкий голосок
Мамаша прибежала.
Увидевши в крови любимое дитя,
Перепугалась не шутя;
Сейчас ребенка подхватила,
Лечить в хоромы потащила...
Ребенок на руках у матери ревет,
Колючки острые клянёт,
За ним и мать вопит, колючки проклиная.
«Вот я их! – говорит, ребенка утешая. —
Колючки гадкие! Вишь, смели обижать
Малюточку мою! Сейчас их всех содрать».
Конечно, всё лишь это были прибаутки
Для шутки

От истинной любви к малютке.
Хавронье ж, горничной, случись вблизи стоять.
Привыкши век свой всё буквально понимать, —
Притом же с барыней холопке что за шутки! —
Хавронья и на этот раз
Всё поняла за истинный приказ,
Хоть очевидно,
Для сада будет преобидно.
Хоть говорится иногда:
Спрос не беда,
Не послушанье
(Ведь ухо может изменить) —
Сомнительное приказанье
Не грех подчас переспросить.
Иль в знак сомнения хоть за ухом почешешь:
За что ж, мол, иль себя, или господ опешишь?
Лишь стоит быть чуть-чуть с умом.
Но бабы как-то слабы в нем!
Хавронья ж добрая была зато такая,
Что обыщите целый свет —
Подобной нет!
А потому, припоминая,
Что этот плач и вой
В дому от игл уж не впервой,
Ей было по душе скорей беду исправить,
Чтоб и вперед дитя от бед избавить
И дому барскому усердые показать.
(Хорошие дела откладывать не надо:
А может, будет и награда!)

Давай сейчас в саду колючки оскребать!
Обчистив розы, отправилась в шиповник,
Потом в крыжовник,
В малину сочную – везде колючки есть!
На всё колючее изволила насесть.
С колючками кой-где и кожу всю содрала
И неколючее вокруг всё перемяла.
Через неделю всё повяло!
Колотья нечем!.. Бабе честь!..
Зато понюхать иль поесть
В саду бывало прежде густо,
А нынче – пусто!..

1849 (?)

И так у нас в натуре:
Мигни только цензуре.

Словно север магнит...

Словно север магнит,
Меня глаз твой манит —
Восхитительный глаз.
Томный, нежный, как даль,
И блестящий, как сталь —
Вороненая сталь.
Как челнок в молоке
На Эдемской реке —
Перелетный зрачок.
Твой таинственный круг
С перламутром вокруг —
С перламутром живым.
С век ресниц густой лес
Бросил тайны навес
На огнистый глазок,
А слезинка-роса
Утра – девы краса —
Раскатилась волной.

Что слеза течет...

Что слеза течет
Из очей твоих, добрый молодец?
Что ты, молодец, стариком
Смотришь? Ни забавами
Не забавишься, ни речей молвишь,
Ни споешь песни по-бывалому?
Худо молодцу.
Прежде где тебя искать, молодца?
В посиделки – марш. – Там найдешь тебя.
Красный молодец красным девицам
Был калач с медом. А теперь сухарь,
Смотреть не на что. Напросился сам
Лихой болести. Скребет под сердцем,
Сердце высохло.
А с пустым сердцем и истерзанным,
Что с пустой сумой и изорванной,
Плохо в свете жить.
Опустились руки молодца работающие,
Бегуны-ноги подкосились...

Счастье заперто золотым ключом...

Счастье заперто золотым ключом:
Не цветным оно, и не месячным,
И не радужным, и не солнечным —
А горит оно золотым лучом!..
Оно нежится и покоится
В золотом шатре, на златом ковре.
Говорят, в добре обретешь его.
Часто добрые ходят по миру
В жгучем холоде, в тошном голоде —
Сердцу ангела не полюбится!
Говорят еще – счастье верный друг
Чистой совести. Чистой совести?!
Совесьть чистая, струнка звонкая
И досадная – от всего гудит!
Совесьть чистая – море гладкое и спокойное,
Коли море есть, так и бури есть,
И несчастья, и крушения...

10 ноября 1847 г.

Со вчерашнего дня...

Со вчерашнего дня
Ее нет для меня. —
Уж с другим под венцом
Поменялась кольцом;
Ему верною быть,
Его нежно любить
Клятву богу дала, —
Перед богом лгала!
Правда, верною быть
Можешь ты, но любить?...
(Память как истребить,
Как насильно забыть?)
Ты любила меня
До венчального дня,
И любила за что?...
За красу? – Нет, не то!
Я не так-то пригож
Из себя – так за что ж?
Неужель за мундир?
Но и новый кумир
Твой не носит мундир,
Ни то я весельчак,
Ни удалый смельчак,
Ни шаркун, ни танцор,
Иль сердец славный вор,

Даже в дамском кругу
Был я век ни гу-гу!
Разум – очень простой.
Карман? – вовсе пустой...
А любила меня
До венчального дня!
Что ж такое во мне?
Не в душе ли на дне
Отыскала ты что
И любила за то?
Не сыскала ль ты там,
Что я прячу там сам
От холодных людей,
Полных светских идей, —
Тему жизни моей?...
И пленившись ей,
Ты нашла, что она
Из *Любви* спрядена,
Добротой заткана
И *Трудом* скреплена.
Что любовь та, что там,
Не к минутным вещам,
Что добро то, что там,
Раздается людям
Не в мешках золотых,
А в идеях простых,
На основах святых.
И что труд тот, что там,
Добровольно я сам

Предпринял для людей
Без корыстных идей. —
Коль ты так поняла,
То вчера ты лгала,
Когда клятву дала
Век другого любить
И меня позабыть.

Коль не так поняла,
Ты свободна была —
Честно клятву дала.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменила вполне.
Коль не так поняла,
Ты другого ждала,
Ты ждала лишь чепца,
Твоим деткам отца.
Вот теперь есть и муж.
Он хоть стар, неуклюж
И, коль верить людям,
Он душою не прям
(Что залого берет
И проценты дерет),
Что схвастнуть тороват,
Но зато он богат.
Он в довольстве, в добре,
Все кругом в серебре,

В злате, в камнях драгих.
И в палатах больших
Будет нежить тебя,
Может, страстно любя.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменила вдвойне:
Будешь в роскоши жить,
Как со мной бы не быть.
Мой удел не таков!..
Не давать мне балов
И богатым не быть!
Мой удел – скромно жить.
Коль не душу мою
Ты любила во мне,
То потерю свою
Заменила втройне:
В жемчугах, в бирюзах
Ездить с пира на пир,
Веселее в глазах
Весь покажется мир.
Пусть набитый карман
Есть моральный обман,
Но какая-то есть
В нем могучесть! И честь
И патенты к уму —
Все доступно ему.
Так от мужниных сумм

Вознесется твой ум.

И, полна гордых дум,
Если вспомнишь хоть раз,
Что обоих бы нас
Ожидало с тобой, —
Будешь ты в этот час
Предовольна собой!
Если ж душу мою
Ты любила во мне,
То, мой друг, позабудь!
Лучше твердою будь! —
Больше слез сбережешь:
Что прошло – не вернешь,
Что венцом скреплено —
Как натурой дано!
Если ж душу мою
Ты любила во мне,
Я потерю мою
Постигаю вполне.
И когда твой супруг
Будет счастлив с тобой,
Я, – поверь, милый друг, —
Посмеюсь над собой.

Бог взамен великих сумм...

Бог взамен великих сумм
Дал мне благо чистых дум,
Мытых в горьких слезах.
Вековечней этот дар,
Чем все золото гордых бар,
Без труда, с наследством.
На скопленных золотых
Не напишут имя их
В память для потомков.
Эта честь одним царям
Да талантливым трудам —
Имя их навеки.
С болью золото с рук идет,
Рад делиться думой плод
С тем, кто это ценит.
Попроси у богача,
Скажет: не найду ключа,
В деньгах он откажет.
Мысль – свеча, от ней зажечь
Можно миллионы свеч, —
Пламя не убудет.

Из послания к Н.С. Шишмаревой

...Такая роль,
Как я играл в Москве, не ноль,
Я даже был формально в моде
И не в одном своем приходе —
У Харитонья в огороде,
За мною слали все гонцы,
Князья, бояре и купцы,
Вдобавок про меня писали,
Хоть вы, конечно, не читали:
К лицу ли вам журнальный вздор!
Зато других всеобщий взор
Следил меня за каждым шагом.
Для праздной скуки был я благом,
И даже (это хоть секрет)
Восторгов я бывал предмет.
Божусь, таинственные лица,
Какие-то три баловницы,
Ко мне послания в стихах
Прислали. Жар какой в строках!
Конечно, это бережется
И, может, вам когда прочтется,
И наконец, в последний день,
Тащиться только было лень,
Укладкой занят был к тому же,
Одна N. N. прислала мужа,

Чтоб он меня с собою взял
К дагерротипщику и снял
Портрет мой! – Только без портрета
Уехал. Все же лестно это...
...Спокойны можете быть вы —
Для света жизнь моя отпета.
Меня всегда условия света
Своею мелкой суетой
И безутешной пустотой
Пугали. К благородной цели
Я шел в тиши. Достиг. И мне ли
Теперь опять в чаду побед
В оставленный с презреньем свет
С повинной головой вернуться!
Перед обычаями гнуться
Мне, победившему, рабом!
Нет, нет! В успехе я моем
Тому лишь только и обязан,
Что я со светом не был связан.
Запаса божеских даров
Не растерял там средь пиров
Иль мелочной визитной гонки —
Итоги этих дел не звонки;
Я ж время, как алмаз, берег —
И звонче вышел мой итог.
Хоть потихоньку, год от году
Мое уж имя по народу
Разносится с хвалой. Ужель
Бедна, бледна такая цель?

А я дитей не слыл как гений,
Все жертвой светских наслаждений,
Презреньем к свету все купил
То, чем теперь я людям мил.
Меж тем теперь не раз княгини
Мне говорили: «Если б в сыне
Могло развиться все, как в вас». —
«Коль есть талант, то в добрый час! —
Я отвечал. – Дары природы
Не любят только света моды,
Пускай отдаст их ваш сынок
За скромный тихий уголок,
За мысль: что высшее стремление,
Души прямое назначение —
Развитье лучших свойств ее,
Что вот что истинно свое.
Чинам в беде – грозит солдатство.
Невзгоды есть и для богатства,
И связи – прах: сегодня – князь,
А завтра, смотришь, втопан в грязь.
Все – случай. Но талант развитый,
Как монумент из меди литый.
Зарой хоть в землю! Сто веков
Там пролежит. Откройте, – нов!
И снова – людям утешенье —
Он хорошеет от гоненья...»

К живому идеалу

Знаешь ли, душечка, как ты мне нравишься!
Просто беда пришла, с сердцем не справишься,
Так и клокочет в груди.

Но, может, таю, мечтаю напрасно я,
Ты и не внемлешь, быть может, прекрасная.
Знаю наверное, розочка алая,
Что не рожден в твоего идеала я,
Ты же с моим, как две капли, родилася,
С первую встречей в душе воцарилася.
Прочь, мечта брака, мечта, всем доступная,
Если желать, так уж что-нибудь крупное, —
Славы искать впереди!

Трудно ужиться Любви со славою,
Обе друг другу век будут отравой,
Обе равно для души моей милые.
Двум угодить – где возьму столько силы я?
Дум углубленье морозит объятия,
Жар поцелуев туманит понятия.

* * *

Прочь, мечта брака, в любви неизбежная,

Прочь, розы уст, скройся, грудь белоснежная!
Бури в груди с вами жди!
Будь лишь мне, душечка, ангелом, гением,
Правь моим сердцем, моим вдохновением,
Дух укрепляй мой в минуту усталости,
В замыслах черных будь грозна без жалости!
Кто ж будет муж твой – не знаю я...
Волен во сне лобызать твои очи я.

* * *

Я наряжу тебя в пышной фантазии
Лучше, чем жен своих деспоты Азии, —
Солнце пришью ко груди,
В косу луну диадемой вверх рожками,
Старшие звезды сережками, брошками.

В. Г. Перов

1834–1882 гг.²⁷

Тетушка Марья

Несколько лет тому назад я писал картину,²⁸ в которой мне хотелось представить типичного мальчика. Долго я его отыскивал, но, несмотря на все поиски, задуманный мною тип не попадался. Однако раз весной, это было в конце апреля, в великолепный солнечный день я как-то бродил близ Тверской заставы, и навстречу мне стали попадаться фабричные и разные мастеровые, возвращающиеся из деревень, после Пасхи, на свои тяжелые летние работы; тут же проходили целые группы богомольцев, преимущественно крестьянок, шедших на поклонение преподобному Сергию и московским чудотворцам; а у самой заставы, в опустелом сторожевом доме с заколоченными окнами, на полуразвалившемся крыльце я увидел большую толпу усталых пешеходов. Иные из них сидели и пережевывали какое-то подобие хлеба; другие, сладко заснув, разметались под теплыми лучами

²⁷ Все произведения печатаются по изданию: *Перов В.* Рассказы художника. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1960.

²⁸ Речь идет о картине «Тройка. Ученики мастеровые везут воду».

блестящего солнышка. Картина была привлекательная!

Я стал вглядываться в ее подробности и в стороне заметил старушку с мальчиком. Старушка что-то покупала у вертлявого разносчика. Подойдя ближе к мальчику, я невольно был поражен тем типом, который так долго отыскивал. Я сейчас же завел со старушкой и с ним разговор и спросил их между прочим: откуда и куда они идут? Старушка не замедлила объяснить, что они из Рязанской губернии, были в Новом Иерусалиме, а теперь пробираются к Троице-Сергию и хотели бы переночевать в Москве, да не знают, где приютиться.

Я вызвался показать им место для ночлега. Мы пошли вместе. Старушка шла медленно, немного прихрамывая. Ее смиренная фигура с котомкой на плечах и с головой, обернутой во что-то белое, была очень симпатична. Все ее внимание было обращено на мальчика, который беспрестанно останавливался и смотрел на все попадающееся с большим любопытством; старушка же, видимо, боялась, чтобы он не затерялся. Я между тем обдумывал, как бы начать с ней объяснение по поводу моего намерения написать ее спутника. Не придумав ничего лучшего, я начал с того, что предложил ей денег. Старушка пришла в недоумение и не решалась их брать. Тогда уже, по необходимости, я сразу высказал ей, что мальчик мне очень нравится и мне бы хотелось написать с него портрет. Она еще более была удивлена и даже как будто оробела. Я стал объяснять мое желание, стараясь говорить как можно проще и понятнее. Но как я ни ухитрялся, как

ни разъяснял, старушка почти ничего не понимала, а только все более и более недоверчиво на меня посматривала. Я решился тогда на последнее средство и начал уговаривать пойти со мною. На это последнее старушка согласилась. Придя в мастерскую, я показал им начатую картину и объяснил в чем дело. Она, кажется, поняла, но тем не менее упорно отказывалась от моего предложения, ссылаясь на то, что им некогда, что это великий грех, да, кроме того, она еще слышала, что от этого не только чахнут люди, но даже умирают. Я по возможности старался уверить ее, что это неправда, что это просто сказки, и в доказательство своих слов привел то, что и цари, и архиереи позволяют писать с себя портреты, а св. евангелист Лука был сам живописец, что есть много людей в Москве, с которых написаны портреты, но они не чахнут и не умирают от этого. Старушка колебалась. Я привел ей еще несколько примеров и предложил ей хорошую плату. Она подумала, подумала и, наконец, к моей великой радости, согласилась позволить снять портрет с ее сына, как оказалось впоследствии, двенадцатилетнего Васи. Сеанс начался немедленно.

Старушка поместилась тут же, неподалеку, и беспрестанно приходила и охорашивала своего сына, то поправляя ему волосы, то одергивая рубашку: словом, мешала ужасно. Я попросил ее не трогать и не подходить к нему, объясняя, что это замедляет мою работу.

Она уселась смиренно и начала рассказывать о своем жи-

тье-бытье, все посматривая с любовью на своего милого Васю. Из ее рассказа можно было заметить, что она вовсе не так стара, как мне казалось с первого взгляда; лет ей было немного, но трудовая жизнь и горе состарили ее прежде времени, а слезы потушили ее маленькие кроткие и ласковые глазки.

Сеанс продолжался. Тетушка Марья, так ее звали, все рассказывала о своих тяжелых трудах и безвременье; о болезнях и голоде, посылаемых им за их великие прегрешения; о том, как схоронила своего мужа и детей и осталась с одним утешением – сынком Васенькой. И с той поры, уже несколько лет, ежегодно ходит на поклонение великим угодникам божиим, а нынешний раз взяла с собой в первый раз и Васю.

Много рассказывала она занимательного, хотя и не нового, – о своем горьком вдовстве и бедности крестьянской.

Сеанс был кончен. Она обещала прийти на другой день и сдержала свое обещание.

Я продолжал мою работу.

Мальчик сидел хорошо, а тетушка Марья опять много говорила. Но потом начала позевывать и крестить свой рот, а наконец, и совсем задремала. Тишина настала невозмутимая, продолжавшаяся около часу. Марья спала крепко и даже похрапывала.

Но вдруг она проснулась и стала как-то беспокойно суетиться, ежеминутно спрашивая меня, долго ли я еще их продержу, что им пора, что они опоздают, время-де далеко за

полдень и нужно бы давно им быть в дороге. Поспешив окончить голову, я поблагодарил их за труд, рассчитался с ними и проводил их. Так мы и расстались, довольные друг другом.

Прошло около четырех лет. Я забыл и старушку и мальчика. Картина давно была продана и висела на стене известной в настоящее время галереи г. Третьякова).

Раз в конце страстной недели, возвратившись домой, я узнал, что у меня была два раза какая-то деревенская старуха, долго дождалась и, не дождавшись, хотела прийти завтра. На другой день, только что я проснулся, мне сказали, что старуха здесь и ждет меня. Я вышел и увидел перед собою маленькую, сгорбленную старушку с большой белой головной повязкой, из-под которой выглядывало маленькое личико, изрезанное мельчайшими морщинками; тонкие губы ее были сухи и как бы завернулись внутрь рта; маленькие глазки глядели грустно.

Лицо ее было мне знакомо: я видел его много раз, видел и на картинах великих живописцев и в жизни. Это была не простая деревенская старушка, каких мы встречаем так много, нет – это было типичное олицетворение беспредельной любви и тихой печали; в нем было что-то среднее между идеальными старушками в картинах Рафаэля и нашими добрыми старыми нянями, которых теперь уже нет на свете, да и вряд ли когда-либо будут им подобные. Она стояла, опираясь на длинную палочку, со спирально вырезанной корой; ее нагольный полушубок был опоясан какою-то тесьмой; веревка

от котомки, закинутой на спину, стянула воротник ее полушубка и оголила исхудалую, морщинистую шею; ее неестественной величины лапти были покрыты грязью; все это ветхое, не раз чиненное платье имело какой-то печальный вид, и что-то пришибленное, страдальческое проглядывало во всей ее фигуре. Я спросил, что ей нужно. Она долго беззвучно шевелила губами, бесцельно суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платочек, подала их мне, прося убедительно принять подарок и не отказать ей в ее великой просьбе. Тут она сказала мне, что знает меня давно, что года три назад она была у меня и я списывал ее сына, и, насколько умела, даже объяснила, какую я писал картину. Я вспомнил старушку, хотя и трудно было узнать ее: так она постарела в это время! Я спросил ее, что привело ее ко мне? И только я успел произнести этот вопрос, как мгновенно все лицо старушки как будто всколыхнулось, пришло в движение: нос ее нервно задергался, губы задрожали, маленькие глазки часто-часто заморгали и вдруг остановились. Она начала какую-то фразу, долго и неразборчиво произносила одно и то же слово и, видимо, не имела сил досказать этого слова до конца. «Батюшка, сынок-то Мой», – начала она чуть ли не в десятый раз, а слезы текли обильно и не давали ей говорить. Они текли и крупными каплями быстро скатывались по ее морщинистому лицу. Я подал ей воды. Она отказалась. Предложил ей сесть – она осталась на ногах и все плакала, утираясь мохнатою полою своего закорюзлого по-

лушубка. Наконец, наплакавшись и немного успокоившись, она объяснила мне, что сынок ее, Васенька, прошлый год заболел оспой и умер. Она рассказала мне со всеми подробностями о его тяжелой болезни и страдальческой кончине, о том, как опустили его во сыру землю, а с ним зарыли и все ее утехи и радости. Она не винила меня в его смерти, – нет, на то воля божия, но мне казалось самому, как будто в ее горе отчасти и я виновник. Я заметил, что она также думала, хотя и не говорила. И вот, похоронивши свое дорогое дитя, распродавши весь свой скарб и проработавши зиму, она скопила деньжонок и пришла ко мне с тем, чтобы купить картину, где был списан ее сынок. Она убедительно просила не отказать ей в ее просьбе. Дрожащими руками развязала она платок, где были завернуты ее сиротские деньги, и предложила их мне. Я объяснил ей, что картина теперь не моя и что купить ее нельзя. Она опечалилась и начала просить, нельзя ли ей хоть посмотреть на нее. Я ее обрадовал, сказавши, что посмотреть она может, и назначил ей на другой день отправиться со мной; но она отказалась, говоря, что уже дала обещание страстную субботу, а также и первый день Светлого праздника пробыть у св. угодника Сергия, и, если можно, то придет на другой день Пасхи. В назначенный день она пришла очень рано и все торопила меня идти скорее, чтобы не опоздать. Часов около девяти мы отправились к г. Т(ретьякову). Там я велел ей подождать, сам пошел к хозяину, чтобы объяснить ему в чем дело, и, разумеется, немедленно полу-

чил от него позволение показать картину. Мы пошли по богато убранным комнатам, увешанным картинами, но она ни на что не обращала внимания. Придя в ту комнату, где висела картина, которую старушка так убедительно просила продать, я предоставил ей самой найти эту картину. Признаюсь, я подумал, что она долго будет искать, а быть может, и совсем не найдет дорогие ей черты; тем более это можно было предположить, что картин в этой комнате было очень много. Но я ошибся. Она обвела комнату своим кротким взглядом и стремительно пошла к той картине, где действительно был изображен ее милый Вася. Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: «Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!» – и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол.

Предупредивши человека, чтобы он оставил в покое старушку, я пошел наверх к хозяину и, пробывши там около часу, вернулся вниз посмотреть, что там происходит. Следующая сцена представилась моим глазам: человек, с влажными глазами, прислонившийся к стене, показал мне на старушку и быстро вышел, а старушка стояла на коленях и молилась на картину. Она молилась горячо и сосредоточенно на изображение ее дорогого и незабвенного сына. Ни мой приход, ни шаги ушедшего слуги не развлекли ее внимания; она ничего не слыхала, забыла обо всем окружающем и только видела перед собой то, чем было полно ее разбитое сердце. Я

остановился, не смея помешать ее святой молитве, и, когда мне показалось, что она кончила, подошел к ней и спросил: нагляделась ли она на своего сына? Старушка медленно подняла на меня свои кроткие глаза, и в них было что-то неземное. Они блестели каким-то восторгом матери при нечаянной встрече своего возлюбленного и погибшего сына. Она вопросительно остановила на мне свой взгляд, и было ясно, что она меня или не поняла, или не слышала. Я повторил вопрос, а она тихо прошептала в ответ: «Нельзя ли к нему приложиться», – и показала рукой на изображение. Я объяснил, что этого нельзя, по наклонному положению картины. Тогда она стала просить позволить ей еще насмотреться в последний раз в ее жизни на ее милого Васеньку. Я ушел и, возвратившись с хозяином г. Третьяковым) часа через полтора, увидел ее, как и в первый раз, все в том же положении, на коленях перед картиной. Она нас заметила, и тяжелый вздох, более похожий на стон, вырвался из ее груди. Перекрестившись и поклонившись еще несколько раз до земли, она проговорила: «Прости, мое дорогое дитя, прости, мой милый Васенька!» – встала и, обернувшись к нам, начала благодарить г. Т(ретьякова) и меня, кланяясь в ноги. Г. Т(ретьяков) дал ей несколько денег. Она взяла и положила их в карман своего полушубка. Мне казалось, что она это сделала бессознательно.

Я, со своей стороны, обещал написать портрет ее сына и прислать ей в деревню, для чего взял ее адрес. Она опять по-

валилась в ноги – немало было труда остановить ее от изъявления такой искренней благодарности; но, наконец, она как-то успокоилась и распрощалась. Сходя со двора, она все крестилась и, оборачиваясь, кому-то низко кланялась. Я также простился с г. Т(ретьяковым) и пошел домой. На улице, обгоняя старушку, я посмотрел еще раз на нее: она шла тихо и казалась утомленной; голова ее была опущена на грудь; по временам она разводила руками и о чем-то сама с собой разговаривала.

Через год я исполнил свое обещание и послал ей портрет ее сына, украсивши его вызолоченною рамкою, а спустя несколько месяцев получил от нее письмо, где она мне сообщала, что «лик Васеньки повесила к образам и молит бога о его успокоении и моем здравии». Все письмо от начала до конца состояло из благодарностей.

Вот прошло добрых пять или шесть лет, а и доньше нередко передо мной проносится образ маленькой старушки с ее маленьким личиком, изрезанным морщинками, с тряпицею на голове и с заскорузлыми руками, но великой душой.

И эта простая русская женщина в ее убогом наряде становится высоким типом и идеалом материнской любви и смирения.

Жива ли ты теперь, моя горемычная? Если да, то посылаю тебе мой сердечный привет.

А быть может, давно уже она покоится на своем мирном сельском кладбище, испещренном летом цветами, а зимой

покрытом непроходимыми сугробами, – рядом со своим возлюбленным сынком Васенькой.

На натуре (Фанни под № 30)

В больнице

В 67-м году я писал картину под названием «Утопленница». Мне понадобилось написать этюд с мертвого молодого женского лица. Я обратился к одному своему приятелю доктору, а он дал мне рекомендательное письмо к другому доктору, служившему в полицейской больнице; этот последний, когда я к нему явился, немедленно повел меня в покойницкую, которая помещалась в саду, довольно далеко от здания больницы. Нас там встретил старый и, что называется, плюгавый солдатик с шершавыми волосами и усами, росшими в одну сторону, вероятно, от частого утирания носа рукавом. На вопрос доктора: сколько мертвых женщин? – он, как-то комично вытянувшись, отвечал:

– Женщин ни одной нет-с; а только и есть что два, в нынешнюю ночь умершие, арестанта да повесившийся кучер.

– Так вот что, Заверткин! (таково было прозвище солдата). Когда у тебя будут мертвые женщины, то извести вот их (он указал на меня). Им нужно списать, понимаешь?

– Слушаю, ваше благородие!.. А куда прикажете изве-

стить?

Я дал Заверткину адрес, и мы расстались.

Дня через четыре или пять Заверткин явился ко мне и «отлепортовал», что мертвых женщин довольно, а на вопрос мой: «Есть ли молодые?» – тряхнув головой, ответил:

– Всяких довольно!.. – причем утер рукавом нос.

На другой день я был в больнице. Старый солдатик встретил меня в очень ветхом военном сюртуке, поверх которого был надет заскорузлый с нагрудником фартук. Стараясь помочь мне внести шкатулку и другие принадлежности для живописи, солдатик засуетился.

– Пожалуйста сюда!.. все готово!.. – заискивающе говорил он.

Мы вошли сперва в мертвецкий покой. Это была очень большая четырехугольная комната, выкрашенная белой краской, с каменным полом. На стене висела картина, изображающая Снятие со креста, а около нее помещалось очень много больших и маленьких образов. Кругом стен шла сплошная широкая лавка; только в одном углу у двери стоял небольшой деревянный стол, за которым сидела и что-то шила пожилая женщина, одетая чуть не в лохмотья. На полу возились ребятишки.

Заверткин провел меня в смежную комнату, направо. Она была меньше первой. В ней стоял большой четырехугольный стол из серого мрамора с круглым отверстием посередине, и больше мебели не было никакой. Пол был густо усыпан

песком, как в цирке. Сюда-то Заверткин внес все мои вещи и, положив их на пол, еще раз сказал: «Пожалуйста!»

Мы пошли в третью комнату. Чтобы войти в нее, нам нужно было подняться на несколько ступенек. Это была не комната, а скорее пустой полутемный чердак. Оказалось, однако, что это был и не чердак, и не комната, а просто ледник, устроенный так: внизу был ямник, где лежал лед, а над ним дощатый, с большими щелями пол, на который клали трупы, чтобы в летнее жаркое время трупы эти не скоро разлагались.

Осмотревшись, я ясно различил несколько покойников, лежащих рядом и прикрытых простынями.

Заверткин бесцеремонно начал сдергивать с них простыни, приговаривая:

– Эво! Сколько у нас красавиц-то! Выбирайте, ваше благородие, которая вам более подходяща.

Я указал на один труп, показавшийся мне всех моложе.

– Вот эту бы, – сказал я.

– Слушаю! – проговорил Заверткин и, раздвигая ногой покойников направо и налево, прошел к указанному мною трупу. Взяв в охапку, он взвалил, кряхтя, труп на плечо и пошел с ним из ледника, прибавив свое неизбежное: пожалуйста!

Мы вернулись в комнату, где лежали мои вещи.

Заверткин нес свою ношу, как мешок с овсом, и, остановясь, спросил:

– Где прикажете положить?

Я указал. Принагнувшись немного, Заверткин сбросил с плеча со всего размаха свою ношу на пол. Как-то ткнувшись головой и раскинув крестообразно руки, труп грузно шлепнулся о мягкий песчаный пол. Это был труп молодой исхудалой женщины. Длинная коса ее раскинулась по песку, грудь обнажилась, рубашка завернулась выше колен.

Я взглянул на нее и чуть не вскрикнул от изумления: «Боже мой, да это Фанни!..»

И действительно, это была она, со своими темно-красными волосами. «О! Фанни! Фанни! Так вот где мне пришлось с тобой встретиться. Бедная женщина!»

Но об этом после.

Наскоро устроившись, с помощью Заверткина, я принялся за работу. Заверткин, повертевшись немного около меня, ушел. Я остался один...

Окно отворено. Кругом сад. В саду так тепло и весело, солнце жжет... Отчего же мне так холодно и жутко... и так болезненно заныло сердце?...

Но я работаю; и чем больше смотрю на покойницу, тем только живее и живее она мне представляется. Точно несколько дней назад мы с ней виделись! Минутами мне даже кажется, что она смотрит на меня и тяжело дышит. Мне становится в эти минуты как-то страшно... А мухи массаами так и летают вокруг; поползав по покойнице, они роями перелетают на меня и лезут в рот и глаза... Страшно... и хо-

лодно...

Но, слава богу, явился Заверткин, вытирая по обыкновению нос и губы рукавом. От него пахло водкой. Видимо, что он прилично, как говорится, выпил и закусил.

Присевши на мраморный стол, он, улыбаясь, развязно уже обратился ко мне с вопросом:

– А вы изволите все трудиться?

И тут же как бы в заключение вопроса вытащил табакерку и с остервенением понюхал табаку.

– Да, работаю... А скажите, пожалуйста, вы давно здесь служите? – спросил я его.

– Давненько-с, ваше благородие! Лет двадцать, почесь, будет!

– Где же вы живете?

– Как, где живу? – переспросил он.

– Ну-да! Где ваша квартира?

– А вот... тут рядом. Вы проходили ейной.

– И вам не страшно?

Понюхав опять табаку и ехидно засмеявшись, Заверткин ответил:

– Страшно?... Бона! Пора пройтись страху... По мне теперича все едино: что живой, что мертвый... Да живого-то еще больше нужно опасаться! – добавил Заверткин внушительно. – А то страшно!.. Вы верите ли, ваше благородие?... Грешный человек! Иной раз не в меру выпить случится... баба ругается... ну и уйдешь от нее на ледник, где мы с вами

были, раздвинешь приятелей-то, Да и заляжешь в середку... и такую-то задашь высыпку... Там, знаете, и прохладно, и муха не тревожит... А то – страшно!.. Нам ведь нельзя бояться, потому мы всегда с ними.

И он указал рукой на труп Фанни, раскинувшийся точно от жары и истомы.

– Что это у нее за ярлык привязан к руке? – спросил я, заметив бляху на руке Фанни.

Заверткин с каким-то презрением скосил глаза на покойницу и отвечал:

– Это значит, гулящая... Ведь они словно оглашенные: ни отчества, ни прозвища не имеют... Кладут их в больницу просто: Дарья либо Марья под таким-то номерком. А эта...

И он слез со стола, наклонился над трупом и, посмотрев на жестяную бляху, сказал:

– А эта – Фенька под № 30...

Становилось темно. Пора было кончать работу.

– Прикажете ее убрать? – осведомился Заверткин.

Я попросил не убирать и, если можно, оставить все так, как есть, до завтра.

– Слушаю-с! Можно и так оставить... Вот только как бы ее крысы не испортили... уж очень много у нас развелось их, проклятых!

И Заверткин, из предосторожности, снял свой закорузлый фартук и накрыл им покойницу.

На другой день я приехал рано. На мраморном столе, где

вчера сидел Заверткин, лежал теперь труп мужчины, покрытый чистой простыней. Только я уселся работать, как вошел знакомый доктор и просил меня выйти, объясняя, что нужно анатомировать труп.

– Вам неприятно ведь будет это видеть, – добавил он как бы в свое оправдание.

Я вышел. Навстречу мне попались еще два доктора, а с ними, суетясь и забегая вперед, семенил Заверткин.

Не прошло и получаса, как я опять сидел за работой. Труп по-прежнему лежал закрытый на столе. Только под столом явился большой медный таз, куда, шлепая тяжелыми каплями, стекало что-то, походящее на кровь.

Через несколько времени доктора снова вернулись, но в сопровождении уже главного доктора. Заверткин быстро сдернул простыню с покойника.

Главный доктор, высокий, полный, на вид гордый мужчина, прежде всего подошел ко мне. Молча посмотрел он на меня, потом на мою работу и, не проронив ни слова, отвернулся и подошел к трупу.

Старший ординатор, маленький, тщедушный, в очках и с измятым лицом, точно невыспавшийся, как-то вяло и нехотя сообщил о результате вскрытия мозга покойника.

– А сердце?

– И сердце тоже! – отвечал ординатор по-латыни.

– Гм!.. – промычал главный доктор и, обратись к Заверткину, сказал: – Ну-ка, брат, достань сердце.

Заверткин засучил рукава и обеими руками влез во внутренности покойника. Порывшись там, он что-то вытащил, и это «что-то» браво поднес на ладони главному доктору.

Ах, какое противное показалось мне на вид сердце человеческое!

Доктор велел его порезать.

Заверткин схватил нож и начал по нем пиликать. Я слышал какой-то неприятный и скрипящий звук.

– Что? – спросил главный доктор. – Скрипит?

– Скрипит, ваше превосходительство!

– Ну, хорошо! – и, обратясь к докторам он стал им что-то говорить, выходя в то же время за дверь.

Заверткин торопливо сунул сердце внутрь покойника, закрыл покойника простыней и бросился затем догонять докторов. Мне хотелось как можно скорее кончить этюд; но, к несчастью, разболелась голова, и этюда я не дописал.

Проходя через комнату, где жил Заверткин, я увидел на широкой лавке пустой желтый гроб. За столом пожилая женщина и дети хлебали щи из большой деревянной чашки.

Посмотревши на эту картину, я уже совсем выходил из мертвецкой, как вдруг, навстречу мне, в дверях показалась толстая «мамаша» (это была хозяйка известного сорта девиц, которую все они зовут обыкновенно «мамашей»). Я сразу узнал ее. Она вошла, грузно переваливаясь; за ней шли девицы; одна из них несла большой узел.

Заверткин, завидев «мамашу», заегозил и засуетился. Он

подал «мамаше» стул, на который, отдуваясь и вздыхая, она устало опустилась. Заверткин сбегал сейчас же за другим солдатом, – худым и высоким, – и оба они бережно вынесли на простыне и положили на пол, около пустого гроба, тело Фанни. Когда солдаты вносили ее, «мамаша» встала и начала плакать, а девицы все бросились к телу и стали крепко-крепко целовать Фанни в холодный лоб, в посинелые губы и в поблекшие щеки, заливаясь при этом горькими слезами.

Наплакавшись и нацеловавшись, они вынули из узла вещи и приступили к одеванию. Покойницу, чтоб удобнее было одевать, посадили... голова ее скатилась на грудь. Заверткин стал сзади на колени и поддерживал на бок валившийся труп. После долгой возни платье было надето. Девицы расчесали затем темно-красные волосы бедной Фанни, и все, разом подняв ее с пола, положили в гроб, где уже начали охорашивать и убирать голову цветами.

«Мамаша» отошла и села на стул, который быстрым движением успел подать ей Заверткин.

Я подошел к «мамаше» и спросил, долго ли была больна Фанни?

«Мамаша», как бы обрадовавшись, взглянула на меня...

– А вы разве знали ее?

– Да, знал! – и я припомнил ей мое посещение, о котором расскажу несколько далее.

– А ведь хорошая была девушка Фанни! – сказал я. «Мамаша» пустилась ее расхваливать.

– Ах, какая была хорошая!.. – заговорила она печальным голосом, вытирая платком свои заплывшие жиром глаза. – Безответная была девица!.. Таких немного... Она у меня давно жила... И я не раз замечала, что она болеет. Бывало, спросишь ее: «Фанни! Ты больна?» – «Нет! – говорит, – ничего, «мамаша!»» – А вот тебе и ничего!.. Скрытная была девушка... И верите ли! Дня три тому назад она была такая веселая весь вечер... все пела и пила портер с гостями... А наутро, как полоумная, вбежала и разбудила одну из девиц. Бросившись к ней на постель и схватив ее за руки, она с трудом, точно захлебываясь, застонала: «Ох! Боже мой!.. Господи!.. Как мне тяжело!!» И вдруг у нее хлынула кровь горлом... Девица испугалась, закричала, подняла гвалт, – страсти господни!.. А Фанни лежит на постели, а из нее так и хлещет, так и хлещет... Мы и то и се... Со страху-то ничего не найдем, да и что сделать – не знаем... Но, слава богу, кровь поунылась немножко, а как она пришла в чувство, тогда мы ее поскорей на извозчика, да и в больницу. Нам в доме-то не позволяют, да и негде держать больных... Так мы ее и отправили. Дорогой-то опять пошла кровь, и уж как довели до больницы, право, не знаю... А к вечеру того же дня она и скончалась в больнице... Ах! Как жаль бедную!.. Какая была хорошая девица!.. И как ее любили гости! Верите ли, нарасхват была она...

«Мамаша» замолкла, склонив печально голову. Она искренне сожалела Фанни!.. Да и как было не сожалеть: ведь

Фанни приносила такой хороший доход!..

А труп Фанни лежал, уже убранный цветами и покрытый белым кисейным саваном. На груди ее, у связанных какой-то тесемкой рук, вместо образа, лежал жестяной ярлык с № 30.

В мертвецком покое все было тихо. Ребятишки с пожилой женщиной доедали гречневую кашу и, набивая ею большие рты, посматривали на всех нас исподлобья. Я взял свой этюдник и ушел...

Нечего и говорить, что жизнь Фанни была порочна и презренна и что она, как говорится, падшая тварь. Даже солдат Заверткин и тот дал ей надлежащую оценку. Но я прошу у читателей снисхождения, хотя во имя одного высоко-го момента, бывшего в жизни Фанни. Этот момент и то сердечное сокрушение, о котором я расскажу вам, возвысило эту падшую до евангельской блудницы, спрошенной Спасителем: «Жено! Где твои обвинители?...»

Для ясности рассказа нам нужно будет вернуться на несколько лет назад.

В училище

Учитель наш, Егор Яковлевич Васильев,²⁹ был человек ис-

²⁹ *Васильев Егор Яковлевич* (1815–1861) – художник, преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества, в своей квартире давал приют ученикам, не имевшим средств. Жил у него и Перов.

ключительный. Высокой честности, ангельской доброты и кротости, всеми любимым и всеми уважаемым, он, поистине, был человек не от мира сего. Некто, знавший его, г. Э., говорил не раз нам, ученикам его: «Знаете что, господа, сей ветхозаветный муж (т. е. Егор Яковлевич) вылеплен из того материала, из которого лепят ангелов божиих». – И это была правда. Чтобы дать более ясное понятие о его доброте, я расскажу вам один эпизод из его жизни.

Егор Яковлевич, помимо того что был учителем в Училище живописи и ваяния, где и я учился в то время, давал также уроки рисования в Архитектурном училище, которое было тогда самостоятельным заведением и помещалось в Кремле. Там вместе с ним учительствовал некто г. Ястребов. Был ли он школьный товарищ Егора Яковлевича или только его сослуживец и знакомый, право, не знаю. Преподавателем же г. Ястребов был очень давно, так что до пенсии ему оставалось прослужить лет восемь, или около того. И он, конечно, мечтал об этом блаженном времени, как всякий служащий на коронной службе.

Но увы! Судьба подшутила над ним. Он заболел глазами и начал быстро слепнуть. Вследствие этого он не мог продолжать своей службы и вместе с тем не только должен был потерять надежду на выслугу пенсии, но оказался даже не в состоянии зарабатывать себе кусок насущного хлеба. Семья у него была громадная. Можете судить, каково было его положение!

Егор Яковлевич, переговоривши предварительно с г. Ястребовым, в один прекрасный день явился к директору Архитектурного училища и предложил давать уроки за г. Ястребова, но только с тем, чтобы последний продолжал числиться на службе.

К счастью, директор был хороший человек и изъявил полное согласие. И вот Егор Яковлевич три раза в неделю ходил пешком, невзирая ни на какую погоду, давать уроки за своего сослуживца. А тот, пока еще не совсем ослеп, каждое первое число являлся получать жалованье.

Мне случалось слышать рассказы о людях, таких добрых и сострадательных, что, при виде непокрытой бедности, они готовы были отдать последнюю копейку. Я также понимаю, что в минуту сердечного порыва весьма возможно раздать все, что имеешь. Но, воля ваша, отказываюсь от такого высокого подвига: ходить неустанно за товарища давать уроки три раза в неделю, никогда ими не манкируя, и делать это в продолжение – ни мало ни много – восьми лет, никогда и никому не заикнувшись об этом...

И это еще не все. По прошествии восьми лет совсем ослепнувший г. Ястребов умер. Конечно, уроки покойного были предложены Егору Яковлевичу. Но он, несмотря на то, что постоянно нуждался в деньгах, отказался от них и просил предоставить эти уроки другому своему сослуживцу, у которого так же, как и у г. Ястребова, было большое и нуждающееся семейство.

Так вот какой был человек наш учитель Егор Яковлевич!

С виду он был маленький, кругленький, с плешью, как изображают католических святых, всегда чисто выбритый, с черными, быстро бегающими, до бесконечности добрыми глазами, в которых, помимо доброты, выражался какой-то страх: точно он все боялся, как бы кого не обидеть, как бы не сделать кому какой-нибудь неловкости, или не просмотреть нуждающегося человека.

Егор Яковлевич учился в Академии художеств, когда там еще были казенные пенсионеры, и получил малую золотую медаль за живопись. Но на большую медаль не кончил своей программы: «Давид отсекает голову Голиафу». Эта неоконченная программа так и стояла всю его жизнь в мастерской. Когда он еще работал над ней, как-то раз он пригласил к себе Карла Павловича Брюллова. Брюллов нашел, что Давид, по приданной ему позе, очень похож на императора Павла Петровича, и своей, смелой до дерзости рукой перечертил ему мелом всю фигуру Давида. Егор Яковлевич смиренно обвел черты божественного Брюллова белой краской, да тем и кончил.

Итак, Егор Яковлевич был исторический живописец, воспитанный в школе Егорова, Шебуева и отца знаменитого Иванова, который и был его учителем. Следовательно, он был строгий классик, даже немного рутинный классик. Работал он очень медленно, но усердно, и за работой почти никогда не покидал своей трубки на длинном чубуке.

Я как теперь его вижу постоянно напевающим свою любимую песню «Оседлаю коня, коня быстрого» и сидящим сторбленным, в синем академическом форменном сюртуке, с лирой на пуговицах, и в чепчике из зеленой клеенки, который он носил от ревматизма. Не бывши никогда женатым, он называл себя женихом божией матери, на том основании, что все старые девы считаются христовыми невестами.

Раз предложили ему написать на стене алтаря колоссальный запрестольный образ, который, кажется, назывался: Трех Радостей. Егор Яковлевич с большой готовностью, конечно, принял этот заказ и засел за сочинение эскиза в новом роде. Целые ночи просиживались им напролет, и, наконец, эскиз был готов. Мать Божию он изобразил стоящею прямо перед зрителем, с распростертыми кверху руками; по бокам ее четыре евангелиста, а вверху летающие ангелы.

Заказчику очень понравился эскиз. Дело было слажено, и нужно было приступить к исполнению, то есть нарисовать все фигуры голыми с натуры под драпировки, написать этюды, нарисовать картоны и проч., и проч. Я уже сказал, что Егор Яковлевич работал медленно, а потому вся эта процедура продолжалась очень долго.

Раз он подозвал меня к себе и сказал:

– Знаете что, В[асилий] Григорьевич] (он всех учеников своих звал по имени и отчеству), не знаю как быть-с! («с» была неизбежной частицей его речи). Нарисовал я с натурщика Тимофея фигуру божией матери. Да все это не хоро-

шо... не то-с!.. Нет ни пропорции, ни формы! Нужно было бы прорисовать ее с хорошей женской фигуры-с!

– Конечно, это было бы очень хорошо, – отвечал я, – но где ее добыть?

– Да, – продолжал Егор Яковлевич, – у нас в Петербурге еще кое-как можно достать, а здесь... – и он развел руками, – очень, очень трудно!

Егор Яковлевич, покуривая свою трубку, задумался.

– А знаете что, – заговорил он с оживлением. – Попробовать бы сходить в дома терпимости. Быть может, и найдется там что-нибудь подходящее.

И он, видимо, обрадовался своей мысли и, затянувшись всласть Жуковым, продолжал:

– Так вот что-с! Пойдемте-ка ужо, вечерком, поищемте... А днем-то они все спят-с...

Я, конечно, изъявил полную готовность, и мы решили вечером отправиться.

Часов в восемь я и Егор Яковлевич, в фуражке с кокардой, с тростью в виде костыля, сгорбленный, на вид очень древний, хотя ему было только пятьдесят лет, отправились на поиски натурщицы. Пришли мы прямо в известный в Москве переулок, изобилующий вышеупомянутыми домами, и вошли в первый, который был освещен. Нас обдало каким-то запахом сырости и затхлости, тяжелым и давящим.

«Запор» (так зовут прислугу в этих домах), колоссальных размеров, свирепый на вид, с усами, точно из проволо-

ки, помог нам раздеться. Мы разделись и вошли в большую залу. На первое впечатление она показалась нам наполненной цветами: кругом всех стен сидели девицы, одетые в платья всевозможных ярких цветов, преимущественно легких, чуть не газовых материй. Некоторые, положив голову на руку, тоскливо смотрели в темное окно; другие гадали на засаленных картах, раскладывая их на коленях; а иные сидели, как куклы в игрушечном магазине, и так же смотрели бессмысленно по сторонам. Прически и разные другие украшения ясно говорили о тщательной заботе к вечеру. Но лица в большинстве казались не интересны: многие были не первой молодости и, несмотря на толстый слой румян и белил, в них виделось истощение и усталость.

Зала была освещена несколькими канделябрами. В одном углу помещался треснувший рояль. При нашем появлении в залу вышел какой-то старичок, с очень длинной шеей, — сам худой, высокий и почти с голым черепом. Усевшись за рояль, он начал наигрывать прелюдии из какой-то кадрили.

Девицы оживились.

Егор Яковлевич вошел в залу очень сконфуженно и, остановясь посреди ее, начал раскланиваться направо и налево со всеми девицами. Последние с недоумением смотрели на его старческую, смиренную фигуру, а он все стоял и раскланивался.

Некоторые из девиц начали бесцеремонно хохотать, а одна, подскочив к нему и взяв его за руку, залепетала шепеля-

во: «Дуска! Миенький! Прикажете сыграть кадрили. Мы с вами потансуем».

Егор Яковлевич совсем растерялся и бормотал, кланяясь:
– Я-с... помилуйте-с... Вы-с...

Девицы окружили нас, и все они хохотали.

Желая как-нибудь прекратить эту сцену, я обратился к одной из хохочущих, почти старухе, которая, смеясь, показывала свои совсем черные и гнилые зубы, и объяснил ей, что нам нужно видеть хозяйку. При слове «хозяйка» девицы присмирели и стали шептать одна другой: «Они пришли к «мамаше». Ступайте скажите ей!»

Несколько девиц бросилось докладывать.

Мы стояли, точно пленники, поглядывая на окружающих, а они, в свою очередь, осматривали нас. Даже музыкант вытянул свою длинную шею и не сводил глаз с Егора Яковлевича.

В залу вошла, наконец, переваливаясь из стороны в сторону, как утка, очень тучная, но еще далеко не старая брюнетка (о которой я говорил раньше), с красивыми чертами лица, одетая нарядно, но во все черное.

– Что вам угодно? – обратилась она к Егору Яковлевичу, глядя на него испуганно.

Он начал раскланиваться, говоря:

– У меня до вас покорнейшая просьба-с. Мне бы хотелось переговорить с вами об одном деле-с.

– Пожалуйте сюда! – сказала «мамаша» и повела нас в бо-

ковую комнату, которая была уставлена мягкой мебелью с круглым столом посредине.

Опустясь грузно на один из диванов, «мамаша» пригласила сесть и Егора Яковлевича.

– Что же вам угодно? – начала «мамаша», смотря вниз и кокетливо перебирая пальцами массивную цепочку.

Егор Яковлевич принялся объяснять, что ему нужно. Конфузился, путал и, прибавляя иностранные и технические слова, еще более затемнял ими свою речь. А «мамаша» сидела, смотрела на него во все глаза, и было ясно видно, что она ничего не понимает. Егор же Яковлевич, разводя рукой по воздуху, старался выяснить, в чем дело.

– Извольте видеть, – говорил он, – я художник-с. и мне до крайности нужна модель, чтобы нарисовать с натуры-с... Но чрезвычайно трудно здесь, в Москве, найти натурщицу, и тем более у которой бы были хорошие формы-с... Вот я и прошу вас...

Но «мамаша» сразу обрезала Егора Яковлевича:

– Извините, господин, право, я вас совсем не понимаю! Что вы такое говорите?

Тогда мы оба, перебивая друг друга, принялись объяснять ей, что нам нужно. После немалых трудов мы достигли, кажется, того, что «мамаша» хотя и не поняла вполне, в чем дело, но догадалась, что нам нужно взять из ее заведения одну из девиц, которую мы выберем, для того, чтобы написать с нее портрет, за что она, «мамаша», и получит по уговору

плату. «Мамаша» на это заявила, что хотя она и отпускает девиц с гостями, но не иначе, как со знакомыми.

После долгих просьб, уверений и всего прочего она спросила наконец:

– Какую же вам нужно девицу?

– А вот-с... там мы видели одну девицу, в голубом платье-с, с венком из белых цветов на голове-с... – сказал Егор Яковлевич.

– А... – протянула «мамаша». – Это Фанни! – И она сейчас же кликнула Фанни.

Тут уже все и даже «мамаша» начали растолковывать Фанни, чего мы от нее хотим. Фанни, сверх ожидания, поняла скоро и хотя сконфузилась, но не отказалась приехать, предоставляя решить это «мамаше». «Мамаша», бесцеремонно объявив Егору Яковлевичу цену, добавила: «А ей вы должны сверх того дать что-нибудь на помаду».

Так было и решено, что Фанни приедет по оставленному ей адресу в мастерскую Егора Яковлевича.

На другой день, около полудня, явилась Фанни. Она вошла скромно, даже робко, напоминая только отчасти «погибшее, но милое создание». Днем она выглядела хуже, чем вечером, но ростом казалась выше. Личность ее была самая обыкновенная, только темно-красные волосы, вроде как у Тициановской Магдалины, бросались в глаза. Лет ей, по виду, было с чем-нибудь двадцать.

Егор Яковлевич встретил ее чуть не с распростертыми

объятиями и, усадив к столу, сейчас же начал угощать чаем, упрасывая при этом скушать булочку и беспрестанно повторяя: «Ах! Как я вам благодарен!»

Чай был кончен. Настало время приступить к работе. Вот тут-то и явилось важное затруднение. Нужно было объяснить Фанни, что она должна совсем раздеться, то есть остаться без сорочки и стать в ту позу, в которую ее поставят. Нельзя не признать, что это тяжелый шаг для всякой женщины, и мне кажется, легче окунуться в самую холодную воду, чем стать перед художником с обнаженным телом.

Но Фанни в этом случае не оказалась особенно Щепетильною. Выслушав спокойно сбивчивое объяснение Егора Яковлевича, она, нисколько не жеманясь, влезла на взгроможденные одна на другую табуретки, спустила платье, а затем и сорочку. Егор Яковлевич попросил ее поднять руки, поправил следки, то есть оконечности ног, и принялся рисовать.

Фанни стояла спокойно. В положении ее тела чувствовалось изящество. Сложена она была хорошо.

Егор Яковлевич рисовал с увлечением, даже не курил своей трубочки.

Наступила пора и отдохнуть. Фанни сошла с табуреток. Надевши сорочку и окутавшись большим клетчатым платком, она села с босыми ногами в угол дивана и совсем съехала. Егор Яковлевич закурил трубочку. Подсевши к ней очень деликатно и осторожно, он начал беседовать с нею, не касаясь ни одним словом до ее настоящей и прошедшей жизни.

ни. Она оказалась девушкой очень не глупой и довольно развитой.

После непродолжительного отдыха Фанни взобралась на табуретки и снова приняла данную ей позу, а Егор Яковлевич стал опять работать.

Так прошел первый сеанс, по окончании которого Егор Яковлевич отдал назначенные ее «мамашей» деньги и сверх того дал ей «на помаду».

Фанни осталась довольна, особенно тем, что с ней обходились не как с погибшим созданием, но как с девушкой, имеющей право на уважение. Проводив ее до самой двери и крепко пожав руку, Егор Яковлевич просил ее прийти на другой день.

На следующий день она опять позировала; но на третий сеанс случился именно тот казус, по поводу которого я и написал весь этот рассказ.

Было это так. В назначенный день Фанни явилась и по обыкновению взобралась на свои табуретки. Рисование началось обычным порядком. В минуты отдыха она садилась с голыми ногами, окутанная платком, в угол дивана, а Егор Яковлевич, запаливши трубочку, заводил с ней беседу. Говоря о том о сем, Фанни между прочим спросила:

– Скажите, пожалуйста, Егор Яковлевич, что такое вы с меня рисуете? То есть что это такое у вас будет?

– Это я рисую для образа, – пустился объяснять Егор Яковлевич. – Извольте видеть-с. Мне заказали большой образ –

Трех Радостей, который будет написан на стене, за престолом, в церкви, что на Покровке-с. Божию мать я думаю изобразить окруженную святыми евангелистами и летающими вокруг нее ангелами-с.

По мере рассказа лицо Фанни все как будто удлинялось, а глаза расширились.

– Она-с, то есть божия мать, – продолжал Егор Яковлевич, – будет стоять прямо перед престолом, не с предвечным младенцем, а так, просто одна-с, с распростертыми кверху руками и со взором, устремленным на небеса.

Когда Егор Яковлевич кончил свое объяснение, Фанни дрожащим от волнения голосом спросила:

– А кого же вы с меня-то делаете?

Егор Яковлевич с добродушной улыбкой отвечал:

– С вас-то-с?... А вот... с вас-то именно я и изображаю божью мать-с...

При этих словах Фанни как будто превратилась в мраморную статую страха. Глаза ее точно хотели выкатиться из орбит, рот открылся, и она смотрела в упор на Егора Яковлевича, близко придвинув к нему помертвелое свое лицо. Несколько секунд длилась эта безмолвная сцена. Наконец, Фанни хрипло, точно с трудом выпуская звук за звуком, почти шепотом заговорила:

– С меня... С меня... мать... Божию!!!.. Да вы с ума сошли, что ли?!..

Егор Яковлевич растерялся и молча смотрел на нее, а

Фанни продолжала шептать:

– С меня... мать... божию!!..

И точно электрический ток пробежал по Фанни, – она вскочила с дивана и, наклонясь затем всем телом над Егором Яковлевичем, а руки откинувши назад, как бы собираясь бить испуганного художника, заговорила порывисто:

– С меня... мать... божию!!.. Да ведь вы знаете, кто я такая!!.. Ведь вы знаете, откуда вы меня взяли... И с меня, погибшей, презренной и развратной женщины, которой нет спасения!!.. И с меня изображать лик пречистой девы Марии... ма-те-ри... божией!!.. Нет! Это невозможно!!.. Ведь это безумно!!.. О! Я проклятая... проклятая!!!.. – просто-на-ла тоскливо Фанни, как лопнувшая, не в меру натянутая струна, и, закрыв лицо руками, всею своею тяжестью она упала на диван и горько-горько зарыдала.

Егор Яковлевич до того растерялся, что не знал, что Делать. А она рыдала и рыдала, и круглое тело ее заколыхалось, точно качаемое волной.

Я прожил на свете немало. Много видал слез и разных проявлений людского горя. Но таких истерических слез и такого глубокого впечатления от рыданий никогда не испытывал. Это были не простые рыдания женщины, даже не скорбные рыдания матери... Нет! Это рыли какие-то стихийные рыдания, слушая которые волосы на голове становятся дыбом!

Платок, в который она была закутана, валялся на полу.

Темно-красные волосы ее рассыпались и повисли длинными прядями с дивана... А она все рыдала... и рыдала неудержимо: точно горе, накопившееся в ней годами, прорвало преграду и, хлынувши, сразу затопило ее.

О! Как это описание мое бледно и жалко сравнительно с действительностью!!! У меня не хватает ни умения, ни силы слова, чтобы хоть приблизительно передать этот душу раздирающий вопль, это отчаяние сознавшей свою погибшую жизнь великой грешницы!!..

Но вот она стала как бы успокаиваться, рыдания становились тише и тише.

Наконец, она быстро приподнялась, села на диван и стала смотреть на нас, как помешанная.

И это не удивительно! От таких потрясающих рыданий, мне кажется, можно не только сойти с ума, но даже и задохнуться.

Егор Яковлевич подошел к ней, держа в дрожащей руке стакан воды, и, сам чуть не плача, заговорил так ласково, точно само милосердие произносило слова его:

– Фанни! Фанни! Что с вами-с? Послушайте меня!.. успокойтесь!.. выпейте воды!..

А она сидела, не шевеля ни одним мускулом. Затем, как будто что-то вспомнив, вдруг встала и, ни на кого не глядя, как была босая, в одной рубашке, пошла к двери. Мы ее удержали и хотели опять было посадить на диван, но она грубо нас оттолкнула и, подойдя к тому месту, где лежало

ее платье, порывисто начала одеваться. Руки ее дрожали: не скоро она могла застегнуть крючки и завязать тесемки. Чулки надела наизнанку, шляпу набок и, быстро подобрав под нее свои густые волосы, не говоря ни слова, опять пошла к двери.

Егор Яковлевич остановил было ее и с ласкою любящего отца заговорил:

– Фанни! Да за что же вы сердитесь?

Но Фанни изумленно взглянула на него.

– Зачем вы уходите-с?... И даже не хотите проститься!.. Возьмите, по крайней мере, деньги, которые нам следуют за сеанс.

И он протянул ей руку с деньгами.

Фанни отвела его руку и с горько-презрительной усмешкой прошептала: «Нет!.. Не надо мне ничего вашего... О! Если бы я знала!!..» И затем, закинув назад голову, так что свалилась было шляпа, она злобно взглянула на Егора Яковлевича и, как-то шипя, чуть не скрежеща зубами, проговорила с расстановкой:

– Да! Если б я знала, для чего вы меня позвали, Я не взяла бы с вас не только ваших проклятых денег, но даже <не потерпела бы> и того, что вы на меня глядите!!!..

И она чуть не в самые глаза ткнула ему пальцем и, повернувшись, как иступленная, быстро выбежала из комнаты.

А Егор Яковлевич так и остался у дверей с сокрушенно растерянным видом и с протянутой рукой, в которой держал

отвергнутые Фанни деньги.

Под крестом

*И бывает для человека того последнее хуже
первого*

Ев. от Матф. Гл. 12, ст. 45

В тот день, с которого начинается мой рассказ, небо сплошь затянулось темными, как осенняя ночь, тучами; они стремительно неслись с запада, точно стараясь догнать и поглотить одна другую. По временам как из ведра лил дождь, гром почти не умолкал; нередко блестела, ослепляя прохожих, яркая молния. Вверху все было грозно, мрачно и могуче, а внизу, на земле, – мокро, тоскливо и беззащитно. Прижавшись к стенам под выступами подъездов, православный люд крестился ежеминутно. Идущих и бегущих ветер преследовал с ожесточением, как будто старался сбить с ног, чтобы свалить в грязную бурлившую воду, заливающую даже тротуары. Погода, словом, была такая, когда добрый хозяин, как говорится, собаки на двор не выгонит.

В такой-то именно день кто-то постучался в дверь Моей мастерской. Я крикнул обыкновенное «войдите»... Дверь отворилась... Из двери, прежде всего, показался мокрый зонтик, а за ним моя хорошая знакомая Вера Николаевна Добролюбова.

Я бросил работу и, подходя к Вере Николаевне, встретил ее восклицаниями:

– Вера Николаевна!.. какими судьбами!.. по какому случаю!.. в такую убийственную погоду вы, с вашим расстроенным здоровьем!..

– Подождите, – ответила Вера Николаевна, поставив мокрый зонтик в угол у двери и начав снимать намокшее драповое пальто. – Вместо того, чтобы удивляться, поражаться и так далее, вы бы лучше сделали, если бы помогли мне снять пальто...

Я извинился в своей недогадливости; и когда пальто было снято, повешено, Вера Николаевна сняла шляпу, отряхнула ее, повесила и потом, поправив обеими руками свои намокшие густые черные волосы, проговорила:

– Ну, теперь давайте поздороваемтесь, – причем протянула мне свою беленькую худенькую ручку, – а я к вам с большим и даже очень большим делом.

Грешный человек, я просиял от удовольствия, услышав о деле. Да и поистине – для человека, живущего своим трудом, что может быть приятнее, как не слова: «я к вам с большим делом!..» Но увы! На этот раз очарование мое было очень непродолжительно...

Прежде, впрочем, чем приступить к сущности рассказа, считаю необходимым познакомить читателя с личностью Веры Николаевны – старой девы, как любила она себя называть. Ей было около тридцати лет. Среднего роста, худая, бледная, почти всегда больная, вечно принимающая *Kali bromatum*, вечно на диете. Одета всегда во все черное, она походила

скорее на монахиню из бедного монастыря, чем на девушку, живущую в мире и притом в весьма зажиточной семье. Собой она была так себе, или довольно симпатичная, как любят определять все дамы и девицы красоту своих подруг и знакомых, не желая сказать правду. Впрочем, глаза у нее были большие, совсем черные и чрезвычайно выразительные; они всегда горели лихорадочным блеском, как в большинстве бывает у больных чахоткою. Чтение было ее страстью; и чего-чего она только не перечитала из немецкой, французской и английской литератур, преимущественно, впрочем, любя русских писателей. Не говоря уже о Гоголе, Пушкине, она восторгалась также Гончаровым, Достоевским (тогда только что напечатавшим свой роман «Преступление и наказание»); кумирами же ее были и впоследствии остались Виктор Гюго и Томас Гуд.³⁰ «Песню о рубашке» она читать не могла иначе как без слез, «Les Misérables»³¹ сравнивала с притчей из евангелия, которое было всегда ее настольной книгой. Кроме чтения, в последние годы у Веры Николаевны развилась и еще одна страсть – это благотворительность. Повсюду отыскивала она бедных, больных и угнетенных, словом, всех тех, которым нужно было утешение, а еще более – помощь. Хотя ее плохое здоровье и осторожность, особенно

³⁰ Гуд Томас (1799–1845) – английский поэт; «Песня о рубашке» рассказывает о тяжелом труде швеи, стихотворение было чрезвычайно популярно в России в 1860-е гг.

³¹ «Отверженные», роман Виктора Гюго.

относительно простуды, мешали ей всецело предаться этому богоугодному делу, но, тем не менее, она все-таки немало помогала нуждающимся. Вот и все, что можно сказать о Вере Николаевне.

Пожав ее маленькую ручку и не выпуская из своей, я довел Веру Николаевну до кресла. Мы сели друг против друга, и, горя желанием узнать о большом для меня деле, я заговорил первый.

– Должно быть, Вера Николаевна, дело очень важное и интересное, если вы, вопреки вашей осторожности, пожаловали ко мне в такую невозможную погоду?

Вера Николаевна, видимо, заметила и поняла, или угадала мои мысли и мое нетерпение...

– Прежде всего, – проговорила она, опуская глаза вниз, – я прошу вас извинить меня за то, что я неточно и неверно выразилась. Я приехала к вам не предлагать что-либо, а, напротив, просить вас; и о том, как дорога и велика для меня моя просьба, вы можете судить именно по этой ужасной погоде.

Эти откровенные слова относительно не дела для меня несколько меня сконфузили. Я чувствовал, что покраснел; но Вера Николаевна смотрела вниз, вероятно, этого не заметила, а вернее – не хотела заметить.

– Вы знаете, Вера Николаевна, всякое ваше желание будет исполнено мною с великой радостью; сделайте милость – приказывайте, и вы увидите, с какою готовностью я исполню

вашу просьбу.

– Благодарю вас, я это ожидала.

При последних словах она подняла свои блестящие глаза, смотревшие до сего времени вниз.

– Просьба моя заключается вот в чем, – продолжала Вера Николаевна, – неделю тому назад у одних своих знакомых я увидела на дворе колющего дрова старика. Он имел такую угнетенную жалкую фигуру, что, глядя на него, у меня болезненно сжалось сердце, и я тотчас же спросила, что это за несчастный старик? Мне сообщили вот что. Этому старику восемьдесят четыре года. Он – бывший крепостной сначала какого-то князя, а затем чуть ли не целого десятка господ, к которым он переходил из рук в руки; теперь же, после девятнадцатого февраля, он, свободный человек, но правдивее сказать – брошенный человек, или оставленный без крова, без семьи, без родных и знакомых. Ходит он по городу из дома в дом, отыскивая работы. Где наколет и натаскает дров, где принесет воды и выметет двор; за это ему кое-что дают и кормят. Но что дают и чем кормят?! Где же он ночует, – это уж одному богу известно. Быть может, в поле, на кладбище или где-нибудь под мостом. Так он живет и не ропщет...

По мере рассказа лицо Веры Николаевны становилось все грустнее и грустнее; затем грусть эта незаметно перешла в какое-то страдание, очень похожее на выражение лица у заболевшего ребенка, когда уже он не плачет, не жалуется, а, приподняв высоко свои тоненькие брови, раскрыв запекши-

еся губки, как-то жалостно, покорно смотрит на всех и молча просит ослабить его муки и возвратить ему угасающую жизнь.

– О, если б вы видели его, – продолжала Вера Николаевна, – если б видели, как высоко поднимается его исхудалая грудь!.. Как тяжело он дышит, опустив иногда усталые руки, и как при этом в груди его что-то хрипит, клокочет и точно переливается!..

При этом глаза Веры Николаевны наполнились слезами, и одна за другой они стали скатываться на ее бледные и худые щеки.

– Да, если б вы видели этого несчастного старика, я уверена, вы бы не отказали ему в помощи; конечно, не денежной, – денег он не берет. Я уже не раз предлагала их ему, но он всегда отказывался, говоря: «Не пришла еще пора жить Христовым именем...» Вот какой это несчастный старик... Я много думала о нем и вот, наконец, что придумала сделать...

Вера Николаевна утерла смоченное слезами лицо и, обратясь ко мне, спросила:

– Вы знакомы с Саввой Прохоровичем Щукиным?

– Да, знаком; но настолько, насколько мог познакомиться, когда писал с него портрет. Если я и бываю в его доме, то не иначе как по делу...

– Уж и этого довольно, – перебила меня Вера Николаевна. – Щукин, как я слышала, очень добрый человек. Да иначе

и быть не может; он, говорят, любит искусство и науки. Он помогает трудящимся, раздает милостыню бедным и, наконец, выстроил приют или дом для призрения бедных с отделением, специально предназначенным для престарелых бывших крепостных и дворовых людей, оставшихся без крова и пищи, в награду за многолетнюю и нередко самую преданную их службу. Так вот в чем дело. Нельзя ли вам попросить г. Щукина поместить в свой приют и этого несчастного страдальца. Если уж Щукину, первому в России, пришла такая высокохристианская мысль, прежде даже чем дворянам, людям более интеллигентным и по совести обязанным сделать что-либо для бывших своих рабов, то я уверена, что он будет рад такому случаю, – таких немного. Ведь этот старик, о котором вы будете просить, ведь это вполне материал для осуществления его наигуманнейшей, высокочеловечной идеи.

– Ради бога, не откажите, – снова проговорила со слезами Вера Николаевна. – Попросите его!.. Попросите хорошо!..

И с этими словами Вера Николаевна вдруг стала опускаться передо мною на колени.

Я схватил ее за руки, поднял и как-то сердито, даже грубо, закричал:

– Послушайте, Вера Николаевна, это ни на что не похоже... Это уж из рук вон!..

Вера Николаевна стояла передо мной, опустив руки, молча смотрела вниз и тяжело дышала.

Мне стало совестно за мой несколько грубый порыв, и,

успокаивая ее, я обратился к ней как мог только ласковее:

– Вера Николаевна, не сердитесь на меня... Вы знаете, что я готов для вас все сделать, зачем же такие крайности!..

– Вы не правы, вы не понимаете меня. То, что я хотела сделать, – не крайность; это не больше, как самая ничтожная доля выражения моей любви к ближним и желания что-либо сделать для этого несчастного старика. Я готова сама ехать к Щукину и просить его, просить со слезами, на коленях, целуя даже его ноги, чтобы помочь старику. Но меня не пустят, во-первых, Щукину; к нему доступ труден, а, во-вторых, он, вероятно, так много видал перед собой плачущих и молящих о помощи, что вряд ли слезы незнакомой женщины тронут его. Я решила просить вас; вы как знакомый и как художник сумеете выразить ему все горькое, все безвыходное положение и упробить его дать старику – страдальцу какой-нибудь угол в приюте.

Я обещал, разумеется, сделать все, что могу; но прежде чем приступить к делу, просил прислать ко мне старика, чтобы расспросить поподробнее, – кто он, откуда и т. д.

Вера Николаевна, сейчас же после окончания своей просьбы, несмотря на проливной дождь и на мою просьбу переждать, стала собираться домой. На этот раз я догадался уже сам помочь ей одеться. Одеваясь, она постоянно повторяла свои мольбы о старике; затем, смотря на одну из начатых мною картин, сказала: «А может, старик и для вас пригодится, для вашей картины»; и, взявшись наконец уже за руч-

ку двери, она остановилась и торжественно, даже театрально проговорила:

– Во всем этом деле нам будет помощником и покровителем вот он! – она указала рукой на большую голову Христа – этюд, висевший у меня в мастерской.

Сказав это, она опустила вуаль и медленно вышла из комнаты.

На следующий день, около полудня, в дверь мою, как и накануне, снова постучались. На приглашение войти дверь тихо отворилась, и вошел ожидаемый мною старик. Переступив порог мастерской, он остановился шагах в двух от двери и начал сперва осматривать углы комнаты. Отыскивая глазами, видимо, образ, он вперил свой взгляд на этюд головы Христа и стал на него молиться, точно Вера Николаевна шепнула ему, кого она избрала в помощники и покровители и от кого надо ждать помощи. Перекрестившись несколько раз на этюд, он подошел ко мне, низко поклонился и четко, даже громко, старческим голосом произнес:

– Желаю здравствовать, сударь! Я к вам от доброй барыни Веры Николаевны.

Он подал маленькое письмо, в котором повторялась, конечно, одна и та же просьба.

Я попросил старика сесть.

– Не извольте беспокоиться обо мне, сударь... Мы стоим, наше дело привычное... – ответил почтительно старик и остался на ногах.

Внешность старика была почтенна, красива и очень симпатична. Сразу он мне напомнил тоже старика, несколько лет тому назад виденного мною на одном из наших бульваров. Помню, раз как-то проходил я бульваром. Навстречу мне шел маленькими ровными шажками, медленно передвигая ноги, какой-то старичок в бархатных черных сапогах, узких черных панталонах, в старомодном плаще с большим воротником и полою, закинутаю на плечо. Взглянув на его лицо, я не мог оторвать своего взгляда: такого благородства, такого внешне аристократического вида ни прежде, ни после не случилось мне видеть. Его наклоненная несколько набок голова, его сосредоточенно устремленные вперед задумчивые и уже потухающие глаза, его белая, с ногтями как большие миндалины, рука, опирающаяся на высокую трость, его подстриженная довольно коротко и, как осенний снег, белая борода; ну, словом, весь он всецело и каждая часть его старческого тела могли быть названы вполне изящными и кровно аристократическими. Даже платье, в которое он был одет, и оно могло служить превосходной моделью для художника. Счастлив тот художник, которому пришлось бы написать портрет или вылепить статую с такого благородного, с такого почтенного и красивого старца. Не надо обладать и особой наблюдательностью, чтобы, посмотрев на него, сразу решить, что он принадлежит к истым аристократам. Но мне хотелось узнать – кто он? И я последовал за ним. Старик медленно подвигался вперед, шмыгая своими бархатными сапо-

гами по желтому песку бульвара. За ним с зонтиком в руках шел по пятам его высокий, бравый лакей, одетый в щегольскую ливрею. Пройдя бульвар, последний, подскочив к старику и взяв его под руку, повернул с ним направо. Они прошли вместе улицу и затем вошли в ворота большого барского дома. Дворник при их появлении почтительно снял шапку, и, когда они удалились, я спросил его, кто этот старик?

– Этот старичок, – повторил дворник, глядя на меня искоса и надевая свою баранью шапку, – это его сиятельство князь Н.

Так вот кого, – аристократа-князя напомнил мне и мой старичок – старик-крепостной, бывший, быть может, раб такого же князя, как и Н. Правда, что у моего крепостного раба-старика не было той белизны и нежности кожи ни на руках, ни на лице; не было также того покойного задумчивого взгляда, как у князя; не было, конечно, и того изящного, живописного костюма и белых ногтей, напоминающих миндалины; но, тем не менее, сходство во всем, особенно в благородстве всего, – существовало, и сходство несомненное...

Старик, стоящий передо мной в моей мастерской, был высокого роста, но уже согнувшийся, как верхняя ветвь высокой ели, когда среди теплой зимы ее облепит пушистый снег. Борода его была не такая белая, как у князя, а скорее серая, напоминающая цвет подержанного серебра, но так же подстриженная; глаза грустные, как бы задернутые черным флером или временем долгого страдания, и на одном из них

виднелось большое белое пятно. Вместо плаща на нем красовался широкий с заплатами крестьянский кафтан цвета ржаного хлеба, подпоясанный узким ремнем с медной пряжкой. На ногах, одетых в шерстяные чулки, торчали опорки. И несмотря на такой неприглядный костюм, во всей фигуре старика, особенно же в его лице, было что-то, несоответствующее его костюму и положению.

Таким показался мне старик при первом с ним знакомстве; таким же он казался и после. Имя старика было Христофор, фамилия же Барский; быть может, к ней нужно было бы прибавить еще и нарицательное – сын...

Когда я стал писать со старика, мы вступили в разговор. Говоря, он часто удушливо кашлял, придерживая грудь ладонью правой руки.

– Вы давно в нашем городе? – спросил я, между прочим.

– Скоро, сударь, два года будет, как я пришел сюда, – ответил он и закашлялся.

Когда кашель унялся, я снова спросил:

– И все время занимаетесь поденной работой?

– Точно так, сударь, почти что все время; только один месяц прожил как-то у одного отставного капитана. Был я у него, сударь, садовником; жить было хорошо, работа была по мне, не особенно трудная; кормил я вдоволь, и все было ладно, да уж очень ругался капитан, самыми что ни на есть неприличными словами обзывался, так что на старости моих лет ежеминутно слушать его ругань мне показалось и зазор-

но, да и грешно. Я и ушел от него...

– А чьих господ вы были до освобождения? – продолжал я расспрашивать.

– До освобождения... то есть до свободы-то... – проговорил старик медленно и как-то горько улыбнувшись. – До свободы, – шептал он задумчиво, – и потом вдруг, подняв голову и устремив на меня свои грустные глаза, заговорил: – Не так, сударь, изволите спрашивать: «Чьих был господ?» Вам бы следовало спросить, чьих я не был господ?... Многим, сударь, переслужил на своем веку... о-о-ох, как многим... – говорил старик, качая головой. – Начиная от князя Хмурова, у которого до двадцатилетнего возраста был я чтецом, музыкантом, а затем камердинером, и далее – у князя Блудова, у графа Максютова, у генерала Беклешева, а потом у Нащокина, у Попова, Щербатова, Полторацкого и кончая господином Пустоваловым, при котором и получил свободу. Господин Пустовалов продал землю, лес, дом с родительским благосостоянием, продал все, что мог продать, а сам уехал за границу, оставив нас без куска и угла, и, уезжая, только сказал на прощанье: «Ну, милые, ступайте теперь к тому, кто даровал вам свободу, – он милосерд, всех вас напоит, накормит, обует и оденет, а я вам, други мои, больше не кормилец». Крикнув затем ямщику: «пошел», он выехал со двора и только за воротами, обернувшись к нам, провожавшим его дворовым, сделал ручкой... Уехал, а мы, спустя день-другой, взяли по котомочке да и разбрелись мыкать горе в разные

стороны.

– Мне говорила о вашем положении Вера Николаевна, и я завтра же поеду к Савве Прохоровичу Щукину и буду убедительно просить его, чтобы он поместил вас в свой приют.

Старик быстро встал и поклонился мне низко-низко. Тут только я заметил, что глаз, на котором было у него белое пятно, совсем не закрывается. С этим незакрытым глазом он заговорил сквозь слезы:

– Ах, милостивый господин, если бы это возможно было вам сделать!.. Если бы господь милосердный помог этому!.. Может, Савва Прохорович и услышит вашу просьбу и мои мольбы, может, и даст мне по доброте своей угол да кусок хлеба при конце дней моих... Еще поднимаются, сударь, мои старые руки и бродят пока ноги, а ведь страшно, сударь, – и старик при этих словах как бы действительно чего-то невидимого пугался, – страшно даже подумать, когда откажутся они и придется протянуть руку Христа ради... Господи, господи милосердный, – обращаясь снова к этюду Христа, говорил старик, – прекрати лучше мои горькие дни!.. – И, закрыв лицо руками, старик затрясся всем своим старческим телом.

Он плакал... плакал тихо... тяжело.

На другой день утром я отправился к Савве Прохоровичу... Считаю не лишним рассказать тут же кое-что и о Савве Прохоровиче. Это был почетный гражданин, первой гильдии купец, по своему богатству и благотворительности известный не только нашему городу, но и всей России. В былое

и очень даже недавнее время он строил церкви, лил колокола, жертвуя их в разные обители; но, съездивши за границу и случайно познакомившись с художниками и учеными, бросил отливать колокола, обрил бороду, по-немецки остригся, по-немецки оделся и как-то вдруг стал слыть меценатом и даже археологом. Ради этой археологии он покупал всякую рухлядь, начиная с глиняных горшков, гобеленовских совсем полинялых ковров и кончая гетманской булавой, которая досталась ему за весьма большие деньги. Одновременно с такой любовью к древностям он почему-то возымел неудержимую страсть к музыке и до того ею увлекся, что даже и сам стал учиться играть на виолончели. Окружив себя музыкантами, художниками и учеными, он все-таки, надо отдать ему полную справедливость, не переставал иногда благотворствовать и бедному народу. Довольный всегда собой, веселый до неуместной шутливости и подчас резонер до фразерства, Савва Прохорович являл из себя тип самооболащенного богача, но богача, который не удовольствовался еще имеющимися у него миллионами, и потому ежедневно бросал на несколько часов вышеупомянутые бредни и всецело, даже с каким-то азартом, предавался увеличению своих капиталов. Трудно понять, ради чего он их с такой жадностью увеличивал. Он был один-одинешенек, жена у него давно умерла, а детей не было.

Собой Савва Прохорович был некрасив, но далеко и не дурен. Среднего роста, чуть-чуть что не толстый, с серыми

маленькими глазами, с двойным подбородком, небольшим носом и такими же губами. Вообще он был человек, о котором говорят – метёт,³² то есть мужчина солидный, приличный и больше ничего. Чтобы вполне, однако, закончить описание Саввы Прохоровича, я должен прибавить, что одевался он всегда франтом и не выпускал никогда изо рта благовонной гаванской сигары, предлагая гостям сигары похуже. Вот и все, что можно сказать о Савве Прохоровиче, если не касаться его нравственной стороны. В последнем случае мы ограничимся двумя словами. Он был, несомненно, человек доброй души и с хорошими стремлениями; но убийственное воспитание и окружающие люди, окуривавшие его вместо истины лестью и ложью, сделали из его восприимчивой природы не то, чем бы она могла быть при других условиях.

Я приехал к нему утром. Меня пригласили в кабинет, до которого нужно было пройти целую анфиладу комнат, убранных роскошно, но с не большим вкусом. Прежде всего бросались в глаза красный штоф и золотая мебель. Повсюду были приспособлены разные полки и полочки, на которых в бесчисленном множестве, вместе с горшками и какими-то черепками, стояли этрусские, китайские, японские и другие вазы. Между ними помещались какие-то из дерева резные раскрашенные уродцы. Множество книг и древнего оружия украшали стены. К довершению же всего в одном из углов на высоком пьедестале стоял мраморный бюст самого Сав-

³² *Метём* – так говорят о человеке, пригодном к чему-либо.

вы Прохоровича. Я помню этот бюст, когда он как-то красовался на одной из столичных выставок. Вся публика особенно обращала внимание на лаконическую надпись под ним: «Бюст мужчины».

Вторая комната также была наполнена старыми вещами, но в ней я увидел и разные великолепные музыкальные инструменты; третья опять в том же характере, как первая и вторая, и т. д. вплоть до кабинета, где сидел, пощелкивая на счетах, Савва Прохорович. При моем приходе он как-то развязно, переваливаясь с ноги на ногу, мотая головой и закидывая ее кверху, устремился ко мне. Протянув мне обе руки, он любезно и улыбаясь заговорил часто и картавя:

– А! Господин художник! Милости просим! Очень рад! Что, батенька, прикажете? Ну, что хорошенького?... Садитесь, пожалуйста... Сигарочку...

Он достал из ящика и подал мне сигару, несмотря на то, что я чуть ли не в сотый раз отказывался от его сигар, так как никогда не имел и не имею привычки их курить.

– Ну, батенька, Егор Иванович (меня же никогда еще и никто не звал Егором Ивановичем), ну-с, рассказывайте, что новенького? Рассказывайте, голубчик... – И вдруг ни с того ни с сего, закатившись громким смехом, Савва Прохорович вскричал: – Ах вы, художники, художники! Люблю я вас!.. веселый вы, право, народ!.. – Но, приняв опять серьезный вид, он добавил: – Так-тось, батенька!.. – и, ударив по моему колену своей жирной рукой с большим перстнем на указа-

тельном пальце, сказал не то деловым, не то шуточным тоном: – Ну-с, в чем у нас с вами, Федор Егорович, будет дело?... говорите...

– У меня до вас, Савва Прохорович, большая просьба, – начал я; и не успел еще высказаться, как заметил, что Савва Прохорович точно потянулся, лениво зевнул и поморщился. – Вы человек известный всем и каждому своей благотворительностью... – при этих словах Савва Прохорович еще более поморщился... – Много сделали полезного для науки и искусства... Наконец, вы выстроили дом призрения для бедных рабов, оставленных без куска хлеба своими бывшими господами... Многих из сих несчастных вы собрали под один кров и составили из них как бы одну семью... Это дело великое... Довершите его и еще одним благодеянием... Приютите одного несчастного восьмидесятичетырехлетнего старика...

Я рассказал ему подробно все, что знал о Христофоре Барском. Савва Прохорович был, по-видимому, тронут положением несчастного старика и дал мне слово поместить его непременно в свой приют.

– Впрочем, – добавил он, – вот беда! Не знаю, батенька, есть ли теперь там свободные места. Если нет, то ему придется подождать недельку-другую... Но, во всяком случае, будьте уверены, что мы его поместим... Благодарю, – сказал Савва Прохорович с особенным чувством, – вы дали мне случай утереть слезы еще одному несчастному. Пришлите

его ко мне завтра. Мы с ним потолкуем.

На все это я, уходя, ответил низким поклоном.

– Прощайте, прощайте, голубчик! – и Савва Прохорович пожал мне руку и, засмеявшись, добавил: – Ах вы, художники, художники! Веселый народ! Ну, бог с вами, батенька, прощайте!..

Мы расстались.

Все мною рассказанное, надо заметить, происходило в конце лета.

На другой день я сообщил старику Барскому о результате разговора с Саввой Прохоровичем. Нечего и говорить о радости Барского. Он начал креститься на этюд и, кажется, имел намерение поклониться мне в ноги.

Написав к Савве Прохоровичу записку, я просил Барского на обратном пути от Щукина зайти ко мне.

Почти к вечеру зашел ко мне Барский, веселый, даже, как мне показалось, бодрее обыкновенного. Он рассказал мне, что видел Савву Прохоровича самого и от самого получил визитную карточку, на которой было написано: принять немедленно в число призреваемых. Только смотритель приюта, когда Барский к нему явился, сказал, что теперь в приюте места нет и что надо понаведаться недели через две.

– Слава тебе Господи, царь небесный!.. – заключил Барский, набожно перекрестившись. – Теперь и жить-то, сударь, как-то веселее стало... даже словно дышать-то легче, право, легче... Пошли вам... – начал он снова меня благодарить.

Я попросил его сходить к Вере Николаевне и сообщить обо всем ей.

– Как же-с! Как же-с! – заторопился старик, – прямо от вас побегу к ней... Ах, сударь, какая добрейшая барыня эта Вера Николаевна... Вот уж истинно можно сказать, это не женщина, а сама добродетель. Как она обрадуется за меня!.. Прощайте, сударь! Пойду, уведомя ее...

И, постукивая своей палкой, весело улыбаясь, вполне довольный и счастливый, он удалился.

Прошло далеко более месяца. Дни стали уменьшаться, ночи растянулись чуть не в бесконечность, и скучная осень с неприветливыми до тоски дождями, с холодными, как рыдания смерти, ветрами и разными болезнями, всегдашними ее спутниками, уже приближалась к концу. Барский заходил ко мне в это время Раза два, но в приют, за неимением места, помещен еще не был. Наведывался же туда, в ожидании благ и заманчивого покоя, аккуратно через каждые две недели.

Прошла, наконец, скучная для всех и каждого, кроме борзятников, северная осень; наступала зима с вьюгами и метелями; время близилось уже к празднику Рождества Христова, а Барский все еще ходил наведываться в приют, и все еще свободного места там не находилось. Но я узнал стороной, что в приют принято за это время несколько городских мещан, даже один промотавшийся купец, которого за отчаянное буйство и беспросыпное пьянство скоро выгнали. Бар-

ский же, холодный, зачастую голодный, продолжал кашлять, хрипеть, колоть дрова, носить воду, сгребать снег, ночуя где в сенях, где в сарае и за особую милость – на кухне.

Наступил февраль месяц. Как-то раз в сильно морозный день вошел ко мне Барский. Лицо его было сине-зеленое, глаза совсем потускли. Он тяжело дышал и чаще обыкновенного кашлял. Я предложил ему стул; он как-то немощно на него опустился.

На мой вопрос о деле он ответил:

– Ничего нет, сударь! – и отчаянно махнул рукой. – Я и пришел к вам насчет этого, – говорил Барский. – Что мне делать, сударь, право, не знаю... Уж не бросить ли все?... Вот уже более полугода аккуратно я хожу в приют, и конца моему хождению никогда, как видно, не будет... Дал мне г. Щукин и еще письмо к смотрителю, но смотритель говорит все то ж: «Подожди да подожди, нет места». Силы мои, сударь, слабеют... работать почти не могу... Что мне делать? Научите, ради бога... О, господи, господи! – простонал Барский, безнадежно опустив на грудь голову и ухватясь руками за колено.

– Вот что надумал я, – едемте завтра вместе к Савве Прохоровичу и попросим его убедительно еще раз...

На следующий день мы отправились к Щукину. День был морозный. Барский, одетый в один только рваный кафтан, подпоясанный ремнем, прозяб, видимо, жестоко. На извозчике он поставил палку между ног, засунул глубоко руки в

рукава и, съжившись, весь дрожал.

Более получаса тащились мы до дома Щукина, наконец, приехали. Я позвонил и, узнав, что Савва Прохорович принимает, вошел в дом. Барский же остался дожидаться на морозе. Доложив барину, лакей пригласил меня в кабинет, где сидел Савва Прохорович за счетами. Мы поздоровались. Он немедленно же предложил мне сигару.

– Не курю, благодарю вас! – сказал я, невольно улыбнувшись.

Г. Щукин положил сигару обратно в стол и опять произнес свое привычное:

– Ах вы, художники, художники!..

– А я к вам, Савва Прохорович, не один...

Он взглянул на меня вопросительно.

– Со мной старик Барский. Помните, о котором я просил вас?

– Ах, да! Как же, помню. Ну что, он покоен? Доволен?...

Я в свою очередь взглянул вопросительно и также спросил:

– Чем же это быть ему довольным?

– Как чем!.. Я устроил его в приют и думаю, что живет он там, – ну... ну, словом, как у Христа за пазухой.

– То-то и есть, Савва Прохорович, что он теперь не у Христа за пазухой, как вы говорите, а стоит на морозе, дожидаясь позволения войти к вам и еще раз самолично, слезно умолять вас сжалиться над ним и поместить его в приют.

– Как же это так?! – как бы сконфуженно проговорил Щукин. – Я был уверен, что он давно там... Это какое-нибудь недоразумение... – и он позвонил.

Вошел лакей.

– Там на дворе стоит старик, – обратился к нему Савва Прохорович, – введите его туда, ну, хоть в столовую. – Это черт знает, что такое!.. – начал он снова, закинув назад голову. – Это все каналья Недыхляев выделяет разные штуки. Я вполне был уверен, что старика давно уже поместили.

Проговорив все это сердито, он затем вскоре успокоился и начал мне рассказывать о новых пьесах Антона Рубинштейна, о разных концертах и проч., и проч.

– А вы бы как-нибудь ко мне... на квартетное собрание. У меня по четвергам всегда музыка... Я и сам немножко баляюсь этим... А вот, кстати... Это мне посвятил... видите, и моя фамилия напечатана... А. И. Дюбюк.³³ – Он показал мне тетрадку, в которой помещались две-три русские песни.

Закурив свежую сигару, Савва Прохорович продолжал:

– Я вот тоже очень люблю Листа...

Но в этот момент вошел лакей, доложив, что старик пришел и дожидается. Савва Прохорович встал, запахнул свой бархатный малиновый халат и, опоясавшись шнуром с боль-

³³ Дюбюк А. И. (1812–1897) – русский композитор, профессор Московской консерватории, автор популярных романсов в жанре «русских песен»: «Не брани меня, родная» на стихи А. Е. Разоренова, «Тройка мчится, тройка скачет» П. А. Вяземского, «Соловьем залетным юность пролетела» А. В. Кольцова и многих других.

шими кистями, обратился ко мне:

– Ну-с, пойдёмте к нему.

Он взял меня под руку, и мы направились в столовую, поддерживая друг друга как бы два закадычные приятеля.

Столовая – комната громадных размеров, роскошно отделанная дубом, с люстрой и канделябрами оксидированного серебра. Громадный буфет украшен множеством старинного серебра. По стенам столовой в рельефные рамы помещены вместо гербов барельефы, изображающие всякую дичь от толстого кабана до гаршнепа – маленькой птички, состоящей из длинного носа и больших крыльев.

Это одна из лучших комнат в доме Щукина. Она напоминает столовые знатных баронов, герцогов и даже королей в средние века. Когда мы вошли в нее, вот какая картина представилась нашим глазам. Старик Барский стоял у самой двери, а в стороне налево у буфета вытянулся лакей в белом галстуке и во фраке. Последний, видимо, караулил серебро, считая вполне естественным, что такой оборванец не упустит случая и стянуть что-либо. Мне показалось, что Барский понимал это и потому стоял точно сконфуженный.

– А! Здравствуй, старик! – подходя вперевалку к Барскому, заговорил Савва Прохорович, опустив мою руку и закинув кверху голову. – Как же это ты, любезный, до сего времени не в приюте? Я уже собирался к тебе туда с визитом ехать... а ты, на-тко, кутишь еще на свободе, точно наемный охотник, которого собираются сдавать в солдаты, – го-

ворил Савва Прохорович, смеясь. Барский низко поклонился и закашлялся. Спустя же минуту, тяжело дыша, медленно и хрипло ответил:

– Все еще места, говорят, нет, ваше степенство, Савва Прохорович! До сего времени еще не освободилось ни одного места, вот, какое горе мое. А силы мои все слабеют... не только работать, но и бродить становится тяжело. Чувствую, что жить мне осталось немного. Не допустите, батюшка, благодетель наш, умереть мне, горькому, на улице... как псу, у ворот опустелого дома. – И он, неожиданно, буквально упал к ногам Саввы Прохоровича, так что тот отпрыгнул от него на несколько шагов.

– Встань, встань, старик! – зачастил Щукин, видимо, озадаченный неожиданным падением Барского. – Встань! Я тебе говорю встань. Не люблю я, чтобы мне поклонялись. Богу надо поклоняться, а не человеку.

Барский с трудом, кряхтя и кашляя, приподнялся с паркетного пола, но оставался на коленях. И, как священник перед престолом, во время совершения св. таинств, распростер он к Щукину свои старческие руки, заговорив снова прерывисто:

– Разве любовь к ближнему, батюшка, ваше степенство, и милосердие к страждущим не есть заповедь сына единородного? Ты милосерд, ты исполняешь заповедь Христову, а потому я тебе и поклоняюсь и взываю: не допусти меня, благодетель милостивый, возроптать на всевышнего, сотворив-

шего меня, и на мать мою, породившую меня на свет божий. Дай мне возможность с верою окончить жизнь мою скорбную, исполнить долг христианский перед кончиною, чтобы мог я с миром и любовью предстать на страшном суде перед лицом всемогущего.

Он снова повалился на пол к ногам Щукина; когда же опять хотел приподняться, то уже не мог. Я и лакей подняли его на ноги.

– Полно, полно, старик, так убиваться! – видимо, тронутый всем происшедшим, заговорил с ним ласково Савва Прохорович. – Умирать тебе, любезный, рано. Еще мы с тобой проживем на славу. Помещу я тебя в приют, а когда ты там поотдохнешь и соберешься с силами, тогда мы выберем тебе старушку помоложе, сосватаем вас, да и женим; и будете вы жить в удовольствии, не выпуская друг друга из объятий. Да, чего доброго, еще, пожалуй, дети пойдут. Не правда ли? – весело смеясь, обратился ко мне Савва Прохорович.

Я молчал. Лакей во фраке улыбался. Барский же, обратясь к Щукину, заговорил снова и еще более хрипло.

– Нет, благодетель, ваше степенство, Савва Прохорович! Не о женитьбе и мирской суете мне думать, не те уж мои лета; мне уж восемьдесят пятый год, а в эти годы непригоже не только говорить, даже и помышлять об этом. Вся забота моя о душе, чтобы не погубить ее в муке вечной, да к тому же, милостивый отец мой, ох, как болит мое старое тело, а кости мои так и мозжат и ноют, что, кроме отдыха и покоя,

ничего я и не прошу от вас, милостивец, и от господ бога.

– Ну, полно, любезный!.. все так говорят, когда чего-нибудь выпрашивают, – смеясь, продолжал Савва Прохорович. – Там, как обогреешься да раздобреешь, не только забудешь о своих болячках, а еще, пожалуй, развратишь всех моих целомудрых старух и будешь, как турецкий султан, выбирать, которая из них покрасивее, покрепче, помоложе, да поядренее. Ведь правда? – обратился он снова ко мне, довольный, видимо, своей шуткой и хохоча на всю столовую.

Я молчал, лакей фыркнул, прикрыв рот ладонью и отвернувшись к буфету; Барский же стоял, смотрел вниз и только шевелил как-то нервно губами.

– Ну-с, старый молодчик, так ты подожди! – заговорил опять Савва Прохорович. – Я сейчас напишу письмо, и будь уверен, что завтра же ты будешь в приюте. А что это будет исполнено, даю тебе честное слово Саввы Щукина. Только смотри, любезный, уговор лучше денег, – старух моих не возвращать, а уж если очень будут обуревать тебя страсти, то выбери одну по сердцу и сочетайся с ней законным браком. Я буду посаженным отцом, а вот они, – указал на меня Савва Прохорович, – дружкой, – и он, хохоча, хлопнул меня при этом по плечу и ни с того ни с сего опять проговорил: – Ах вы, художники, художники! Уж именно артисты!

Повернувшись затем спиной, развалистой походкой Савва Прохорович пошел в кабинет.

Лакей уж без церемонии хохотал, а Барский стоял, смот-

рел в пол и продолжал шевелить губами, как будто шептал молитву, в которой благодарил господа бога, что, наконец, искус его кончился и настал день отдыха и покоя. Я подошел к нему и тронул за плечо.

– Так вы смотрите же, дождитесь письма и прямо от Саввы Прохоровича отправляйтесь в приют, – сказал я ему.

Но старик не пошевелинулся; он, видимо, моих слов не слышал. Я тронул его сильнее. Тогда, как бы проснувшись, старик взглянул на меня мутным взором и прошептал:

– А?... Что?... Чего изволите?...

Я повторил свои слова.

– Подождать письма... от Саввы Прохоровича, – шептал он, как во сне. – Слушаю-с! Хорошо-с! Подожду.

Савва Прохорович писал между тем наистрожайшее письмо о немедленном принятии старика в приют и закончил письмо следующими словами: «Даже если нет места, то все-таки принять сверх комплекта».

Закончив письмо, он позвонил и велел лакею сказать старику, чтобы тот немедленно шел в приют.

Поблагодарив еще раз Савву Прохоровича за старика, я отправился домой, вполне довольный результатом нашей поездки. Я даже похвалил себя за то, что мне пришла счастливая мысль ехать самому вместе со стариком к Савве Прохоровичу.

Но, однако, на следующий же день случилось то, чего я никак и ни в каком случае не мог предвидеть. Около полу-

дня неожиданно ко мне явился Барский. Он был утомлен, печален и казался совсем убитым.

– Что? Опять не поместили? – встретил я его вопросом. Барский, прижимая ладонь к груди, закашлялся. Но прошел припадок кашля, и он, грустно-тоскливо взглянув на меня, медленно проговорил:

– Нет, сударь, нет! Они и не могли меня поместить... Я ведь не ходил в приют ни вчера, ни нынче.

– Почему же вы не ходили? – спросил я, немало удивленный его поступком.

– Почему не ходил? – повторил он мои слова, задумавшись на минуту. – Почему не ходил?... – прошептал он снова, как бы в раздумье, видимо, не желая меня обидеть. – А вот почему, – начал он, быстро закинув кверху голову и смотря на меня в упор. – Мне, сударь, как вам уже известно, восемьдесят пятый год. Лет семьдесят я гнул спину и перетерпевал всякого рода несправедливости и оскорбления... Лет семьдесят честно служил многим господам... и остался на старости лет нищ и убог, как вы сами изволите видеть.

Высказав это, он опустил голову на грудь и развел широко руками как невинно осужденный на смерть. Помолчав затем с минуту, он продолжал:

– Встретила меня, сударь, добрая барыня Вера Николаевна. Сжалилась она, милосердная, над моим бедственным положением и указала мне путь, через вас, государь мой, обратиться к известному всем благодетелю господину Щукину

(при слове *господин* он как-то искривил губы). Были мы, сударь, с вами у него, и я и вы изволили видеть, что это за благодетель и что за человек. Я его молил о помощи, а он надо мной стал издеваться. Шел я к нему с любовью и надеждой, а вышел с тоской и отчаянием. С тоской о том, сударь, что не кончилось еще рабство и, должно быть, никогда не будет ему конца. Семьдесят лет, сударь, надо мной издевались разные господа мои... семьдесят лет в глазах их я был не человеком с разумом и чувством, а какую-то неодушевленную вещь... Многие, многие годы ждали мы себе свободы и, наконец, дождались ее... Что же я узрел вчера?... Снова нужно вступать в это рабство, нужно гнуть спину и снова видеть и слышать, как издеваются над полумертвым, немощным человеком, которому хотят оказать какую-либо помощь... И прежде чем дадут ее, унизят, оскорбят, истерзают, а затем бросят кусок хлеба... Да еще бросят ли? Но что наверное будет, сударь мой, так это то, что прокричат они на весь город: мы, дескать, отцы и благодетели!.. благодетели!.. – Нет, сударь!..

Он полез при этом за пазуху, вытащил оттуда письмо Саввы Прохоровича и, подавая его мне, сказал:

– Возьмите, сударь, это письмо, передайте его господину Щукину (он снова сделал какое-то особое ударение на слове *господин*); скажите ему, что стар я... конец мой близок и в новое рабство, еще более постыдное, чем то, в котором я находился весь свой век, больше не пойду!.. В том я с детства привык считать себя рабом, рожденным от рабов отца

и матери... А здесь нужно добровольно надевать это ярмо и смиренно нести его. Нет! Этому не бывать!.. Уже если были у меня господа, мои повелители, богом и царем данные за наши великие прегрешения, то все-таки они были господа законные и господа по крови и плоти, по образованию и воспитанию, и по заслугам царю и отечеству... Как худы они ни были, все же не чета господину Щукину. Меня, умирающего старика, которому не только говорить, даже дышать-то подчас трудно, господин Щукин нашел удобным утешать шутками, да и какими шутками... Вы сами, сударь, изволили слышать. Ну, да что и говорить... довольно... – и старик махнул рукой. – Так передайте ему, сударь, вместе с письмом мою благодарность и прибавьте, что Христофор Барский был раб и стал свободным человеком; был добр – и через него, благодетеля, озлобился; был кроток душой, а ныне возгордел и не примет от него никаких богатых и щедрых милостей... Он идет умирать, как та, никуда не годная, хромая и ослепшая рабочая лошадь, у которой умер старый хозяин, – идет умирать в поле, на большую дорогу...

Барский положил при этом письмо Саввы Прохоровича на близстоявший стул, а затем, перекрестившись несколько раз на этюд Христа, сказал:

– Прощайте, сударь! Прощайте!.. Господь над вами... благослови он вас за добрую помощь...

Барский ушел, а я все еще стоял на одном и том же месте; я остолбенел... Мне стало стыдно за самого себя... мне все

еще слышались правдивые, умные слова Барского...

Прошло некоторое время. Я ничего не слыхал о Барском. Как-то, встретив Веру Николаевну, спросил ее: не знает ли она чего о нем? Но она также ничего не могла сообщить, кроме того, что Барский заходил к ней проститься и что он ушел куда-то совсем из города.

В мае месяце этого же года я с товарищем своим поселились на одной даче близ небогатой и небольшой обители. В этом монастыре был замечательный сад, большой и тенистый, с проточными прудами, наполненными всякой рыбой. Настоятель монастыря этот сад любил, холил и держал в чистоте изумительной. Мы с товарищем ходили в этот сад каждый день гулять. Проходить в него нужно было через монастырский двор, вымощенный камнем, мимо келий, собора и церквей. У одной из церквей красовалось несколько мраморных памятников и крестов. Здесь были похоронены богатые жертвователи и умершие настоятели монастыря. Между этими могилами была одна, вся усаженная цветами, посреди которой возвышался большой мраморный белый крест, а под ним покоился монах, уже лет двадцать умерший, отец Серафим. В монашестве он считался святым, память о нем и уважение к его имени не ослабевали с годами, а, напротив, росли изо дня в день. К нему на могилу ходили не только богомольцы, но на его могиле монахи служили панихи-

ды три раза в год целым собором. Служба эта совершалась в день его ангела, в день кончины и в день праздника всех святых. Раз вечером, возвращаясь с товарищем с прогулки, мы встретили знакомого нам монаха. Поговорив о том о сем, он, между прочим, сказал нам:

– Вы бы, господа, пожаловали к нам завтра.

– А что у вас завтра? – полюбопытствовали мы.

– У нас завтра большая панихида; служить ее будут всем собором на могиле отца Серафима. Приедет настоятель Н-ского монастыря, и он также отслужит вместе с нашим. Пожалуйста! Посмотреть любопытно... После поздней обедни начнется панихида часов в 12. Услышите, как заблаговестят в большой колокол... Пожалуйста!..

Мы обещали и пошли домой.

На другой день к нам приехал еще товарищ; вследствие чего на панихиду в монастырь мы не попали и пошли гулять в монастырский сад только вечером. В монастыре мы встретили целую толпу монахов около могилы о. Серафима. Между ними находились оба настоятеля, они о чем-то разговаривали. Мы спросили у встретившегося монаха, что там случилось?...

– А ничего особенного-с! Скончался какой-то неизвестный богомолец.

Подойдя к монахам, мы увидали прислонившегося спиной к кресту сидящего человека. Поздоровавшись с настоятелями, я взглянул в лицо сидящего человека и всплеснул

руками. Под белым крестом на могиле о. Серафима сидел Христофор Барский, уснувший сном вечным, угасший и давно уже охолодевший.

– Знаете ли вы, святые отцы, кто сей человек?... – обратился я к стоящим монахам. – Это сподвижник и мученик, которого возлюбил Христос и привел его скончаться у подножья того символа любви, терпения и страдания, на котором он сам испустил свой божественный дух. Поклонитесь ему, братия!.. – как-то уж чересчур торжественно сказал я, так что самому стало неловко. Затем, оправившись, я рассказал им все, что знал о мученике Христофоре Барском. Оба настоятеля и все монахи слушали мой рассказ с большим вниманием. Даже Христофор Барский, сидевший от меня в двух шагах, склонил свою голову и, вытянув вдоль ног свои усталые руки, тоже как будто прислушивался к тому, что я говорил. Мутный глаз его с белым пятном не закрылся и был устремлен как-то вперед, точно перед ним раскрылась вечность и он видит доселе им невиданное. Я кончил. За мной тихо и медленно заговорил настоятель.

– Сей раб божий, Христофор, волею божею скончался в день памяти нашего славного сподвижника о. Серафима; и сам он в жизни, как мы только что слышали, много потрудился. Сие как бы указывает нам, братья, почтить его память, а потому и погребем его соборне.

Все монахи поклонились.

– Возьмите его, – продолжал настоятель, – оденьте его в

чистую и новую одежду, снесите в братский покой и приготовьте все к погребению.

Несколько человек из братии подняли и понесли на руках покойника мимо собора. Незакрывшийся глаз Христофора Барского как будто смотрел на стену церкви, на которой был изображен во всей своей славе смотрящий вниз и благословляющий всех обеими руками всеведущий бог-отец.

Был поздний вечер. Солнце давно уже спустилось за горизонт. Монахи с телом исстрадавшегося брата рисовались темными пятнами на светло-розовом безоблачном небе. Вся картина была проста и поэтична.

На третий день торжественно на братском кладбище всем собором похоронили Барского. На могиле его настоятель сказал теплое слово о смирении, кротости и послушании, а все монахи хором пропели «вечную память» рабу божию Христофору, скончавшемуся под крестом.

Новогодняя легенда о счастье

В последний день старого или канун нового 18... года художественная выставка в одной из наших столиц была в разгаре. Сплошная масса зрителей теснилась не только в залах, где красовалось много новых и очень интересных картин, но даже и на лестнице. Это объяснялось тем, что в одной из зал стояла картина, о которой повсюду много говорили и писали. Она изображала «Апофеоз представителей искусства», а также и нераздельную с артистами «Славу», в вида женщины, хотя и прекрасной, но совсем нагой. Эта голая «Слава» усердно раздавала лавровые венки любимцам публики, т. е. артистам. Картина «Апофеоз» была колоссальна по размеру, блестяща по колориту и чрезвычайно эффектна по освещению. Публика теснилась перед ней, как иззябшие люди толпятся у ярко пылающего костра. Невозможно или, по крайней мере, трудно было рассмотреть картину в часы, назначенные для выставки, — так много находилось всегда желающих любоваться ею.

Теперь любопытных было еще более. За несколько минут до звонка, т. е. до закрытия выставки, толпа перед обнаженной «Славой» нисколько не уменьшалась. Толкаясь, каждый спешил пристально рассмотреть ее, потому что день был сумрачен, да и сверх того становилось довольно темно. В стороне от публики, а следовательно, и от давки, стоял старик

совсем дряхлый. Казалось, он пришел на выставку накануне смерти. Он с большим любопытством рассматривал прославленную картину, конечно, насколько позволяли окружающие ее. Высокого роста, согнутый, как лук, когда могучая рука натянет тетиву, одетый скромно – в черный, старого покроя сюртук, он не отличался ничем особенным; только большой бант небрежно завязанного галстука или платка, поверх которого лежал белый, большой воротничок сорочки а l'artist, бросались в глаза и заставляли предполагать, что старик принадлежит к типу отживающих артистов. Волос у него совсем не было. Его голый череп с большим блестящим бликом, вероятно, давно забыл, что такое гребень; но зато у него была белая, большая борода, широкою волною падавшая вниз. Многие обратили внимание на ту сосредоточенность, с которой старик рассматривал картину, как бы застыв в принятой им позе. Облокотившись на толстую трость, забыв обо всем его окружающем, он долго стоял без всякого движения, как статуя.

Последний час выставки кончился. Прошел по всем залам маленький, старый солдат, неистово звоня в большой, чуть не соборный колокол. Публика начала постепенно удаляться. Вскоре вышли все, кроме старика, продолжавшего стоять на том же месте, так же неподвижно и с таким же сосредоточенным вниманием рассматривать картину. Он остался один в опустелой зале, не замечая этого. Взор его становился печальнее и задумчивее; голова, наклоненная набок, вытяну-

лась вперед. Во всей согнутой фигуре, а тем более в выражении лица его виднелась какая-то грусть, сожаление, даже тоска о чем-то непонятном, уже непонятном потому, что на картине ничего не было такого, о чем следовало сожалеть, а тем более грустить.

В соседней комнате внезапно послышался веселый говор громких голосов и шум шагов. Спустя минуту в залу вошли развязно, весело смеясь, несколько человек. Видно было, что они не только знакомы со всем окружающим их, но даже и принадлежат к касте жрецов искусства. Это особенно бросалось в глаза по их небрежному отношению ко всем произведениям, мимо которых они проходили, делая иногда поверхностные замечания; в большинстве же только отмахивались рукой, как от чего-то недостойного внимания. Вошедшие были, действительно, артисты: автор наделавшей шуму картины «Апофеоз»; пейзажист, только что продавший картину свою за несколько тысяч рублей; нескончаемо длинный архитектор, известный враль, но начинавший приобретать большую известность в постройках; актер, с успехом сыгравший Гамлета; композитор, симфония которого наделала шуму в последнем концерте; скульптор, получивший премию где-то за границей, и в заключение литератор, худой, длинный, безволосый, кричавший более всех и рассуждавший с апломбом парижского бульвардье о том, чего никогда не знал и не видел. Размахивая руками, издали он представлял громадное сходство с ветряною мельницей.

Автор картины «Апофеоз» был далеко еще не стар: ему казалось около тридцати пяти лет. Среднего роста, блондин, красивый, симпатичный, он вошел в залу свободно до небрежности, с закинутой на плечо головой, прищуренными, очень добрыми глазами. В походке и манере держать себя замечалась у него как бы усталость, от усиленного труда или бессонных ночей, вернее же от счастья и славы, от тех похвал и рукоплесканий, которые, в конце концов, утомляют прославившихся артистов.

Все вошедшие были веселы, довольны своими успехами. Вступив шумно в зал, они как бы сконфузились, увидав там еще оставшегося зрителя, который при их появлении медленно поднял голову и равнодушно оглядел их.

– Господа! Да ведь это дедушка! – вскричал автор картины «Апофеоз». – Вас ли я вижу, дед, и где же? Перед моей картиной? Я так счастлив, что хотел бы от всей души пожать вам руку.

Проговорив это, он потянулся за рукой деда.

Старик же на его слова торопливо протянул свои обе трясущиеся руки, обнял ими художника и три раза поцеловал его. Потом старик пожал руки остальным артистам, говоря:

– Очень рад, господа, вас видеть! Пользуясь счастливым случаем, спешу поздравить с наступающим Новым годом и пожелать от души всех благ и успехов каждому из вас...

Когда поздравления и пожелания с обеих сторон были окончены, автор «Апофеоза» заговорил сконфуженно и роб-

ко:

– Уважаемый дед! Вы рассматривали мою картину и, вероятно, сделали ей надлежащую оценку. Прошу вас, скажите откровенно, не щадя меня, как вы ее находите? Ваше мнение и ваше слово для всех нас дорого. Вы сами знаете, как мы любим, чтим и ценим ваши мнения и глубокие знания во всем, а тем более в искусстве.

– Вы задаете мне трудную задачу, – проговорил старик глухо. – Вы просите честного, откровенного мнения, строгого суждения о картине. Это все очень легко сказать, но не легко исполнить, тем более в присутствии самого автора. Это еще более нелегко потому, что мне очень не хотелось огорчать вас в счастливейшие минуты вашей жизни, когда вас все хвалят, все вам рукоплещут.

– Старый друг! Я прошу, как милости, сказать все откровенно как обо мне, так и о моей картине, – проговорил художник вполне искренне.

Старик помолчал, пожевал губами, которых, впрочем, не было видно в его густой бороде, затем вздохнул глубоко, как бы решившись говорить только грубую правду.

– Вы вполне счастливы теперь. Картина вполне хороша. Ею недаром восхищаются: в ней блестящие краски, талант и энергия. Но, простите мою откровенность, – в ней мало истинного искусства и той глубины чувства, которая нераздельна с живым искусством... Друг мой, в вашей картине мне бросилось в глаза прежде всего то, что вы переста-

ли учиться, т. е. совершенствоваться. Перестали наблюдать, иначе, – черпать искусство из жизни; оставили в стороне внутреннюю, моральную сторону, увлекшись одной только внешней стороной изображенного вами. Словом, ваша картина и ваше состояние духа, как художника, представляет мне тот момент жизни человека, когда он остановился в росте физически; вы же остановились в развитии любви к идеалам. Другими словами: вы напоминаете мне тот период года, когда день если еще не пошел, то скоро пойдет на убыль. Этот период бывает, запомните, в начале лета, когда все полно жизни, полно сил и красоты; когда все живет, дышит и цветет, а в то же время день уменьшается и невольно приходят в голову скучные, темные и бесконечно длинные осенние вечера, когда мрак ночей, однообразие туманов и дождей хуже, печальнее и невыносимее суровой зимы с ее вьюгами и метелями. В холодной зиме, несмотря на ее суровость, живет надежда, есть утешение: перед вами весна. А здесь, – при этом старик показал рукой на картину, – впереди однообразие, затем тоска, а в конце – презрение к самому себе... Я вам ясно могу определить, отчего все сказанное мне приходит в голову, глядя на вашу картину. Я не только чувствую, угадываю, но положительно сознаю это. Вы не идете более вперед: вы разлюбили искусство, потому что не изучаете его; вы остановились на тех познаниях, которые приобрели не изучением, наблюдением или трудом, а просто – вашим талантом, вашим дарованием. И если вы не идете вперед, то,

значит, двигаетесь назад: застоя в природе нет, движение во всем, везде и повсюду.

Все рождается, прогрессивно развивается и умирает. И если раз вы остановились в развитии и пошли назад, то знайте – нет возврата к прошлому: ничто не возрождается в той же форме, в том же виде.

Художник, познающий и любящий свое искусство, оставляет по себе творения, которые переходят в потомство и долго там живут. Ваша же картина скоро умрет, как роскошный цветок без тепла, света и твердой почвы.

Я уже сказал, – в картине вашей есть краски, т. е. колорит, но колорит, не взятый из природы, колорит не силы, могучести и правды, а скорее – какой-то разнеженности, так сказать, пикантности, заимствованной из модных картин, колорит, приятно ласкающий глаз и щекочущий чувственность, но совсем не действующий на высокие чувства.

В картине вашей есть рисунок, но рисунок, бьющий на красоту, на ловкость, но не строгий, уверенный и точный. Рисунком вашим вы желаете более раздражить, увлечь зрителя, чем выразить им изображенные вами характеры и типы.

Наконец, в вашей картине есть выражение и энергия, но выражение однообразное, – извините за прямоту, – шаблонное: все лица на вашей картине одними и теми же чертами выражают радость и величие, а также счастье и восторг. Это доказывает, что вы смотрите на воспроизведение этих лиц

поверхностно, скользя по внешности их, не заглядывая отдельно в душу каждого вашего героя.

Это все симптомы тления и смерти, но не творчества и бессмертия. Разве радость или какое-либо движение души может выражаться одинаково на всех лицах, на всех типах? Никогда этого не бывает, да и быть не может. Что ни тип, что ни лицо, что ни характер, то особенность выражения всякого чувства. Глубокий художник тем и познается, что изучает, подмечает все эти особенности, а потому его произведение бессмертно, правдиво и жизненно.

Но что всего печальнее видеть в вашей картине, так это то, что фундамент ее почерпнут не из жизни и любви к искусству, а из требований моды и довольно низменных вкусов публики, которые можно определить двумя словами: бессодержательность и эротичность. Та торная дорога, по которой, к сожалению, чаще всего идут артисты, никогда не ведет к совершенствованию. На ней художник если не гибнет, то меняется на мелкую монету, идущую во всеобщее обращение, где скоро она стирается, и стирается так, что становится невозможным определить, что на ней было изображено, а также и написано.

Не увлекайтесь мизерной, не заслуживающей уважения славой. Слава такого рода рассеется быстро, как утренний туман при восходе яркого солнца, и после останется лишь тоска, сожаление о безвозвратно погубленном даровании. Судьба артистов, увлекающихся первыми успехами и служа-

щих вкусам публики, а не изучающих жизни и жизненной правды, в конце концов, всегда печальна. Преждевременная слава им застилает глаза: они уже не видят истины; но, опьяненные, они увлекаются желанием угождать толпе и ее дурному, а чаще развращенному вкусу. Публика сначала их балует, нередко бросает им баснословные деньги и лавровые венки. Все это – пока они в моде, пока они угождают ей или пока не наскучили, как игрушки, которые нетерпеливые дети ломают или швыряют в сор. Артист обязан развивать вкус публики, идти вперед ее, но не ходить за ней.

Посмотрите повсюду: как многие и многие стремятся на служение искусству! Это не из моды, а скорее по сознанию того высокого назначения, которое предстоит в будущем искусству. Позор артистам, сделавшим из него забаву и уронившим его настолько, что оно будет годно возбуждать только мелкие и грязные страстишки, но не высокие чувства души человеческой.

В заключение мне бы очень хотелось вам выяснить то непрочное счастье и ту туманную славу, которою пользуются все артисты, смотря поверхностно на труд свой, т. е. производя не по чувству любви к искусству, а по требованию публики, или по требованию моды, а также и своего самообольщения.

Если вы имеете еще несколько свободных минут, – обратился старик к артистам, – то присядемте. Я вам расскажу по поводу нашего разговора одну татарскую легенду о счастье,

которое покидает нередко артистов, отвыкших от серьезного труда в пору их полной славы. Каждый артист должен знать ее наизусть.

Не помню, когда это было, но только очень давно, даже еще ранее того, когда русские люди, вместо всяких письменных обязательств и тяжелых клятв, говорили просто: «Да будет мне стыдно, если я этого не исполню!» Не могу вам сказать, где и случилось это: было ли то на Востоке, на Юге, или где-либо в иной стране, право, не знаю, да и не в том суть, а дело вот в чем:

В бедном татарском майдане, т. е. базаре при деревеньке или поселке, жил бездетный татарин. У него была одна только жена, так как бедность не позволяла ему большей роскоши. Ну, что делать! На все воля Аллаха. Измученные непосильной работой из-за куска хлеба и страха голодной смерти, перебивались они, трудясь изо дня в день, без утешения, без радости, без счастья; но не роптали на своего Аллаха и его Пророка, которому между тем усердно молились. Они были люди благочестивые и милосердные, насколько им позволяла их бедность. За их смирение и терпение Аллах уже на закате дней захотел утешить своих правоверных рабов и послал им в виде награды неожиданное счастье, которое заключалось в том, что престарелая татарка почувствовала себя будущей матерью, о чем и объявила с восторгом своему мужу. Бедный татарин был так же рад, как и его единственная по бедности жена. Много говорили они о будущем своем

детище, много благодарили Аллаха и его Пророка за их милости: много также думали, как назвать дитя. Наконец, решили так: если родится мальчик, то назвать его Разумом, если же – девочка, то назвать ее Счастьем. Настало время, и татарка благополучно сделалась матерью. Но вот в чем горе: родилась девочка и к тому же совсем уродец. Это уродливое дитя имело рот, нос, а также все остальное в надлежащей исправности, словом, как у всех правоверных в их стране, но у бедняжки не было глаз, по крайней мере, то место, где надо бы помещаться глазам, у девочки было совсем гладко и никаких признаков органа зрения не замечалось. Всплеснули руками и горько всплакнули татарин с татаркой о таком великом несчастье, но, несмотря на это, все-таки назвали родившуюся Счастьем, так как дали в этом обет Аллаху.

Спустя несколько дней, когда татарка вполне окрепла, встала с своего ложа, или постели, и начала мыть новорожденную, то с удивлением заметила, что у девочки на самой макушке, т. е. на темени, находится глаз и глаз большой, настоящий, который бойко глядит и моргает, к тому же голубой и ясный, как безоблачное небо. Не помня себя от радости, мать побежала в поле, позвала мужа, работавшего там, и сообщила дорогой о радостном открытии и новой милости Аллаха.

Когда они вернулись домой и подошли к девочке, то стали рассматривать со всем вниманием ее единственный, большой глаз. Но чтобы вполне убедиться – видит ли он, татарин

надумал следующее: он поднес к открытому глазу зажженную свечу. С тех пор вошло во всеобщее употребление испытывать таким образом зрение. Когда была поднесена свеча к самому глазу девочки, то она сначала прищурила его, затем совсем закрыла от яркого света и теплоты огня. Тогда-то родители, вполне убедившись, что дитя их видит, снова радовались и проливали слезы благодарности.

Время, труд и убогая жизнь потекли своим чередом, а Счастье, т. е. новорожденная девочка, как бы уцепившись за скоро текущее время, также не отставала от него и также быстро росла. Прошел год, другой и третий. Девочка стала ходить и даже похорошела, если только это возможно было при ее уродливости. Впрочем, в глазах родителей к своим детям, так же как и в глазах артистов к своим произведениям, — все возможно: им нередко дурное их детище представляется прелестным, достойным общего внимания, а потому ничего удивительного, что Счастье своим старикам казалась красавицей. Они до того ее любили, что никогда не расставались с ней и брали ее повсюду, даже когда работали в поле. Там они сажали дочь в сторону, и тихая, молчаливая девочка сидела неподвижно, с любопытством смотря на бесконечное голубое небо, где живет Аллах, на быстро несущиеся белые облака, на яркое солнышко, да на кружащихся в высоте лазури могучих орлов.

Время между тем шло своим чередом. Наконец, Счастье выросла. Но кто возьмет безглазую и бедную девушку, хотя

бы она и называлась Счастьем? К тому же Счастье была натура исключительная: она созерцала только небо, солнце, луну и звезды. Она не видала ничего на земле, так как не могла наклонять головы, а также и сгибать спины, потому что позвоночный столб ее совсем не гнулся, вследствие этого она видела только великое и бесконечное в высоте.

Она не понимала, что такое труд, что такое горе, страдание, зависть, злоба – все земное ей было незнакомо. О земных же добродетелях и говорить нечего, потому что их и с двумя глазами во лбу не скоро увидишь. Итак, Счастье была чиста и непорочна, как ангел, как гурия, живущая на седьмом небе, в обители и объятиях Аллаха, куда она постоянно смотрела. Правда, что Счастье слышала нередко вокруг себя неистовые крики, брань, стоны, проклятия; но она не видала действий, нераздельных с этими пороками и страданиями человека, и считала слышанные ею вопли и стенания простыми звуками, подобными ветру, воющему в трубе, который беспокоит слух, наводит сон или скуку, но не терзает души чистой и светлой. Преступникам – иначе. Им слышится в каждом звуке завывающего ветра плач и мольбы о пощаде.

В эту пору у Счастья стали являться странные и новые для нее желания, а именно: ей вдруг почему-то непреодолимо захотелось кого-либо ласкать, кого-либо любить. Это тем более было странно, что она, как я уже сказал, не видала ни одного человека, в том числе даже своих родителей.

В один день, когда желание чего-то непонятного было настолько сильно, что она не могла сидеть покойно близ работающих родителей от томившей ее истомы, Счастье встала и, потянувшись, расправила свои онемевшие члены, как бы спросонья.

– Мама, мама! – сказала Счастье. – Мне что-то скучно! Я похожу немного...

Татарка, услышав новое, что-то необычайное в голосе своей дочери, оставила работу, с испугом посмотрела на милое дитя свое, но не могла ничего прочесть в глазах ее, так как их не было, а потому и сказала, успокоившись, не поняв дочери:

– Иди, мое сердце, моя милая дочка! Иди, пройдишь! А я посмотрю, чтоб ты не ушла от нас далеко.

Дочь пошла, как ходят люди в лунатизме, инстинктивно, бессознательно, а мать с любовью смотрела ей вслед. Затем татарка со вниманием осмотрела местность и, уверившись, что повсюду гладко, нет ни рвов, ни острых камней, на которые могла бы упасть ее дочь, принялась работать и так увлеклась своим привычным делом, трудом, что забыла обо всем, даже о милой дочери.

Между тем Счастье шла дальше и дальше, увлекаемая каким-то неясным желанием. Наконец, она вышла на торную дорогу и пошла по ней. Она шла, смотря на небо, а душа ее была полна восторгами и стремлениями к любви. Вдруг она с кем-то столкнулась, что-то преградило ей дорогу. По инстинкту слепых, или людей, идущих в темноте, она про-

тянула вперед руки и схватила ими встретившегося человека. Человек этот был слепой от рождения. Звали его Случай. Он был юноша, пришедший в возраст мужа. Слепой Случай также инстинктивно обнял руками стан девушки.

– Кто ты? – спросила его Счастье.

– Я слепой Случай, – проговорил юноша.

– О нет, нет! – возразила Счастье. – Ты не Случай! Ты что-то другое! Ты моя мечта, ты именно то, чего мне недоставало в моей жизни; ты – то, что волновало мою кровь и лишало меня покоя. Прижмись к моей груди! Поцелуй меня крепче, крепче!

И Случай со Счастьем слились в долгий, горячий поцелуй!

Целый день татарка искала свою дочь. Немало хлопот выпало также и на долю престарелого татарина. Рвали они свои седые волосы, и только уже к вечеру, после отлива горя, затопившего их старые сердца, они, убитые, истерзанные, пошли домой. И вдруг, когда они менее всего надеялись, нашли свою дочь. Они нашли ее – и где же? – на дороге, в объятиях слепого Случая. Не буду рассказывать, как сначала вознегодовали старики: они хотели даже предать проклятию дочь свою. Затем, пришедши домой, сильно грустили о своем позоре, но уже не бранили дочь, а к ночи даже стали утешать свое дитя, которое только и говорило о слепом Случае.

На другой день дочь татарки была до того грустна и тревожна, что родители отправились отыскивать слепого Случа-

чая, чтобы привести его и сколько-нибудь утешить дочь свою. Долго повсюду они искали его, но возвратились домой ни с чем, так как Случая не нашли, и успокаивали дочь свою надеждой на будущее – той надеждой, которой живут очень многие люди на белом свете.

После всего прошедшего, Счастье начала понимать, что прекрасное не все только вверху, в небе, в обителях Аллаха, но что есть и на земле такие блаженства, узнав которые никогда нельзя забыть их. В таких-то мечтах время текло. Прошло уже несколько месяцев с той поры, как татарка нашла Счастье в объятиях Случая. Раз, после тревожного сна, Счастье почувствовала что-то странное, что-то небывалое с ней, точно что-то живое, самостоятельное трепетало и шевелилось у нее под сердцем. Не боль и страх ощутила она при этом, нет! – то было другое чувство, скорее напоминающее радость, когда сердце сладко замирает, а также и мысль перестает работать, как бы прислушиваясь к биению сердца. Это явление повторялось с ней несколько дней сряду. Наконец, она сказала об этом матери, которая при ее словах как бы пристыженно опустила голову и грустно сказала:

– Дитя мое! Ты скоро будешь матерью!

Это и исполнилось спустя несколько месяцев. Счастье родила близнецов: мальчика и девочку. Когда молодая мать услышала в первый раз крик новорожденных, то схватила их и так крепко целовала и прижимала к своему непорочному сердцу, что чуть не задушила их. Затем она поочередно на-

чала поднимать их то одного, то другого кверху и таким образом любовалась своим единственным глазом на милых детей своих, держа их над головой. Жизнь ее с того времени стала полна. Ее душа, всегда парящая в высоте, так же, как и ее зрение, теперь сосредоточивалась больше на детях. Она кормила их зараз, у той же груди они и спали постоянно. А она, счастливая, сидела, прислонившись к чему-либо, смотрела на солнце, звезды, на бесконечное небо, хотя мысль ее и была обращена больше к детям.

Время шло. Дети Счастья подросли. Но тут умерла мать Счастья, а вскоре и отец ее переселился к Аллаху, конечно, только не на седьмое небо. Счастье осталась одна со своими грудными детьми. Она их питала долго одним молоком своим, кормила их таким образом даже и тогда, когда они подросли уже настолько, что в наше время их, наверно, давно бы стали учить письму и чтению. Кто кормил мать, чем питалась Счастье – никому не известно. Сама же она, как вы уже знаете, добыть пищи не могла, а между тем она была всегда сыта и даже настолько, что могла кормить еще двух взрослых детей своих. Велик, велик Аллах! Деяния его – непроницаемая тайна для смертного. Итак, мать была вполне счастлива и все более и более любила и привязывалась к детям.

Но вот в один день поднялся какой-то странный, небывалый шум: что-то гремело, неистово кричало, стонало и охало. Это был именно тот день, когда набежали гяуры, или неверные, на их поселок. Кто были эти неверные, осталось

неизвестным, – по всей вероятности, не христиане. Но кто бы там они ни были, только пришедшие люди оказались не ворами или разбойниками, которые обыкновенно грабят, воруют и убивают ночью, во мраке, как бы страшась дел своих; но эти неверные пришли среди дня, когда солнце ярко светило, а птицы весело пели на деревьях. Они пришли и зачем-то сожгли поселок, а всех жителей, в том числе и младенцев, которые могли ходить, увели с собой в плен. Именно же правоверных, тяжелым трудом нажитое, также стало добычей пришедших. Бедная Счастье не могла понять, что происходит вокруг нее, слыша стоны, плач, крик и проклятия, и только когда она увидела черные облака дыму, столбом поднимающегося кверху, к жилищу Аллаха, она протянула руки, чтобы схватить детей, так как почувствовала сердцем матери, что им грозит опасность. Но каково же было ее удивление и ужас, когда она не нашла их около себя! Она громко звала детей, простирая руки и ловя что-то в пустом пространстве; но все было тщетно, – они не находились. Бедная мать в отчаянии упала наземь и вдруг почувствовала, что где-то вдали точно дрожала и гудела земля, и оттуда же слышались стоны и вопли ее детей, словно последние звуки затихающей бури. Она вскочила и порывисто бросилась вперед с распростертыми руками, как бы желая догнать и схватить детей. Что их украли, она не могла догадаться, потому что не имела понятия о воровстве и других пороках и страстях людей: она всегда видела ясное небо, и душа ее была так

же светла и прозрачна. Из земного же она знала одно только чувство беспредельной любви.

Итак, Счастье бежала среди дороги, смотрела в небо и разводила, как помешанная, руками, в то же время громко призывая детей:

– Милые дети мои! Где вы, где вы, мои дорогие?!.. Придите, прижмитесь к моему холодеющему сердцу, к сердцу бедной матери!..

По пути вдруг она услышала шаги, приближающиеся к ней. Скорбная мать вскрикнула от восторга, думая, что это ее дети. Но это были не они, а подошел к ней опять слепой Случай – отец детей, которого она, когда узнала, сильно оттолкнула и хотела идти дальше, но, раздумав, остановилась и спросила его:

– Слепой Случай! Где мои дети? Ты, может быть, знаешь, где они. Скажи мне!

– Да, знаю! – отвечал Случай. – Твоих детей украли.

– Украли! Как украли? Что такое украли?... Но если украли, то где они? Я пойду к ним... Я обниму их...

– О, глупое Счастье! – иронически сказал Случай. – То, что воруют, прячут далеко-далеко и до поры до времени никому не показывают, в особенности же тому, у кого украдено. Вот почему тебе долго и долго не найти их.

– Случай! Укажи мне, по крайней мере, место, где я должна искать их, и объясни, что такое значит: украли. Говори скорее! Не томи меня!

– Хорошо! – ответил Случай и начал объяснять все, доселе Счастью неизвестное. Он объяснял ей не только о воровстве, но и обо всех пороках; но она была настолько выше всего порочного, что не поняла его и, перебив красноречивый рассказ Случая, проговорила:

– Скажи ты мне лучше скорее, где та страна, куда увели детей моих? Я пойду туда, я отыщу их.

– Слушай! – сказал снова Случай. – Я слышал стон, плач и звуки цепей, куда повели пленных; это там!.. – он указал рукой по направлению, которого не могла видеть Счастье.

– Где там? Что ты говоришь? Я не понимаю тебя! – тоскливо проговорила Счастье. – Толкни меня, по крайней мере, в ту сторону, куда я должна идти.

– О мать, отыскивающая детей своих! Ты счастливее меня: я слепой Случай. Ты же говорила мне когда-то, что видишь в высоте бога и его ангелов. Спроси их! Им известно, где твои дети. Они видят с высоты все, я же не вижу ни высоты, ни низу, ничего не вижу. Я живу жизнью других живущих и не могу тебе показать той страны, где твои дети. Один совет могу дать тебе на прощанье, а именно: ищи их там, где больше смеху, веселья и неистовства, а также плача, терзания и проклятий.

Слепой Случай замолк, а Счастье пошла по дороге, протянув вперед руки, как будто она играла в жмурки и кого-то собиралась ловить.

С тех пор и до настоящего времени бедная мать ходит по-

всюду и хватает всех, попавшихся навстречу, не разбирая пола, звания и возраста. Ухватив встречного, она любовно берет его за руки и только что прикоснется к нему, как земное счастье окружит и обовьет его – и во всем тому человеку удача, во всем успех, все исполняется по его желанию. А Счастье между тем поднимает и поднимает кверху попавшего человека; поднимает его – и поднимает затем, чтобы взглянуть на него: не ее ли это пропавшее милое детище. Медленно, очень медленно, трепеща от волнения и радости, Счастье поднимает встречного; иногда же наоборот – порывисто, горя от нетерпения матери – взглянуть на свое дитя, она быстро взмахнет его кверху над головой своей и, усмотрев, что это не ее дитя, с отчаянием и омерзением отбрасывает в сторону поднятого. Она отбрасывает его так же, как человек, нечаянно схвативший жабу или змею.

Понятно ли вам, друзья мои, почему так поступает бедная мать, называемая Счастьем? Если нет, то я вам объясню. Счастье помнит и представляет своих детей такими же, как они когда-то были, т. е. чистыми, непорочными, добрыми и невинными, как любовь отрока, и вдруг поднятый ею являет из себя что-то другое – не ее мечту о прекрасном и непорочном, а что-то гадкое, грязное, бессердечное, напитанное пороками, словно губка водой. Хотя все порочное непонятно для Счастья, но, тем не менее, оно вселяет ей инстинктивное отвращение, и она с ужасом бросает поднятого ею человека, только что окруженного земным счастьем, земной

славой. Отбросив несчастного, мать идет дальше и дальше, без конца, и проделывает то же со всеми, кто ей встретится: будет ли то артист, генерал, купец или крестьянин, светская барыня, красивая актриса или модная камелия, – словом, со всеми, кого она поймает. И вот в чем горе наше: вернуть-ся от нее человеку никак нельзя, так как она невидима для смертного.

До сих пор еще Счастье не находит детей своих и не найдет их никогда. Бедной матери не суждено найти их, потому что если б и случилось ей встретить детей своих, то она все-таки их не узнает: так они изменились физически и нравственно.

Вот, господа, та легенда, которую я хотел рассказать вам и которую советовал бы знать всем артистам для того, чтобы уяснить себе, насколько непрочно счастье, поднимающее артиста, не горящего чистой любовью к высокому искусству. Горе брошенному, увлекшемуся удачами и не подозревающему, как они непрочны и откуда происходят. Вернуть же раз ушедшее счастье или отыскать его вновь невозможно; это еще труднее, чем одноглазой матери найти украденных» детей своих.

Я кончил мою легенду. Простите старика за болтливость – его естественную слабость... В новый год от всей души желаю вам полного успеха, не боюсь даже пожелать вам встречи со счастьем. Не увлекаясь модой, глубоко изучайте жизнь, а главное, горите всей любовью к искусству. При этом условии

вы никогда не будете огорчены, будучи покинуты Счастьем. Правда, нелестно быть непризнанным детищем такой любящей и непорочной матери, как Счастье; но утешайтесь, друзья мои, тем, что Счастье есть совершенство – и совершенство, быть может, только потому, что она не могла наклонять головы, а следовательно, и видеть окружающее; а также и потому, что Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет бог.

Проговорив последние слова, старик торопливо встал, крепко пожал всем артистам руки и пошел, шмыгая мягкими подошвами по деревянному полу, слабея с каждым шагом и все бессильнее и бессильнее наклоняя голову. Что-то скорбное было в его лице, и действительно, скорбь его была не напрасна: он уходил навсегда и к тому же в таинственную вечность, так как старик этот был не кто иной, как старый год, господа.

Медовый праздник в Москве

Шумно и пыльно на Трубной площади в Спасов день первого августа.³⁴ Еще накануне заметно там больше движения, шуму и ругани, чем в обыкновенное время. Ни один проходящий не упускает случая потаскаться там и позевать на торопливые приготовления к празднику. Мальчишки, растрепанные, грязные, еле одетые и босые, стоят толпами и, погружаясь в созерцание, забыли все: и строгий наказ хозяина «слетать мигом», и неизбежную награду за медленное исполнение возложенного на них поручения. Да и нельзя было не забыть и не засмотреться на все то, что делалось в этот день на Трубной площади...

Загорелой рукой, перепутанной жилами, как веревками, вооруженный ломом пуда в два, неугомонный человек выворотил камни, покойно лежавшие на площади, а в вырытых ямах воздвиг и укрепил круглые столбы. На столбах легли перекладины; сверху поставили стропила, и не прошло часа, как явилась на свет божий наскоро сколоченная и обтянутая парусиной клетка, называемая балаганом. За первым балаганом построился второй, а за ним третий и так далее и далее потянулись они справа до самой горы, где начинается

³⁴ *Спасов день первого августа.* – Религиозный праздник, называющийся в народной традиции Первый Спас или Спас медовый; к этому времени пчелы перестают носить взятки, и можно начинать качать мед.

бульвар. Налево же поместились коньки всех цветов и видов; между ними повисли, качаясь, зеленые ящики, называемые каретами; подалее стояли качели, а еще дальше приютился и Петрушка с вечными своими – цыганом, квартальным и доктором. За качелями скромно в сторонке построились походные рестораны с продажей пива и меда. Итак, вся эта местность превратилась в какой-то игрушечный город. Посреди его была и площадь. Только не собор красовался на ней и не присутственные места окружали ее, а посреди всего этого разнообразия воздвигся и прикрепился к земле в виде паутины так называемый колокол с продажей зелена вина – красы буйного веселья всякого народного гулянья.

Наступил вечер. Все это временное население устроилось, измучилось и, промочив свое засохшее от крику, ругани и пыли горло, мирно отдыхало. Любопытные останавливались реже; мальчишки получили воздаяние по делам своим и, всхлипывая, засыпали. Все успокоились в сладкой мечте о завтрашнем удовольствии, а кто и о выручке.

– Какой-то на завтра господь денек пошлет? – думает магик, превращающий цветы в яичницу и проделывающий разные другие волшебства. – Солнышко село чисто, не в тучу! Быть вёдру! – Он еще раз взглянул на потемневшее небо, набожно перекрестился и лег, а вскоре заснул так покойно, как будто и не волшебник.

Все затихло, и только кое-где были привязанные собаки.

Наконец настал давно ожидаемый день. Солнце как буд-

то запоздало в это утро, и когда оно выглянуло из-за домов и церквей, то застало всех в страшной суматохе. Лучи его, скользнув по крышам больших каменных домов, осветили боковую сторону крайнего балагана и, пробившись внутрь его, уперлись в занавес, на котором был изображен кто-то вроде Аполлона с лирой в руке и с искалеченными ногами. Другие же лучи скользнули по работавшему народу, прихотливо осветив где лысую голову, а где вскинутые кверху руки с блестящим топором. Все грязное казалось цветным и ярким. Вся площадь, изрезанная тенями, была как будто вызолочена под чернеть. Валявшиеся стекла блестели, как бриллианты, а столы с лотками и корытцами, наполненными соевым медом, казались кусками золота. Повсюду, жужжа, летали пчелы и жалили всех, защищая плод трудов своих; но, выбившись из сил, они тут же падали и хрустели под ногами хлопотавших хозяев. По всей площади пахло медом. Но никто не обращал внимания ни на что, кроме своей работы; да и работа кипела и приближалась к концу. Кой-где еще приколачивали последнюю доску, отпиливали конец длинного шеста, поднимали вывески с такими изображениями, на которые смотреть было страшно. А солнце поднималось все выше и выше.

Вот загудел большой колокол в соседнем монастыре, мягко разливаясь по всему окружающему пространству. Кончилась и обедня. Народ толпами повалил к месту удовольствия. Со всех сторон бегут мальчишки. Посмотрите направо. В об-

лаке пыли, задрав кверху голову, как дикий конь, преследуемый стаей голодных волков, несется с товарищами в растерзанном виде и без копейки денег кривой Петька. Он порывисто дышит от быстрого бегу, а в груди его хлопит, как в грязном чубуке. Чудак этот Петька! Карманы его полны бабок. Он худ и грязен, зачастую и голоден, но всегда доволен и весел. Многие дивятся, как это не оторвется его голова: так тонка и худа его искусанная блохами шея. По ремеслу – он сапожник, по званию – мещанин. Все бьют и ругают Петьку, и только ленивый его не трогает.

– Поди сюда, кривой черт! – кричит ему какой-нибудь загулявший из их артели мастер.

Петька уставится быком и не двигается.

– Поди, говорят тебе!.. Сам встану, хуже будет!

Петька делает шаг вперед и опять останавливается.

– Подойди ближе! Ну еще... еще! – рычит пьяный мастер и, схватив за волосы, всегда всклокоченные, оттреплет ни за что ни про что мальчишку, так, ради шутки. Если не очень больно, то Петька только обругается, а если уж очень невтерпеж, то уйдет под лестницу и горько там плачет. А наплакавшись вдоволь, опять весел и даже счастлив и, не умывшись, так и бегаёт полосатым от катившихся слез по грязному лицу. Все бьют Петьку, от кухарки до хозяина, а иногда даже и посторонние; но он не тужит. Вот несется теперь Петька на гулянье в полном восторге, а волосы его все еще не улеглись от последней трепки.

Плетется и Калиныч, старик из богадельни. Ему уже лет за семьдесят. Он слаб на ногах, да и плоховато видит, но не пропускает почти ни одного гулянья. Долго плетется он до гулянья и во всю дорогу шевелит губами, точно ими что-то хочет раздавить твердое. На нем полосатый халат и картуз на вате, с козырьком чуть не в заслонку. В правой руке клюка, а в левой – корзинка, в которую он постоянно собирает выброшенные апельсиновые и лимонные корки, посушив которые на солнце, пьет с ними чай и даже угощает товарищей. Спешит и артель позолотчиков, запоздавшая из-за расчета с хозяином. А вот почти бегом валит ватага фабричных, неистово толкая всех и каждого; и ломают они напролом, не слушая, что их клянут все встречные. Показались и монахини, подходя к каждому и прося пискливо на «украшение храма божия». Отовсюду спешит и прибывает народ православный на медовый праздник. Площадь наполняется все больше и больше.

И вдруг грянули полковые музыканты, зазвенели медные тарелки, заорали паяцы, завертелись качели; народ завозился, чувствуя свободу рукам и сердцу, – и пошла потеха. Все смешалось, спуталось; все волновалось и кричало. А под самым ухом гнусит Петрушка, уже успевший дать по затрещине вечным врагам своим – цыгану и квартальному. Шум, гам страшный! Пыль, крутясь, поднималась широким столбом и садилась толстыми слоями на гуляющую по соседнему бульвару публику. Народ массами переносился от одного балага-

на к другому. Мальчишки бегали в полном восторге. Да и все были веселы и довольны, смеялись и галдели.

Портной же Федот Иваныч в припадке ревности уже успел натворить бед, и блюстители порядка скрутили крепко его руки и не дали ему разгуляться. А долго он мечтал о предстоящем празднике! Без усталости работая даже в часы отдыха, он скопил трудовые гроши и сберег их до назначенного времени, несмотря на неоднократный позыв пропить их. Смирный и кроткий, даже робкий человек, Федот Иваныч имел единственный порок – пагубное пьянство. Впрочем, и в пьяном виде он бывал смирен и кроток; иногда только на него находило какое-то бешенство, и тогда его не узнавали: все сокрушалось им на пути его и кончалось это необузданное буйство тем, что, посидевши в сибирке,³⁵ он возвращался к хозяину, еще смиреннее прежнего. Позовет, бывало, немец-хозяин к себе провинившегося Федота Ивановича и начнет так:

– А, Федот Иваныч! (его все звали Федотом Ивановичем). Ви опять в чашный³⁶ дом бил?

– Попал маленько, Карла Карлыч, – отвечал Федот Иванович, глядя куда-то в сторону и почесывая за ухом.

– Фуь-фуь! Как это не корошо! Ви совсем нешасный шеловек! – говорит немец, грустно качая головой.

– Не извольте беспокоиться, Карла Карлыч, – возражает Федот Иванович, встряхивая своими жидкими волосами.

³⁵ *Сибирка* – камера при полицейском участке – частном доме.

³⁶ *Чашный* – искаженное «частный».

– Ну, пожалуйста на работу. Ви два дни имеете прогул, – объясняет немец.

– Деньжонок нельзя ли, Карла Карлыч? – робко лепечет Федот Иванович.

– Ой! Нет, нет! Эта не мошет быть!

И замашет руками немец, уходя от Федота Ивановича.

Постоит, постоит Федот и как-то тоскливо посмотрит вслед уходящему немцу. И опять почешет за ухом, а затем поплетется в мастерскую, где, скинув сапоги, бросит их сердито, как будто они ему никогда уж больше не понадобятся, и, усевшись на катке по-турецки, примется работать. Работник он был хороший; хозяин его любил и потому смотрел на многое сквозь пальцы.

Была у Федота Ивановича и возлюбленная – девица высокая и красивая, с румяными щеками, красными руками и полною грудью. Он очень любил свою Арину и все собирался жениться на ней. Арина также была не прочь выйти за него: она его любила, хотя и носилась слух о ее неверности.

В день первого Спаса Федот Иваныч встал рано, веселый и довольный. Все привел в порядок: пришил пуговицы к чужому сюртуку, отданному в починку, и надел его. Сапоги на нем блестели, лицо было вымыто, жидкие светлые волосы были гладко причесаны; он думал даже подвиться, да пожалел денег. И вот Федот Иваныч вышел на улицу. Лицо его сияло, от него так и веяло счастьем. А когда он подходил к гуляню, хотя и не подвитый, то сколько в нем было ликующе-

го торжества! Шел он более торопливо, чем ходил обыкновенно; всем давал дорогу, сходя с тротуара, как будто боясь, чтобы какая-нибудь непредвиденная история не задержала его на пути стремления. Подошедши к гулянью, он еще более приосанился, поправил картуз и, подбоченясь фертотом, шагнул раз, другой – и исчез в волнах шумящего народа. Спустя несколько времени, Федот Иванович увидел свою возлюбленную. Она стояла у качелей и жеманно щелкала орешки. Он подошел к ней и ласково сказал:

– Здорово, Ариша!

– Здравствуй, коль не шутишь! – отвечала она, вытирая платком свои алые губы.

– Какие тут шутки в нашем звании! – говорит Федот Иванович, крепко пожимая ее руку. – Ну что ж стоять-то. Пойдем шпацирензи.

Арина взглянула на него с удивлением.

– Я, вдруг, хочу в немецкую веру переходить, – отвечает Федот Иванович на ее взгляд. – Заодно с Карлом Карлычем.

– Хорош будешь немец, нече сказать! – смеясь, говорит Арина. – Ты бы лучше водку-то бросил пить.

– Эво, куда хватила! – ворчит Федот, видимо недовольный ее замечанием и, не говоря больше ни слова, идет вместе с нею вдоль балаганов.

Долго они ходили от балагана к балагану, кушали сотовый мед, заходили в рестораны пить пиво, а под колокол – зелено вино. Федот Иванович был уже, как говорится, на втором

взводе; Арина также выпила на порядках: щеки ее пылали, грудь высоко подымалась, глаза были масляные. Она шутила со своим возлюбленным, ударяя его платком и покатываясь со смеху; а он подпускал ей разные экивоки. Вполне довольный и счастливый, проходя чуть ли не в десятый раз по гуляню, Федот Иванович встретил на беду свою старинного приятеля, отчаянного гуляку. Уж по одному виду можно было судить, каков это был молодец. Шел он, вздернув кверху свое широкое рябое лицо и ухарски закинув назад длинные лохматые жесткие волосы. Черная цилиндровая шляпа его была сдвинута чуть не на ухо; на ситцевой рубашке с косым воротом красовался немецкого покроя сюртук, на руках белые нитяные перчатки; длинные, густые, точно намазанные сажей, черные усы и много дней небритая борода дополняли его ухарство.

– Старому приятелю! Другу сердечному, таракану запечному! Сорок одно с походцем! – закричал он, увидя Федота Ивановича. – Ну, как вас бог милует? – и, качнув головой на Арину, прибавил: – А эта откуда?

Арина потупила в землю очи свои и начала ломаться, жеманно крутя головой. Лохматый же, наклонившись к Федоту Ивановичу, шепнул ему что-то на ухо, а тот, оскалив свои редкие зубы, промычал: «Н-да!» Лохматый засмеялся, лукаво глядя на Арину, и, обняв Федота Ивановича, сказал громко и развязно:

– Ну что ж, друг серый! Пойдем по-старому, по-приятель-

ски раздавим бутылочку. Да и краля писаная соблаговолит пожаловать на стаканчик холодненького? – обратился он к Арине.

– Как Федоту Иванычу угодно! – отвечала она и собрала губы, как на ниточку.

Лохматый начал звать Федота Иваныча пить пиво, а Арина подпускать разные турусы и уж очень нежно на нее поглядывать. Федоту Иванычу не понравилось обращение приятеля, а также и поведение подруги, но он не отказался от соблазнительного приглашения. Пришедши в ресторан, они спросили пива, а приятель Федота Иваныча до того разнежничался с Ариной, что чуть не целовал ее. Она, скаля свои белые зубы, хохотала, жеманно повторяя: «Ох, уж вы! Зачем вас баловать, таких хорошеньких!» – и таяла от восторга.

Федот же приходил все более и более в мрачное состояние, выпивая стакан за стаканом холодного пива.

Новая толпа загулявших мастеровых ворвалась в ресторан и, увидав лохматого молодца, заорала неистово:

– Господи! Гляди, гляди! Артист-то наш где! Ах, отчаянный! Тащи его! – и, подхватив артиста под руки, увлекла его с собой.

Арина огорчилась, а Федот Иваныч как будто повеселел; но тем не менее мрачное состояние духа не покидало его. Он начал придирается к Арине, упрекая ее разными предположениями.

– Ты, значит, что же это? – говорил Федот, уставив свои

уже помутившиеся глаза на Арину. – А?...

Арина молчала.

– Что же ты не отвечаешь? – продолжал Федот угрюмо. – Ах ты, непутевая! – ворчал он. – Значит, много вашей милостью довольны?... А?... Что ж ты молчишь?... Постой же, – добавил он и схватил Арину за руку.

Она ее сердито отдернула.

– У-у-у! Дьявол!.. – зашипел Федот и заскрежетал зубами, приходя в ярость.

Арина совсем рассердилась, вскочила и пошла на гулянье. Федот Иваныч тоже встал. Его нельзя было узнать: так он был суров и мрачен. Молча рассчитался он с хозяином, залпом допил оставшееся пиво, быстро вышел из походного ресторана и догнал Арину. Пройдя с ней несколько шагов и не говоря ни слова, он засветил ей в ухо. Девка взбеленилась, полезла в драку, а народ загалдел хором: «Э-у... у...» – и начал смеяться и поддразнивать ее. Она еще больше злилась и, приступая к Федоту, старалась вцепиться в его жидкие волосы. Недолго, однако, продолжалась битва. Явилась полиция. Буяна схватили, а Арина исчезла в толпе гуляющего народа. Но недешево отдал Федот Иваныч свою свободу. Отчаянно барахтался он, отбиваясь ногами и руками, удивил вкруг стоящих и даже привел в восторг своей богатырской силой, заключенной в таком ничтожном теле. Народ дивился, глядя на его сопротивление, и кричал с увлечением: «Смотри, ребята! Вот гром-то не из тучи. Ай да молодец!..»

А Федот с неистовством сокрушал все и всех. Полицейские солдаты прибывали со всех сторон и, накинувшись на Федота, как мухи на кусок сахара, прикрыли его собой. Долго возилась скученная масса по пыльной площади. Наконец, начали подниматься одолевшие его стражи, кто отряхая пыль со своего платья, а кто и прикладывая ладонь к щеке или попорченному носу. Подняли и Федота. Вид его был очень печален: сюртук, отданный ему в починку, был разорван надвое, рукава одного не было. Сам же он имел вид сумасшедшего: побледневшие губы дрожали, а глаза вращались бессознательно. Повели его со связанными назад руками, и был это Федот, да не тот: точно из яркой цветной краски окунули его в дрянную ваксу. Увели Федота Иваныча и не дали развернуться ему; даже половина денег осталась и побрякивала в его кармане.

Народ вернулся, проводив героя; шум, крик и разудалые песни еще более усилились. К колоколу подвезли новых пивных. Пирамиды были уже полуразрушены. Много корытцев валялось опрокинутыми. Много было съедено меду, перемешанного с пылью и патокой, а также и других лакомств. Гулянье было в полном разгаре. Фабричные щеголихи, обнявшись, расхаживали гурьбами, распевая во все горло веселые песни. Подгулявшие мастеровые, с гармоникой в руках и с красными платками на шее, бесцеремонно с ними заигрывали.

– Карнолины-то³⁷ растеряли, купчихи! – кричит мастеровой, обращаясь к поющим.

– Ах вы, мастеровщина оглашенная! – отвечают хором фабричные красавицы и опять затягивают визгливо какую-то песню.

Спесивые кухарки, разодетые во все красное, занимаются больше солдатами, истребляя подсолнухи и орехи. Они разговаривают с ними самым деликатным манером.

– Если вы, кавалер, не можете сократить себя, то вам это довольно стыдно! – говорит миловидная кухарка, идя со своей подругой.

– Мы не какие-нибудь!

Высокий и усатый солдат, не слушая их, идет рядом и гордит им разную чепуху.

– Оставьте нас, кавалер! Вам очень нехорошо приставать к нам.

– Гром победы раздавайся! Поцелуй меня, мамзель! – декламирует неожиданно солдат и лезет обнимать их, а они визжат и хохочут.

Толстые дворничихи, отдуваясь, стоят в сторонке, иногда заводя разговор со своими супругами вроде следующего:

– Кузьма Лавреньтич! А Кузьма Лавреньтич! Уж очень жарко!

– Беда невелика, не растаешь, – отвечает супруг. – А уж очень невтерпеж, то раскинись...

³⁷ *Карнолины* – искаженное «кринолины».

– Ах, какой ты, право! – ворчит дворничиха, – слова путевого не вымолвишь.

Она подзывает к себе мальчишку с малиновым квасом сомнительного качества и выпивает несколько стаканов залпом.

– Смотри, Марфа! Не забудь Марьину рощу³⁸... – замечает ей супруг.

Остальная же публика толпится у балаганов, как нищие у крыльца в день памяти усопшего богача. Балаганные артисты работают без устали: уже восьмое представление кончалось в крайнем балагане. Полковые музыканты только и знают, что лазают на раус. Знаменитый остряк и комик Арэфьич – любимец народа – начал ослабевать: выражался как-то резче, чем еще больше смешил публику. Но что делалось на качелях и в соседних ресторанах, на коньках и в питейных заведениях – описать невозможно. Одним словом, веселье было одуряющее. И, боже! Сколько было выпито вина и пива! Сколько выпущено острот язвительных и милых! Перетоптано пчел и перебито посуды! Вся площадь была как бы засеяна скорлупами орехов, подсолнухов и разными объедками от других лакомств. Представьте себе состояние сонного человека, если бы в его ухе лопнула ракета! Точно в таком же положении была оглушенная и озадаченная публика от неистовой пальбы в третьем балагане: этим финалом кончилось девятое представление – взятие какой-то крепости, где

³⁸ Возможно, намек на то, что в Марьиной роще находилось кладбище.

турки валяются как чурки, а наши, хоть без голов стоят, а все палят. Народ бросился к балагану, а из него тоже валила распотевшая масса. Столкнулись эти две силы и начали одолевать одна другую. На балконе, однако, стояли измученные уже артисты, хрипло крича во все горло: к началу! к началу! Комик, соперник Арефьича, по профессии башмачник, заорал уже совсем осиплым голосом, обращаясь к очень высокому и худощавому до крайности фабричному, с зеленым как трава лицом и оловянными неподвижными глазами: «Эй ты, длинный черт! Где это ты ходули-то украл? Залез на них, да и ходишь по народу! Бесстыжие твои буркалы! Вот я те к мировому!...» – и при этом скорчил такую рожу, что вся площадь так и залилась неудержимым смехом. Народ повалил в балаган, с остервенением давя друг друга. А солнце уже спускалось за близстоявшую монастырскую колокольню.

Разгулявшаяся толпа еще долго волновалась, как глубокое море после стихнувшей бури. Удачные песни неслись далеко, далеко, раздаваясь по городу вместе с грохотом барабанов и пронзительным свистом полковых дудок. Но надвигалась ночь, и площадь начала редеть, затихал и шум. Только в походном ресторане под отрывочное трынканье балалайки и нескладную игру на гармонике слышалась разудалая песня; там, мотая головой и ухарски вскидывая волосами, с бешенством танцевал лохматый приятель Федота Иваныча и так выбивал дробь о гладкие камни, что летели во все стороны блестящие искры. Он носился, вертелся и отпрыгивал,

как волчок, пущенный искусною рукой.

– Аль не любишь? Аль не чувствуешь? – выкрикивал лохматый, окруженный пришедшими в восторг от его удалой пляски пьяными товарищами и другой публикой. Перед ним, пощелкивая пальцами, размахивая алым платком и колыхая своею полною грудью, вяло топталась Арина, уже совсем подгулявшая. А в отдаленной части города, под черной лестницей, в темном чулане, горько плакал, всхлипывая, кривой Петька, только что получивший от хозяина отчаянную трепку. Да в душной богадельне на жесткой койке, кряхтя и почесываясь, ворочался с боку на бок Калиныч. Он не мог заснуть от томившей его жары, хотя уж давно лежал с закрытыми глазами и даже потерял надежду разжевать что-то твердое.

Наконец и совсем стемнело. Соседние опустевшей площади улицы наполнились возвращающимся с праздника народом. Ссоры возникали на каждом шагу. Пьяных было много. Иные плясали на ходу, других же, совсем ослабевших, вели товарищи. Петрушка с цыганом, квартальным и доктором валялись на земле, как будто отдыхали, утомленные трудами дня, а хозяин их сидел на ящике, освещенный сальным огарком, и считал медную выручку. Посреди площади, отчаянно размахивая руками, ругался комик Арефьич со своим соперником. Остальные артисты и артистки, переодетые и полумытые, с узлами, в которых виднелись их костюмы, не совсем твердыми шагами отправлялись в ближайший трактир,

откуда доносились звуки визгливой шарманки, и детский надорванный голос, словно рыдая, выкрикивал: «Не брани меня, родная». Снятые вывески валялись в беспорядке на площади.

Наступила ночь. Все стихло. По опустелой площади рыскали голодные собаки, набежавшие со всех сторон, да бродили какие-то тени: то были полицейские, стаскивающие в кучу упившихся до зела.³⁹ Так кончился народный праздник в Спасов день, первого августа. На другой день Федот Иванович проснулся в частном доме, в многочисленном обществе разнообразной публики. У него болела голова и ныло сердце. Денег в кармане его не оказалось. И вот их всех вкуче повели на перекличку, а там ему услужливый городской на уцелевшей еще спинке черного жилета изобразил мелом известный в народе двенадесятый праздник, т. е. крест в кругу.⁴⁰ И послали его в видах исправления мести улицу.

³⁹ *До зела* (древнерусск.) – совершенно, окончательно.

⁴⁰ *Крест в кругу* – таким значком в церковном календаре отмечают числа, которые приходятся двенадцать наиболее значительных праздников православной церкви.

К.А.Коровин

1861–1939 гг.⁴¹

Первая любовь

Москва. Давно то было. В воздухе пахло весной. Солнце. Блестели купола старой церкви Харитония в Огородниках. Рядом с церковью были небольшие деревянные дома, с двориками, крыльцами, у которых густо насажена сирень. Двор кой-где мощен булыжником. Гнилой забор соседнего сада. Бузина выпустила маленькие, как бисер, листочки. Весна. Синее небо. Летят белые облака.

У крыльца дома, где я жил, – большая бочка, полная капельной воды. Я и Тата, девочка из соседнего дома лет десяти, смотрим в бочку. Замечательно. Видно небо, как бегут облака. Я вижу себя и Тату. Когда пальцем взволновать воду, все делается смешно, так забавно прыгают глаза, нос, наши лица.

У Таты на голове маленькая шапочка пирожком и белый воротничок на жакетке. У Таты матовое лицо, темные, как слива, глаза, большие ресницы. И когда она смотрит на меня,

⁴¹ Все произведения печатаются по изданию: Константин Коровин вспоминает... М.: Изобразительное искусство, 1971.

то часто мигает ими.

Тата так нравится мне, что выразить нельзя.

Мне одиннадцать лет. У Таты сестра Аня, старше ее. Тата меня зовет Костю, а я ее Тата.

Тата такая хорошенькая, и я близко смотрю на нее, потом опять в бочку и говорю ей:

– Тата, можно вас поцеловать?...

Тата посмотрела на меня, часто заморгала ресницами и сказала:

– Не знаю, я спрошу маму...

Я подумал: «Ну, вот, мама, наверно, скажет, что нельзя».

Через лазейку в заборе мы попадали в соседний двор, где был сад и где жила Тата. Очень хорошо в доме у Таты, так чисто. Какие-то пузатые комоды, столики, горка с фарфоровыми куколками, занавески на окнах, и всюду салфеточки вязанные, часы высокие, и тихо ходит большой маятник.

С Татой мы читали книги, стихи, смотрели альбом с портретами.

Мать Таты была высокая, серьезная и добрая женщина. Увидев меня, она всегда старалась угостить: то рахат-лукум, то чернослив, то орехи. У Таты не было отца – он умер, но она показывала мне его портрет в военном мундире. Это был человек с выпуклыми глазами и с баками. Тата говорила, что папа был такой хороший-хороший...

Я был один на дворе, где больше еще распустилась бузина, и сирень была зеленая. Весело грохотали по мостовым извозчики, и блестела церковь Харитония в Огородниках.

Вдруг я вижу – Тата подъехала на извозчике со своей матерью к воротам, нарядная, в шляпе с лентами, и картонки в руках. Она кивала мне головой.

После обеда Тата пришла ко мне и спросила мою мать:

– Дома Костю?

– Он там, – сказала мать.

У нас в квартире было хуже, чем у Таты, бедней. Не такая мебель, не было этих салфеток и горок с фарфоровыми куколками за стеклами. Я обрадовался Тате. Она взяла меня за руку, подвела к окну, где видны были зеленые листья сирени и где солнце острыми лучами светило на нее, и вкрадчиво и серьезно сказала мне:

– Костю, мама, когда я спросила, можно ли тебя поцеловать, сказала – нельзя: ты будешь его целовать тогда, когда у него вырастут усы. А если ты будешь его целовать сейчас, то на носу сделаются пупыри, такие гадкие... Нос делается большой, и выпадут ресницы.

«Это ужасно», – подумал я.

Я был очень взволнован, и, когда ушла Тата, я поискал зеркальце – не нашел. Подошел к большому зеркалу и смот-

рел на себя. Усов – никаких. Чуть-чуть какой-то пушок есть, но он в другом месте – на щеках. Нет усов. Невозможно...

«Все это верно, – подумал я. – Но как же, на пасхе-то, когда красное яйцо, ведь христосуются. Я помню, в прошлом году со мной христосовались и Аня, и ее мама, и Тата – и никаких пупырей. Как все странно».

* * *

Распустилась сирень. У подъезда нашего крыльца стояли ломовые, вытаскивали мебель, матрасы, стулья, и я узнал, что это переезд на дачу.

Я ехал с отцом, отдельно в пролетке на извозчике. Брат Сережа с матерью. В руках у меня была наша собачка Мулька. Это была маленькая черненькая собачка, которая страшно беспокоилась – куда-то ее увозят. Но когда мы приехали в лес от Крестовской заставы, то отец остановился, я пустил Мульку, и мы пошли пешком. До чего было прекрасно. Дорожки, зеленая трава, распустившиеся березки. Замечательно. И я совершенно был поражен, когда подошли к мосту, и я с него увидел речку, бегущую воду, зеленые луга и у столбов моста стайку маленьких белых рыбок.

Боже, до чего хорошо! До чего хороша эта деревянная дача с террасой, синие старые бревна. Ломовые стаскивают с воза мебель, ставят стол. А уж на стол принесли молоко, мать поставила стаканы, плюшки, пеклеваный хлеб.

Я взял стакан молока, хлеб и вышел. Передо мной лужок, я ем хлеб, пью молоко и иду по этому лугу... Вот речка. Она извивается – ольховые кусты низко нависли над самой водой, зеленые, яркие, и отражаются в воде. Какая радость!.. Я никогда и не видал раньше такой речки. И так недалеко от Москвы.

Утром проснулся, бревна, маленькая комната, в окно блестит солнце и зеленый, зеленый сад... А кругом какие места! Кривая сосна на лугу, старая, гнилая, а за ней голубая даль. Вот там, должно быть, думаю я, там и есть мыс Доброй Надежды. Я непременно поеду туда.

– Ты не ходи далеко, – говорит мне мать, – а то заблудишься.

Но все же я пошел.

У самой сосны, старой, уже засохшей, такой чистый лужок, сухая земля. Я лег у сосны и подумал: а Тата осталась там, в Москве... Отчего она не приехала сюда, я бы с ней пошел туда, где эта даль, мыс Доброй Надежды... Она все видит тот же двор, мостовую. Разве это можно сравнить – Москву. Там скучно. Бедная Тата... Я напишу ей письмо, напишу: «Попросите маму, чтоб она вас отпустила к нам. Я не буду вас целовать – никогда. Но только приезжайте, пожалуйста, с мамой. Я люблю вас, Тата».

Я встал и пошел. Все иду, какие-то пашни, опять луг, а там внизу, куда я спускаюсь, в кустах вижу, как идет маленький ручей. Я подошел к нему. Видно все: дно и цветные камеш-

ки, трава, осыпанный бугор. Такой узенький ручей, что, если разбежаться, можно перепрыгнуть. Я снял сапоги и перешел его вброд. Вода холодная, но так приятно ногам в воде.

Я остановился в воде и вдруг увидел, как к ногам моим стайкой подошли по дну серые рыбки – пескари.

Возвратясь домой, я просил отца купить мне удочку. Отец обещал.

* * *

Я послал письмо. Прошло несколько дней – и вдруг, только что сойдя с террасы, я увидел, как через мост по речке едет пролетка, в ней сидит отец и Тата с матерью... Я так обрадовался, что побежал навстречу через луг и кричал:

– Тата! Тата!

Я показал Тате сухую сосну и повел ее в голубую даль, к мысу Доброй Надежды. Она собирала цветы, – большой букет, – и подносила их к своему лицу.

– Костю, какие чудные цветы! Я их нарву побольше, привезу домой, поставлю в банку и буду думать о вас... А вы?

А я говорю:

– Я не знаю... Тата, а ведь усы у меня не скоро вырастут, как вы думаете?

– Это ничего. Но вырастут непременно, Костю.

Когда со мной бывала Тата, на даче, в Медведкове, мы вместе ходили много и бегали по лугу босиком, по воде ру-

чья, на песочке. Сидя за столом на даче, ели сухари, пили молоко.

Все время было особенное чувство красоты и радости. Все кругом преображало волшебное очарование. Веселье и радость.

Когда уезжала Тата, пропадало дорогое, бесценное, родное...

Я получил письмо: Тата прощалась со мной. Она уезжала с матерью далеко и надолго, в Саратовскую губернию к родным. Загрустил я и опечалился.

А осенью отец, мать и я переехали из Москвы в Мытищи: отец получил какую-то службу поблизости от Мытищ.

Новая жизнь в деревне, дружба с товарищами, крестьянскими мальчишками, охота, школа захватили меня. Я реже и реже стал вспоминать Тату.

* * *

Прошло много лет. Как-то летом, идя из мастерской Малого театра и проходя в ворота на Красную площадь, я вошел в часовню Иверской божьей матери, залитую огнями свечей.

Сбоку от меня стояла довольно высокая женщина. Я взглянул на нее и узнал: Тата! Женщина опустилась на колени и, встав, повернулась и пошла из часовни. Я пошел за ней и на ступенях лестницы, выходя из часовни, сказал:

– Тата!..

Она остановилась и остро смотрела на меня.

– Костю! – вскрикнула она. – Костю, я не узнала вас!..

Она взяла меня под руку и пошла от часовни. Идя со мной по тротуару, говорила, все так же остро смотря мне в глаза.

– Вы, Костю, теперь знаменитый художник. Так давно не видала вас. Про вас пишут газеты, вы уж теперь, наверно, не такой, наверно, загордились, зазнались, ухаживаете в театре за актрисами. Да, да... Наверно?

Я смотрел на нее.

– А я вышла замуж. Мой муж служит в городском ломбарде, и я там тоже служу. Он старше меня, но он очень хороший человек. А вы, Костю, сколько получаете жалованья?

Я как-то промолчал и спросил:

– Тата, помните луг в Медведкове, старую сосну, ручей. Я не раз был там и видел этот луг в цветах, и вас – улетевшее, светлое видение: призрак любви моей...

– Вы всегда и раньше были такой – странный...

– Какой? – спросил я.

– Костю! Вы всегда можете бывать в театре?

– Могу, – ответил я, – но не бываю.

– Как странно... А вы можете достать абонемент, амфитеатр партера, третий ряд? Вы, наверно, можете достать контрамарки – да? А вы знаете, мама ведь умерла моя, вот уж скоро год.

У подъезда, на Балчуге, где была моя мастерская, я остановился.

– Тата... Я достану вам абонемент. Дайте ваш адрес. Я непременно пришлю вам билеты в театр...

И простился с Татой...

Мастерская моя показалась мне мрачной и ненужной. И я вновь вышел на улицу. Крикнул проезжавшему извозчику – и поехал в Медведково.

В Медведкове у ручья была лесная тишина. Лето, жаркий день... Стоя в ручье босиком, я смотрел на воду... Тихо журчал ручей – и светлое журчание его напоминало мне о прошедшем прекрасном, о мысе Доброй Надежды...

Меценат

Летят воспоминания к берегам бесценным родины моей... И, как калейдоскоп, сменяются картины ушедших далеко, забытых дней.

Помню я с детства пост великий. Кругом делалось тише, скромней, даже на улицах. Говорили и смеялись не так громко, и не было видно пьяных. А дома за столом капуста кочанная с маслом, суп грибной, жареные сметки белозерские, солянка с рыбой, и уж нет мяса и в помине. За чаем сахар постный, разноцветными кубиками, изюм. Моя няня, уже старушка, в большом черном платке, строго постится, рыбного не ест, ходит и к утрени и к вечерне в церковь...

Нравится мне великий пост потому, что, в саду за забором, где недавно были сугробы, не пройдешь теперь: большая лужа, оттепель. За частыми сучьями лип видно, как просветило голубое небо, какое-то другое, чистое, весеннее. Как хороши эти просветы, как радуют! В душу входит что-то, чего не расскажешь, невозможно рассказать.

А утром, за чаем, в корзинке румяные, из теста, жаворонки, с черными глазами из коринки, – как радостно! И еще хлебные кресты. Это все предвещало весеннюю радость, разлуку с долгой, суровой зимой.

Помню, в мою комнату утром вливалось солнце, золотило лучами своими косяк окна и мой стол с тетрадками. А

на окне, между рамами, на белой вате, пестрели нарезанные шерстинки ярких цветов.

Мне казалось – до чего хорошо жить, идет весна. Мечтал, как я пойду далеко, в Медведково, в лес, на реку Язу, к мельнице, а ружье-одностволка висит на стене и пороховница. Я каждый день чищу ружье.

Весной летят птицы, особенные, неизвестные. Летят только очень высоко. И сколько их? А в Медведкове на лугу, за кривой сухой сосной – даль голубая. До чего хорошо идти в высоких сапогах по лугу! Придешь к речке Чермянке, она чистая, в овражках около еще лежат снега, – шумит, быстро мчится вода сквозь красные прутья кустов. Вдруг вот вылетит птица, какая-то особенная, с длинным носом.

* * *

У меня в детстве был приятель, Коля Хитров. Он ходил в форме со светлыми оловянными пуговицами. Я сначала думал про него, что он с железной дороги. Оказалось – нет, какая-то школа военная. У Коли были очень большие красные губы и серые глаза. Он ходил со мной за город в Кусково, в Кузьминки, в Кунцево: я ему и показал эти райские места, он не видал их раньше.

Случилось – на пруду у Перервы, у берега, стоял плот. Небольшой, деревянный. Мы достали с Колей шест – нам было необходимо, разумеется, переехать пруд. Поехали. Толь-

ко Коля стал с краю плота. И плот перевернулся, и мы оба очутились в воде. Холодно. Ухватились оба за край плота и, как-то болтая ногами, доплыли до берега назад. Ух, как было холодно! Бегом бежали в деревню, в трактир, на печке сушили платье, пили чай в овчинных рваных тулупах, которые дала нам трактирщица.

Приехали домой поздно, сапоги были сырые, и оба заболели горячкой. Жар, болело горло. Коля и я выздоровели, но больше ко мне отец его не пускал.

Отец был тоже в мундире со светлыми пуговицами, с бородкой, бакенбардами, серьезный. Увидав меня, рассердился и, погрозив мне пальцем, сказал мне: «Дурак! Жаль, что отец тебя не порет».

* * *

Редко, конечно, приходилось уходить на волю. Очень трудно доставались деньги. Дела моего отца уже были не те, он собирался уехать из Москвы куда-то на службу. Бывало, няня Таня даст гривенник, мать тоже – вот и все. Где деньги возьмешь! Копил я, и когда накопишь полтинник, ну, тогда хорошо. Уж очень все дорого, не по средствам. Надо кончик для удочек купить, коробочки, пистоны – никак не справишься. У Коли никогда больше пятак нет.

Только вышел у меня сверхъестественный случай.

В мае, весной, шел я по берегу Москва-реки за Москву, к

Симонову монастырю. Взял с собой краски, попросил у брата Сережи две кисти и кусок ватманской бумаги и сел рисовать у реки барки, а вдали – Симонов монастырь. Он такой красноватый. Белые облака клубились в небе. Весна, благодать. Сажу и рисую, раскрашиваю.

Подошел какой-то немолодой человек, седой, вроде как из купцов, и смотрит, что я рисую. А потом говорит мне:

– А сколько стоит эта ваша картина?

Я ответил:

– Не знаю.

– Хотите пять рублей?

Я думаю: «Что он, с ума сошел?» – и говорю ему:

– Хорошо. Только... это дорого очень, не стоит...

А он достал бумажник, вынул и дает мне бумажку – пять рублей.

– Только прошу вас, сделайте кресты на куполах монастыря, а то без крестов нехорошо.

Я нарисовал кресты.

– Ну, прощайте. Благодарю вас.

Он картинку взял, благословил меня рукой и так пристально посмотрел мне в глаза. Тут я подумал, что это, должно быть, священник: у него пуговицы у ворота были застегнуты, как у монаха.

Пять рублей я положил в карман. Немного прошел, сел на берегу Москва-реки, достал опять их и смотрю – пять рублей. Я опять спрятал, боялся – потеряю! Пошел к Москве и

опять сел и посмотрел – пять рублей.

На углу Пречистенской в Москве – булочная Филиппова, кондитерская. Зашел туда: пирожные, конфеты. Пирожные – пятачок пара. Я купил три пары и ел, все съел. Даю пять рублей, мне дают сдачи. Конфеты лежат... шоколадки, такие маленькие лепешечки, как пуговицы. Покупаю фунт и несую домой. Все щупаю в кармане деньги: целы ли. А потом открываю коробку с шоколадом и ем понемножку. Иду – вижу магазин, там материи, платки. Думаю: куплю платок няне Тане. Зашел, купил платок – розовый, с зелеными листьями и голубыми цветами. Шесть гривен отдал – дорого.

Иду – опять магазин, рыбный. Висят балыки, икра в банках. Зашел. Спрашиваю икру. Думаю: куплю матери и брату Сереже. Говорю – фунт. Завернули икру. Дорого: рубль с чем-то. Задумался: отдать назад – неловко. Отдал деньги.

Иду и вдруг вижу – ружейный магазин. Долго смотрю в окно. Зашел. Коробку пистонов, дробь трех номеров и бронзовая пистонница маленькая, до того хороша! Приспособлена так – подает по одному пистону. Сама подает. Купил. Дорого. Вижу, у меня денег осталось рубль с чем-то. Что я наделал! На эти пять рублей куда бы я поехал. А теперь...

Пришел домой. Мать удивилась и брат Сережа тоже. Какой это человек дал мне пять рублей? Странно!.. Рисовать я не умею, а просто так, да еще благословил... Станный человек.

А когда пришла няня Таня, я торжественно отдаю ей пла-

ток. Мне так нравится. Няня Таня смеется и говорит мне:

– Костя, я ведь старуха, как я такой платок надену, засмеют меня. Это девичий ведь платок, что ты.

А я думаю про себя: няня Таня тоже девица, все говорят про нее, что девица она. Я ей и сказал:

– Таня, ты же девица.

– Да, – ответила Таня, – правда, старая только. Нельзя платок мне такой. Я вот хочу в черное себя всю одеть и принять послушание.

И няня Таня заплакала, положила платок на стул и быстро вышла из комнаты.

Ночью я думал: что это за человек дал мне за рисунок мой пять рублей, и не жалко ему было?... Какой особенный человек! Потом счел деньги, остатки. Вижу – мало осталось: рубль десять копеек. И зачем я истратил так много?

Встал и посмотрел пистонницу, дробь, опять спрятал в стол. В углу икона и зеленая лампадка горит. Я лег в постель и смотрел на икону и думал: «Спасибо тебе, человек, что дал мне пять рублей...» Говорю: «Матерь божия, пошли ему доброе. Я купил себе пистонницу, дробь, только вот платок доброй няне не такой – что делать!»

* * *

Пошел я осенью к Бабьегородской плотине с удочкой на Москва-реку – ловить пескарей. Иду по берегу, выбираю ме-

сто. Нашел среди кустиков и закидываю удочку. Смотрю на поплавок – не берет. Я пошел дальше по берегу. Вижу вдали Симонов монастырь, то место, где я рисовал красками. Сел на бережку у реки и закинул удочку. Поймал окуня. Только хотел взять из банки червяка, вижу – тот человек подходит ко мне и узнал меня, и глаза у него смеются.

– Здравствуйте, – говорит он мне.

– Здравствуйте...

Я смотрю на него и спрашиваю:

– Скажите мне, кто вы такой?

– Я-то, – ответил он, – а зачем вам знать?

– Да так, у нас все дома удивляются – мать и брат, что вы дали мне пять рублей за мой рисунок. Он не стоит таких денег.

– Ну, нет. Знаете ли, он так всем нравится. Я сделал к нему рамку, очень хорошо вышло. Все удивляются, что я так дешево купил. Я очень рад, что встретил вас опять. Я считаю, что я вам должен еще» пять рублей. Вот, – сказал он, – и полез в карман и подает мне опять пять рублей.

– Скажите, пожалуйста, кто же вы такой, – спросил я, – вы священник? Я не хочу брать у вас еще денег, мне совестно...

– Берите, – сказал он, смеясь, – я не священник, а совсем наоборот, я вот тут с краю Москвы, – показал он рукой, – кабак держал, а теперь стар, живу на покое. У меня два сына, вот постарше вас. Один учится – архитектор будет, так вот он тоже рисует. Говорил мне, что картинка ваша хороша.

Вот что, мальчик, – сказал он мне, – дело ваше правильное, дает радость чистую... Желаю вам учиться с прилежанием. Скажите мне ваш адрес, где вы живете.

Я дал адрес и поблагодарил его. Когда я был в Школе живописи в Москве и на экзамене за свои летние работы-этюды получил благодарность от преподавателей и в награду краски, то какой-то ученик старшего проектного класса архитектуры подошел ко мне и сказал:

– У отца моего есть ваш набросок «Симонов монастырь».

– Как, – удивился я, – это ваш отец?

– Да. Но он умер... – сказал мне архитектор. – Он мне велел съездить к вам, чтобы купить картину. Я ездил, но мне сказали, что вы уехали из Москвы. Так вот что, – сказал мне архитектор, – отец велел купить у вас картину побольше, за пятьдесят рублей. Может быть, вы согласитесь отдать мне этюд из этих, – показал он на мои работы. И он выбрал у меня этюд.

– Кто же был ваш отец? – спросил я. – Он мне сказал, что он кабатчик.

– Не совсем, – сказал, смеясь, сын-архитектор, – он служил по акцизу, чиновник был, в шутку называл себя кабатчиком.

– А я думал, что он священник. Знаете, он благословил меня.

– Да, видите что, мать схоронена на кладбище в Симонове, он туда каждый день ходил к ней на могилу по берегу ре-

ки. Вот и встретил вас. Мать моя, умирая, сказала отцу: благослови прославляющего жизнь. Вот он так и чудил иногда. Он был веселый...

Фонарь

Осенняя ночь. Тучи тоскливо повисли над домами города. Дождь бьет по стеклу окна моей комнаты. Ярко светит фонарь, освещая башни чужого города. Пролетает прошлое, далекое время. Уныло на душе.

И вдруг я вспомнил Москву, Сушево, фонарь... И радостью сердечной вспомнилась юность и забавный случай с фонарем, простым, уличным, нашим, на деревянном столбе фонарем. Шел я с Мясницкой, из Училища живописи, ваяния и зодчества, с вечерового класса, с приятелем своим Щербиновским.

Была осень, дождь, мокрые мостовые, площадь... Тускло сквозит огонек в окнах трактира с синей вывеской. Едут ломовые, один за другим, окутанные рогожей от дождя. Лениво понукают лошадей. Слышится: н-ну... ы-ы-ы...ны...

Над церковью в темных тучах слышен крик кучамя летающих галок. Пахнет сыростью, квасом, рогожей. Идем мы, шагая через лужи, под мышкой у нас большие папки с рисунками вечерового класса.

– Тебе нравится рисовать голого натурщика Петра? Мне нравится.

– А мне отвратительно. Что хорошего? Ноги синие, худые, и живот!

«Странно, – подумал я. – Левитану тоже не нравится, а он

хорошо рисует...»

Дмитрий Анфимович Щербиновский был красавец, высокого роста. Его черные кудри выбивались из-под шляпы, и карие глаза улыбались. Он был деликатный и добрый и знал, что он очень красив. Писал он и рисовал всегда усердно и аккуратно, но, к сожалению, получал на экзаменах живописи и рисунка дальние номера, плохие отметки. Это его удивляло, и он не понимал, в чем дело. Щербиновский был со средствами: он получал от отца пятьдесят рублей в месяц – это тогда нам казалось огромными деньгами. Мы ниоткуда ничего не получали, давали грошовые уроки и продавали свои этюды.

Но жизнь – смена дня, утра, вечера – зачаровывала нас настроением, и мы не думали о нашей бедности и тяжести жизни. Главное, самое главное – это вот мотивы природы. А люди как-то так, при ней. Они что-то говорят, все как-то около чего-то важного, а самое важное – это вот написать эти мокрые крыши, эти сумерки, выразить эту печаль, тоску, взять тон этой площади, со скученными домами, где в лужах отражаются огни окон. Как хорошо, даже печаль отрадна. О, юность, как прекрасна ты!

Поворачивая по Мещанской улице от церкви Троицы на Капельках, мы шли переулком. Длинные заборы, за заборами темные сады. Фонарщик, похожий на крадущегося вора, с маленькой лестницей за спиной, подошел к уличному фонарю и, приставив к нему лестницу, влез. Открыл фонарь

и зажег фитиль масляного фонаря. Фонарь осветил темный деревянный забор, ветви бузины и пожелтые березки за забором. Я остановился.

– Смотри, – говорю я, – как красиво, какая интимность, как приветливо светит фонарь, таинственная печаль в этом уходящем заборе, какая тайна... Вот что бы я хотел писать. Найти это чувство, это настроение...

– Что тут хорошего? – сказал мой товарищ. – Странно. Да и написать нельзя огонь. Да это глушь какая-то, пустыня, забор, мокрый тротуар, лужи, бузина. Гадость. Да ты это нарочно говоришь?

– Нет, – ответил я, – нет... не нарочно. – И подумал: или он ничего не понимает, или я какой-то совсем другой... – А что же тебе нравится? – спросил я, идя вдоль забора.

– Как что? Многие картины мне нравятся. Ну, «Фрина» Семирадского, «Русалки» Маковского...

Не знаю, отчего вдруг мне стало как-то одиноко. Мы шли...

Фонарщик снова остановился, мрачно посмотрел на нас и пошел. Поставив опять лесенку, зажег другой фонарь.

– Этот вот еще лучше, – говорю я, – вот отсюда. Завтра же приду сюда – напишу фонарь.

Фонарщик, обернувшись, посмотрел еще мрачнее и недоверчивее.

– Чего это вы на фонари глаза пялите? – сказал он хриплым голосом. – Ишь што! Фонарей не видали? Чего надоть?

– Да вот он... – сказал Щербиновский, показав на меня, – смотрит, фонарик выбирает, на котором лучше повеситься.

Фонарщик, взяв лестницу и насупившись, пошел, остро взглянув на нас.

За забором, где среди деревьев сада молчаливо спал огромный дом с колоннами, ряд темных окон охватывал чувством молчания. Там, может быть, живет – таинственная, как и все вокруг, – она. У ней темные волосы падают на плечи, она прекрасна, и я хотел бы ей сказать, что жизнь – красота... И любовь – красота... И в ней – красота... И в мечтах – этот дом с темными окнами – мой, и она там ждет меня, чтобы я сказал ей, как я люблю ее. Юность, юность!

...Мы шли и только хотели перейти улицу, как из переулочка, видим, идет городской и с ним – фонарщик. Идут прямо на нас. Подойдя к нам, городской, подняв голову, строго сказал:

– Пожалте в участок.

Мы остановились.

– Пожалте сичас, нече тут...

– Почему? – говорим мы.

Городской, ничего не отвечая, вставил в губы блестящий свисток, и на всю улицу раздался его дребезжащий свист.

Из калиток ворот соседних домов бежали дворники. Нас окружили и повели в участок. Это было так неожиданно, что мы подумали, что нас приняли за каких-то других людей.

Вышли на Сушевскую площадь, где была каланча пожар-

ной части. Нас ввели в ворота и, по лестнице, во второй этаж дома. Через душный коридор проводили в большую комнату.

На потолке висела лампа, а сбоку сидели трое за столом и что-то писали. Когда нас ввели, то они бросили писать и смотрели на нас. Из двери соседней комнаты вышел в расстегнутом сюртуке, небольшого роста квартальный, с сердитым лицом, стриженный бобриком, и, став против нас, смотрел на нас молча. Потом сказал:

– Чего это? Дайте-ка сюда...

И, протянув руку, он взял у нас папки с рисунками, открыл их на столе и смотрел. Один из писарей, увидав рисунки, сел на стол и захохотал. Квартальный смотрел то на нас, то на рисунки, так строго смотрел, в недоумении. Писаря прямо ржали от хохота. Фонарщик глядел, открыв рот.

– Чего вы? – сказал квартальный. – Смешного здесь ровным счетом ничего нет. Который руки хотел на себя наложить? Слышь, ты, который? – спросил квартальный.

Писаря тихонько фыркали и отвернулись к окну.

– Брось, Григорь, чего смешного? Который, спрашиваю, к фонарю ладился?

– Вот этот, – сказал, закашлявшись, фонарщик, показав на меня.

– Вы кто будете? – спросил нас квартальный.

Мы рассказали, что шли с занятий и вот пошутили, сказав фонарщику пустяки.

– Ну и шутки!.. – сказал квартальный, покачав головой. – А это что за картины такие, неприличные... Гольем все?

– Да это в школе рисуем, классная работа... это натурщины.

Квартальный сел и писал, так серьезно и долго. Потом спросил:

– Ваше удостоверение личности?

Я ответил, что живу здесь, недалеко, рядом почти, в доме Орлова. Он посмотрел на меня и спросил:

– Это вот эдакие картины вы в Училище рисуете?

Писаря расхохотались.

– Да что вы, черти, чему радуетесь? – крикнул квартальный. – А ежели это самое показать дочери али жене, сыну, ну, что тогда, каким колесом они пойдут?!

Квартальный опять неодобрительно посмотрел на нас и на рисунки.

– Потрудитесь подписать протокол!

Мы подошли и, не читая, подписали свои имена.

– Картины эти останутся здесь, а я пойду с вами до дому, тут недалеко дом Орлова, – проверить правильность вашего показания.

Он ушел в дверь соседней комнаты. Наступило молчание.

Квартальный вернулся в пальто, мигнул городовому, пошел с нами, а также и городовой.

– Послушайте, господин надзиратель, – говорил дорогой Щербиновский, – поверьте, что это недоразумение, уверяю

вас.

– Какие недоразумения? Что за шутки? Свидетели говорили: вынул из кармана веревку, на фонарь накидывает. Этот, говорит, фонарик хорош, подходящий, чтобы повеситься... Хороши шутки!

В это время в тихой осенней ночи раздался голос. Кто-то пел:

Не тоска, друзья-товарищи,
В грудь запала глубоко —
Дни веселия, дни радости
Отлетели далеко...

Когда квартальный вошел ко мне в комнату, увидел на стене висящие этюды красками и рисунки гипсовых голов, нагих натурщиков и всю обстановку, то сел за стол и долго смотрел.

– Послушайте, молодые люди, я тоже несу на себе службу. Вижу я вот на стене картины. Вижу, что верно – это дело учения. И все же я ума не приложу, к чему это голые-то... Ум раскорячивается, понять нельзя... Боже мой, сколько их? Зачем это?

– Да ведь как же для чего – как же мерки снимать, – сказал Щербиновский. – Человек-то ведь голый, все люди-то голые... Вот на вас мундир – видно, что надзиратель. На губернаторе другой, а на генерал-губернаторе третий. А ведь если так взять, то все голые люди-то...

– Это верно, – согласился квартальный. – Да-к вот что оно! Так бы и сказали. Теперь я понял...

– Ну, да, – подтвердил Щербиновский, – на всех мундиры делать будут потом.

– А когда на обмундировку поступите? – спросил квартальный.

– На будущий год, – ответил Щербиновский, – когда курс кончим.

– Ну, вот, хорошо. Теперь все ясно. Значит, при должности будете. Хорошо. И вот старушка рада будет, – показал он на мою мать. – Вы, матушка, не волнуйтесь, я ведь не обижать их пришел...

– Скажите, господин надзиратель, – спросил я, – кто это пел там? Слышно, голос хороший. Вот сегодня, когда сюда шли, слышали.

– Как же, э-э-э... знаю. Арестант поет в остроге. Поет хорошо, все его жалеют. Ну вот – попал.

– Да за что же? – спросили мы.

– Да вот... тоже молодой... за девчонку попал!.. Приют был такой дворянский, а там девицы в обучении, сироты дворянские. Ну и одна ему на ум попала... Влюбимши, значит, был. Ну, значит, он и подкупил печника да и пришел в приют за него печи топить, туды, в приют-то. Да что, спрятался там, да ночью ее оттуда, из приюта-то, скрасть хотел. Значит, оба убежать хотели. А заперто кругом. Через забор пробова-ли, а на заборе-то гвозди. Он в ворота, а сторож, дворник,

значит, ну, тут ему – стой, куда? Да хотел в свисток свистнуть. А тот ему «свистнул», да прямо в висок. Ну, и наповал. Убил. Убег. Но поймали. На машине хотели уехать... Судили, и вот... песни поет...

«Этот самый Пушкин...»

Зима. Вся Москва покрылась пушистым снегом. Белым-бело. На Садовой улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытых густым инеем. За палисадником улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой. И будто там уютно и счастливо. Зима в Москве вначале всегда была так нова, так заманчива, и от нее пахло миром и покоем. По улицам едут в санях москвичи. Зима все изменила. Не слышно больше шума колес. Потемнели тумбы тротуаров, и весело мчится тройка по Тверской-Ямской, звеня бубенцами, и замирает в дали улицы веселый смех седоков.

Еду я на извозчике поздно, еду с Тверской из Английского клуба, где ужинал в компании с Александром Александровичем Пушкиным, сыном Александра Сергеевича, великого поэта. Александр Александрович, одетый в заштатную генеральскую форму, был скромный человек. Говорил про отца своего, которого он помнил смутно, так как был мал, но помнил его ласки, и его панталоны в клетку, и его красноватый сюртук с большим воротником. Помнил мать в широких платьях, помнил, что кто-то говорил, кажется, отец, что любит зиму и Москву. Помнил переднюю в доме, отца и мать, когда они приезжали с картонками, раздевались в передней

и ему подарили игрушку-петушка, который пищал.

– Да вот в Москве, – сказал Александр Александрович, – знают отца, читают. И в Петербурге тоже. А то и не знают вовсе...

– Да что вы? – удивился я.

– Да, да, – сказал Александр Александрович Пушкин. – Уверяю вас – не знают. И студенты не знают. Спросите у любого из них: читали? – Мало. Ну, «Капитанскую дочку» знают, нравится. А другое – не знают.

– Знать трудно, конечно, но я как-то не слыхал... все знают Пушкина.

Александр Александрович как-то наклонил голову, опустил глаза, и на больших белках его глаз был синеватый оттенок Востока.

– А в вашем образе, в лице, в глазах, есть черты Африки, – говорю я ему.

Он посмотрел на меня, улыбнувшись добрыми и прекрасными глазами, и сказал мне:

– Ну, это... нет! Я вот какой африканец: так люблю Москву за то, что в ней настоящая зима, все покроется инеем и такой зачарованный покой. В Петербурге у нас не то. Я терпеть не могу жары. Я бывал и в Италии, и на Ривьере, бывало – дождусь не дождусь, когда опять приеду в суровую Россию. Вот тоже – не люблю я пальмы эти. Не знаю, отчего это их ставят все всюду в ресторанах? Неужели елка, березка хуже пальмы? Нет, лучше. Я когда читаю про тропические

леса – меня берет ужас. Эти лианы!.. Нет, наш русский лес лучше... Вот я остановился здесь у дальних родственников. Кот там – таких русских серых котов больше нигде нет. Какой друг дома! Там лежанка, сядешь погреться – он ко мне всегда придет, мурлычет. Есть ли в Африке коты? – спросил Александр Александрович.

Как-то, помню, в библиотеке Английского клуба, где он любил бывать, я увидел его. Он вынимал из высокого стеклянного шкафа старые французские книги и перелистывал их. В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое: лицо его было внимательно и задумчиво-кротко. В лице был какой-то дервиш и что-то тихое, благородное и робкое. И образ великого отца его вставал передо мной.

Как-то, помню, сказал мне Александр Александрович, что отец его, конечно, много наговорил на себя.

Писал о любви – это опасно! А сам он, как я слышал в своей молодости, сам он был сговорчивый и скромный. Странно то: восемнадцатилетним юношей он написал стихотворение «Прелестнице». Надо удивляться, как это можно думать так в восемнадцать лет!

Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь...

Ведь это так глубоко, такое постижение в такие годы...

Возвращаясь на извозчике из Английского клуба к себе в мастерскую на Долгоруковскую улицу, я все думал о Пушкине, и мне казалось, что много было непонимания, которое тушило огонь души его.

Моя потерянная младость...

Как много в словах этих, в смысле их, тяжкого, глубокого горя...

Странно. Что-то есть, вот-вот около... Около жизни. В юности – но есть, рядом, тут, около... скорбь. Отсутствие счастья... Что-то мешает тайне прекрасного, какое-то непонимание. В печали тайной гаснет непонятный мой верный идеал...

В мастерской на Долгоруковской улице, когда я вошел к себе, я застал М. А. Врубеля, который жил со мной. Он проснулся, когда я вошел. Я рассказал ему, что был в клубе и видел сына Пушкина – Александра Александровича.

– А знаешь что, – сказал мне Врубель, – Пушкин не был счастлив, и вряд ли он нравился им...

– Кому им? – спросил я.

– Женщинам. Цыгане, Алеко... Странное что-то есть... Посмотри впереди себя, – сказал Врубель, – я здесь сегодня вечером работал.

И Врубель отвернул большой холст.

На нем я увидел как-то остро и смело написанные в твер-

дом рисунке ветви деревьев, покрытые инеем. В окне они были видны. Какой ковер – в особенном ритме. А форма рисунка деревьев...

– Завтра надо будет мне написать тут сверху, – сказал Врубель, – «Кондитер Шульц. Мороженое».

– Что ты? Зачем? – удивился я.

– Да, да, – сказал Врубель. – Это вот там сбоку на улице, на углу, живет немец. Он просил меня – ему нужно.

– Отдай ему без этой надписи. Это так красиво.

– Н-е-ет, ему нужна она. Он платит мне двадцать пять рублей.

* * *

Долго я не мог заснуть. В углу моей большой мастерской горела зеленая лампада. На кушетке, свернувшись под пледом, спал Михаил Александрович Врубель – великий художник, кончивший Петербургский университет, два факультета, с золотыми медалями. И вот – он никому не нужен... Никто как-то не понимал его созданий. Как-то делалось одиноко, жутко. Зачем все академии художеств, искусства? Брань невежественных газет, критиков. А завтра он будет своей изящной, дивной формой писать на этой картине вывеску «Кондитер Шульц»... Что-то в этом есть жестокое и жуткое...



Утром рано я ушел в Школу живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где я был преподавателем в высшей мастерской оканчивающих учеников.

– Ваша очередь, – сказал мне инспектор, – задать эскиз на тему историческую или, словом, какую вы хотите.

В канцелярии школы я написал на листе бумаги: «Зима в произведениях Александра Сергеевича Пушкина», и лист этот с написанной темой был повешен в классной мастерской.

Придя в мастерскую, я заметил, что ученики недовольны темой и объяснили мне: что же это, всё стихи? Лучше бы Пугачева в «Капитанской дочке». А вечером Родственники мои, студенты Московского университета, мне определенно сказали, что Некрасов гораздо лучше Пушкина, что у Пушкина все вздохи и ахи про любовь, потому что этот камер-юнкер нравился в то время кисейным барышням и только.

Когда я был у Антона Павловича Чехова, то рассказал ему об этом, о встрече с Александром Александровичем. Антон Павлович как-то сразу наклонил голову и засмеялся, сказав:

– Верно. До чего верно. Кисейным барышням, ахи, охи про любовь... Верно, все верно... – и он засмеялся.

После спектакля в Большом театре я наверху, в огромной мастерской под крышей писал декорацию к опере «Руслан и Людмила». Старший мастер Василий Белов составлял колера в больших тазах. Я сажу напротив, на лавочке.

– Кто, – спрашиваю я, – сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?

Василий Белов так серьезно посмотрел на меня и по-солдатски ответил:

– Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.

– Это памятник ему, – говорю я.

– Знаем, сочинитель. Его вот застрелили...

– Зря, – говорю я, – дуэль была.

– Эх, да, – сказал Василий, рукой взял себя за рот и так значительно серьезно сказал: – Ну да, скажут вам... Господа-то не скажут правду-то... а мы-то знаем... Он такие песни зачал сочинять, прямо вот беда. А студенты народ озорной, только дай им, сейчас запоют. Ну, и вот его за это шабаш...

– А ты знаешь, что он написал? Ну, хоть одну песню.

– А как же, – ответил Василий. – Нас училка в деревне всех выучила:

Прибежали в избу дети,

Второпах зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Эх, ловко это она научила. Под ее все теперь у нас, парни, девки, кадриль танцуют. – «И в распухнувшее тело раки черные впились...» Ловко какво! А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли вы? – вдруг спросил меня Василий и, смотря на меня, прищурил хитро один глаз.

– Нет, не знаю, – удивился я. – Отчего?

– А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял, и говорит, значит: «Прости, говорит, меня, народ православный...»

– Что ты, Василий. Кто это тебе сказал?

– Чего сказал... Там написано, на памятнике сбоку.

– Да что ты, Василий, где? Там это не написано...

– Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь.

Двадцать лет со мной работал Василий Белов. Он был колорист, маляр. Я ценил его. Он составлял цвета по моим эскизам и готовил краски. Любил поговорить. Но ничего с ним не поделаешь: на все у него был свой взгляд. Особенный, уверенный. После февраля 1917 года Василий Белов пришел ко мне и сказал:

– Вот теперь вашему Пушкину шапку наденут...

– А почему? – спросил я.

– Полно шапку ломать... Теперь слобода всем вышла...

Толстовцы

Близ города Рузы, Московской губернии, жил я летом у приятеля своего, крестьянина Комаровского. По приезде к нему в глухую деревню увидел я по другую сторону небольшой речки деревянный дом-усадьбу, стоявший на возвышенности. Позади усадьбы был большой сад, а от крыльца спускались к реке тропинки. По этим тропинкам шли люди. Они несли ведра к речке и, набрав воды, уходили к небольшой деревне, поблизости от дома, где я остановился. Люди были в поддевках и рубашках, похожие на крестьян, но в шляпах, – самый характер их внешности был какой-то другой, не крестьянский.

– Что это за люди? – спросил я у Комаровского.

– Толстовцы, – ответил он. – Они здесь живут, в доме-то. Сняли на лето и живут. Их человек тридцать пять, все молодые, и девицы. Воду носят в деревню, помогают крестьянам в труде. Они – кто их знает? – Молчаливые. Живут дружно, не пьют, не курят. Тихие. Да крестьяне не больно их любят. Я-то хорошо не знаю. Так, люди молодые, учащиеся, а летом в деревне хорошо, дешево, ну и живут здесь...

Я писал с натуры красками. Сидел у речки. Берега ее покрыты ольхой. Лето. Вся небольшая речка в бочагах. Два крестьянина ловят рыбу. Ходят в воде по пояс, подводят сеть под кусты и бьют по ним палкой – батают, то есть выгоняют

рыбу от берегов.

С того берега реки подошел один из толстовцев и, сказав «бог помощь», стал тоже бить палкой по берегу и по воде.

– Эва, ты... ты брось. Без понятнее пугать неча. Книжку читай, а рыбу пугать брось, – закричали ему рыбаки.

Толстовец ушел. Рыбаки вылезли и остановились около меня, смотрят, что я списываю. Раскуривают махорку.

– Что же вы его прогнали? – говорю я. – Он ведь помочь вам хотел.

– Уж больно одолели... Теперь маленько поотвадились, а то беда. Гляди ты, с утра в избу лезет. Печь топит, воду несет. Ну, ладно, неси. А то вот пишет в книжку: сколько в доме народу, сколько пьешь воды, чаю, сколько кур, сколько кура пьет, собака тоже. Ну – чего? Печку тебе растопляет, дует – часа два. Глядишь, не горит. Что тут? Какое дело? Ну, наши обложили их по трешнику в месяц, значит, за их работу. Да и то мало... Что выдумали – трудовая помощь, говорят... А девицы их тоже читать придут в избу. Читает, читает. Да, хороший они народ, только одолели очень. Беда!

– Это у них от жисти господской на разум вышло, – вставил другой рыбак. – Без дела-работы скучно жить. Вот и надумали трудовую подмогу, значит. Но только от этого много зря выходит. Лучше бы свое дело вели правильно.

– Где тут, – сказал первый. – Он хворостину два часа рубит: непривычный. А их граф, говорят, пашет и жнет все сам. И лапоть вяжет. Сам на своем обиходе живет, значит. А они

покуда не обучились.

– Да, но ведь они хотят вам помочь! Люди хорошие, – возражаю я.

– Верно, так, все верно! Только вот помоги деньгами, а то – что? Только утеху свою над нами пытаться. Деньгами – нет, тпру! За ягоду, яйцо – тпру, не дадут лишок, торгуются.

– Ну, озябли, – сказали рыбаки и пошли ловить рыбу дальше.

Меня обступила компания толстовцев. Молодые люди с длинными волосами и девицы.

– Можно ли посмотреть?

Подошли. В руках, почти у всех, книги. Все скромные и задумчивые. Девицы, когда я взглядывал на них, отводили глаза в сторону. На лицах ни у кого не было улыбки. Кавалеры имели вид «сурьозный», углубленный. Заметно было, что они всё знают и еще что-то, чего не знают другие. Это чувствовалось и придавало им какую-то особенную властную важность.

– Позвольте вас спросить, – сказал один, – с какой целью вы пишете несудоходную реку?

– Речка эта очень красива, – объяснил я. – Заросла кустами, пышными, веселыми. Как прозрачны струи вод ее! Нравится мне, потому и пишу.

Толстовец встал в позу:

– Картины есть утешение праздных и сытых, – сказал он, – искусства идут вразрез идее учителя. Например: музыка слу-

жит развращению праздных масс.

Когда он заговорил, все девицы, повернув к нему свои головки, выражали взорами поощрение. Когда же заговорил другой, они все повернулись к новому оратору и так же пристально и поощрительно его слушали. Это было как-то особенно характерно. Видно было, что ораторы влияли на них, и нравилось девицам все, что бы они ни говорили.

– Сомневаюсь, – вставил я, – чтобы Толстой думал так. Это отдает Калибаном...⁴²

Толстовцы посмотрели на меня вопросительно. Я пояснил:

– Калибан – это «Буря» Шекспира.

– Да, – ответил презрительно толстовец, – но Шекспира не признает учитель.

* * *

На террасе дома моего приятеля сидели за столом приехавшие к нему соседи. Они покупали жеребенка. Пили чай. Присел и я. Один из соседей сказал:

– Чудной это народ живет тут у вас – толстовцы! Лошадь хотели купить для верховой езды – не купили. Я был у них намерен на собрании. Один доказывал, что жить людям не надо боле, что, говорит, людям одно мучение выходит на све-

⁴² *Калибан* – персонаж драмы Шекспира «Буря» – раб, уродливый, грубый, бесчеловечный дикарь, чудовище в человеческом облике.

те – больше ничего. Граф, сам учитель их, в годах, значит. Ну, видит – дитев у него много и все дочиста графья. Как быть? К тому же и кругом народу всякого родится уйма. Что такое? Куда народу столько родят, все для мучения на свете. Притом много без капиталу, конечно. Ну и мыкаются по свету: нужда, горе, войны-сражения. Все труд да труд: с ребятами забота – расти их! Беда, думает. Куда от дитев деться, от народу: много оченно. По этому случаю стал у него ум раскорячиваться. Кончать надо это дело. Шабаш, Малашка, закрывай крышку. Довольно! Людям пора в голову взять, что довольно глупостями заниматься. И конец. Прикрывай все, более не надо дитев, помирай. И конец. Не будет более мучений здесь на земле человекам.

Ну, что он читает, на собрании-то, а у нас парнишка, такой бедовый – Дмитрий Уткин, и говорит ему: «Позвольте, – говорит, – господин барин, вам ответ дать». Тот говорит: «Пожалуйста». – «Конечно, – говорит, – ваше дело господское, вы на барышень ваших глядите, и все оченно хорошо. А у нас в крестьянстве никак невозможно. Конечно, вам о всяких пустяках думать не приходится, даже срамно. У вас и других делов много, а у нас не то. Хоша я себя возьму. Вот два года женат. Сын у меня. Жена тоже у меня женщина твердая. Но ежели бы я на нее глядел да глаза пялил и боле ничего, она, может быть, и молчала бы, но подумала бы: «Муж у меня или дурак, или порча на ем есть». Ваше, – говорит, – дело господское, вам эти глупости в голову и не идут. А у нас, гос-

подин барин, засмеют, на улицу нельзя выйти будет...» Ах, Уткин, озорной! А он и еще: «Вы, господин барин, говорите про одеялы. А таких людей нет. Нешто возможно, ежели под одеялом с ней выдержать! Это невозможно. Конечно, вам, господам...» Ну, и озорной Уткин, смеху-то что было!

* * *

Однажды рано утром зашел ко мне приятель Комаровский и рассказывает:

– Встал я рано, смотрю с террасы, а толстовцы вроде как взбесились: бегают по лугу перед домом, друг другу что-то машут, собираются по трое, четверо, толпами. Волнение у них. Я спросил: «Что это?» А мне Ольга Игнатьевна говорит: «У них нынче радость, у их графа, учителя, позавчера дочь родилась...»

Как-то по весне следующего года Комаровский приехал ко мне в Москву и в разговоре спросил, не был ли у меня толстовец.

Я удивился:

– А зачем ему приходить?

– Да неприятность вышла. На него три девицы подали в суд на содержание ребенка. Будто они от него родили. Ну он, сын богатого отца, очень боится, просил меня быть свидетелем, что с такими-то никогда я его вместе не встречал. К тебе хотел прийти. Девицы подали в суд – кто с кого, сколько.

Женился кое-кто. Трудно разобрать, поди, дело такое.

– Не выдержали светлого учения, – говорю я приятелю.

– Да ведь мальчишки, молодые. Из них какой хочешь крендель пеки. Старших не слушаются. Грех один. Вот скопцы отчетливей работают... И чего только на Руси муки мученической бывает от учения этакого разного!

Звери

На нашей тайной земле человек – создание подобия господа, мудрый искатель справедливости. У меня в жизни было много встреч с людьми, и большими, и я видел много этих людей, озабоченных и обремененных исканиями правды и справедливости. Я уважал всегда этих людей и верил им. Но сам, к сожалению, не был умудрен в искании истины. Окружающая жизнь с ее простым бытом как-то увлекала меня, и я задумывался о пустяках.

Вот и сейчас я хочу только рассказать о том, как у меня в деревне, в моем деревянном доме, у большого леса, в глуши, жили со мной домашний баран, заяц и еж. И так скоро ко мне привыкли, что не отходили от меня.

Как-то, сидя вечером у леса, я увидел, как по травке Шел ко мне небольшой зверек – еж. Прямо подошел ко мне. Когда я его хотел взять, он свернулся в клубок, ошетинился, ужасно зафыркал и зашипел. Я накрыл его носовым платком.

– Нечего сердиться, – говорил я ему. – Пойдем ко мне жить.

Но он еще долго сердился. Я ему говорю: «Ежик, ежик», а он шипит и колется. Моя собака Феб смотрела на него с презрением. Я оставил ему в блюдечке молоко, и он без меня его пил.

Так он поселился жить у меня в дровах, у печки, и я его

кормил хлебом и молоком. Постепенно он привык выходить на стук рукой по полу.

* * *

Заяц, которого мне принесли из лесу и продали, был небольшой. Голодный, он сейчас же стал есть капусту, морковь. Собаку Феба он бил нещадно лапами по морде так ловко и часто, что Феб уходил обиженный. Скоро заяц вырос и потолстел. Ел он целый день и был пуглив ужасно. Постоянно водя длинными ушами, он все прислушивался и вдруг бросался бежать опрометью, ударялся башкой в стену. И опять – как ни в чем не бывало, успокаивался скоро. В доме он все же не боялся ни меня, ни собаки, ни кота, ни барана большого, который жил со мной и почему-то не хотел никогда уходить в стадо. Заяц знал, что все эти его не тронут, он понимал, что эти, так сказать, сговорились жить вместе.

* * *

Я уходил неподалеку от дома, к реке, лесу и писал красками с натуры природу. Помню, Феб нес во рту складной большой зонт. Заяц прыгал около, а баран шел за мною в стороне.

Заяц не отходил от меня, боялся, должно быть, что поймают и съедят. Когда я писал с натуры, Феб спал на травке

около, или искал по речке, или вспугивал кулика, а заяц сидел около меня и все водил ушами и слушал. Но ему надое-ло, что я сижу и пишу. Он вдруг начинал стучать по мне ла-пами и довольно больно. При этом как-то особенно глядел, будто говорил:

– Довольно ерундой заниматься. Пойдем гулять.

Слово «гулять» знали Феб, заяц и баран. Они любили гу-лять со мною.

А еж появлялся ночью, и было слышно, как он ходил по полу по всем комнатам, как уходил на террасу, в сад, пропа-дал. Но стоило мне постучать рукой, еж вскоре же возвра-щался. Баран ужасно боялся ежа, поднимал голову с больши-ми завернутыми рогами, начинал топтать передними ногами, как бы пугая того, а потом бросался бежать во все стороны.

Заяц не мог никогда прыгнуть на стул, кушетку, постель. И когда я ложился спать, заяц садился около, вставая на зад-ние лапы, но прыгнуть ко мне не мог никогда. И приходи-лось его брать к себе за длинные уши. Я клал его на постель. Он очень любил спать со мной, плотно ко мне прижимался в ногах, протягивался и спал. Но уши его ходили во все сто-роны, и во сне он все слушал.

* * *

Как-то раз заяц разбудил меня. Он бил меня передними лапками по ногам. Я увидел, что заяц сидит, оробев, вытянув

голову, и уши его прямо поднялись над головой.

Была зима. Я проснулся. Было четыре часа ночи.

Заяц был в отчаянном волнении. Он весь распластался и прятался, желая подлезть мне под спину. Потом соскочил на пол, сидел и слушал, потом бросился под комод, а задние лапы остались снаружи. Я встал и вытащил его за ноги из-под комода. Заяц отчаянно заплакал, закричал, как ребенок.

А утром сторож моего дома, дедушка Афанасий, говорил:

– Эва-то. Вот на што. Ныне в ночь на помойке за сараями эдаких два волчины приходили. Голодно, знать. Чего наследили, и у крыльца были. Думали, Феб не выйдет ли, али баран. Съесть хотели. Голодно, знать, стало. Поди-ка, выйдут тебе. Тоже знают. Феб и сейчас не идет. Как нюхнул в дверь – нет, не пошел.

– А баран, – говорю я, – чует тоже, поди?

– Нет, прямо дуром лезет. Ума у барана ничуть. Дурак. Только и умеет, что бодаться да жрать.

Я сказал дедушке, что заяц чуял ночью, напугался страсть как и меня разбудил.

– Вот ты и поди. Что в животных положено. Как это они врага слышат. А вот в человеке не вложено эдакого.

– Как же, – говорю я деду. – А заяц-то не понимает, что человек ему первый враг. Ведь человек его ест.

– Да вот это верно. Но этот, твой-то, верно, знает, что ты его любишь и уж нипочем не съешь. Ну, как это и чего? Заметь, ведь он тебя сторожит. Да чего еще и еж: в дровах-то

спит, у печки, так и тот всю ночь шипел ноне. И он волка чует. А баран – ничего, хоть бы что. Дурак, как есть. Удивление – вот по осени тута, у балкона, в саду, змеину в аршин поймал. Держит ее во рту, та вертится. А он ее всю и съел. Вот спроси, и Павел видел. Диву дались.

– Должно быть – уж, – говорю я.

– То-то и нет. Змею съел. Вот, ведь, не ужалила его.

* * *

Зимой я надолго уезжал из деревни. Оставался один сторож-дедушка при доме. Он любил моих зверьков, а Феба я брал с собой в Москву.

Дед говорил мне:

– Скучно зимой-то. Ночи долгие, а с ними повадней. И все как-то вроде свои, родные.

И когда я приезжал, зверьки оживали. И были радостны со мной. Жили они в комнате дедушки, рядом с кухней. Спали вместе все. Баран – в огромной шерсти, теплой. У его живота спали кот, заяц и индюшки, которых в сильные морозы брали в дом.

Так по весне приехал я с приятелями своими, охотниками, к себе в деревню. Заяц вырос и потолстел. Баран стал совершенно круглым, оброс густо-темной шерстью и бодался. Еж ушел под дом и показывался только иногда ночью.

Приятели, с которыми я приехал, взяли у меня краску вер-

милion и выкрасили барану рога. Красные рога были ужасны. Вечером, когда мимо изгороди моего сада шло в деревню стадо, баран выбежал за ворота. Он всегда встречал овец. Те, увидав барана с красными рогами, бросились бежать опрометью во все стороны, кто куда. Баран гонялся за ними. Мне показалось, что ему как-то нравится, что его боятся. Коровы бегали за ним, желая бодаться.

– Это чего, – говорил пастух. – Это-то что ж? Чисто черт, рога красные. Всех разгонял, поди собирай.

Барану рога отмывали бензином. Глядя на зайца, охотник Герасим говорил:

– До чего здорово вырос! Этак-то ведь он лопнет. Ему бегать надо, а он все в доме.

Приятельи вздумали зайца гонять, но что ни делали, заяц не бежал. Но все-таки придумали: в саду раздался залп из ружья, и я видел в окно, как через изгородь, через дорогу мчится заяц в моховое болото, а за ним – баран.

Наутро баран и заяц были дома.

– Вот что чудно-то, – говорил утром мне сторож-дед. – Проснулся я – чуть светает. Гляжу, а из мохового-то болота, вона тама, заяц-то прыгает, к нам идет. А за ним баран. Дивно ведь это. Подумай, зверь лесной, а дорогу к дому помнит, ведет за собою барана. А баран дорогу-то домой нипочем не найдет. Ума-то в ем ни чуточки нет.

Белка

Жизнь прошла, пролетела... И мелькают в душе воспоминания. Незначительные, простые, но милые. Впечатления прошедшей жизни. Там, в России, они казались окружающим пустяками. Но почему-то память о них радует, радует так светло...

* * *

Жил я далеко от Москвы, в глухом месте, у небольшой речки, за которой начинался огромный бор Красный Яр. Речка Нерля была маленькая, как ручей, она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в камышах и кустах и переходя в большие плесы, которые лежали по низу луга, у самого леса.

С горки были видны эти большие, как бы лежащие зеркала воды, в которых отражался огромный лес. По обрывам был желтый песок. Зеленый и серый мох густо и сочно лежал у больших корней сосен. Иван-чай стройно высился, покрытый лиловыми цветами.

Какая красота была в этих бережках и в этих светлых струях вод кристальной речки.

В солнечные дни отражения огромных сосен и елей в воде были веселы, радостны, мощны.

Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над ка-

мышом. Ласточки со свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду.

Каким разнообразным пением птиц, какими звуками был полон красивый бор. Цветами был покрыт луг, и мне казалось, что это рай.

Я думал: «Какой же может быть рай другой?» Это и был рай.

* * *

А в бору жил мой приятель, прелестный человек, лесничий. Жили там и медведь, изящнейшая рысь, чудной барсук и мелкие зверьки – заяц, белка, еж.

Вот эти-то три последних зверя особенно трогательно вспоминаются мне. Они, шутя, сделались моими друзьями. Их ум, душевные особенности, любовь и сердце меня поразили, когда я их приучил к себе.

* * *

Однажды на базаре невзрачный мужичок, выйдя из трактира, подошел ко мне, посмотрел серыми глазами и сказал:

– Барин, слышь, хочешь, я тебе живую игрушку уступлю? Увидишь, до чего занятна. Только дешево не отдам.

И он из-за пазухи вынул желтую прехорошенькую белку.

Она большими острыми круглыми глазками смотрела на меня.

Он мне дал ее в руки. Она преспокойно сидела.

– Ручная, брат, белка... Вот до чего ласковая. Спасибо скажешь. Игрунья... От тебя не уйдет. Орешками кормить будешь. А пусти, так она сама прокормится, к тебе придет. Этакой умный зверь, вот подумай, а лесной, дикий. Я ее ведь тут недалеко нашел. Из гнезда ушла маленькая. Знать, мать-то коршун взял. Я люблю с ними заниматься, ну, и привыкают. Только дорого, менее красненькой не отдам.

Я вынул десять рублей:

– Хорошо. Спасибо. Хороша белка. Какая большая!

Крестьянин вынул платок, в один край завязал деньги в узел. Отдал мне белку.

– Барин, – сказал он неожиданно. – А ты знаешь, она понимает, что я ее продал тебе. Ты ее не обидишь, от кошки убережешь. Эта белка радости много дает. Не поймешь – а вроде как любовь в ей есть. Поверила человеку. Значит, не боится и благодарит. Бери ее, клади в карман, скажи: «Умри» – и неси домой. А за красненькую... спасибо... Деньги, конечно. Я как тебя увидел, намекнулось мне, что ты ее купишь.

Я посадил белку в карман.

– Умри, – сказал крестьянин и засмеялся.

И белка на самом деле свернулась, как бы умерла.

Я пошел в лавку, купил орехов.

В трактире белка сидела передо мной и с изумительной красотой, держа в лапках орех, обтачивала его зубами, доставала зерно. Потом быстро, обежав по мне, села на плечо и грызла орех. Я взял ее, посадил в боковой карман, сказал: «Умри», и белка спряталась.

* * *

В моем деревенском доме, где была охотничья собака Феб, я показал белку. Феб немножко понюхал, не обратил внимания, и я выпустил ее на стол. Она, быстро прыгая, взгромоздилась на занавеску окна. Окно было открыто, белка пропала за окном. Я выбежал на террасу, пошел к окну – белки нет... Пропала. Я всюду смотрел, на деревьях, вдруг сзади белка села мне на плечо. Я с ней опять пошел в дом.

На большом столе у себя я прибрал все, так как боялся, как бы она не наелась красок, не попала бы лапками в палитру. Сестра моя и гостивший доктор изумились привязанности белки, хотели погладить, но она не далась. Это было удивительно. Неужели правду сказал крестьянин, что она понимает, что она продана мне, что я ей хозяин?

Когда я лег спать, белка от меня не отходила. Я ей сделал гнездо: взял корзинку, наложил сосновых веток и сена, но она не желала быть в корзинке. Она спала со мной. Когда я ее хотел тихонько покрыть маленькой подушкой, она во все глаза смотрела на меня, и сделать это было невозможно.

Она с быстротой молнии отскакивала в сторону. Оказалось, что эта игра. Я видел, что это ей нравится: она нарочно садилась мне на грудь и делала вид, что не смотрит. Накрыть ее подушкой было невозможно. Я видел, как это ее веселит. Я ее сажал на руку, хотел как бы прихлопнуть другой рукой. невозможно, она уже была у меня на голове. Разыгралась. Но когда я ей говорил: «Ну, довольно играть, спать, умри», белка засыпала у меня на плече.

Я боялся ее во сне задавить, но оказалось, что я напрасно беспокоился, так как она отлично со мной спала.

А утром она выбежала в окно в огромный бор до вечера. «Какая странность, – удивлялся я, – зачем же она возвращается?» Как это странно и как удивляло меня и удивляет сейчас. Она привязалась к человеку какими-то неведомыми законами любви.

* * *

Но вот, в начале августа, белка из лесу не вернулась. Я очень страдал и думал, что ее застрелили. Охотник Герасим, мой приятель, сказал:

– Кому стрелять?... Она желтая, никому не нужна... Я их зимой бью. Желтую не купят.

Я в тот день сидел на террасе, где был накрыт чай, со своими приятелями. Вдруг появилась моя белка. Приятели удивились. Она бегала по столу, опустила лапку в варенье, по-

пробовала его, потом опять прыгнула с террасы, побежала на беседку, прыгнула на сосну. Тут мы увидели, что там, вытянув шейку и смотря круглым глазом, робко притулившись, сидит другая белка. Моя белка была около нее, они сидели вдвоем. Потом другая белка живо пропала, прыгая с дерева на дерево. Моя же белка спустилась, прыгнула через собаку Феба, села ко мне на плечо.

Наступили дожди, стала непогода. Пожелтели листья берез, и опали осины. Оголились леса. Белка редко уходила из дома. К Покрову я уехал из деревни в Москву.

Я повез ее в клетке, которую купил в Москве. Клетка ей не понравилась, так что я ее вез часть пути в кармане. И всю зиму в Москве жила она со мной.

Когда я поздно возвращался с работы, из театра, она знала стук калитки, как я отворяю, и с невероятной радостью встречала меня в коридоре, бегая по мне кругами. Ждала, когда я выну ей кедровые орехи или какой-нибудь гостинец.

Странно, что только доктору, которого видела у меня в деревне, позволяла она погладить себя; к другим не шла. Она не приставала, не просила, не надоедала, но ей нравилось, что ею любовались. Как странно, какой меры и такта был этот маленький зверек.

Шла долгая зима. Я выходил с ней гулять на двор, где был сад. Она забиралась на деревья, но, должно быть, привыкнув к теплу дома, гуляла недолго и лезла ко мне в карман.



Ранней весной я уехал в деревню.

В первый же день белка ушла и не возвращалась неделю. Потом объявилась опять и привела с собой другую белку, от которой беспрестанно возвращалась домой и уходила опять. Она возвращалась все реже. Моя белка была самка: кавалер ее победил. Белка пропала.

Опять осень и пурга первого снега. Уныло на душе. Серое небо. Дымят вдали черные овины. Тетушка Афросинья рубит капусту. Солят на кухне грузди...

Я взял ружье и пошел по лесной тропинке к реке. Стаи мелких птичек, чижиков осыпали ветви оголенных берез. Улетают от нашей суровой страны.

Вдруг на меня прыгнула белка и весело забегала кругом. Она уже посерела. Я так обрадовался. Она прыгнула и взбежала на сосну. Я взглянул кверху, Увидел, как шесть белок прыгали с ветки на ветку. Я посвистел, на зов она опять вернулась ко мне.

– Прощай, Муся. Твои дети, должно быть?...

Феб посмотрел на белку пристально. Она была уже серая, но он догадался, что это наша белка.

Больше я ее не видал.

* * *

Когда я вернулся домой с реки из опустелого леса, то застал приехавших на рыбную ловлю приятелей. С огорчением я рассказал им про белку.

– Какого черта! Есть чего расстраиваться! Ведь она баба была, – сказал мой приятель Вася. – Так они, бабы, все такие...

Васина супруга

Приехал ко мне в деревню приятель с женой. Пара была статная. Вася – великан, сажень в плечах, здоровенный. Она – тоже большого роста, красивая, румяная. Темные глаза, ровные жемчужные зубы и большой, какой-то положительный рот. Говорила немного нараспев и вкрадчиво. Была у нее дочь от первого брака, тоже большая и тоже положительная, хорошо училась и занималась живописью.

За обедом супруга спросила, что стоят в деревне яйца и творог. Я не знал.

– Ну вы все такой же, в облаках живете. А куры почему?

– Три рубля, – ответил я.

– Три рубля курица! Ну, вот. А ты говоришь – деревня. В деревне все дороже.

– Да ведь это он нарочно, – вмешалась моя сестра, – разве это можно, чтобы три рубля? Зря болтает.

– Нет, не нарочно. Сама помню. Жили мы в Листвянах на даче, Вася курицу захотел к обеду. Я послала. Так тоже говорили – два или три рубля.

– Что же, – поинтересовался я, – купили?

– Нет... Вы подумайте. Принесла баба курицу – худющую. «Сколько?» – спрашиваю. «Два рубля». Я и говорю: «Ты в бога веруешь?» А она в ответ: «Я, – говорит, – вам не бога продаю, а курицу». Повернулась и ушла. Подумайте! Нет,

жить в деревне нипочем не стану.

Обед продолжался.

Посмотрев на мужа, она опять спросила:

– Ложки серебряные?

– А что? – удивился я.

– Не стала бы держать серебряных в деревне.

– Как же не стала бы, – вмешался муж, – да ведь у нас на даче тоже серебряные?

– На даче другое, – ответила супруга не без строгости и губы сложила бантиком. – Дача все же не деревня, там почище. Здесь все глаза пялят, и прислуга тоже скажет «серебро». Не очень-то хорошо.

Подали клубнику. Супруга не унималась.

– Своя?

Она посмотрела на мужа.

– Стоит ягоды собирать! Столько хлопот! В Москве прямо с лотка, и заботы нет.

Так, в милых и положительных разговорах, прошел обед.

Чай пить мы пошли ко мне в мастерскую. Там на мольбертах стояли мои недоконченные картины.

Глядя на картины, она опять спросила:

– А вот рамки, я думаю, тоже дорого стоят?

– Дорого, – согласился я.

– А без рамок кто же купит? И повесить-то некуда.

За чаем разговор шел о том, сколько сахару кладется в варенье и что в Москве варенья готового сколько угодно и

дешевле.

Потом мы отправились с Васей на реку ловить рыбу.

В лодке на чудесной реке Нерли, у леса, как-то сразу стало хорошо и вольно. Цветные поплавки весело прыгали на светлой и ровной поверхности воды. Вечерело. Камыши и кусты ольхи ярко отражались у берегов. Насвистывала иволга. Когда поплавки окунались, мы вытаскивали горбатых окуней, золотых язей.

На бугре показалась жена.

– Что, ловится? – издали спросила она.

В это время Вася вытащил окуня.

– Ах, прелесть, они вкусны, как сахар, – радовалась супруга. – А я по грибы пойду. Вот нашла подосиновик. Хоть и не едят их в Москве.

– Ушла, – сказал Вася и, вынув из кармана бутылку, разом выпил половину.

– Хочешь? – предложил он мне.

– Что ты этак коньяк пьешь? – заметил я.

– Нельзя, брат, только этим лекарством и спасаюсь...

Смотри-ка. Это у меня повело.

Он вытащил большую рыбу. В сачке лежал крупный лещ и хлопал хвостом. Рыба в сажалку, повешенную в лодке, влезть не могла.

– Пущу-ка его, пусть себе плавает, – вздохнул Вася. – Пусть живет, а то его сейчас живым жарить станут. Я этого, признаюсь, терпеть не могу. Пускай другие жарят... Она-то

ведь женщина, а это, страсть, любит... Будет обсасывать косточки и приговаривать: «Кушай! Ах, они как сахар!»

Вася опять глотнул коньяку и охмелел. Пойманную рыбу он всю выпустил в реку, оставил только сонную и стал купаться. Отплыл от берега, окунулся и, высунув из воды голову, сказал:

– Знаешь, ведь она, жена моя, тебя терпеть не может.

– Да что ты? Почему?

– А вот, конечно, главное: что ты не богат. Второе – живешь в деревне, художник. Все это, взятое вместе, ей не по вкусу. Будь ты фабрикант, помещик, инженер, адвокат, известный доктор, а то – художник. Это же, брат, ерунда.

– Позволь, – возразил я. – Ведь и ты архитектор.

– Не-ет. Архитектор не то. Тут вещь серьезная, – говорил Вася, вытираясь рубашкой. – Понять надо. Тут капиталом пахнет, домами доходными. И вот еще: терпеть она не может писателей разных. Это, брат, я вижу. Но она, конечно, никому ни за что не скажет.

– Будто? Да ведь она высшие курсы окончила.

– Да, окончила. Но эти курсы она в грош не ставит. Ты ей – Пушкин, Шекспир, Виктор Гюго, а она «сколько они получали?» подумает. Понимаешь? Подумает. Но не скажет. Ни-ни. Знает, что не годится. Вот что.

Мы вернулись домой.

Вечером, за ужином, Васина супруга говорила:

– Вот уж никогда не стала бы жить в деревне. Мухи, кома-

ры. Ужас. Конечно, вам ничего. Вы картины пишете. В картинах все хорошо выходит, даже болото... А на самом деле: что в болоте хорошего? Просто гадость, и кому нужна картина с болотом?

Она торжествующе улыбнулась.

– Вы думаете, я дочь живописи зря учу? Ошибаетесь. Художницу скорее замуж возьмут. Мужу лестно, что жена его художница, а не просто так. Я и учителя позвала такого, который гладко и ровно пишет. Гладко – всем понятно, а эти ваши мазки разные для немногих. Жених-то, может, и не поймет вашей живописи, разных ваших импрессионистов, а гладкую всякий дурак понимает. Гладко, и рад.

Она встала и ушла с террасы.

Мы остались с Васей одни. Долго молчали.

– Ну что? – сказал он наконец. – Правду ли я говорил? Терпеть она не может людей, как ты, и называет их дурацкими мечтателями. Что она обо мне думает, не возьму в толк, но во всякую мою работу всегда вмешивается. А главное – при получении заказов, – чтобы дороже брал. И, представь, бывает права! Что говорить, деловая у меня жена. Да только, только... так это мне надоело, что бежал бы, куда глаза глядят. Вот уж понимаю, как в монастыри уходили, прятались в кельи, делались затворниками – наверное, все от таких баб. Я тоже в монастырь уйду.

– Ну, нет, тебя в монахи не возьмут.

– Это почему же?

– Да ты поди, посмотри на себя в зеркало. На лицо свое, потом на всю фигуру.

– Что же лицо? У монахов всякие рожи бывают.

– Нет, не возьмут, – повторил я с убеждением. – Посмотрят и не возьмут. Таких страдальцев нам, скажут, не надо.

– Почему же? А может, я и есть страдалец больше всех. Ведь души моей никто не видит.

Я пошел спать в сарай на сено. До чего хорошо спать на сухом сене! Никаких духов не сравнить с нашим русским сеном. Сбоку, в дырявой крыше сарая, видно глубокое летнее небо, усыпанное звездами. Собаки мои, клубочками съежившись, спят рядом. Слышно, как стрекочут кузнецы. Вдали трещит коростель. Ночь. Русская ночь в деревне! Какой гимн земли, равный величию небес...

– Ты спишь? – слышу голос приятеля.

– Нет, а что?

– Я к тебе, на сено. Жарко в доме, на сене лучше. Замечательная ночь! Месяц вышел над мелколесьем. Посмотри, до чего хорошо. Пахнет полынью. Я, брат, в крапиву попал, ноги обожгло. Я – босиком.

– Зачем же босиком?

– Да, черт. Пошел тихонько бутылку доставать, а у тебя там еж бегает. Я испугался: урчит. Злой.

– Куда там злой, он тебя напугался – ручной.

Приятель залез на сено.

– Знаешь что? – сказал он мне. – Жена завтра хочет ехать.

Я, говорит, не могу больше. Скука, говорит, и комары. Что тебе, говорит, здесь нравится? Что? На даче по крайности музыка, круг, знакомые, танцы, а здесь – просто ссылка, ссылка... Вот и поди. Что на это ответишь? Потом, говорит, эта птица противная, как дура, всю ночь кричит. Какой, говорит, это соловей! Да здесь и соловьев-то нет.

– Ты бы ей сказал, что в конце июля соловьи уже не поют. Это коростель трещит.

– Вот еще, – продолжал Вася, – на даче все друг с другом знакомы. Знакомства она любит! Только бы знакомиться. Она знакомится и говорит: муж мой в Нижнем только что окончил постройку собора. А я никогда никаких соборов не строил. Понимаешь? Я и говорю ей дома: «Что ты врешь?» А она: «Как глупо! – говорит. – Будешь ты иметь заказы, если не соврать. Все, – говорит, – врут и имеют заказы...» Опять же верно. Она права. Но не нравится мне все это... Противно.

Мы проснулись поздно. Солнце заглядывало во все щели сарая, собаки радостно вертели хвостами.

Солнце розовыми лучами освещало березы, сараи и мой дом на пригорке. Длинные тени далеко ложились от деревьев и от нас на росистый луг сада.

Васина супруга еще почивала. На террасе мы принялись без нее за молоко с черным хлебом. Но скоро появилась и она, с нарядной большой брошью, наколотой у самого подбородка.

– Всю ночь мне спать не дала эта птица. Отчего вы ее не застрелите? Как орет и, должно быть, думает, что хорошо. Прошу вас, застрелите... Я уезжаю.

Сборы к отъезду были долгие. На кухне и крыльце слышались голоса. Какое-то беспокойство охватило всех. Бежали в деревню и обратно. Все что-то приносили. Сестра моя с серьезным видом носила банки с вареньем, корзины с ягодами. У крыльца стояли подводы, кучера хлопали кнутами по сапогам и глядели вниз, раскуривая махорку.

Я чувствовал себя лишним. Супруга приятеля и сестра моя проходили мимо меня как-то особенно важно, как пароходы, – вот-вот загудят в трубу. Подводы нагружались корзинами, кульками, мешками, куры кричали, собаки лаяли. По лугу перед домом бежали женщины и мальчишки и ловили резаных кур и индюшек, которые умеют и без голов летать.

Наконец вбежала в комнату сестра:

– Ты перепортил все банки для варенья. Скипидаром пахнут, кисти в них ставишь.

Я молчал и чувствовал себя скверно. А Вася стоял в саду в сторонке, на нем было дождевое пальто, и смотрел он вдаль. Мне хотелось сказать ему: «Какая хорошая даль!» – но я чего-то опасался. Точно виноват был в чем. Крикнул ему в окно: «Иди, иди сюда!» Он, не оборачиваясь, махнул рукой, потом вдруг лег на траву.

Ко мне вошли в комнату и он и она.

– Ну, прощайте, – сказала супруга ласково. – Желаю вам

наслаждаться здесь. А ты, может быть, остаться хочешь? – обратилась она к мужу.

– Да, я бы денек-два побыл еще, – ответил он робко. – Уж очень вдали там елки хороши. Вон там! Я бы пошел посмотреть...

Покраснев, она сказала быстро:

– Ну, желаю вам смотреть на елку, а я еду.

Подводы тронулись. Она не обернулась. За воротами мелькнула ее синяя шляпа с розовым шарфом. Сестра шла от ворот и тоже не взглянула на нас. Прошла молча к себе в комнату.

– Уехала, – сказал приятель.

И вдруг начал с диким топотом прыгать на одном месте, выходило вроде какого-то танца.

– Что ты, что с тобой, чему радуешься?

Но он продолжал прыгать все быстрее, притоптывая и выкрикивая:

– Гоню, выгоняю. Выдыбай, выдыбай!

И вдруг стал, как вкопанный.

Я подошел к нему: в голубых глазах Васи светились слезы.

Ночь и день

Поздний вечер. С краю, у большого леса, я поставил палатку, в палатке просторно, стоит складной стол, походная постель, ящик с холстами и красками. Утром буду писать с натуры. Место красивое, глухое, лесное. Большой песчаный обрыв покрыт лесом, седые ели спустились до самой речки. Оголенные ветви их, покрытые белым мохом, как кружевом, выделяются на синих тенях обрыва. Последние лучи солнца замирают на верхушках леса. Деревья, как опрокинутые, отражаются в реке, так глубоко...

Глушь...

– Не сказывай никому, – говорю я крестьянину Григорию Тарakanову, который привез меня, – я дня три здесь живу в палатке. Картины буду списывать. А то придут – будут мешать.

– Чего... не скажу, – отвечает Тараканов, – списывай. Чего тут... только место – заросль, кому нужно? Сюда никто и не ходит. По осени тут волки воют. Тута и не рыбачут, вся река лесом завалена. Осыпь... Ишь, что лесу-то по горе падает. Так и называется – пустошь.

– Чего тут... – подтверждает приехавший со мной Василий Княжев, рыболов, и как-то недовольно смотрит на поставленную палатку. – Место самое скушное. Лучше бы у мельницы стали, все же там какое ни на есть жительство...

– Ну, так, значит, через три дня приеду за вами, – говорит Тараканов.

– Вот, на дорогу, – говорю я ему, наливая стакан водки.

Он пьет, закусывает колбасой и, смеясь, говорит:

– Эка охота у вас списывать эдакое-то... Пустошь и пустошь – боле ничего.

Он, простившись, тронул телегу, завернул с лужка в лес и скрылся.

– Вот что, – говорю я Василию, – надо костер развести. Чайник повесим, чаю попьем. Калачи в корзинке достань, ватрушки, да фонарь надо зажечь. Я напишу это место... вон месяца серп вышел.

Василий взял топор и пошел в лес рядом за полянкой. Среди тишины позднего вечера слышен был стук топора, а на заводи ровно кричала выпь, точно кто дул в пустую бутылку.

Разложив складной мольберт, я достал холст и краски и пристроил фонарь. Василий тащил из лесу сухие деревца, складывал их у речки, подложил мозжуху – и костер запылал.

Темным силуэтом возвышался лес по обрыву, и красиво узорились ветви темных елей на фоне зеленого потухающего неба. Четко светил серп месяца, и было что-то таинственное в природе – какой-то далекий край, родной, отраднй...

Василий принес стакан чаю.

– Ну-ка, достань, – говорю я, – там коньяк есть, в чай

немножко польем.

Василий живо пошел в палатку.

– Налей себе, а то что-то ты приуныл...

– Нет, я ничего. Конечно, у вас дело такое... картины сы-
мать... – говорил Василий, отпив чай с блюда, – по правде
ежели сказать, место – ох, скушное, да и ведь и жутко...

– Чего ж жутко-то, ведь у нас ружье, револьвер...

– Да ведь кто знает...

– Ну, Василий, достань-ка колбасу, в кастрюльку ее – по-
жарим на костре, поедим горячего с хлебом.

– Это можно... – говорит Василий и бежит в палатку.

Лес совсем потемнел. Все изменилось. Я убрал палит-
ру, кисти положил на траву около палатки, холст вставил в
ящик. Думаю: «Как это днем покажется...» Люблю я писать
ночью, но ошибаешься...

Только я потушил фонарь и хотел выйти из палатки, Ва-
силий смотрит на меня темными глазами и так серьезно го-
ворит:

– Слышите, зарядите ружье... Чего-то ходит недалече по
бугру-то...

Я взял ружье, зарядил картечью и вышел. Мы оба слуша-
ем. По той стороне в самом деле что-то потрескивает. Костер
тускло освещает осыпь обрыва. Ясно слышу – кто-то лезет
между сухими елями... Ничего не видно...

И опять полная тишина. Только кузнечики стрекочут за
палаткой.

Мы сидим в палатке, едим колбасу, и оба смотрим в открытый полог, где темная ночь и краснеет догорающий костер.

– Ночью-то всегда есть это самое... – говорит Василий, – особенно в эдаких-то местах...

– Ну что «это самое»? – спрашиваю я. – Может, это заяц или барсук?

– Да кто его знает... – говорит Василий. – Ночью-то разные звери выходят из нор, которые ночные...

– Все, – говорю, – известны, все звери.

– Не... – сказал Василий, качнув головой, – есть которые невиданы, – оборотни есть... В ночную пору ходят... Я видел раз. Вот как крысы, а боле собаки, бурые...

– Где же это ты видал?

– Недалече от Москвы видал. Шел по дороге, а она бежит. Слышите? – вдруг насторожился Василий.

Слышно было, как сбоку, где заворачивала река, ясно плеск воды, кто-то переплывал реку и вздыхал.

– Чего это??... Берите ружье скорей!

Мы оба вышли из палатки. Что-то забелело вдали.

Я подошел к костру и подбросил хворост. Костер осветил все вокруг. Вдали, на реке, как-то прыгая, шло к нам белое...

– Лошадь, – сказал Василий. – А может, и не лошадь.

Что-то неприятное было в этой прыгающей лошади. Она остановилась и издали смотрела на нас.

– Ишь, чего тут... – сказал Василий, – откуда лошадь?

Стрельните разок, попугайте.

Я выстрелил из ружья вверх, и лошадь повернула и пропала в лесу.

– Ишь, чего тут есть... Да, тут уж не поспишь...

– Лошадь, – говорю я, – на ногах-то путы у нее, знать, отбилась, из «ночного» ушла.

– Да, да... – сказал Василий, покачав головой, – чего тут, Константин Лисеич, – место такое нашли... Пугает нас, значит, более ничего...

– Как пугает, да что ты, Василий?

– Эх, оно-то?... В лошадь обернет, а то во што хочешь.

– Что ты, Василий, сколько раз ты один в лесу ночевал, сам же мне рассказывал... и веришь в оборотней.

– Есть оборотни, есть... не говорите... Это не лошадь, да и место здесь дикое – горы, лес, ямы... Чего еще? Их здесь жительство...

Костер потухал. Я пошел в палатку и лег на постель.

– Ну, спите, – сказал Василий, – а я посижу... А то чего бы не было...

– Ерунда, ложись спать, Василий...

* * *

Я проснулся рано, чуть свет. Над обрывом, среди елей, розовели, как длинные ленты, утренние облака. Роса лежала на травке у леса. Вдали, над заводью реки, белой полосой

тянулся туман.

Василия не было. «Искупаюсь, – думаю я, – вода теплая, все дно видно, песок». До чего хорошо, боже! Верхушки горы, лес, освещаемые солнцем. Непрестанно кукует кукушка, трещит коростель. Вижу снизу, с реки, по берегу, идет Василий с удочкой. В руках у него висит, блестя чешуей, рыба.

– У-у-у, – крикнул я пострашней.

Он остановился и опять пошел.

– Василий! – кричу я.

Он бежит ко мне и говорит:

– Ну, и рыбы здесь, что! Смотрите-ка!

И он поднимает леща и голавлей. Рыба отблескивает всеми цветами на фоне густых елей леса.

– Может, это оборотни? – с улыбкою говорю я.

Василий смеется, как-то шипя, и пальцем поправляет усы.

– Да вот ведь чего. Ночью робь берет. А сейчас – все прошло. В ночи-то есть эта... нечисть. Верно, есть. Вона лошадь-то, тута. Эвона она. Ноги у нее спутаны, а ночью-то страшно. Заблудилась, что ль, кто знает? Сейчас костер подпалю, – говорит Василий. – Чай сготовлю.

Как приятно ходить по траве босыми ногами. Мелкая травка на бережку. Палатку осветило утреннее солнце.

Я бы хотел всю жизнь жить так. Какая красота, воля! Воздух утра несет ароматы леса, цветов! Какой свежестью пахнет река! На заводи блеснула большая рыба – рядами пошли длинные синие полосы по ровной, как зеркало, воде.

Белая лошадь со спутанными веревкой передними ногами, прыгая, подошла к палатке. Старая лошадь. На одном глазу бельмо.

– Смотри, Василий. Оборотень-то, – показал я на лошадь. – Старая она, больная.

– Да вот поди. А ночью – страх, и вве так, – говорил Василий, разжигая костер. Потом повесил чайник и рассмеялся.

– Чего ты? – спросил я.

– Верно – чудно. День и ночь. Все разное. Ночью – жуть, а днем – радость. Вот что я вспомнил. Допрежь-то спознался я с одной. Баба молодая, хороша. Зубы белые, глаза чисто вот вишни черные. Был я парнишка молодой. На лесном складе служил в Зарядье. Ну, и она там при конторе была. Прислуга, значит. Только на меня поглядывает, да и говорит: «Приходи, Василий, чай пить ко мне в сторожку, попозже». Пришел. Она меня и пирогом и колбасой, да и вино подносит. А я не пил тогда. Молод. Ну, и начала меня по голове гладить да целовать. «Не бойся», – говорит и лампочку задула. Темь. Маленько от окна свет ударяет. Она прямо вот на меня смотрит. Я гляжу. Видать немного лицо-то. Гляжу, – а зубы у нее большие, чисто вот у лошади. А глаза черные, чисто черт! Как я от нее вырвусь – да в окно! И бёг, вот бег! Вот до чего в ночи страшна показалась... А днем глядеть – ничего. Днем она прямо вот – чисто картина, хороша.

Песчаный обрыв, освещаемый солнцем, отражался в речке. Я начал писать. Лошадь стала у речки передо мною. Ее

худоба, замученный вид был так печален, все ее существо выражало одну скорбь. На содранной и больной спине сидели мухи, и она встряхнула кожей. Я встал, взял дождевое пальто и покрыл ее.

Пока я писал картину, лошадь стояла рядом, дремала.

«Отслужила ты службу людям, – подумал я, – старая, брошенная».

В это время на горе, над обрывом, кто-то крикнул:

– Эва! Вон она, стерва, иде. – И я увидел двух крестьян: молодого парнишку и седого старика. – И-и, Пронька, на веревку, я сейчас сойду...

– Ваша лошадь? – спросил я старика.

– Наша, да вот неделю ищем. Ишь, стерва, пропала, не хоцца помирать-то. Постой, ноне шкуру сымут. Буде гулять. Живодер ждет. Бери, Пронька, привяжи.

И Пронька завязывает веревку на шее лошади.

– А сколько живодер-то платит? – спросил я.

– Чего, известно... Трешник.

– Продай мне ее, – говорю я. – Я тебе полтину накину.

– А тебе куда она? Она опоена. Где ж, ей не встать. Дарма ест. Чего тебе в ей?

– А тебе-то что? Я куплю. Жалко, что ль, тебе?

– Чего ж, бери. Только вот живодеру-то я уж сказал.

– Ну, скажи, – не нашел, издохла в лесу.

– Этто верно. Мы и думали – сдохла.

– Василий, – говорю я, – лошадь-то эту я купил. Ну-ка,

поднеси деду стаканчик.

Василий налил стакан водки, а я заплатил деньги за лошадь. Старик выпил стакан, крякнул и, закусывая, как-то деловито посмотрел на меня серыми глазами и сказал:

– Слышь. Драть кады будешь шкуру-то, с живой норови. Кожа-то крепче будет...

Свое

Недалеко за рекой, на мшистом бугорке, у Феклина бора, росли зеленые елочки, веселые, маленькие, так густо росли друг к другу. Это был миниатюрный лес, как игрушечный. А под этими елочками лежал яркий, пушистый мох.

И мне захотелось выкопать большой кусок земли с этим леском и посадить его в большой ящик, вместе со мхом и мелкой травкой. Думал, что зимой буду смотреть у себя в комнате на этот кусок красоты. Зимой – снега, и нет этой радости лета, которая щедро украшает землю. Я уже заказал ящик из цинка, рассчитывая на глубину земли в полтора аршина, чтобы корням мелких елочек было свободно расти. Думал: «Буду поливать зимой и увезу в Москву непременно. Возьму песку и внизу сделаю проточную воду, как и здесь, где они растут; сделаю речку». Но моей затее помешал театр, работа, а там ударили холода.

Будучи в деревне у себя зимой, я вспомнил лето и эти маленькие елочки и пошел на лыжах по снегу посмотреть то место у Феклина бора, тот бугорок. Мороз, огромные сугробы снега. Спустился к реке, прошел замерзшую реку. Мрачно задумавшись, стоит Феклин бор. Огромные ветви елей опустились к сугробам. Весь бугорок с веселыми елочками покрыт снегом; их и не видно.

Думаю, как же эти елочки так там, под снегом, живут. Хо-

лодно, озябли. Вернулся домой. Взял заступ и ящик и поехал копать снег, вырыть елочки и посадить их в ящик – пусть они живут у меня дома, в тепле. Думаю, – буду поливать их, они будут рады. Это выйдет вроде лета. И дождик сделаю; буду брызгать сверху.

Откопал снег глубоко. Вижу – елочки маленькие и такие зеленые, хорошенькие. Глубоко окопал землю. Два приятеля помогали мне работать. Этот большой кусок земли с маленьким лесом, мхом привез домой в ящике. Дома земля растаяла.

Думаю: «Вероятно, елочки чувствуют тепло, думают – лето. Елочки, наверно, рады». Солнышко глядело в окошко, и маленький лес весело освещался. Потом я из пульверизатора так сверху брызгал на них водой, как будто дождь. Вижу, на третий день мох что-то пожелтел, а травка позеленела немножко. Надо было уезжать по делу, и я наказал – как поливать елочки. Но когда вернулся, через неделю, то вижу – лес мой не такой веселый, и мох совсем пожелтел. «Что, значит, – думаю, – неужели лучше им жить в снегу, в холоде?»

Пришедший ко мне приятель, крестьянин-охотник Герасим Дементьевич, смотрит на лес мой и смеется.

– Эх, Лисеич, – говорит, – чего ты это... Елочки-то махонькие, а ведь они живые. Што люди. У них и сердце есть, и глаза, они ведь видят все. Где ж им, они видят – у тебя жить хоша и тепло, да неволя. Ведь она махонькая, а понимает. Горе у ней, думает: «Как я здесь вырасту эдакая-то, как

Феклин бор, как братья мои?» Знает – не вырасти ей... Сызмальства горе берет. Ведь это не герань. Посади-ка березину в банку, нипочем расти не будет, да и снегу нет. Ей обязательно снег дай. Вот што. Пустое затеял...

«Верно говорит Герасим», – думаю. И взял я елочки из ящика, опять раскопал снег и опустил их на прежнее место.

А летом пошел и увидел свои елочки, они уж выросли, веселые и зеленые. И как брошь золотая, под елочкой блестит ящерица.

* * *

Василий Харитонович Белов, маляр в моей декоративной мастерской при императорских театрах, человек был особенный, серьезный. Лицо в веснушках. Смолоду был у меня, служил в солдатах и опять вернулся ко мне. Василий Белов был колорист – составлял тона красок, и я ценил в нем эту способность.

В Крыму у меня был дом в Гурзуфе, хороший дом, большой, на самом берегу моря. И много друзей приезжало ко мне. И вот на отпуск поехал со мной Василий Белов. Очень ему хотелось увидеть, где это море и что за море такое есть. Хороший дом был у меня в Гурзуфе: сад, кипарисы, персики, груши, виноградные лозы обвивали дом, и самое синее мо-

ре около шумит. Краса кругом. «Брега веселые Салгира»⁴³... Приехали. Но Василий Белов ходит, смотрит что-то невеселый.

– Ну, что, говорю, Василий Харитоныч, море как тебе, нравится?

– Ничего... – отвечает Василий, – только чего в ем...

– То есть как это? – удивился я. – Не нравится тебе?

– Так ведь што, – отвечает он задумчиво, – а какой толк в ем, нешто это вода?

– А что же? – удивился я.

– Э-эх... – вздохнул Василий, – ну и вода. Соль одна, чего в ей. Вот у нас на Нерле – вода. На покосе устанешь, жарко летом, прямо пойдешь к речке, ляжешь на брюхо на травку и пьешь. Вот это вода... Малина! А это чего, тошнота одна...

– Василий, – говорю, – посмотри какая красота кругом... Горы, зелень...

– Чего горы! – говорит Василий. – За папиросами в лавочку идешь – то вниз, то кверху. Чего это? Колдобина на колдобине... Нешто это земля? Камни накорезены туды-сюды. А у нас-то, эх... р-о-овно, вольно. А тут чисто в яме живут. Море... Чего в ем есть? Рыба – на рыбину не похожа, камбала, морда у ней на одну сторону сворочена, хвоста нет, чешуи нет. Сад хорош, а антоновки нету, лесу нету, грибов нету...

– Да что ты, Василий, – здесь же персики и виноград рас-

⁴³ «Брега веселые Салгира» – цитата из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

тут. Ведь это лучше...

– Кружовнику нет... – сказал задумчиво Василий.

– Как нет? Виноград же лучше крыжовника!

– Ну, што вы. Н-е-ет, у нас кружовник, который красный, который желтый... Кружовник лучше...

– Да ты что, Василий Харитоныч, нарочно, что ли, говоришь?

– Чего нарошно, верно говорю. Татарам здесь жить ничего еще, чего у них утром – выйдет и кричит ла-ла-ла-ла... А у нас у Спаса Вепрева выйдет дьякон отец Василий да «многая лета» ахнет – ну, голос! Паникадило гаснет! А это што – море... а пить нельзя. Купаться тоже пошел – как меня в морду хлестанет – волна, значит, – прямо захлебнулся и колени ушиб. У нас-то в реке песок, на берегу травка, а тут везде камень – боле ничего.

Я смотрел на Василия, он удивлял меня.

– Тебе, значит, – говорю, – здесь не нравится?

– А чего здесь хорошего? Тут горы, а тут море. А земли нет. А у нас идешь-идешь, едешь-едешь, конца-краю нет... Вот это я понимаю. А тут што: поезжай по дороге – все одно и то же, и дорога одна, боле и нет.

– Ну, а что же все-таки тебе здесь нравится? – озадаченно спросил я у Василия Белова.

– А вам чего тут нравится? – спросил он меня, не ответив. – Чего нравится тут? Калачей нету, это не Москва.

– Вот дыни у меня растут, – говорю я. – Ел ты, хороши

ведь дыни!

– Хороши... – сознался нехотя Василий, – только наш весенний огурец, с солью да с черным хлебом, мно-о-ого лучше.

– Ну, а шашлык?

– Хорош, а наша солонина с хреном много лучше...

«Что такое?» – думаю я.

– Ну, а черешни? – спрашиваю.

– Э-э-э... куда черешне до нашей вишни владимирской...

Погодить надо... Шпанская...

Я растерялся и не знал, что сказать.

– Ежели бы горы сравнять, – продолжал Василий, – тогда туды-сюды. А то што это? Да и зимы здесь нет, и вино кислое. А у нас – кагор, наливки...

– Постой, постой! – говорю я. – Здесь – мускат...

– Мускат... Это ежели патоку пить, она еще слаще... Это не вино. Мне вчера Асан, вот что к вам приходил, татарин, дак он мне говорил: «Мы, – говорит, – вина не пьем, закон не велит». Им Мугомет, пророк, только водку пить велел, а ветчину, свинину нипочем есть нельзя. Татары народ хороший, как мы. Только, ежели сказать ему: «Свиное ухо съел», – ну и шабаш... Тогда тебе больше здесь не жить, обязательно убьют или в море утопят...

– Это кто же тебе сказал?

– Асан. И из-за етого самого раньше сколько воевали – страсть. С русскими воевали. Русские, конечно, озорные

есть... Придут вот на край горы из Расеи и кричат вниз, сюды, к им: «Свиное ухо съел...» Ну, и война...

– Это тоже Асан тебе рассказал?

– Да, он говорил. Он в Москву ездил, дык говорит, што у нас там девки хороши, у них нет таких-то... Это верно. Што тут: какие-то желтые, худые. Идет с кувшином от колодца, воды наберет пустяки... А у нас, наша-то, коромысло несет, два ведра на ем, а сама чисто вот маков цвет. А зимой наши девки все, от снегу, што ли, чисто сметана – белые... и румянец, как заря, играет... Покажи вот палец – смеются, веселые. А здесь брови красют, ногти, глядеть страшно. Наши на всех глаза пялют, а здесь попробуй – глядеть нельзя, а то секир-башку. Строго очень... Тут и травы нет ничего... Овец-то за горы гоняют, к нам. А то чего здесь? Сел я третева дня у дорожки, на травку, – вот напоролся: она чисто гвозди железные, хоть плачь. Наши-то здесь говорят: «Мы, – говорят, – на Илу ездим, вино там пить, трактир есть. Чай, щи, хлеб черный, ну и место ровное, хорошо. Видать дале-е-е-еко...» Да и куда видать, и чего там и не весть. Далее-е-еко!.. Какая тут жисть, нет уж, поедемте домой, – сказал мрачно Василий Харитоныч, – тут и дождика-то нет...

Ну что скажешь на это?

На севере диком⁴⁴

I

На полу – раскрытые чемоданы. Я укладываю краски, кисти, мольберт и бинокль, меховую куртку, белье, большие охотничьи сапоги, фонарь и целую аптечку. Ружья я не беру; я еду на Дальний Север, на Ледовитый океан, писать с натуры, а возьмешь ружье – начинается охота, и какие же тогда этюды? Беру только несколько крючков для рыбной ловли и тонкую английскую бечеву. Океан глубок, нужно захватить длинную бечеву и груз. Беру и компас...

– Зачем компас берете?... Что ему там показывать? Там же север... А вот ружья не берите, – говорит мне пришедший приятель, архитектор Вася. – Надо взять штуцер и разрывные пули.

– Разрывные пули? Зачем?

– А если вы случайно попадете на льдину в Белом море. Ведь там такие голубчики ходят... Тогда вы без штуцера что будете делать?

– Какие голубчики? – удивляюсь я.

Вася прищурил на меня один глаз.

⁴⁴ Название – цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...».

– Белые медведи и моржи – вот какие... Моржей вы видали? Нет? Так у него клыки в два аршина... Да-с... Встретит он, знаете, рыбаков, клыками расшибает лодку, рыбаки, конечно, в воду, а морж и начнет кушать их по очереди...

– Ну, это ерунда, я этого никогда не слыхал...

– Вы не слыхали, а я читал.

– Постой, где ты читал?

– В «Новом времени». Это не шуточки. Потому там никто и не живет. Посмотри-ка на карту...

Развернутая географическая карта лежит на столе. Смотрю – действительно: Архангельск, а дальше, за Архангельском, – ничего.

– Ага, видали? – говорит Вася. – Никого и ничего. Можно сказать, пустое место, а вы, по-моему, зря едете. Туда преступников ссылают. Вы просто замерзнете где-нибудь в тундре, вот и все. Вам хотя бы собак свору взять, на собаках ехать. Там ведь лихачей нет, это вам не Москва. Кастрюлю тоже надо взять, обязательно соли. Там ведь все сырую рыбу жрут, а вы не можете... Будете навагу ловить, по крайней мере, уха будет. И что это вам в голову пришло ехать к черту на кулички?... Вон, смотрите на карту – Мурманский берег, Вайгач, Маточкин шар... Шар!⁴⁵ Какой это шар? А это? Зимний берег! Летнего нет. Хороша местность – благодарю покорно. Названия одни чего стоят: Ледовитый океан, Сувой,

⁴⁵ *Шар* – бытующее на русском Севере обозначение пролива, речного рукава; заимствовано из языков местных финно-угорских народностей.

Паной, Кандалакша – арестантские...

– Ну, Вася, уж очень ты пугаешь... А сам, был бы свободен, наверное, поехал бы со мной... Поедем, брат: отложи свадьбу, она подождет...

– Ну, уж нет... Хорошо, если самоеды себя или друг дружку едят, а как им влезет в башку меня скушать... Нет уж, я туда не поеду...

– Ну, тогда поедем к Егорову завтракать.

– Вот это дело. Поедем.

И только мы выходили, как в подъезде дома нам встретился В. А. Серов.

– Я к тебе, – сказал Серов. – Знаешь, я решил ехать с тобой на Север.

– Отлично! – обрадовался я.

– Савва Иванович Мамонтов говорил, что там дорога строится, но по ней ехать еще нельзя... Как-нибудь с инженерами проедем до Двины, а там – пароход есть.

– Как я рад, что ты едешь. Вот только Вася все пугает, говорит, что нас самоеды съедят.

– Съедят, не съедят, – смеется Вася, – а кому нужно ехать за Полярный круг?... И черт его знает, что это за круг такой... Пари держу, как увидите круг, так скажете: «Довольно шуток», – и назад.

Кого я ни видал перед отъездом – никто, как и Вася, об этом старом русском крае толком не знал ничего. А мой приятель Тучков привез мне ловушку и просил поймать на се-

вере какую-либо зверюгу.

– Ну, понимаешь, какого-нибудь там ежа или зайца... И обязательно привези мне буревестника...

* * *

От Вологды до Архангельска ведут железную дорогу.

Прямо, широкой полосой прорублены леса. Уже проложены неровно рельсы. По ним ходит небольшой паровоз с одним вагоном. Называется это – времянка. Кое-где построены бараки для рабочих, сторожки для стрелочников. Новые и чистые домики.

Проехали до конца поруби и остановились в одной сторожке. Там чисто, пахнет свежей сосной и есть большая печь, а кругом бесконечные могучие леса. Веками росли, умирали, падали, росли снова. Там никаких дорог нет.

Серов и я увидели, что днем писать с природы нельзя: мешают мириады всевозможной мошкары, комаров, слепней. Лезут в глаза, в уши, в рот и просто едят поедом. Я и Серов намазались гвоздичным маслом – ничуть не помогало. Мошкара темными облаками гонялась не только за нами, но и за паровозиком времянки...

Вечером к нам в сторожку пришел инженер финляндец. Рассказал, что есть недалеко озера, небольшие, но бездонные, и показал пойманных там больших окуней, черных, как уголь, с оранжевыми перьями, красоты невиданной. Я сей-

час же стал их писать.

Финн состряпал из окуней уху, но ее нельзя было есть: пахла тиной. Так мы улеглись без ужина...

А в пять часов утра уже начиналась порубка. Свалив деревья, рабочие оттаскивали их в сторону с просеки. И внезапно один из порубщиков увидел вдали высокого, странного оборотня, который тоже таскал старательно и усердно деревья на опушке чащи. Это был огромный медведь. Он пришел к порубкам, посмотрел, что делают люди, и стал делать то же: таскал, рыча, деревья. Хотел помочь, думал – нужно.

Медведь выходил на порубки каждый день. Когда рабочие кончали работу, уходил и он. Но только работа начиналась – он уже на опушке.

Злая пуля уложила занятого бедного зверя. Когда его тушу везли в Вологду на дрезине, я не пошел смотреть, не мог. Так было жаль его. Серов зарисовал труп в альбом.

* * *

Как-то Серов и я писали светлой ночью около сторожки этюд леса. В кустах около нас кричала чудно и дико какая-то птица. Мы хотели ее посмотреть. Только подходили к месту, где слышен ее крик, она отойдет и опять кричит. Мы за ней, что за птица: кричит так чудно, но увидеть невозможно. Ходили-ходили, так и бросили и пошли назад. Пришли, будто к сторожке, а сторожки нет. Мы – в сторону, туда-сюда. Нет.

Мы назад пошли, ищем. Нигде нет.

– Постой, Антон,⁴⁶ – говорю я, – вот заря... Надо на зарю идти.

– Нет, – отвечает Серов, – надо туда.

И показывает в другую сторону.

Мы заблудились. Смотрим, все ветви деревьев повернуты на юг.

– Я полезу на дерево, – говорит Серов.

Я подсаживаю, он ловко взбирается, хватаясь за ветви длинной ели.

– Сторожки не видно, – говорит он с дерева. – А что-то белеет справа, как будто озеро или туман...

Вдруг слышим – идет где-то недалеко паровоз, тарыхтит по рельсам, попыхивает. Мы быстро пошли на приятные звуки времянки, и оба сразу провалились в мох, в огромное гнилое дерево, пустое внутри, а внизу завалившее яму. Там была холодная вода. Мы оба разом выскочили из этой гнилой ванны, побежали и скоро увидели нашу сторожку.

Серов посмотрел на меня и сказал:

– А ведь могло быть с нами прости-прощай...

* * *

В сторожке были инженеры, Чоколов и другие.

⁴⁶ Антон, Тоша – домашние прозвища В. А. Серова.

– Мы завтра поедem на Котлас, на Северную Двину, – сказал Чоколов. – А теперь поедemте на дрезине... Здесь есть недалеко село и река. К нему нет дороги, но оно очень красиво...

Вот и село Шалукта.

Деревянная высокая церковь, замечательная. Много куполов, покрыты дранью, как рыбьей чешуей. Размеры церкви гениальны. Она – видение красоты. По бокам церковь украшена белым, желтым и зеленым, точно кантом. Как она подходит к окружающей природе...

Трое стариков крестьян учтиво попросили нас зайти в соседний дом. В доме – большие комнаты и самотканые ковры изумительной чистоты. Большие деревянные шкафы в стеклах – это библиотека. Среди старых священных книг я увидел Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лескова, Достоевского, Толстого.

В горницу вошли доктор и учительница, познакомились с нами.

Я и Серов стали писать у окна небольшие этюды. Нас никто не беспокоил.

– Что за удивление, – сказал Серов. – Это какой-то особенный народ...

Когда мы окончили писать, к нам подошли старики и доктор, посмотрели на нашу работу и один из стариков предложил нам, не хотим ли мы поехать на лодке по реке.

– Здесь есть красивое место, – сказал старик, – наши де-

вицы хотят вас покатасть, показать реку.

Он махнул рукой, подошли четыре нарядные молодые девушки. Доктор сказал нам:

– Здесь так принято встречать гостей. Вас будут угощать девицы...

Мы сели в большую лодку, доктор с нами.

Девицы смело взмахнули веслами, и лодка быстро полетела по тихой и прозрачной воде. Берега реки покрыты лесом, в прогалинах луга с высокой травой.

Лодка причалила у больших камней, заросших соснами. Девушки вышли на чистую лужайку, разостлали большую скатерть, вынули из корзины тарелки, ножи, вилки, разложили жареную рыбу «хариус», мед и моченую морошку, налили в стаканы сладкого кваса. Они старательно и учтиво угощали нас и все улыбались.

– Да, – говорил доктор. – Здесь особый народ... Я ведь давно живу с ними... Они вам рады. Ведь здесь никто не бывает и дорог сюда нет. Это – оазис... Только зимой сюда приезжают, но редко... Это секта, их прозвали «еретиками». Они неплохо знают Россию и литературу. Все грамотны.

«Удивление, – подумал я. – В глуши тундры какие милые душевные люди».

Я еще узнал, что в селе Шалукте никто не пьет водки и не курит.

– Село управляется стариками по выбору, – рассказывал доктор, – и я не видывал лучших людей, чем здесь... Но

жаль, что с проведением дороги здесь все пропадет: исчезнет этот замечательный честный быт... Старики это понимают.

В Шалукте на прощанье нам подарили раскрашенные березовые туеса, замечательно сработанные тамошними художниками.

Шалукта, чудесная и прекрасная, что-то случилось теперь с тобой?

II

Медленно отходит океанский пароход «Ломоносов» от высокой деревянной пристани.

Шумят винты, взбивая воду, оставляя за пароходом до рогу белой пены. Архангельск с деревянными крашеными домиками и большим собором с золотыми главами уходит вдаль, справа – песчаные осыпи гор. Сплошь покрытые лесами, они далеко тянутся и пропадают в дождливом дне.

Пассажиры попрятались в каютах и под брезентами на палубе. Матросы в желтых рубахах и штанах, пропитанных маслом, связывают огромные канаты. Дождь хлещет по палубе. Берега стали ровные.

– Тощица, – говорит Серов.

– Скоро море? – спрашиваю я у матроса.

– Не... Часа через два, – отвечает тот сумрачно.

На пароходе пахнет рыбой. В столовой, куда мы зашли, тоскливо. Круглые трюмы угрюмо обливают дождь.

– Покачает... – говорит сосед-пассажир. – Ветер с моря.

А другой, поодаль, солидный, сидит за столом. Перед ним бутылка водки и закуска. Он налил рюмку, посмотрел на нее, сказал про себя «поехали» и выпил махом.

– Тоска... – повторяет Серов.

В каюте тоже пахнет рыбой. Ложусь там на койку. Надо мною висят белые спасательные круги и пробковые пояса. Я смотрел-смотрел на круги и пробки и заснул. Вдруг слышу, что-то шумит, трещит и, чувствую, качает. Серов сидит против меня, бледный, и ест лимон.

– Море? – спрашиваю я.

– Гадость! – отвечает Серов. – Качает. Как ты можешь спать?

– Пойдем на палубу, посмотрим море...

– Не могу, – отвечает Серов. – Невозможно. Тошнит.

– Лежи на спине, пройдет...

Я встаю и выхожу из каюты, ударяясь о стенки.

По лестнице выбираюсь наверх.

Волны с шумом бросают брызги на палубу. Пароход опускается вниз, и на него летят волны. Корма, У которой я стою, поднимается высоко. Я выбираю минуту и бегу в конец кормы, хватаюсь там за железное древко флага и вижу, как винты, вращаясь в воздухе, опускаются в темную воду. Корма ниже, ниже... Пароход как бы стал на дыбы... Но вот опять поднимается корма. По палубе бежит вода.

Сбоку от меня, близко, на борт парохода села птица, зе-

леная, синяя, – свистнула громко. «Это буревестник», – подумал я. Птица спорхнула и пропала в волнах.

Иду к Серову. Он лежит в каюте. Около него сидят двое в кожаных пальто и форменных фуражках. Один представляется мне с улыбкой:

– Капитан Постников... А что же вы по палубе гуляете, не боитесь?... Волной вмиг смоев.

– Вы – капитан? – говорю я. – У меня к вам есть письмо от Саввы Ивановича Мамонтова.

– От Саввы Ивановича! – обрадовался капитан. – Ах, родной Савва Иванович! Господи! Да ведь это какой человек. Вот приятель ваш, жаль, хворает... Я ему сейчас из буфета лекарство принесу... Крепок, зато разом полегчает... Ничего, завернем за Сувой, тише станет... Вот я, скажем, и капитан и привык, а и то бывает сблюнешь... Буря... Другой помор прямо сажень росту, а чуть на море зыбь, хуже бабы – плачет... Ну, я сейчас...

Капитан вышел. Вскоре он и тучный буфетчик, с бледным лицом, балансировали перед Серовым с бутылкой какой-то темной жидкости и уговаривали его выпить:

– Крепко – верно... Ром, конечно, и трын-трава в роме... Зато поможет.

Серов, наконец, глотнул.

– Невозможно, – едва не задохся он. – Про... про... просто пламя какое-то.

– Скажите, – обратился я тут к капитану. – А скоро будет

Полярный круг?

– Круг? Да мы его сейчас проходим...

– Ну, тогда давайте, – сказал Серов. – Тогда все равно.

Выпью.

– А мы с вами за Савву Иваныча, – предложил капитан. –

Это человек. Большой человек и добрый.

– А знаешь, – говорит мне Серов. – Прошло... Благодарю. – И он протянул руку капитану. – Но... но, кажется, я пьян. Что-то крепко ваше лекарство.

– Оно и хорошо. Пьяному море по колено. Ну, и обед будет, – ух, ты! Я вас угощу... У меня кумжа – ну и рыба! Через час за Святой Нос завернем... Тихо будет, станем... Обед будет знатный.

– А все же, кажется, я пьян, – повторил Серов. – Я что-то выпил невероятное. Но это омерзительное чувство прошло.

Мы поднялись с Серовым на палубу.

Кругом нас беспредельный и мрачный тяжкий океан. Его чугунные волны вздымаются в бурной мгле. В темном небе прямо летит огромный белый орел.

– Альбатрос, – сказал капитан. – Святая птица, говорят. Где живет – никто не знает, а всегда летит прямо и далеко... Сердца, говорят, верные, обиженные к богу относит...

Слева идут полосы низких скал, которые оканчиваются маленькой одинокой часовенкой, освещенной сбоку проглянувшим, полночным солнцем. Так бедно, и глухо, и безотрадно кругом, а эта светящаяся часовенка как бы подает на-

дежду. Это и есть Святой Нос.

Долго опускают якорь на дно: должно быть, глубоко. Пароход стал. Тихо.

Черные скалы, наверху – огромные глыбы, будто их поставили великаны. Глыбы похожи на старинных чудовищ. Бурые скалы высятся, как зачарованные. По берегу, до самого моря, громоздятся огромные круглые камни, покрытые черными пятнами мхов. Со скал, как стрелы, летят черные птицы и садятся на воду.

– Обедать! – зовет капитан.

И вот началось пиршество... Семьдесят сортов закусок, русские, шведские, норвежские, пунш, шампанское. Бутылки, на них ярлыки разных стран, семга, оленьи языки, зубатка, пихша, кумжа, форели – все это порто-франко, без пошлины.

За столом радушные люди, все знакомятся друг с другом, всем весело, что мы обедаем за Полярным кругом... Эх, как видно, хорошо было в России и за Полярным кругом...

А ночью мы с Серовым прогуливались по палубе.

Огромный океан покрыт как бы темным шелком. Тихие воды. Слышен шум непотушенного паровика машины. Я и Серов смотрим с палубы на таинственный берег, погруженный в бурую полумглу – полусвет непогасшей северной зари. Мы смотрим на черные скалы и на огромные кресты поморов. Это их маяки. Вдруг перед нами, из пучины вод, поднялась черная громада корабля. Вот поворачивается, пла-

но ныряет. Как-то сразу, неожиданно. Что это? «Нас обдало водой, мне залило за шею.

– Э, – кричит нам, смеясь, матрос. – Выкупал вас... Эвона он где.

Недалеко вывернулась чудовищная тень. Это кит. Сильной струей, фонтаном, он пустил воду вверх. Как плавно и красиво огромный кит выворачивается в своей стихии. Должно быть, хорошо быть китом.

– Валентин, – говорю я Серову. – Что же это такое? Где мы? Это замечательно. Сказка.

– Да, невероятно... Ну и жутковатые тоже места... Эти глыбы как будто говорят – уезжайте-ка лучше отсюда подобру-поздорову...

* * *

Рано утром мокрые скалы весело заблестели на солнце. Они покрыты цветными мхами, яркой зеленью, алыми пятнами. На лодке мы причалили к берегу. У берега глубоко видно дно, а там, под водой, какие-то светлые гроты и большие, в узорах, медузы, розовые, опаловые и белые. За низкими камнями берега открываются песчаные ложбинки и в них низенькие избы, убогие, в одно-два окошка. Я открываю шкатулку, беру палитру, кладу второпях краски. Это так красиво, удивительно: избы на берегу океана. Руки дрожат, так хочется написать это. Вдали, у океана, пишет Серов. Вне-

запно он кричит мне:

– Иди сюда, скорей!

Я бегу к нему. Вижу, стоит Серов, а перед ним, поднявши голову, – большой тюлень, и смотрит на Серова дивными круглыми своими глазами, похожими на человеческие, только добрее. Тюлень услышал мои шаги, повернул голову, посмотрел на меня и сказал:

– Пять-пять, пять-пять...

Вышедшая из избы старуха поморка позвала его:

– Васька, Васька.

И Васька, прыгая на плавниках, быстро пошел в избу.

У избы я кормил его рыбкой – мойвой, любовался его честными красивыми глазами, гладил его по гладкой голове и даже поцеловал его в холодный мокрый нос.

Он повернул набок голову, заглянул мне в глаза и сказал:

– Пять-пять...

Ш

Безграничный Ледовитый океан. Над ним – прозрачное, холодное небо. К горизонту оно зеленоватое, далекое. Слева идет угрюмый скалистый берег, покрытый мхами.

В. А. Серов и я поместились у кормы парохода. Мы смотрим на белые гребни за бортом, но это не пена от волн, это – белухи, белые особенные тюлени, большие и длинные. Они то появляются, то пропадают. Белух так много, что кажется

– океан волнуется. Богат, как видно, жизнью Господин Ледовитый Океан.

Пароход вошел в тихую широкую гавань, залив Святого Трифона у скал. На палубе уже собрались поморы с мешками и багажом. Пароход остановился. Мы простились с капитаном и вышли из лодки на сырой песок берега, близ которого высились седые скалы.

Вскоре нас приютил небольшой деревянный домик Печинского монастыря. Около него стоят еще три домишка карел. Карелы собрались небольшой толпой и смотрят на нас. Среди них на берегу полулежал парень, одетый в яркий зипун, обшитый зелеными, желтыми, белыми и голубыми кантами. Каков фронт!

На голове у франта белая песцовая меховая шапка с кожаным верхом и с красным помпоном, его белая рубашка – в цветных лентах, а на руках кольца, мне показалось – большой бриллиант, изумруды, сапфиры.

Кругом странного человека лежали и сидели белые лайки с острыми ушками. Острые мордочки собак выглядели как бы из пышных муфт. Это было очень красиво, особенно на фоне зеленого мха прибрежных камней.

А около крыльца монастырского дома стоял небольшой олень. Его большие рога, похожие на сучья дерева, были как бы покрыты бурым бархатом. Умно и приветливо смотрели карие олени глаза. Я не мог не погладить его. Монах в камлавке между тем помогал вносить наш багаж.

– Приехали, – сказал Серов, входя в дом.

– До чего любопытно кругом, – восхищался я.

Вскоре на столе появился самовар и лепешки.

Из окна мы видели, как, дымя, ушел «'Ломоносов».

Мы осмотрелись в нашем жилье. Что-то особо уютное, тихое и душевное было в этом доме, в двух маленьких монастырских покоех.

– Мне кажется, – сказал Серов, – что еще и здесь качает...

Я не ощущал качки совсем, но все же и я был рад, что нет больше противного пароходного запаха рыбы. В окно видел залив Святого Трифона и скалы. Воздух прозрачный и светлый. Пахнет, как у нас под Москвою, осенним листом.

Я вижу, как старый лопарь прощается с монахом и идет к берегу залива. Олень побежал за ним. Лопарь сел в лодку и поплыл. Подняв голову и закинув на спину рога, олень поплыл вслед, быстро разрезая воду. Это все было красиво, просто и мудро...

А вечером, за самоваром, монашек рассказал нам, что тот франт с белыми лайками, которого мы видели утром, – главный олений пастух. Он пасет стада в десятки тысяч голов. Олени пасутся в тундрах, и самые умелые пастухи знают, как сохранять стада и приплод. Умелых пастухов ценят и платят им много. Такие пастухи очень богаты. Так вот кем был этот франт с кольцами.

Всю ночь, сквозь сон, я слышал прибой и вой ветра, а утром первое, что я увидел, – Серова у окна.

– Константин, посмотри, какие чудеса...

Я взглянул в окно.

Берег залива до самого нашего дома был покрыт расплавленным светлым серебром.

Это была рыба. Огромными грудами она громоздилась по берегу до нашего дома, загородила калитку крыльцо.

Я увидел, как, растопыривая ноги, к нашему дому идет урядник и как он, скользя, падает, опять подымается, снова падает.

– Да, вот, – говорит, тихо смеясь и разводя руками, мо-нашек. – Рыбы-то! Вот засолили бы, а соли нет... Эх, хороша рыба-сельдь. Это ее кожа загнала ночью... Кожа, – иначе сказать, тюлень, – загнала сельдь в залив...

Тут в дверях показался урядник – как Лоэнгрин,⁴⁷ весь серебряный от рыбьей чешуи...

– Вот, ваше благородие, – сказал он, – как тут идти склизко... Одна рыба... В кармане лекарство, которое было, – все смокло... Холера... Кому какое давать – не знаешь.

Урядник стал вынимать из карманов пузырьки и мокрые порошки:

– Вот рома бутылка цела... Да и холеры нигде-то и нет, а мне говорят: «Давай им это, Василий Иванович...» А я что? Я на весь район один. От Кеми до границы... Да еще жу-

⁴⁷ *Лоэнгрин* – имеется в виду персонаж оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин» – средневековый рыцарь, лирический герой, появлявшийся на сцене в блестящей серебряной одежде.

лика-пастуха лови: олений приплод не сдает... А в Кеми за политиками гляди. Один тебя за папиросами, другой за вином посылают... Пристав Репин, хороший человек, неча говорить, но только от скуки, что ль, ей-ей, всю ночь с ими в карты дует... Порто-франко потому... У нас тут, говорю, – порто-франко: тут ром – рубль. Потому... А пуншу шведского всегда достать можно, ей-ей... Крикните: «Василий Иванович!» – и готов пунш... Прощения просим.

Урядник был навеселе.

Он вышел и через минуту вернулся, осторожно неся два стакана шведского пунша. Как-то особенно нам подмигнув, урядник сказал:

– Все понимаю, ей-ей... Только три класса прошел, а все и всех вижу... Будете в Кеми, Кознову не говорите, вот он меня ест. Вот ест, прямо беда, ей-ей... Только и думает, как бы во мне вину найти. Ему охота меня угробить, совсем начисто. Тут и весь крендель.

– Почему же крендель? – с недоумением спросил я.

– Потому что переплет, – пояснил урядник, – из-за жен вышло. Ей-ей. Я прямо Иосиф.⁴⁸ А Кознов думает совсем наоборот. Долго рассказывать, ей-ей... Вот так порто-франко!.. Завтра, ей-ей, вам пунша бутылку достану, прямо янтарь. Вкусно-о! Ар-р-ромат... Скажите спасибо уряднику.

⁴⁸ Имеется в виду библейский сюжет об Иосифе, который был оклеветан женой египетского царедворца Потифара и, будучи невиновным, понес суровое наказание.

Больше ничего...

Внезапно вдали, над океаном, показались какие-то рыжие тучи, вроде паутины, которые быстро неслись, точно пепел по ветру. Странные тучи быстро приближались, летели к нам дымной стеной.

Ясный день стал темнеть.

Я как раз разбираю краски, przygotowляясь писать, но стало темнеть. Ко мне вошел Серов.

– Что это, Константин, гроза, что ли? Как потемнело...

Рыжие тучи спускались с неба волнующими полосами. Стало темно совсем. Я зажег свечу.

В окне рыжая мгла и шум, особый шум: в летящем пепле слышны гортанные крики птиц. Это не пепел, это – птицы. Миллиарды птиц спустились на землю. Они покрыли все, как белые фонтаны, вздымаются они с криками около дома. Плачущий птичий крик звенит в воздухе.

Когда стало чуть светлее, я выбрался на крыльцо. Но чайки садились на меня, налетали кучей – на плечи, на голову. Я отталкивался, размахивая руками, спасаясь от птичьей силы.

Через несколько минут берег от птиц очистился. На берегу не осталось и рыбы: чайки всю сельдь съели. Кончился этот чудовищный птичий пир, и чайки разместились по скалам. Скалы покрылись ими, как снегом.

– Умная птица, – крикнул урядник, – всю подобрала, чисто вымела.

– Хорошо было бы зажарить хотя бы одну, – сказал я монаху.

– Пошто ее жарить? – ответил с улыбкой монашек. – Селедка только в засол хороша... А у нас кумжа есть – вот это рыба.

Так и не попробовал я мурманской селедки.

На всем Мурмане есть две лошади.

На этих лошадях мы и поехали в Печинский монастырь святого Трифона.

Дорога идет каменной тундрой, но колеса тарантаса утопают в грязной дороге: между камней болото, мелкий кустарник и кривая поросль низкой карельской березы.

Вдруг на дороге перед нами показались белые куропатки. Взлетают, садятся опять.

На облучке тарантаса сидит наш урядник, Василий Иванович. Рядом с повозкой бежит его собака, Шутик, лайка, хвост крючком. Шутик лает на куропаток, сгоняя их с дороги.

– Эх, ружья жалко нет, – говорю я. – Из револьвера, я думаю, не попасть...

Но Серов берет мой револьвер, прицеливается – и мимо.

– А жаль, – говорит он. – Все рыба да рыба. Хорошо бы и куропатку съесть (...).

Так мы подъехали к деревянному монастырю святого Трифона.

В чистой горнице, где полы крашеные, высокий и краси-

вый отец Ионафан, настоятель монастыря, угостил нас свежим, только что пойманным в речке лососем. После закуски мы с Серовым приготовили краски, чтобы писать неподалеку от монастыря.

– Вот что, – сказал нам отец Ионафан. – Вот ежели списывать тут будете, не пугайтесь, милостивцы... Мед-меди тут ходят, осемь их. А у вас пистолы али пужала какие. Так вы, милостивцы, медмедей не пугайтесь: они тут свои и человека никак не тронут. Уж вы не застрелите их случаем из пистолы, ежели испугаетесь...

Я и Серов посмотрели на отца Ионафана с полным изумлением.

– Как медведи?... Почему свои?...

– Медмеди, известно, милостивцы, не наши, а лесные звери, вольные, – продолжал настоятель. – Ух и здоровые, как горы!.. А только они заходят и сюда к нам иногда – на двор монастырский... Это скамейка большая, видите там, под стеною... Сидим мы на скамейке, февраля двадцатого, все в сборе, братия то есть... Ждет братия, как после зимы и ночи непроходимой солнышко впервые заиграет, благодатное... А они, медмеди, тоже рядом тут сидят и на небо глядят... Как только солнце выглянет из-за горы, мы молитву поем, а кто из нас что вспомнит, тот и поплачет. А медмеди тоже бурлыкать зачнут: и мы, мол, солнцу рады. Хотя и звери, а понимают: солнышко любят...

И я вспоминаю, как вечером того же дня монах с фонарем

в руке нес из монастырской кладовой испеченные хлебы в трапезную, куда мы были приглашены на ужин.

Вдруг мы услышали, как этот монах закричал внизу у ворот:

– Эва ты, еретик этакой!.. Пусти...

Оказывается, медведь отнимал у крыльца от него каравай хлеба, а монах угощал зверя фонарем по морде.

– Я ему уже дал хлеба, – рассказал нам позже монах, – так он все тащить хочет. Тоже и у них, медмедей, не у всех совесть-то одна. Отнимает хлеб прямо у дому, чисто разбойник... Другие-то поодаль смотрят, у тех совесть есть, а этот, Гришка-то, он завсегда такой озорной...

– Ты заметил, – сказал мне Серов, когда мы с ним укладывались на монастырские койки, – милый монашек, браня медведя, говорил о нем, как о человеке... Странно, правда?

– Да, Тоша, заметил... Какой чудесный край, Север Дикий! И ни капли злобы здесь нет от людей. И какой тут быт, подумай, и какая красота!.. Тоша, я бы хотел остаться жить здесь навсегда...

Но на Севере Диком я тогда не остался. Не та была у меня, как видно, судьба.

Испания

I

Вагон третьего класса. Много народу. Пестрая, грязная толпа пассажиров. Все едят. Хлеб, творог, яйца. Чем-то похоже на русских крестьян. В окна видна иная природа. Громятся горы... Серые, каменные, непохожие на горы, которые я когда-либо видал. Иногда дивишься: как не упадут эти скалистые вершины, нависшие одна над другой? От подножия их кверху склоны покрыты выжженными травами, лесом, пихтами. Кое-где белые, узором бегущие дороги. Огромные каменные санные сараи, покрытые черепицей. По дороге едут запряженные четверкой экипажи, похожие на черную бочку.

У дверей вагона – солдаты с винтовками. Сидящие против меня испанцы, одетые в грязные, серые плащи, достают из мешка хлеб, сало, сухое мясо, лук. Открывают вынутый из рукава тонкий, длинный нож и режут им еду. Едят молча, сурово. Женщины что-то часто говорят. Одеты пестро: на головах и на плечах большие платки, кончающиеся узорами – круглыми шерстяными шариками; много черного цвета. У мужчин на ногах род опорок, над ними как бы онучи, перевитые ремнями; от колен, сбоку, висят большие кисти. Гру-

ди полуоткрыты. Видны грязные холщовые рубахи. Красные широкие пояса. Желтые суконные рейтузы... Странно! Но почему эти совершенно другие люди похожи на русских?

Выйдя на станции, я купил хлеб, бутылку вина, сухое мясо. На станции – грязно. За холмами горела красная заря... Пустынный, мрачный, каменный городок, точно в знойной, желтой пыли. Широкий, длинный каменный мост через речку, в которой почти нет воды, сквозит мавританским узором.

Быстро подошел вечер. Синей мглой покрылись долины и горы. Вошел кондуктор и зажег свечу в длинном фонаре.

Я устал и заснул в вагоне. Проснулся от толчка в плечо. Передо мной стоял кондуктор и с ним солдат.

Я достал билет.

Кондуктор серьезно посмотрел на меня и, видимо, спросил: «Куда едешь?»

– Валенсия, – говорю я.

Кондуктор взял у меня билет и строго что-то сказал солдату. Солдат с ружьем добродушно стал мне что-то объяснять. Слышались слова: «Валенсия», «Барселона». Я понял, что еду не туда, и подумал: «Черт меня дернул ехать в Испанию, не зная языка».

В Москве Савва Иванович Мамонтов затеял ставить «Кармен» Бизе. И вот я уговорил его: поеду в Испанию и напишу с натуры эскизы для «Кармен». Мамонтов согласился.

– Поезжайте, – говорит, – вы – правы... Что вам? Двадцать три года.

В полночь я подъехал к большому вокзалу, освещенному газовыми фонарями. Носильщик, которого позвал солдат, понес мой чемодан, ящик, сложенный мольберт и завернутые подрамники с холстами. На вокзале я прочел: «Барселона».

Долго мы шли куда-то, через станцию, коридоры, по улице, среди высоких домов; в темноте редко-редко мерцал огонек в фонаре. Пройдя широкие темные ворота, солдат что-то сказал старику носильщику и ввел меня в дверь грязного дома.

Большая комната. За столом сидел в мундире со светлыми пуговицами начальник. Седой старик... Пахнет московским участком, и полицейский – того же облика. До чего похоже!..

Солдат, что-то рассказывая, показал на меня и передал полицейскому мой железнодорожный билет. Полицейский, посмотрев на меня и на билет, сказал:

– Пезеты...

Я вынул бумажки. Он взял одну из них, открыл ящик, дал мне сдачи и сказал:

– Руса? Барселона, Барселона...

Солдат смеялся. Полицейский подал мне руку, и я опять с солдатом и носильщиком вышел на улицу. Солдат весело простился со мной. Я хотел дать ему «на чай», но он не взял. А носильщик показал рукой – следовать за ним.

Мы шли грязной улицей. Ноги расползались. Башмаки промокли. Наконец подошли к воротам большого храма и

через маленькую калитку, сбоку стены, вошли в небольшой сад. Слева шла колоссальная стена старинного здания. Над входом светился фонарь. Носильщик постучал в дверь. Дверь отворил какой-то старик в сутане, с тонзурой.

Он взял большую свечу, и мы вошли в белые покои, с распятием на столе, перед которым горела лампада. В руках у монаха были огромные ключи, висевшие на кольце.

Пройдя коридор, он повел нас вниз. Мы остановились у низкой кованой железной двери. Монах вставил ключ в замок, с усилием повернул его и открыл дверь. Я увидел огромный сводчатый зал. Он был мрачный, каменный. Высоко светило одно длинное окошко.

В углу зала на полу была постлана солома, лежала большая подушка. Монах мне показал на нее, вставил в стоящий тут же большой, странной формы бронзовый подсвечник принесенную с собой зажженную свечу и, уходя, благословил меня. Носильщик поставил около мои вещи и сказал:

– Спите, а утром я приду.

Я дал ему «на чай». Он, поклонившись, поблагодарил меня.

Оба ушли. Звякнул замок в железной двери... Меня заперли.

«Хороша история», – подумал я.

Но в молодости как-то все легко. Я, не раздеваясь, лег на солому и посмотрел на подсвечник. Он изображал монаха – складки сутаны образовывали ножку его, а наверху поблес-

кивала страшная мертвая голова, с проваленными глазами, длинный нос, старческий, улыбающийся рот: «Вот так подсвечничек!»

Я развернул чемодан, достал альбом и с разных сторон нарисовал его. Я думал: «А все-таки этот старик благословил меня... У него доброе и умное лицо. Но почему носильщик не повел меня в гостиницу? Странно».

Вокруг колыхались тени столбов, поддерживающих своды. В углу темнели разбитые, старые деревянные фигуры святых и большой черный деревянный крест. За столбами – ниша и ход. Я был в подвале храма. «Что за странность?... Почему все-таки носильщик не привел меня в гостиницу? Вероятно, думал – художник, зачем ему тратиться».

Я взял свечу и решил посмотреть помещение. За столбами открылась ведущая вниз лестница – несколько каменных ступеней, а там опять низкая комната со сводами. Видны были какие-то колеса, ремни с потолка, железные, старые кольца.

Спустившись по лестнице, я увидел сбоку старый, темный, деревянный стол; за ним деревянное кресло и странную фигуру из чугуна. Пахло сыростью. Чугунная фигура была открыта, и, осветив ее свечой, я увидел, что она пустая внутри, со всех сторон в ней глядят острия – «Железная Дева».

Дальше я наткнулся на огромные чугунные башмаки. Опустив свечу, я увидел в них грязный слиток свинца. Около стояла железная кровать с ремнями из железа, жаровня...

Я с любопытством смотрел на эти страшные машины инквизиции.

В стороне я увидел коридор и каменную лестницу наверх. Я поднялся по ее ступеням – опять мрачный коридор и каменная лестница наверх. Я продолжал подниматься и подошел к деревянной двери. Слева была стойка. Я притронулся к двери – она открылась. В лицо повеяло свежим ветром – улица! Каменные плиты, травка, степа...

Я вернулся в нижнюю залу, взял свою шляпу, пальто и пошел обратно. У выходной двери я потушил толстую свечу и быстро вышел наружу. Узкая грязная знакомая улица. На углу я увидел внизу нечто вроде таверны – прилавок, ряд бочек вина и на прилавке – бочонок с серебряным краном. За столиком в глубине сидели трое испанцев, а за прилавком – молодые, с высокими гребнями и розами в волосах, в темных корсажах, две веселые девушки.

Я спустился по лестнице в таверну. Девушки с удивлением посмотрели на меня. Я спросил вина.

– Мазанилья? – удивленно вскрикнули они и, смеясь, налили из бочонка с серебряным краном в очень длинный и узкий стакан густое, как патока, вино. Одна из них передо мной бросила вино из стакана кверху и, смеясь, ловко его поймала в тот же стакан. Вино зашипело.

Я выпил стакан до дна и спросил еще.

Девушки вновь налили мне вина, и одна из них, погрозив мне многозначительно пальцем, сказала:

– Мазанилья!

Я предложил им тоже выпить. Они налили себе другого вина и, смеясь, подсели ко мне. Я попытался объяснить им, что еду в Валенсию!

– Валенсия?...

Услышав это слово, одна из девушек взяла кастаньеты, стукнула каблучками по полу и запела. В песне, по-видимому, говорилось о чарах прекрасных обитательниц Валенсии.

Окончив пение, она прошлась в легком танце, взяла мой стакан и налила еще мазанилья. «А ведь это мотив глинковской Арагонской хоты», – подумал я.

Когда я расплатился и поднялся уходить – ноги мои что-то не шли. Мазанилья – пьяное вино. Мне было нехорошо. Я побледнел. Девушка взяла полотенце, намочила его в воде и положила мне на голову.

– Мазанилья... – вновь погрозила она мне пальцем и расмеялась.

Когда мне стало лучше, она накинула на себя черную мантилью, взяла меня под руку и вывела на улицу. Дорогой она много о чем-то говорила – я ее не понимал и все твердил:

– Станционе... Валенсия...

На станции было пусто, ночь. Девушка провела меня в первый класс и посадила на длинную мягкую скамью. На прощанье я хотел дать ей монету. Она не взяла. «Странный народ, – подумал я, – похожи на русских».

Я так устал, что заснул мертвым сном. Меня растолкал но-

сильщик. Он, смеясь, мне что-то говорил и хлопал по плечу. Я понял, что он сказал, что пойдет за багажом. Через полчаса он пришел, взял у меня деньги на билет и посадил в поезд.

В окне вагона в раннем утре голубело море. В долинах, освещенных радостным утренним солнцем, были видны сады, как бисером осыпанные мандаринами. За долинами возносились голубые плоскогорья. Была какая-то особая радость в блистании утренней природы и в смуглых красивых лицах народа...

Испания...

II

Выйдя на станции Валенсия, я увидел причудливые экипажи, похожие на огромные черные бочки, запряженные четверками лошадей. Носильщик, подавая мой багаж, помог мне влезть в такую бочку, где на длинных скамейках по обе стороны уже сидели пассажиры.

Веселый, красивый город Валенсия. Узкие улицы, цветные домики, то голубые, то розовые, балконы, завешенные цветными жалюзи. Всюду – клетки с птицами. Мелькнули большая стена и огромная статуя богоматери, мраморные в скульптуре дома, огромные храмы поразительной красоты. Необычайный экипаж остановился на небольшой площади у гостиницы в два этажа. Мне дали хорошую чистую комнату, как везде в Европе.

Я разобрал свои вещи, достал холсты, краски. В завешенное окно с балконом солнце проникало сквозь деревянные висячие жалюзи. Я думал: «Как далеко я от России!..»

Вышел посмотреть город. Новое, незнакомое как-то особенно очаровывает душу. Мужчины – в черных плащах, вверху, на отвороте подкладки, красноватый плюш; женщины тоже в черном, в мантильях. Бедные люди – в толстых серых плащах. У некоторых – круглые шляпы с шерстяными шариками по краям. Слышен колокольный звон.

На площади я увидел что-то вроде нашего крестного хода. Много духовенства. Несут большое распятие. В серебряных облачениях, с красным на груди; идет много молодых певчих. Пение и колокольный звон напоминали Россию...

Прохожие с любопытством смотрели на меня. На мне было пальто, по-московски. Я подумал: «Надо купить плащ».

Проходя у стены собора, я увидел большую нишу, ступени – вниз. В нише – большой фонтан, бежит вода. В задней стене, за стеклами, – резная крашеная скульптура: лежащий старик, худой, со страдальческим лицом, больной, его поит из чаши монах, священники кругом. Около фонтана, на каменном мокром полу, сидят и полулежат люди, – видимо, тяжело больные. Это – ждущие исцеления от воды фонтана. Они кашляют, стонут. Проходящие кладут подаяние на стоящие при входе оловянные блюда. Особенно поразила меня молодая девушка с распущенными волосами. Больные горячие глаза, умирающая... Она обхватывала руками сидящую

рядом женщину, покрытую с головой черным плащом. Что-то страшное было в этой нише...

Неподалеку я увидел торговый ряд – лавки, магазины. Около них на мостовой сидели тетки в платках – торговки, совсем как у нас. Торговали старьем, сапогами, рванью, кричали, предлагали белье, хлеба, резаную колбасу. Это было так похоже на Обжорный ряд в Москве – Хитровка!

Я зашел в магазин, где висели плащи, готовое платье. Приказчик бойко показывал мне плащи, накидывая и примеря на меня. Когда я выбрал один, то понял, что он что-то дорого с меня просит, и предложил половину. Он не согласился. Я ушел из лавки; он догнал меня на улице и стал тянуть за рукав. Другой тянул меня в другую лавку; оба что-то кричали и ссорились. Я высвободился из их рук и пошел дальше. Первый торговец снова догнал меня, отдал плащ и, якобы с досадой, взял деньги. Как у нас на Сухаревке. Надев плащ, я пошел домой в гостиницу, но прохожие так же смотрели на меня.

В ресторане гостиницы мне подали на блюде какие-то жареные длинные хвосты под соусом. На них были какие-то круглые пупыри, присоски. «Да ведь это лапы осьминога!» Я попросил дать мне рыбы. Рыбы не было. Я стал есть чудовище. Оказалось, что осьминог на вкус похож на вареный язык. «Как же это, – думаю, – рыбы нет, а рядом море?...»

Вошли двое испанцев. Швейцар указал на меня. Они подошли ко мне. Один из них протянул мне руку и сказал по-

французски:

– Я художник Запатэр. А это художник Леонард. Мы пришли познакомиться с вами – русским художником. Вообще, мы русского видим в первый раз.

Я предложил им присесть позавтракать. Они сначала отказались, потом согласились. Я объяснил им цель моего приезда в Испанию.

К концу завтрака они предложили мне вечером поехать в загородный ресторан, послушать пение цыган.

– Там, конечно, танцы не особенно пристойны, но зато весело, – сказали они. – Только надо с собой захватить нож...

«Хорошенькое развлечение, – подумал я. – Этого у нас нет...»

* * *

Я спросил швейцара гостиницы, не может ли он мне найти модель – испанку. Через час он привел мне в комнату двух молодых девушек. Одна – Ампара – была в черной длинной мантилье с капюшоном; наряд другой – Леоноры – не такой жгучей брюнетки, был победнее: узкий корсаж и широкая черная юбка. Войдя ко мне, они встали у окна моей комнаты и, застыдившись, глядели как-то вбок. Я попросил их остаться стоять в тех же позах. Достал краски и начать писать.

Когда я стал писать их ноги, Леонора покраснела: у ней были худые, в заплатах башмаки.

Окончив сеанс, я хотел дать девушкам денег. Они обе вспыхнули и отказались. Мы вместе вышли на улицу – девушки взяли меня под руки.

Прохожие продолжали смотреть на меня. Оказалось: моя шляпа из России, с широкими полями, походила на головной убор матадоров.

Мы отправились с Ампарой и Леонорой на базар. У лавки, где в окне была выставлена обувь, я предложил Ампаре и Леоноре зайти. Полная женщина, хозяйка магазина, достала с окна женские ботинки, с высокими каблуками, щеголеватые. Леонора стала примерять башмаки и сказала:

– Узки.

Выбрали другие. Девушки сказали хозяйке, что я – Русский. Полная женщина в удивлении хлопнула себя по коленям и, раскрыв рот, смотрела на меня. Потом Побежала внутрь магазина и, вернувшись, подала мне завернутый в бумагу кусок пирога с вареньем – в подарок. «Как у нас», – подумал я.

Мои натурщицы, желая меня развлечь, повели меня на торговую площадь, где стояли балаганы – такие же, как у нас в России под Новинском.

Взяв билеты, мы вошли в шатер, где на земле, на соломе, лежала огромная свинья с поросятами. Действительно, я никогда не видал такой большой свиньи и не предполагал, что такая может быть.

В другом балагане стояли зеркала с вогнутыми и выпук-

лыми стеклами. Ампара и Леонора подвели меня к зеркалу. Я увидел себя невероятно длинным, худым, как спичка, а в другом зеркале – коротким, толстым. Они обе хохотали от всей души.

Мы вернулись в гостиницу. За обедом девушки не пили вина.

В конце обеда пришли художники Запатэр и Леонард, смотрели начатую картину, хвалили и хлопали меня по плечу.

– Надо позвать и их, – сказал я Запатэру, показав на Леонору и Ампару. Девушки отказались. Ампара, отведя меня в сторону, горячо сказала:

– Не надо ходить...

Девушки смотрели огорченно и ушли обиженные.

* * *

Была ночь, и луна освещала светлые дома улицы. Леонард дал мне длинный искривленный нож. Это была наваха. Он открыл нож и показал мне, как держать его в руке. Они оба тоже взяли по ножу в рукав.

Мы долго шли узкими улицами. Навстречу нам попался какой-то старый человек, одетый в отрепья. В одной руке его был фонарь, и он хрипло пел: «Но-о-о... но-о-о...» В другой руке у него была секира.

– Это ночной сторож, он кричит – какой наступил час.

Какой стариной повеяло на меня!

Улица поднималась в гору. За поворотом я увидел у большой стены деревянное здание, крашеное, похожее на сарай. У входа ярко горели фонари, стояло много полиции с револьверами в кобурах.

Взяв билеты, мы вошли внутрь.

Крытый двор. С потолка свисали огромные длинные фонари восьмиугольной формы. Они были покрыты шелковой материей, оранжевой, красной, желтой. За полуоткрытой стеной синела ночь, светились окна домиков с балконами.

Внизу на эстраде сидели гитаристы с большими гитарами. У стен тянулись стойки; за ними толпился всякий люд – матросы, техники с кораблей; множество женщин.

Пестрота... Шум... У женщин были высокие гребни и розы в волосах... Глубоко вырезанные платья. На плечах – длинные китайские платки в узорах золота, с большой бахромой. Цветные корсажи всех цветов, шитые золотом; широкие юбки, в оборках из кружев. Некоторые были закутаны в кружевные косынки. Одна, в широкополой мужской шляпе, подняв над головой руки и щелкая кастаньетами, танцевала и пела на столе.

– Мариска... – сказал мне Запатэр.

Мы прошли в угол и сели за столик. Я открыл свой ящик с красками, чтобы набросать этот невиданный ресторан. В нем были жгучие краски. Испания... «Вот какой кабак нужен в «Кармен»...»

На середину двора вышел молодой испанец. В руках у него был высокий жезл, сверху – плоский кружок, с которого спускались вниз ленты ярких цветов. Испанец был одет в пунцовый бархат. Короткая куртка, расшитая плотным золотым узором, белая крахмальная рубашка и черный тонкий галстук, уходивший в широкий красный пояс. Сбоку реи-туз в обтяжку шли золотые пуговицы. Белые чулки и черные туфли. Из широкой шляпы видна была сзади косичка, спря-танная в зеленую сетку.

«Это тореадор...» – подумал я.

Встав среди двора, он крикнул. Все женщины и мужчины подошли к нему. Ударили гитары, и я увидел особенный та-нец, похожий на те, которые танцуют сейчас здесь, в Париже, вроде румбы. Женщины обмахивались веерами.

Недалеко от нас сидела компания. Один был одет в евро-пейский белый костюм. От другого стола подошла женщина и что-то стала выкрикивать, потрясая кулаком перед его ли-цом. Потом схватила стакан и плеснула ему в лицо вином. Он вскочил и схватил ее за волосы. Ее спутники бросились ей на выручку, и началась драка. Летели стаканы, бутылки...

Вбежала полиция; не церемонясь, хватала всех Дерущих-ся за шиворот – и женщин и мужчин – и выталкивала из ре-сторана.

Танцы продолжались...

Началась другая драка, с противоположной стороны... Дрались матросы.

– Пойдем, пора, – сказал Запатэр, торопливо расплачиваясь.

Действительно, когда я собирал краски, мимо пролетела бутылка. Я хотел заплатить, но Запатэр мне не позволил.

У входа, на улице, – толпа, лунная ночь, звезды. Вдруг сзади мою шею охватили женские руки. Я обернулся: красивое лицо с круглым ртом что-то говорило мне, смотря пьяными глазами, – женщина звала меня к себе. Она сняла с моей головы шляпу и надела на себя. Леонард за руку оттащил меня... Какой-то человек в толпе остановил меня и долго и многозначительно жал мне руку... «Не русский ли, – подумал я. – Похоже».

III

Когда мы возвращались из загородного ресторана домой, была тихая, глубокая ночь. Пахло лимоном и ванилью. Луна. Мягкие тени от садов синели по дороге. У портика храма, на каменных плитах и на мостовой спали вповалку люди. Их было так много, что мы вынуждены были переступить через спящих. Одна женщина с детьми протянула ко мне руку, прося подаяния... Я увидел впереди, как один лежащий вскочил и схватил проходившего мимо молодого испанца за плащ. В руках прохожего сверкнул нож... Нищий выпустил плащ и долго стоял с опущенной головой, исподлобья глядя вслед уходящему и нам.

Мы вышли на большую широкую улицу города. На балконе одного дома светилось окно, слышался звук гитары и пение. Вдруг слышу знакомое – цыганский романс, что пела вся Москва:

Милая, ты услышь меня,
Под окном стою
Я с гитарою...

Я остановился. Пел хороший голос. Среди ночи как-то вдруг я почувствовал берега отчизны... И, идя по улице, запел этот пустяковый романс по-русски. Новые друзья мои подпевали мне по-испански. Запатэр удивлялся, откуда я его знаю.

Сзади послышался шум и смех. С нами поравнялась коляска. Сидящие в ней окликнули нас. Возница остановил лошадей. Из коляски вышла нарядная женщина. Она, смеясь, подошла к нам и обнаженной до плеч рукой подала мне мою шляпу, взятую другой красавицей у меня при выходе из загородного ресторана. Сидящие в коляске что-то кричали и смеялись.

Когда я надел свою шляпу, женщина подхватила меня и Леонарда под руки и повлекла к коляске.

– Мы едем к ним, – объяснил мне Леонард.

Двое незнакомых кавалеров очень любезно пожали нам руки и крикнули: «Оэ!..» Лошади чуть не вскачь помчались по узкой улице...

Мы остановились у ворот каменной стены, за которой темнели деревья. Внутри, в глубине сада, светились фонари. Журчала вода каменного большого фонтана в скульптурных украшениях.

Под фонарями стояли столы, уставленные бутылками и фруктами в хрустале. За ними пировали незнакомые мужчины и женщины. Нас весело встретили и налили в бокалы шампанского. Служили лакеи. Тут же за столом сидел толстый человек, весь в черном и в широкополой черной шляпе. На животе у него колыхалась большая гитара. Гитарист ударил по струнам и запел. Напев знакомый: ведь тот же романс пел всегда в Москве мой друг Костя Шиловский.

Пели все. Женщины танцевали под пение, стучали каблукми – они то перегибались назад и ногой подбрасывали юбки кверху, то, подбоченившись одной рукой, гордо и серьезно шли одна за другой. В этом была Испания – я нигде не видел такого танца. Но почему, несмотря на другую природу, обстановку, весь иной лик, я чувствовал себя, будто я в Москве?... В чем дело?

И вдруг понял, в чем похожи испанцы на нас: в радушии и разгуле. Казалось, что и здесь какой-то вечный праздник, точно никто ничего не делает, как и у нас...

Женщины и мужчины пели и плясали. Когда я запел с ними тот же романс по-русски, все с удивлением посмотрели на меня. Леонард объяснил им, что я – русский.

– Руссо? Руссо?... – удивились они. – Как? А нам сказали,

что Инезилья взяла шляпу у матадора.

– Москва, Петербург? – спросил меня незнакомый красавец высокого роста, с тонким бледным лицом, одетый в шелковый черный плащ. На фоне колючих кактусов, освещенный кованым из железа фонарем, он был очень красив...

«Вот – Дон-Жуан, – подумал я. – Вот кого бы написать...»
Я сказал о своем впечатлении Леонарду.

– Верно, – сказал он, – его и зовут Дон-Жуан...

* * *

Когда я приехал к себе в гостиницу, в открытом окне светела заря...

Утром меня разбудили Ампара и Леонора. Они вошли, не смущаясь, что я еще в постели. «Как все просто», – подумал я.

Когда я одевался за занавеской, вошел какой-то господин. Он объяснил мне, что он журналист, и сказал, что придет ко мне с другими журналистами обедать. Уходя, он вынул из кармана пачку сигар и, улыбаясь, оставил их мне в подарок. Сигары были отличные.

* * *

Я весь день писал Ампару и Леонору. К обеду в гостини-

цу пришли Запатэр, Леонард и еще шесть человек незнакомых. Все приветствовали меня, а выпив, уговаривали остаться жить у них в Валенсии. Снова вспомнилась Россия.

После обеда, за которым было весело, Ампара и Леонора тоже пели и танцевали, как вчера те женщины в саду. Я подумал: «Да что же это такое? Тут все только поют, танцуют и молятся».

Журналисты поднялись ко мне в комнату. Посмотрев мои картины и этюды, они что-то много говорили между собой. Было уже поздно, и двое решили остаться у меня ночевать.

Портье принес матрац и одну подушку, положил на пол. Один из моих гостей лег на полу, другой свернулся на небольшом диванчике и продолжали разговаривать далеко за полночь. Интересовались, боюсь ли я медведей и Пугачева.

– Ерунда, – ответил я. – Какие там медведи!..

– Теперь, может быть, и нет, а прежде были.

Я узнал еще, что в России все едят снег, и что снег у нас другой – как мороженое, и что русские любят кататься по льдинам, которые постоянно плавают по Волге.

Утром, когда я проснулся, моих гостей уже не было.

А через день двое опять пришли ко мне и принесли газету. В ней тоже было написано про снег и медведей в России, выражалось изумление, что живопись моя непохожа на русские иконы, рассказывалось, что русские часто замерзают; их тогда кладут на печку – оттаивать, и покуда замерзший не

отдает – все плачут и возносят моления.

– Верно? – спросил меня журналист.

– Верно, – согласился я. – Еще наливают замерзшему в рот воды, и когда вода во рту закипит, то, значит, жив.

Мой новый друг обиженно посмотрел на меня – ему было трудно расстаться с легендой.

* * *

Окончив картину и наброски для декораций, я собирался уезжать. Предложил деньги Ампаре и Леоноре. Они обе покраснели и опять не взяли денег. Тогда я снова пошел на базар и купил им большие шелковые китайские платки в узорах, с длинной бахромой. Они с восторгом надели их на себя, смотрелись в зеркало, ловко себя закрывали и танцевали, стуча каблуками.

* * *

Подошел день моего отъезда. Я зашел в мастерскую к Запатэру, взглянуть на его живопись – он был колорист и художник большого темперамента. Леонард на прощанье подарил мне свой морской этюд, он был пейзажист.

Утром портье вынес мои чемоданы и холсты вниз, к дверям. У подъезда стоял экипаж как большая черная бочка.

Покуда размещали мои вещи, появились Ампара и Леонора. В руках у них были большие пучки срезанных зеленых веток, усыпанных мандаринами. Они отдали их мне в дорогу.

Мог ли я думать – это было так давно, – что доживу до того времени, когда каждый день буду читать об ужасе и горе этого прекрасного, доброго народа...

А. М. Васнецов

1856–1933 гг

Сельский иконописец

Рассказ⁴⁹

Склонялось вечернее солнце за зубчатую линию темного Сверчковского леса. На ступеньках каменной лестницы, ведущей в церковь, сидел церковный сторож, лысый Емельян; уже ровно битый час, как он находился в этом положении, но в его лысой голове во все это время не зародилось ни одной сколько-нибудь связной мысли; он почти спал, хотя только что всхрапнул и вышел после сна погреться на теплом весеннем солнышке. – «Что ему делать, старому хрену?» – так бы сказал старик дьякон – первый приятель Омели, – несколько лет уже по старости находившийся за штатом и не совершавший церковных служб. Табак у Емельяна давно смолот и стоит в горшке за дверью паперти. Пару лаптей кончил он плести еще в полдень – что ему после этого делать, как не спать и не греться, как старому коту на солнышке? Он слу-

⁴⁹ Печатается по изданию: «Артист», 1894, № 36, с авторской правкой по оттиску, хранящемуся в архиве Мемориального музея-квартиры А. М. Васнецова в Москве

шал, как поют петухи на селе, как весело чирикают воробьи и без умолку тараторят на колокольне галки, собираясь на ночлег. Он ощущал своими старыми жилами ту теплоту, которую порождали в нем лучи вечернего солнца. Это же радужное солнышко заглядывало чрез окна и в самую церковь, играя на золоченом иконостасе, лампадах и ризах на иконах. Хорошо было в этот вечер Омеляну на церковном крыльце, а еще было бы лучше ему, если б пришел поговорить о том, о сем пономарь Лука или старик дьякон. Такое желание Омеляна, правда смутное, не замедлило вскоре осуществиться. Увидел из окна пономарь Лука, что жил напротив самой церкви, увидел в одиночестве сидевшего старика и подумал, «дай-ка я схожу со стариком покалякать» – и вышел, надев на голову поярковую шляпу с широкими полями, а выходя, подумал: «хорошо было бы, если б и старика дьякона принесло». Пришел Лука и сел рядом с Омеляном; оба молчат, не находя предмета для разговора.

– Слышал: покойника привезли? – осведомился Лука.

Омелян, помолчав, ответил утвердительно.

– А кого?

– Николину старуху.

– Вот те на! Дай Бог ей царство небесное!.. А давно ли, кажется, пивом меня поила; прихожу, – а она плохо видела, – «здравствуй, – говорит, – сват!» и поднесла жбан с пивом, да как разглядела меня поближе – только руками всхлопала – «видно, – говорит, – скоро умру: людей перестала узнавать».

Добрая была, а теперь вот лежит под нами в покойнице.

– Да вот старик Никола не больно добер, жила! – продолжал Омеля, – рублишко лишний пожалел: под паперть велел поставить, а не в церковь. Правда, за три дня в церкви в такую теплынь старуха-то прокисла бы.

– Что это, никак в прошлое воскресенье ее внука крестили? Там окрестили, а тут – похоронили, – на том и свет стоит... Что и говорить: крепыш мужик Никола, – подтвердил Лука, думая в то же время совершенно о другом: «хорошо было бы, если б Егор пришел», – на уме у него.

– Зимой сына думает женить, слышал? – спрашивает опять Лука.

– Кто?

– Да старик-то Никола.

Молчат и оба посматривают на Егоров терем. Егор Николаич поглядел в окно и, увидав Омелю да Луку на лестнице паперти, подумал: «семко я схожу к ним, нечего же делать». Идет Егор Николаич в белом холщовом подряснике по селу, идет... и не успел подумать, как навстречу, глядь, с другого конца села и старик дьякон плетется. Сидел, сидел он дома – делать нечего: поспит, пройдетя по комнате, табаку понюхает, «Епархиальные Ведомости» почитает... «А дай-ка я схожу к Омеле табаку понюхать», – решил он и пошел, опираясь на трость-самодельщинку, с выточенной утиною головкой на рукоятке. Пришли и сели все, рядком, как старые воробьи на нашесте; не было только между ними большого во-

робья – пономаря Мальгинова; немного погода, глядят, и он показался в воротах своего дома. Теперь недоставало только Семена Иваныча Копысова, местного иконописца, попросту Сеньки, и эта недостача была немаловажная. Церковная лестница в теплые летние вечера была любимым местом для собраний приятелей: это был клуб, ратуша – все, что хотите. Здесь они просиживали нередко до глубокой ночи, калякая о том, о сем, решая житейские дела, интересы прихода, епархии и даже всего Русского государства. Тут слышались одобрения или порицания нововведениям в среде духовенства и крестьянства, тут же порой рождались остроты, шутки, способные рассмешить хоть кого. В долгую зиму подобную же роль для приятелей играла церковная сторожка, где безвыходно жил Омеля, круглую зиму занимаясь молотьем табаку и плетением лаптей. О первом Омелином занятии нельзя пройти молчанием. Табак Омеля молол, нужно сознаться, на славу: на что старик дьякон – и тот чихал от его табаку; впрочем, только в тех случаях, когда погода хотела перейти в ненастье. При всех же других обстоятельствах старик никогда не чихал; много-много, моргнет седой бровью да оботрет платком слезу, выступившую на глаза от слишком много табаку или чересчур большой понюшки. Секрет приготовления «носового зелья» долго находился в руках Омели, но однажды как-то удалось старику дьякону выпытать великую тайну. Она состояла вот в чем. Омеля клал в табак, когда молол его в горшочке при помощи огромной дубины, немного

золы, да чемерицы, да подбавлял три сухих дубовых листа, а «для духу» клал камфоры. При всем том старик дьякон как ни старался в точности выполнить рецепт, не мог приготовить такого табаку, с которого бы хоть раз удалось чихнуть, – так пальма первенства и осталась за Омелей. Старику дьякону не было известно главное: Емеля знал «хитку», а хитка эта – хоть вымотай у него все кишки – ни за что не сорвалась бы с его языка. Где старому хрену дьякону догадаться хотя бы, например, о том: молоть табак только по четвергам да вторникам и ни за что по понедельникам и пятницам: в них хоть размелись – никакого толку не выйдет. Или брать дубовые листья только с дуба, который растет на «трех ветрах», – никогда бы это не пришло старику на ум. Омеля в то же время был всегдашним председателем, хотя и безмолвным, на всех собраниях приятелей. В его руках была возможность закрыть или открыть заседание, так как у него хранились ключи от паперти, – значит, он же и распорядитель клуба. Омелина невозмутимая физиономия и на этот раз среди всех, сидевших на лесенке, красовалась юпитеровски торжественно и строго.

– Егор, тебе сверчковцы хотят наломать шею, – такими знаменательными словами открыл заседание Лука.

Сверчки – богатая деревня недалеко от села, обладавшая самым большим лесом в приходе.

– Это кто? Не Александр ли тебе говорил? Точно, я его встретил там. Молчал тогда, карамора, а стороной: так и шею

наломаю. Наломал бы я ему там!.. – Произнеся последнее слово, Егор Николаич показал увесистый свой кулак, глядя на который нельзя было не верить в действительность угрозы. – Да и на тебя, Лука, грызутся они, – добавил он язвительно.

– А что с меня взять: я рублю, где и все рубят.

– То-то! Эти жида-сверчковцы живут богачами: что лесу, что лугов! а жаль им лишней пихты. Не полез бы к ним, да негде в другом месте взять-то ее. Вон, без малого полсотни надо пихтовых штучин на стропила и желоба к дому и службам.

По-видимому, разговаривая так, они не имели никакой посторонней мысли или желания, а между тем у всех было на душе тайное ожидание Семена Иваныча; глядя на его хату, Егор продолжал:

– А где достанешь лесу, кроме как у них, богатеев. Хоть с фонарем нынче ищи кругом лесу – не найдешь. А лет пятнадцать назад – поезжай в ближний лог – сколько хочешь руби, под самым ведь носом; да вон, недалеко глядеть, – и Егор Николаич указал на лог сейчас же за селом, где на месте исчезнувшего леса давно уже не было ни единого пенька.

– Да что! – сказал он после некоторого молчания, – мой-то дворец из какого лесу? Вниз по реке весь рублен – вот как! – сказал он и победоносно посмотрел на всех.

Впрямь, год от году лес редел кругом, жалобы на безлесье слышались чаще и чаще. Многие из старых обитателей при-

хода, благодаря этому, уехали далеко в починки: в Сибирь, на Амур, навсегда простившись с родиной. С исчезновением лесов как-то само собой связывается прогрессивное вымирание и героев села. Как ели-великаны, росшие по полям его, – бранные остатки бывшего леса – склоняли долу свои старые головы под топором, так и герои села гасли один за другим под косой времени... Бесследно, тихо уходили они в темную область смерти, и лишь могильные холмики на кладбище говорили об их бранным существовании. Но холмик постепенно зарастал травой, равнялся с землей, а с ним исчезало с лица земли и последнее воспоминание о жившем. Где теперь все те, которые сидели в этот ясный летний вечер на церковной паперти? Давно уж их унесла могила, и тот, кого я взял предметом настоящего рассказа, его первого не стало среди них. Его приятели в этот вечер то и дело посматривали на так называемую церковную избу на краю села, где Семен Иваныч имел пристанище; но Копысов не показывался; решили, что их приятель снова запил и время проводил в кабаке. Сидят старые воробьи на холодной каменной ступеньке, которую успели уже нагреть, – сидят и видят, что в овсяном поле за огородом что-то движется в траве черное. Что за диковина! – думают. Вот как будто спряталось, опять показалось немного поодаль.

– Стой! да это, никак, попов теленок. Те-те, дай-ка угощу его дубиной по хребту, давно уж добираюсь до него после того, как он попортил у меня рассаду, забравшись в мой ого-

род, – и с этими словами Мальгинов выдернул дубинку из груди тут же наваленных палок, которые служили материалом для балагана во время воскресного торга. Заручившись оружием, Мальгинов тихо пошел вдоль церковной ограды, стараясь не спугнуть теленка прежде времени. Все следили за Мальгиновым и ждали: что из всего выйдет. Только, странное дело, с того самого момента, как Мальгинов погрозился угостить дубинкой попова теленка, последний точно сквозь землю провалился. «Вот смышленная скотина», – подумал пономарь. Но тут произошло нечто, повернувшее дело совсем в другую сторону. Не дойдя до огорода, Мальгинов неожиданно остановился, с сердцем плюнул и, бросив палку, пошел обратно, а то, что было теленком, поднялось в виде Копысова. Ругаясь, он уж явно пошел по направлению к кабаку, держась задворков. Но вовремя, видно, закричали ему старик дьякон и Егор:

– Куда ты, куда ты? Держи его, ату его!

Копысов постарался не слышать оклика и как ни в чем не бывало продолжал воровской путь.

– Сенька, Сенька! куда тебя понесло? Стой! Иди сюда! – закричал Егор Николаич голосом, которого нельзя было не слышать: и мертвых бы разбудил он, в церковной ограде мирно почивавших. Копысов, бормоча ругательства, невольно перенес ногу через огород и направился к сидевшей на паперти компании.

– Хе-хе-хе-хе! – встретил его обычным негромким смехом

старик дьякон. – Куда это ты собрался, травленный заяц?

– Молчи, дьякон! – сердито ответил живописец.

– Всем ты был бы у нас хорош, Сенька, да зачем любишь того... – сказал Егор и щелкнул пальцем левой руки у себя за ухом, – закладываешь, – пояснил он жест словом, которое, в свою очередь, тоже требовало пояснения.

– Ну, и ты туда же! Молчи, черт, дьявол! – огрызнулся Сенька.

– И колер у тебя хорош в образах, и чисто пишешь, а вот... – и Егор Николаич пожал плечами, – любишь лишнее выпить, как и грешный наш пономарь Александр Николаич, – добавил он, указывая через плечо большим пальцем правой руки на Мальгинова, но так, как бы хотел сделать это незаметным для последнего.

– Тьфу! – отплюнулся тот, – не теперь бы тебе вспоминать об этом: на животе как кошки скребут, а жена третий день выпить не дает... только аппетит разжег.

Копысов ответил на шутку Мальгинова пьяным, неудержимым смехом и сел рядом с другими; теперь их стало шестеро; он заговорил:

– Ты, Егор, говоришь про колер, а знаешь ли ты это слово? Ты сболтнул спроста, ан дело-то не больно просто, – и Копысов многозначительно подмигнул, – колер? ты думаешь: краска; нет, шалишь! Краска – краской, а колер – колером, вот что! Нет, ты скажи мне, соснова-елова, где ты найдешь такой колер, как У меня, Копысова? Бьюсь об заклад: кто

кругом пишет, как я, – найди – спасибо скажу. Сунской – тот просто маляр; Чернышев – да он предо мной мазилка. У меня в иконе если лицо – так лицо, рука – так рука, небо – так небо! Я и драпировку положу как следует. А кто пишет с золотом, как я пишу? Скажи на совесть, соснова-елова, кто? Другой ляпает его на икону, где не следует, и весь колер со-бьет, а я знаю, как им распорядиться.

– Ишь куда хватил! куда занес, Сенька?! – поглядывая на других, как бы спрашивал Егор Николаич.

– Да что, в самом деле, будет, довольно! Сенька Копысов пьяница, Сенька такой-сякой – только и слышно, а во каков Сенька Копысов! Мало того, когда я учился в Москве, на выставке копию с оригинала, «Турчанку», продал за пятнадцать целковых чистоганом; скажут, невиданное это дело, чтобы нашелся дурак и дал за картину пятнадцать целковых.

– И впрямь, уж не хвастаешь ли? – усомнился Егор Николаич.

– Да коли я хвастаю, – произнес Копысов и стал на площадке перед честной компанией, – если не правда то, когда я учился в Москве и продал «Турчанку» за пятнадцать целковых, – не правда – пусть провалюсь на самом этом месте сквозь землю, – сказал он и молча сел на старое место.

Старик дьякон собирался было что-то сострить в ответ Сеньке, да никак слова не лезли ему на язык, и ограничился он только тем, что скривил рот да почесал седую бороду двумя согнутыми пальцами; может быть, он и собрался бы

язвить друга, но Лука прервал его.

– А правда ли, Семен Иванович, – начал Лука.

– То-то, Семен Иванович!.. – многозначительно произнес Семен Иванович. – Ну, что, правда ли, – говори, я слушаю.

– Правда ли, Семен Иванович, говорят про этого самого живописца – как его... Ну, про которого ты часто вспоминаешь, мудреное имя-то больно. Ну-ка, Семен Иванович, припомни.

– Ничего, ты говори со мной просто, по-старому – не обижусь. Это про Рафаэля ты хочешь знать?

– Да, да, про него самого. Правда ли, говорят, в малолетстве был с ним такой случай... Это мне рассказывал певчий из архиерейского хора... – Но не вовремя пономарь Мальгинов прервал начатый было Лукою рассказ из детства Рафаэля.

– Про какого вы там живописца говорите? – недоумевал Мальгинов. – Новый, что ли, появился; не слышать что-то было про такого по околотку.

– Этот жил в Италии и давно уж умер, – пояснил Лука.

Копысов язвительно улыбался, глядя на Мальгинова.

– Не совался бы, когда не знаешь... «по нашим седым»?! Да такого днем с фонарем ищи – не сыщешь, исходи хоть весь свет до Камчатки, а то и еще дальше. Одно слово: гений! Вот тоже оригинал: в одно с ним время жил Микель-Анжело. Это был, я тебе скажу, такая садова голова: ерой! Самому папе римскому в бороду плевать хотел, – во какой оригинал!

Одно слово, соснова-елова, кремень человек – огонь. Такую махиницу заворотил: собор Петра в Риме – первый собор во всем свете! Глядя на него, думаешь: не дело это рук человеческих; чтобы человек, этакая, с позволения сказать... – тут все ждали сравнения по крайней мере неприличного, но ошиблись, – песчинка в сравнении с собором и сложил из камня такую громадину.

– Анемподист Маркеловский ходил в Рим поклониться мощам апостола Петра, сказывал: собор поистине достоин удивления, – добавил Лука.

– А был еще в Италии художник Бенвенуто Челлини. Ну, я тебе скажу, это был такой головорез, такой сорви-голова, каких свет мало родил! – и Копысов от удивления и удовольствия развел только руками, – а мастер был, каких поискать.

– Видно, нашего Сеньку голый-то рукой не хватай, – съехидничал дьякон. – Коли так, берись-ка ты написать картину Второго пришествия для церковной паперти. Отец Михаил давно ищет живописца, да никак не найдет подходящего: дорого просят, а ты сделаешь по сходной цене. Берись-ка, благословясь, Семен Иваныч.

– А что ты думаешь!.. И возьмусь. Была не была богородская трава – куда ни шло!

– Взять-то ты возьмешься, а сделаешь ли дело? – сказал со вздохом дьякон.

– Да так еще напишу – любо-дорого! У меня есть старинная контурная копия на пергаменте со Страшного суда само-

го Рублева; с того самого Страшного суда, который он писал на стене Успенского собора, что у Троицы-Сергия. Досталась она мне от покойника Тараски, а ему от монаха троицкого Алимпия, тоже иконописца. Такой счеканю Страшный суд – и ты ахнешь, старый хрен: молодец, скажешь, Сенька!

– А водку перестанешь пить? – спросил дьякон.

– Молчи! Водка – водкой, а дело – делом, – мрачно ответил художник.

– Тебе из казны выдадут деньги на краски да на масло для иконы, а ты их в кабак да в кабак. И на поверку выйдет: картина-то встанет дороже дорогого.

– погоди, я тебя за эти слова, дьякон, на Страшном суде в самое пекло запрячу, с берестяной твоей табакеркой: не нюхай, не пей из чертовой перечницы – туда тебя, старого хрена!

Дьякон хотя и был по старости за штатом и давно не совершал церковных служб, но, услыша такую мерзость, погрозил палкой Копысову, который разразился судорожным смехом, какой присущ только горьким пьяницам.

– И тебя, Егор, – продолжал он, также хохоча, – посажу туда же: как ты несешь бревно на плечах из Сверчковского лесу, черту на жаровню грешника поджаривать, а грешник-то этот ты же сам. Не воруй чужой лес, поделом тебе, соснова-елова!

Егор Николаич в ответ показал Копысову свой кулак, но потом спрятал руку за пазуху и, смотря куда-то в сторону,

проговорил:

– Не балуй, Сенька, не балуй, а то попадет тебе, пожалуй.

– А себя-то и забыл, Семен Иваныч, – добавил Лука.

– И себя туда же с косушкой водки, – поделом вору и мука!

Не пей, не губи жизнь – дар Божий. Так мне, так мне и надо!

Копысов не унимался, и его хриплый смех постепенно переходил в истерические всхлипывания. Он стоял на площадке перед компанией и, сильно жестикулируя, то взмахивал вверх руками, то, наклонившись всем корпусом, простирали их к земле, как бы перед ним находилась преисподняя, куда он по своей воле сажал своих приятелей и недругов. На самом же деле под его ногами были могилы давно умерших людей, и те, вошедшие в землю каменные плиты с остатками стертых ногами надписей и изображением адамовой головы,⁵⁰ были не что другое, как надгробные памятники предков, ушедших в темную вечность. И те начертания имен, что прежде ясно были видимы над их прахом, быть может, стерли ноги их внуков и правнуков, когда они набожной стезей входили толпами в церковь. Итак, несчастный над тлеющими костями человеческими изливал свою горечь и желчь, порожденные чувством обиженного, забитого судьбой человека...

– Всех, всех туда запрячу за их прегрешения! – кричал он. – И целовальника Митрошку за то, что народ крещеный опаивает, дерет с живого и мертвого – туда его! Пусть пьют

⁵⁰ *Адамова голова* – изображение черепа.

горячий спирт и закусывает утробой залившихся в его кабаке грешников. И скупого тысячника, который жалеет полтины за образ Божий отдать труженнику. Туда его! Не скупись на иконы. Пусть считает там голыми руками раскаленные добела медные пятаки и алтыны. И Иванову свекровку в Волме – туда ее! Как она в великую пятницу отказалась дать займы моей жене десяток яиц к Пасхе: «что-де своих кур не держишь», сказала. А чем их станешь кормить, когда самим есть нечего. Не для себя она просила: для малых ребят своих, хотела их порадовать в Христов день крашеным яичком. Мошенника Кузьку с Кунгура – туда его! Как за иконы Николы-чудотворца и Богородицы к свадьбе сына, что я писал ему, обещался осенью отдать овчинами, а пришел за обещанным – приди-де завтра, – так все и водил за нос всю зиму. Жена у меня целую зиму ходила без теплой одежды; старую-то шубу поправить бы Кузькиными овчинами – таскала бы, не мерзла на холоду... У меня тоже дети, надо поить, кормить, сам есть хочу, не с голоду же помирать, тоже человек, не камень – да!

И с последними словами Копысов зарыдал, ударяя себя в грудь. Далее продолжать он был не в силах, сел на нижнюю ступеньку лестницы и заплакал, беспомощно тряся и мотая головой. Что-то необыкновенно трогательное было в этом блуждающем тупом взгляде воспаленных от пьянства глаз, какими он смотрел то на одного, то на другого, подобно собаке, которую только что наказали. Как у всех горьких

пьяниц, в нем одно состояние духа быстро сменялось другим; то он был буен и ругался на чем свет стоит; то тих и смирен, как наблудившая кошка. Последнее случилось с ним каждый раз вслед за фундаментальной выпивкой, после чего он чувствовал себя пред всеми виноватым и старался хоть смирением загладить вину. При виде плачущего Копысова во всех пробудилась к нему жалость; даже тяжеловатый на подъем чувств. Мальгинов пожалел и старался утешить посвоему.

– Перестань, Сенька! Есть о чем! Э, полно, брось, не надо! – говорил он, отмахиваясь рукой, как бы отгоняя муху.

Отец-дьякон тоже принял участие в Семене Иваныче.

– Эк тебя разобрало, – говорил он, – к чему распускать слюни? Хоть бы было о чем. Как малый ребенок. Перестань! А лучше, вот, благословясь, сходи завтра к отцу Михаилу и скажи, что так и так: беру на себя труд написать изображение Страшного суда на церковной паперти; вон на той стене, – и дьякон, медленно повернув свой довольно тучный корпус, указал двумя перстами на левую стену паперти. На противоположной же стене висела старинная икона распятия. – А то между заутреней и обедней народ без толку шляется по селу да считает на колокольне галок и лба еще не перекрестивши. Когда же будет висеть изображение Страшного суда в паперти, подойдут, посмотрят да увидят, какое наказание ждет грешника, авось в другой раз и побоятся пожертвовать черту на ладан.

– Взглянет, да с испугу другая старуха-дура неравно петухом запоет, – отшучивался Сенька.

– Да ты полно молоть пустое: тебе толком говорят.

– Толком-то баба меряла помелом: полтора с половиной, а у черта с гривной ку-ку-реку!

Всех рассмешила Сенькина шутка сквозь слезы.

– Ну-ка, ты, полтора с половиной помела, пропой-ка еще петуха, – поощряли его. Сенька был рад и повторил петуха с новой вариацией, передававшей поперхнувшегося во время пенья. Петь петухом была его специальность; мастер он был и на другие штуки; вся компания принимала их за чистую монету, не видя, как в то же время подернулось судорогой лицо и руки Копысова – явный признак болезни пьяниц.

– Не шутя, Сенька: пиши Страшный суд.

– И напишу, ей-Богу, напишу. Э, была не была богородская трава, – сказавши обыкновенную свою поговорку, Копысов снял картуз и ударил им о землю. – Завтра же иду к отцу Михаилу, и будь что будет! А жене на башмаки и ребятишкам на калачи хватит. – И Копысов от удовольствия в ожидании таких радужных семейных картин даже присвистнул и понес уж такую невообразимую чушь, что все смеялись, что называется, до упаду.

– Так смотри же, Сенька, – говорил дьякон, – завтра же утром встань раненько, причешись, умойся, а не ходи такой растрепой, как теперь, – и к отцу Михаилу.

– Завтра утром, вот как Бог свят, начну это дело, – реши-

тельно сказал Копысов и в подтверждение своих слов даже перекрестился.

Вечерняя майская заря тихо потухала на севере. Вот, в полумраке наступающей ночи, исчез сверкающий лес, как бы потонув в темном озере. Лукина овина как не стало; вот и Егоров терем скрылся – не разглядеть, а наши приятели все еще сидят на паперти, разговаривая о том, о сем, и жаль им покинуть нагретую ступеньку лестницы. Но сладкие позевки, предвестники сна, слышатся чаще, чаще среди них и по мере их учащения разговор делается ленивее и настает, наконец, момент, когда никому первому не хочется сказать слово. Молчание длилось довольно долго, как вдруг Егор Николаич издал такой громкий позевок, что коростель, надрывавшийся где-то далеко в лугах, неожиданно замолк, должно быть, смущенный странным звуком, нарушившим тишину наступающей ночи. Позевок Егора послужил сигналом ко сну: все встали и разошлись по домам. Вот, слышно, заскрипела калитка на пяте у Егорова терема, звякнула щеколда у дьяконовых ворот, с визгом задвинулся засов у Лукиных ворот – и все стихло. Остался на паперти один только Омеля, но и тот, почесываясь и зевая, вскоре покинул насиженное место и ушел в сторожку, шелкнув за собой несколько раз замком, запирая дверь. Этот звук еще некоторое время держался под пустыми и темными сводами церкви, но наступившая за ним тишина так была безмолвна, так глуха, что все казалось навеки погрузившимся в непробудный

сон. Медленно подымались туманы на полях и лугах и так же медленно плыли неизвестно куда, как грезы спящего ребенка. Бездвижно стояли леса, деревья, дремали тихие воды, цветы в поле не качали головками; даже сиротинка былинка при дороге стояла, как заколдованная. Казалось, вся природа была частью чьего-то сладкого поэтического сновидения, так беззвучна и бездвижна была она!.. И вдруг, среди этой немой тишины голос времени снова, казалось, все вызвал к бытию. Омеля ударил полночь. Первый звук часового колокола, слабый и дрожащий, как стон или вздох пробужденного, разнесся по окрестности и долго стоял эхом в воздухе. Второй был громче, но прозвучал как бы нехотя, в бреду. Лениво, удар за ударом, лились звуки и будили окрестность печальным плачущим эхом. Отсчитавши двенадцать, Омеля как будто колебался: дать еще раз или нет; помедлив немного, он решительно и громче всех ударил «тринадцать», как бы сказавши себе: «э, куда ни шло!» Егор Николаич, засыпавший было, стал невольно считать бой часов и, когда насчитал тринадцать, пробормотал:

– Вот, мошенник, нечистого тешит: его дюжину наколотил.

А тринадцатый удар часового колокола долго выл по окрестности, долго бродил, нигде не находя приюта, и замер, наконец, где-то далеко в Сверчковском темном лесу в самых его дебрях, куда днем солнце не заглядывало и дневали совы и летучие мыши, где даже неоднократно видали самого ле-

шего; у него за пазухой тринадцатый удар колокола и нашел себе приют.

* * *

Копысов был крестьянин из ближнего села Волмы, где испокон веку заречная часть занималась производством и раскрашиванием дуг, прялок, вальков, сундуков и т. п. При этом нужно заметить, что волменские дуги славились особенно яркой раскраской по всему околотку. Что всего ярче горит в ярмарку в любом селе? – Волменские дуги и сундуки. Откуда это такая славная дуга у богатого мужика? – Из Волмы – откуда же иначе? Семен Иваныч в детстве помогал отцу в дедовском ремесле. Кудрявый Сенька тер краски, протирал вареным маслом дуги, а иногда и красил их. В нем рано проявилось артистическое самолюбие. Ему завидно было, когда, бегая по заречной слободе, он видел выставленные на солнце дуги, гораздо красивее тех, какие делал его тятка. Он старался не смотреть на них или же, глядя искоса, пытался уверить себя в противном, но когда подобные попытки не удавались и дуги все-таки превосходили качеством отцовские – швырял украдкой в них камушками. Оскорбляло его и то, что мужик, живший напротив и как нарочно выставявший дуги на солнцепеке чуть не под самым Сенькиным носом, год от году богател, отец же, наоборот, беднел. Хотя немало способствовала последнему обстоятельству слабость отца, кото-

рую он передал и сыну: любил отец Сеньки закладывать – попросту: пил горькую. Так же рано в Сеньке проснулась и склонность художника воспроизводить в образах представления фантазии и памяти, за что, к сожалению, нередко бывал нещадно бит отцом по затылку и таскиваем за волосы. Помогая отцу в расписывании дуг, Сенька в то же время малевал на заборах углем невообразимые рожи, всадников на конях, которым служили ногами просто четыре прямые линии; строил при помощи мела и угля целые города вдоль бревен своей избы. Иногда брал сюжетами для произведений на заборах даже жанровые сцены вроде того, как Петруха бьет Петрушиху, как дядя Степан режет телят, как тятка едет в город с дугами, как тятка пьет водку «из горлышка» бутылки. Конечно, во всех подобных произведениях голова большею частью изображалась в виде круга с тремя линиями внутри и кудрями около, долженствовавшими изображать части лица и волосы; туловище делалось наподобие мешка, с приставленными по углам четырьмя палочками с пятью маленькими черточками на концах, изображающими руки и ноги с пятью пальцами. Часто, когда тятка пил или торговля дугами шла плохо и когда поэтому мамка принуждена была занимать у соседей то муки, то чашку солоду, таская все это под фартуком, чтобы люди не видали, Сенька скорбел душою и втайне грозился отомстить соседям за те унижения, каким подвергалась мать, ходя из одного двора в другой, как нищая, прося и нередко получая отказы в про-

симом. «Я уж вам! дайте только вырасти большому», – грозился он, а с годами эта угроза сформировалась и перешла в желание сделаться живописцем, а не каким-нибудь маляром, красильщиком дуг. Когда отец Сеньки умер, сын не замедлил осуществить давнишнюю мечту: двенадцати лет он поступил в подмастерья к иконописцу, приехавшему в это время в село писать иконостас. Сеньке от своего учителя приходилось ни тепло, ни холодно, хотя довольно жарко от частых потасовок и холодно до «цыганского пота», когда Сенька со всех ног в легоньком шугайчике в тридцатиградусный мороз стремглав летел в кабак за косушкой водки для хозяина. Проку для него от такого ученья было не много. Единственная обязанность Сеньки таскать в кухню воду, дрова и быть на побегушках по хозяйству мало совершенствовала его таланты. Даже тереть краски, не говоря уже о фонах и припорохах для икон, ему кой-когда удавалось; а упражняться в рисовании на заборах и дверях, как прежде, для своего удовольствия и в помине не было. Зато, достав где-то карандаш и пользуясь всякими обрывками бумаги, он по вечерам при свете луны или сального краденого огарка, когда все уже спали, чертил разных святых, пряча свои произведения в такое укромное место за печкой, что никому и в голову не приходило заподозрить Сеньку в занятиях рисованием вне обязанностей подмастерья. Сенька имел тогда самый жалкий вид: лицо грязное и в красках, волосы торчали вихрами от частого их пребывания в хозяйских руках; взгляд тупой, рас-

терьянный, всегда голодный. Всегда оборванный и мрачный, Сенька скорее походил на нищего. Одежда чуть держится на худых плечах, сапоги «на босую ногу», всегда «просят есть», оскалив зубы, и из них, как поросята из закуты, выглядывают все пять пальцев. Бывало, когда он урвет минутку и прибежит к матери, та не наплачется, глядя на свое детище: и худ-то он стал, и глуп. Кормит она его ватрушками с кашей или пирогами с горохом, а сама, подпершись рукой, глядит на него сквозь слезы, вздыхаючи и охая.

– Сеньюшка, ты мой голубчик! Что из тебя сделали, ока-янные! – причитала баба, глядячи на свае кровное дитяtko.

А он, как прибежит молча, ест молча и убежит молча. Промаявшись по разным селам года три с Тараской – под таким именем слыл его хозяин, – Сенька научился кой-что работать единственно только по своей настойчивости; а то так бы и сидеть ему краскотером и грунтовальщиком – примеры этому он видел на других подмастерьях, поступивших к Тараске раньше его и не умевших, что называется, мазнуть кистью. А как увидел Сенька, что он напишет Богородицу и святого не хуже самого Тараски, смекнул он: и сам парень не промах, может иметь свою мастерскую – благо от отца остались краски и кисти. Долго он держал эту заветную мысль сделаться иконописцем самостоятельно и придумывал способ, как бы отплатить Тараске за все его благодеяния: за пощенины, вихры и потасовки. Вот Сенька назначил и день, когда уходить. Это было под конец лета, когда на полях все ра-

боты окончены и когда много заказывают образов для осенних свадеб. С утра все сели обычным порядком за мольберты. Общее молчание, жужжат запоздалые мухи; сизым флером висит в воздухе чад от свежее испеченного хлеба; пахнет вареным маслом и скипидаром; за заборкой слышно, как ревет в люльке Тараскин ребенок. Хозяин с похмелья и сердит – того и надо Сеньке для осуществления коварного замысла. Он начал.

– Забыл я сказать, Тарас Тихоныч, отец Степан заказывал тебе прийти сегодня утром, – соврал Сенька.

– Что ж ты, свинтус, раньше-то молчал? Скоро обед, а ты до сих пор ни слова, балбес!

Тараска начал собираться: надел крахмальную манишку, сильно засиженную мухами, жилет, сюртук, привесил медную цепочку, к которой вместо карманных часов был прикреплен просверленный пятак, и собрался совсем уже было уходить, когда Сенька доложил:

– Тарас Тихоныч! сурику нет, надо натереть.

– Что ж ты мне говоришь? Взял бы да и натер.

– Сам три, – огрызнулся Сенька.

– Ах ты, антихрист этакий! Да что это с тобой? Мне краски тереть?! Я, смотри, так тебе натру бока – долго чесаться будешь... Три, я тебе говорю! Не натрешь – убирайся из моей мастерской к черту!

Такая угроза была самым действительным средством, чтобы заставить повиноваться подмастерье, так как остаться без

мастерской, одному, значило почти нищенствовать. Сенька притворился побежденным и в отсутствие Тараски истер весь сурик, имевшийся налицо, и издержал все вареное масло. Слил сурик в горшок и поставил в мастерской на окно, прикрыв содержимое бумажкой. Во все это время у Сеньки с лица не сходила самая ядовитая улыбка. Затем перенес тайком кошель с хлебом и пожитками на улицу, поставил возле ворот за дровами, а сам сел как ни в чем не бывало опять за свою работу. Слышит, идет Тараска пьян: ворчит и сильно стучит ногами о ступеньки лестницы; входит, и прямо к Сеньке.

– Что ты вздумал меня морочить, а? Тебя отец Степан и в глаза не видывал! – закричал Тараска, приправляя свои слова непозволительной бранью; всевозможная брань была стихия Тараски; как рыбе в воде или птице в воздухе – так и ему всякое сквернословие. – Что ты молчишь, растакой-сякой! – и бац Сеньку по затылку! Тараска был детина дородный, и знал Сенька по частому опыту, какого весу был хозяйский кулак, а на этот раз вес его увеличился вдвое, так что у Сеньки выпала палитра из рук и ударился он головою об икону, которую писал. Увидел подмастерье, что пришло время расплаты с хозяином. Первым его движением был скачок к окну, где стоял горшок с суриком, которым он и пустил прямо в Тараску, а сам в окно вместе с разбитой рамой, из второго этажа. Тараска, пораженный всем происшедшим и глядя

на свою новую казинетовую пару,⁵¹ всю в сурике, некоторое время стоял, как оглушенный громом, пока не собрался с силами и не пустился в погоню за беглецом, пятки которого уже далеко-далеко мелькали по селу. Видят селяне, несется во весь дух по улице Сенька с котомкой за плечами, за ним бежит Тараска, а за Тараской вся его мастерская от мала до велика. Тараска красен от сурика, как вареный рак, и кричит: «держи его, держи его!..» И не разберут селяне, в чем тут дело: в крови ли Тараска или горит ярким пламенем? Сеньку молодые ноги уносили, как козленка, Тараска же был тучен и тяжел на ногу да притом удушлив. Где огород – Сенька в один миг за ним, а Тараска лезет через него, как медвежонок; и когда Сенька был далеко уже в поле, Тараска устал так, что еле двигал ногами и только ругался всеми бранями, какие может выдумать человечество на потеху нечистому.

Около полсотни верст прошел Сенька, прежде чем прийти в родное село. Первое, что он сделал по приходе: привел отцовский материал в порядок и, написав икону, поставил ее на окно лицом на улицу. Ходил Сенька по селу барином, руки в карман и знать никого не хочет! «Того ли, мол, хотели?!» – думает про себя, глядя, как однодеревенцы выставляют дуги сушить на солнцепеке. Посматривает на них свысока да еле кивает головой на их приветствия; покуривает себе Сенька папироску да сплевывает на сторону... «Видали, мол, вас много таких-то...» – говорят все его движения.

⁵¹ *Казинет* – полушерстяная ткань.

– Наша почтение, Семен Иваныч! Давно ли прибыл? – кричат ему соседи.

– Недавно. Как дела твои, Карп?

– Да ничего, помаленьку... Слышал, иконы пописываешь?

– А ты думал как?...

– Доброе дело, доброе дело! Все вот собираюсь купить себе Илью Пророка, да никак не соберусь в город. Напиши-ка ты мне небольшого.

– Что ж, можно. Приходи завтра, как-нибудь столкнемся, – говорит и идет дальше.

В праздник едут прихожане в церковь мимо Сенькиной избы, едет мужик из города, куда он возил рожь на продажу, – видят иконы на окне – зайдут, справятся: нельзя ли купить или заказать? Скоро разошлась молва по околотку о том, что в Волме за рекой пишут иконы и занимается этим делом Иванов сын. Стали заказывать – берет недорого: двугривенный, четвертак на клею и сорок да полтинник на масле. Приедет мужик к обедне и зайдет к Семену Иванычу заказанную икону выкупить. Возьмет заказчик икону за два противоположных угла, держит поодаль от себя: как бы ненароком не задеть – и, поворачивая перед собой так и этак, скажет:

– А важно малюешь, прах тебя возьми.

Посмотрит заказчик и на обратную сторону доски; постучит по ней согнутым указательным пальцем и по звуку

уже знает: дерево сухое – не поведет да и соснарвена⁵² как следует, не то, чтобы только «для видка», как в городе, – не жаль за такую работу и полтины. Загнет он полу у зипуна и вынет из глубокого кармана кисет с деньгами, где заодно лежит и трубка с табаком, отсчитает на жесткой ладони стопку медяков, трехкопеечников старого чекана, а то и николаевских десятикопеечников на ассигнации с добрую лепешку, что бабы пекут из малины на капустных листьях, отсчитает и вывалит на руку Семена Иваныча чистоганом четвертак. Но не отказывался он брать за работу и провизией: льном, яйцами, мукой и т. д. Дела шли хорошо, Семен Иваныч торжествовал. Купил самовар и попивал по вечерам чаек с баранками. Можно сказать: это была самая счастливая пора в жизни нашего героя – его апогей; ни до, ни после ему уж не удавалось испытывать того покоя, каким он наслаждался в своей Волме в дни юности. Самая счастливая пора в жизни каждого человека бывает только однажды. Иногда счастье только кажется таковым, заслоненное отзвуками забот и горя. Оно не так прочно, как несчастье: первое нужно удерживать, чтобы оно не ушло, второе идет всегда непрощеное и неожиданное, и часто борьба с ним непосильна. Мечты Семена Иваныча не имели тогда пределов ни в настоящем, ни в будущем, пока они хотя немного осуществлялись. Первый год

⁵² *Снарвы* – деревянные планки, вделанные в составленные вместе доски, чтобы их не корбило и чтобы они не раздвигались. (Примеч. автора.) *Соснарвить* – сколотить, склеить.

ему привалило работы, не успевал исполнять заказы; то надо для свадьбы икону, то в новую избу к богатому мужику; были заказы и в местную церковь. Но когда прошло, так сказать, горячее время, заказы на иконы стали перепадать реже, полтинник, два в неделю – заработок плохой. Вздумал он искать работу на стороне в соседнем селе, но там дела пошли еще хуже: нужно было платить за квартиру, и за хлеб, и за лошадь. Промаявшись по селам с год, Семен Иваныч приехал домой ни с чем. Глядит, а через дорогу на другой стороне улицы, как раз напротив, ненавистный Михаила выстроил новую избу. Еще более разобрала его злость, когда раз, проходя мимо той избы, увидел он, что Михайло стал расписывать дуги лучше прежнего: на рогах у дуги стали появляться написанные яркими красками львы, драконы, грифы. «Как он делает их, злодей?! – возмутился Семен Иваныч. – Возьмет, вырежет их ножом да и закрасит краской, какую Бог на душу положит». Мало того, видит он, что Михайло не остановился на одних дугах, а начал расписывать бабы вальки, какими они белье выколачивают на реке; в этом уж Семен Иваныч заподозрил прямое подражание себе, просто воровство. Валек – это немного изогнутая доска, с короткой рукоятью наподобие небольшой лопатки, довольно толстая и обыкновенно из березы для тяжести. На лицевой верхней стороне валька Михайло по разным фонам начал писать на одной половине какой-нибудь замысловатый цветок – красный, синий или зеленый, а на другой, за поперечной чертой

– коня. Семену Иванычу стало досадно и смешно; при первом же удобном случае он не замедлил это высказать.

– Что, Михайло, и ты нынче занялся живописью? Только не твоих это, брат, рук дело: тебе подходяща только черная работа, и не живопись; это уж оставь для рук почище твоих.

Михайло недоумевал.

– Да вот, – и Семен Иваныч взял один из вальков, выставленных на солнце, – конь-то какой – а?! Нешто такие бывают: желтый, а там зеленый, тут красный суриком – ха-ха-ха! Ай да конь! Где это ты таких видывал, любопытно было бы знать: не на семеновской ли ярмарке в городе или, может быть, у арапов или негров – а?

Михайло взял валеk за рукоятку, повертел его так и сяк, посмотрел на коня – впрямь желтый – таких не бывает; но никогда он не задавался этим вопросом: бывают ли лошади желтые, зеленые и т. д.

– А нехай будет желтый: бабам веселее глядеть, – заключил он и поставил на старое место.

Семен Иваныч не унимался: ему хотелось вконец доконать соперника.

– А голова-то, голова какая: как огурец! А ноги? Э, какие вывел: колесом, ни дать – ни взять у бабы коромысло. Да разве, старина, такие ноги у лошадей бывают?

Михайло опять взял валеk, посмотрел: и впрямь, такие не бывают, но и это он решил по-своему:

– А дуй его горой! не ехать ведь на нем.

Семен Иваныч только безнадежно махнул рукой и больше никогда не заговаривал с ним об этом предмете.

Вкусы Михайлы вполне отвечали мужицким требованиям; потому-то его товар и расходился так бойко на ярмарке. Поедет он на базар, наладит дуг полон воз, а приедет домой в пустых санях и привезет ребятишкам калачей да пряников. Семен Иваныч все это видит из окна, и горько ему делается. Стал и он возить иконы на базар, но они продавались плохо. Мужик, уезжая на ярмарку, все рассчитывает, что ему нужно купить, и возьмет денег в аккурат столько, сколько необходимо на покупки: на соль, рыбу, свечи, лыко и т. д. А если бренчат в его глубоком кармане лишние медяки и поговаривают они весело, как бы просясь на волю, то он купит на них скорее бабе платок или хорошую красную опояску, а то калачей и ни в коем случае икону – вечерам чаек с баранками. Можно сказать: это была самая счастливая пора в жизни нашего героя – его апогей; ни до, ни после ему уж не удавалось испытывать того покоя, каким он наслаждался в своей Волме в дни юности. Самая счастливая пора в жизни каждого человека бывает только однажды. Иногда счастье только кажется таковым, заслоненное отзвуками забот и горя. Оно не так прочно, как несчастье: первое нужно удерживать, чтобы оно не ушло, второе идет всегда непрошеное и неожиданное, и часто борьба с ним непосильна. Мечты Семена Иваныча не имели тогда пределов ни в настоящем, ни в будущем, пока они хотя немного осуществлялись. Первый год

ему привалило работы, не успевал исполнять заказы; то надо для свадьбы икону, то в новую избу к богатому мужику; были заказы и в местную церковь. Но когда прошло, так сказать, горячее время, заказы на иконы стали перепадать реже, полтинник, два в неделю – заработок плохой. Вздумал он искать работу на стороне в соседнем селе, но там дела пошли еще хуже: нужно было платить за квартиру, и за хлеб, и за лошадь. Промаявшись по селам с год, Семен Иваныч приехал домой ни с чем. Глядит, а через дорогу на другой стороне улицы, как раз напротив, ненавистный Михаила выстроил новую избу. Еще более разобрала его злость, когда раз, проходя мимо той избы, увидел он, что Михайло стал расписывать дуги лучше прежнего: на рогах у дуги стали появляться написанные яркими красками львы, драконы, грифы. «Как он делает их, злодей?! – возмутился Семен Иваныч. – Возьмет, вырежет их ножом да и закрасит краской, какую Бог на душу положит». Мало того, видит он, что Михайло не остановился на одних дугах, а начал расписывать бабьи вальки, какими они белье выколачивают на реке; в этом уж Семен Иваныч заподозрил прямое подражание себе, просто воровство. Валек – это немного изогнутая доска, с короткой рукоятью наподобие небольшой лопатки, довольно толстая и обыкновенно из березы для тяжести. На лицевой верхней стороне валька Михайло по разным фонам начал писать на одной половине какой-нибудь замысловатый цветок – красный, синий или зеленый, а на другой, за поперечной чертой

– коня. Семену Иванычу стало досадно и смешно; при первом же удобном случае он не замедлил это высказать.

– Что, Михайло, и ты нынче занялся живописью? Только не твоих это, брат, рук дело: тебе подходяща только черная работа, и не живопись; это уж оставь для рук почище твоих.

Михайло недоумевал.

– Да вот, – и Семен Иваныч взял один из вальков, выставленных на солнце, – конь-то какой – а?! Нешто такие бывают: желтый, а там зеленый, тут красный суриком – ха-ха-ха! Ай да конь! Где это ты таких видывал, любопытно было бы знать: не на семеновской ли ярмарке в городе или, может быть, у арапов или негров – а?

Михайло взял валеk за рукоятку, повертел его так и сяк, посмотрел на коня – впрямь желтый – таких не бывает; но никогда он не задавался этим вопросом: бывают ли лошади желтые, зеленые и т. д.

– А нехай будет желтый: бабам веселее глядеть, – заключил он и поставил на старое место.

Семен Иваныч не унимался: ему хотелось вконец доконать соперника.

– А голова-то, голова какая: как огурец! А ноги? Э, какие вывел: колесом, ни дать – ни взять у бабы коромысло. Да разве, старина, такие ноги у лошадей бывают?

Михайло опять взял валеk, посмотрел: и впрямь, такие не бывают, но и это он решил по-своему:

– А дуй его горой! не ехать ведь на нем.

Семен Иваныч только безнадежно махнул рукой и больше никогда не заговаривал с ним об этом предмете.

Вкусы Михайлы вполне отвечали мужицким требованиям; потому-то его товар и расходился так бойко на ярмарке. Поедет он на базар, наладит дуг полон воз, а приедет домой в пустых санях и привезет ребятишкам калачей да пряников. Семен Иваныч все это видит из окна, и горько ему делается. Стал и он возить иконы на базар, но они продавались плохо. Мужик, уезжая на ярмарку, все рассчитывает, что ему нужно купить, и возьмет денег в аккурат столько, сколько необходимо на покупки: на соль, рыбу, свечи, лыко и т. д. А если бренчат в его глубоком кармане лишние медяки и поговаривают они весело, как бы просясь на волю, то он купит на них скорее бабе платок или хорошую красную опояску, а то калачей и ни в коем случае икону – вещь серьезную, которую, чтобы купить, надо посоветоваться еще с домашними.

– Что, Семен Иваныч, много ли наторговал? – спросят.

– Ничего, торговля шла хорошо, – соврет или скажет, что по делу в село ездил, не для торговли.

Михайло между тем не давал покоя; Семен Иваныч стал еще сильнее ненавидеть его, подозревая в нем тонкую ядовитую хитрость, когда видел Михайлу как нарочно выставившим свои расписные дуги и вальки чуть не перед самым его окном. Проснется Семен Иваныч, глядит – напротив уже горят на солнце ненавистные дуги и вальки.

– Краски, краски-то какие жарит, мошенник... этакий

мужлан! – обругает его Семен Иваныч.

И стала чаще и чаще приходиться ему на ум такая мысль: неужели весь век быть ему каким-то маляром, перебиваясь с копейки на копейку, малевать, чтобы угодить вкусам какого-нибудь Михайлы. Лежит у себя на полатах Семен Иваныч, подложив под голову руки, глядя в потолок, по которому ходят тараканы. Лежит и вспоминает копии с картин и оригиналы масляными красками, какие он видел в одном селе у живописца, учившегося в московском училище. Какая чистота письма, какие колера! Семен Иваныч не решался даже мечтать о подобном письме, но грезы о Москве, училище живописи и поприще истинного живописца нередко посещали его, как помышления грешника о рае. Он по целым часам сидел у окна, бесцельно глядя на улицу в то время, когда мысли его далеко витали от тех предметов, какие находились перед его глазами. Он не слышит, как зовут его обедать; сидит ли за мольбертом – мечты заставляют ничего не видеть и не слышать перед собой; среди воздушных замков он забывает и об иконе, стоящей перед ним и ждущей окончания, и о том, чтобы купить на вырученные за нее деньги пуд муки. Среди фантастических образов он забыл даже кровного своего врага Михайлу и обиду от плохой продажи икон. Сенька ходил как «ошалелый», говорила его мать, дававшая ему затрешины, когда тот, забывшись, ронял ложку прямо во щи. Терпеть больше стало невмочь – и Семен Иваныч объявил о своем намерении идти в Москву учиться живописи.

Мать только услышала подобное решение сына – так руками и всплеснула и начала его журить на чем свет стоит, а потом стала выть и причитать, изливая тем свое горе. Она была права: кто теперь станет старуху поить-кормить, кто теперь станет беречь отцово добро, хотя и небольшое. При одной мысли расстаться с единственным чадом Сенюшкой сердце ее разрывалось на части, и плакала она горячими слезами. Пошла жаловаться на сына соседям, те в один голос решили, что дураку закон не писан, значит – ничего и не поделаешь. Сколотив на иконах кое-как рублей пятнадцать и захватив с собой в котомку три иконы св. Николая-чудотворца, Семен Иваныч считал себя готовым двинуться в дальний путь. Складывая порты и рубахи в котомку сына, мать обильно смачивала их слезами и причитала:

– Бесшабашная твоя головушка! и тебе ли идти в такую даль да в такой город: сгубишь ты там башку не за денежку, и не видать тебе больше золотых крестов на родимой церкви. Этаким ли жить в больших городах, как тебе, дураку? Почисте тебя живали, да и те голову свертывали, а тебе, сироте, среди чужих людей да на чужой стороне – и подавно.

Слушает Сенька такие материнские речи – только носом посапывает да головой потряхивает, и не сидится ему на одном месте, когда мать начнет журить: «ерзает, как сорока на коле» – чует, видно, правду – беспокоит она его, но и охота велика: так и тянет в Москву – не удержат, видно, слезы материнские. А когда пекла она попутники на дорогу сыну,

трудно сказать: от соли они были так солонны или от слез материнских... В ночь накануне того, как идти сыну, она не ложилась спать и была озабоченно-суетлива. Тяжелое горе виднелось в этом бессмысленном скитании по избе и тупом рассеянном взгляде этих бесцветных выплаканных глаз... Глядя на спящего сына, она роняла безмолвные слезы и поправляла на сонном то рубашку, то платок на шее – Сенька спал в одежде, готовый тотчас же, как проснется, двинуться в путь. Он проснулся рано: будто вдруг кто его толкнул, побуждая вставать. Только начинал прокрадываться утренний свет, когда он, торопливо крестясь, вышел из своего дома. На селе все еще спали, и даже вторые петухи не успели еще прокричать. Вот они уже в поле: от села тянуло теплом и запахом дыма; на полях и лугах лежала роса, покрывая их матовым флером, и веяла в лицо путника сырым холодком; было тихо, ни звука. Впереди шел Семен Иваныч в новых лаптях, с котомкой за плечами и палкой в руке. Шел он все время без шапки, с обнаженной головой – такова была воля матери, и сын, чувствуя торжественность минуты, повиновался ей; хотя в другое время ослушался бы и даже огрызнулся. Она шла за ним немного поодаль, всхлипывая и сморкаясь в руку. Черныш, верная собака, весело бежал, думая сопровождать хозяина и с ним же вернуться обратно, обнюхивал каждый столбик у дороги, порой взглядывал на Семена Иваныча, вильнув при этом хвостом в знак особенно веселого расположения духа, и бежал дальше вприпрыжку на одну но-

гу. Когда они прошли одно поле, мать громко запричитала – сама собой, видно, пришла роковая минута разлуки... Сын остановился, заплакал тихо, отвернувшись и как-то неловко отирая рукавом слезы – они до сей поры были ему неизвестны...

– Не плачь, матушка! – утешал он ее сдавленным голосом, – буду помогать, жди письма. Узнаешь, кто поедет из свояков с извозом в Москву по зимнему пути, – дай весточку, пришли гостинцев, пришли валенки да шерстяные чулки... Ну, прощай! не поминай лихом, – и сын повалился в ноги к матери, как будто кто ему подсек колени. Мать вдруг судорожно зарыдала, но так же быстро замолкла, замерла, – она в первый раз в жизни увидела сыновнюю любовь... Шепча что-то невнятное, она крестила детище, ставшее матери в эту минуту дороже всего в мире и даже ее собственной жизни... Черныш, взвизгивая, прыгал к хозяину.

– Не до тебя тут!.. – злобно вскричал Семен Иваныч и больно ткнул его в бок.

Черныш жалобно взвыл и смиренно сел в сторону, глядя на происходившую сцену прощания матери с сыном.

– Храни тебя Христос! – проговорила мать и твердой рукой перекрестила сына в последний раз, крепко нажимая сложенными пальцами лоб, плечи и грудь сына. – Уходи! – произнесла она и отпустила сына, как бы оттолкнув его от себя.

Он без шапки, держа ее перед собой, молча пошел, не

оглядываясь и понуриив голову. Еще раз увидела его мать показавшимся на пригорке, но дальше катившиеся градом слезы помешали видеть что бы то ни было. Возшло солнце и озарило холмы первыми золотыми лучами; вот зазвонили в селе к заутрене, затопили печи в деревне, а мать все стояла и смотрела в голубую даль, куда ушел ее сын – бесшабашная головушка; она тихо плакала и причитала, как причитают на могиле...

Три года пробыл Семен Иваныч в Москве. Поступил в одно из училищ живописи и в то же время работал у иконописца; страшно бедствовал и, между прочим, научился пьянствовать, сойдясь с дурной компанией. Но деревенская натура, воспитанная среди полей и лесов, сказалась в нем: он все время тосковал по матушке и по родной далекой Волме. Вспоминались ему и волменские поля и река под горой, в которой он лавливал раков и ершей; вспоминались и леса хвойные, тихо шумящие в дремоте, наклонившиеся над зеркально-чистыми озерами; не забыл он и деревенских друзей. Стояла на дворе осень, деревья желтели. Видел Семен Иваныч, как тянулись по небу вереницы журавлей, и сквозь неумолкаемый городской шум слышались ему их жалобные, тревожные курлькания: будто торопили, звали эти звуки куда-то и тревожились за его судьбу. Ах, как хотелось ему тогда улететь с ними далеко-далеко, в свою милую Волму! Тянул ветерок с родимой сторонки, и ему казалось: запах деревни ощущался в нем, – дышал не наддышался бы им – так

мило было все, что хотя чем-нибудь напоминало родную сторону. «Скоро репа поспеет, станут ее после Гурьева дня резать», – думал Семен Иваныч, и при одной мысли о свежей репе у него оживала вся картина деревенской осени. Вставлены зимние рамы, в избе тепло и пахнет только что срезанным луком, рассыпанным на полатях для просушки; слышно, как бьется ставень о стену и скрипит на заржавелых петлях; по грязной улице поехал куда-то тепло одетый мужик на пегой лошадке; ревет где-то теленок жалобно и протяжно; с деревьев летит уже последний лист, срываемый яростными порывами ветра; серые дождливые облака тянутся из-за черных лесов и таких же черных полей. Но вот – и заморозки, и первый снежок-молодик: все как будто притихло под ним сразу и как бы надело шубу на заячьем теплом меху. Ставня не бьется, ветер затих, будто спрятался в лесах, покрытых пухом молодого снега, теленок смиренно стоит в хлеве; все как будто лишилось языка шумной беспокойной осени. А сквозь разорванные тучи проглядывает ясная-ясная зелено-голубая лазурь неба. Красные кисти рябины, прихваченные легким морозцем, так и манят к себе. Кто-то прошел под окном, и слышно мягкое похрупывание снега под ногами идущего. От этих сладостных для деревенской души воспоминаний сердце Семена Иваныча усиленно билось и как бы заочно радовалось всему. Долго не думая, он сложил свои пожитки в котомку, взял у хозяина, которому помогал в иконописной мастерской, следовавшие за работу деньги, перекинул котомку

за спину и, перекрестившись на московские храмы, пошел отмеривать версту за верстой, а их надо было пройти не одну сотню. По заморозкам пришел он домой, износивши лаптей без счету.

Нужно ли описывать радость матери?

Мигом облетела весть по селу, что у Ванюшихи сын вернулся. Вскоре изба ее наполнилась соседями, любопытствовавшими взглянуть на бывальца в Москве. Они приходили молча, крестились на передний угол и протягивали заскоружные руки Семену Иванычу, а потом чинно садились по лавкам. Тут были и старики, седые да плешивые, и русоголовые мужики, все народ почтенный, между ними и Михайло. Были в числе гостей и подростки-парни, сверстники Семёна Иваныча, с которыми он прежде бегивал в лес разорять вороньи гнезда, ловил раков в реке Волме и проч. Бабы держались больше около матери, видя в ней как бы отражение сына; они помогали ей стряпать пироги и шаньги, которые она пекла по случаю прихода сына. Семен Иваныч сначала всех угостил чаем, а почтенных стариков и мужиков под конец стал обносить водкой. У всех развязались языки: спрашивали про Москву, что видел, что слышал идучи? Любопытствовали знать: видел ли царя? Семен Иваныч охотно отвечал на вопросы, немного иногда привирая. Стал под конец развертывать свои рисунки по просьбе гостей.

– Ну-ка, Семен Иваныч, показывай, чему тебя научили на чужой стороне? – говорили они, похлопывая его по плечу.

– Что ты нам каких-то мертвецов показываешь? – недовольно заявляли некоторые, глядя на рисунки с гипсов, где белый цвет и глаза без зрачков принимали за признаки мертвенности.

– Показывай дело, что пустяками хвастаешь?

Но так как другого ничего не оказалось, то они и решили:

– Видно, Семен Иваныч, тебе еще надо поучиться: знать, мало корчаг щей вылебал.

Оскорбленный автор только плюнул и молча свернул рисунки. «Нечего с вами, дураками, и разговаривать», – подумал он.

При всем нежелании снова заняться иконописанием, нужда заставила промышлять хлеб прежним способом. Притом же в отсутствие хозяина дела пришли в самое жалкое состояние – надо было поправлять их. Избушка совсем развалилась, требовалось строить новую, лошадь продана была за подать, оставалась всего одна корова, да и та от старости еле таскала ноги. Волей-неволей Семен Иваныч принялся за иконы и притом по прежним ценам, тогда как в Москве он брал за них вдвое больше. На его счастье, заказали иконы в местную церковь, руководствуясь тем, что Семен Иваныч стал не простой какой-нибудь сельский богомаз, а живописец из Москвы. Этот заказ сразу поднял его на ноги и в то же время обольстил надеждой: он не прочь был прожить здесь и еще зиму, если бы пошли подобные заказы, а поездку в Москву для продолжения учения готов был оста-

вить на неопределенное время. Дела Семена Иваныча стали быстро поправляться; тотчас после заказа в Волме получил он другой в соседнем селе: надо было писать иконостас. Без мастерской при таком деле не обойдешься, и Семен Иваныч сделался хозяином, набрав помощников и закупив в городе нужный материал. К прискорбию, сначала хороший хозяин – он превратился впоследствии в обыкновенного, не лучше Тараски, мастера и тузил подмастерьев, как и тот. Женился на дьяконской дочке из того села, где работал, – на «крылошанке»,⁵³ а не на какой-нибудь мужичке. Отстроил заново свой дом в Волме по образцу городского: с мезонином и в пять окон; выкрасил его в ярко-зеленую краску с белыми полосами – на загляденье всем, кто проезжал или проходил мимо.

– Чей это такой появился у вас дом? – осведомлялся прохожий у встречного, кивая головой на дом Семена Иваныча.

– Да здешнего богомаза Копысова – слышал?

– Славный дом! Вплоть до города не встретишь такого. У мерзляковского писаря – хорош, но куда!.. и в подметки не годится этому. Не дом, а игрушка! – заключит прохожий и пойдет дальше, размышляя о том, как умудренный от Бога человек и жилище свое украшает, живописуя на нем травы и зверей разных... Вздохнувши, путник шел дальше, размышляя о многом подобном.

⁵³ «Крылошаник», т. е. стоящий на крылосе (клирос) или вообще член сельского духовенства. (Примеч. автора.)

Не малых хлопот и денег стоил Семену Иванычу такой дом. Если не бедствовал он ради постройки нового дома, то по крайней мере влез в долги и тем связал себя по рукам и ногам. Семен Иваныч в другом селе работает, а жена с детьми перебивается кое-как: занимает муку у соседей, берет в долг деньги. Приедет хозяин домой, надо тому, надо другому отдать, а денег не хватает; с горя возьмет да и «того», – как говаривал Егор Николаич, – «клюкнет» – выпьет втихомолку косушку-другую водки. Эта постыдная страсть, унаследованная от отца, с годами укоренилась в нем и, как ржавчина, внедрялась все глубже и глубже, подтачивая в основе организм, действуя подавляющим образом на волю. Все знали, что Семен Иваныч хотя и хороший мастер, но «зашибает», и стали не особенно доверять в работе: загуляет, не окончив заказ к сроку, пропьет материал – мало ли что может случиться у пьяного. А тут как назло враг его Михайло вновь отстроил свою избу. Правда, изба была простая деревенская, всего о трех окнах и даже не обита тесом, но выглядывала такой уютной и теплой, что всякому хотелось пожить в ней. Ставни у своей избы Михайло, на манер Семенова дома, размалевал цветами в банках, а на воротах развел целые сады киноварью с яблоками, а между деревьями по цветам пустил вороных коней. Даже Семен Иваныч, глядя на них, дивился:

– Вишь ты, куда метит! Откуда что взялось: не из тучи гром. Все это он у меня своровал, – заключил он, утешая

себя.

Но Михайло чужд был воровства и даже подражания, а так же простодушно размалевывал ставни и ворота у своего дома, как это он делал, украшая вальки и дуги. В Семене Иваныче подымались прежняя зависть и злоба на соседа. Возвращаясь вечером из кабака, он, как вор, крадучись подойдет к дому Михайлы и, осмотревшись предварительно, не видит ли кто, заглянет в окна. Вокруг стола, видит, вся семья ужинает; ребята – народ все здоровый да веселый: только ложки мелькают вокруг общей чашки – не отстают от больших, а заревет – как в бочонок задудит. Жена Михайлы, баба ядреная да румяная, только поворачивается от печи к столу с чашкой, а сам хозяин с братьями сидят, как короли, за столом. Заглянет на крытый двор, везде порядок: стоят телеги крепкие, пара сильных лошадок громко жует сено. Тошно станет Семену Иванычу, глядя на свое и чужое. У него-то и дом пуст, и двор не лучше того; одна корова; ребята оборванцы и худы, постоянно плачут, а жена хоть и в ситцевых платьях ходит, но в дырявых; тогда как на Михайловых невестках и его жене простые сарафаны из домотканины всегда крепки и чисты. Придет домой – ни с того ни с сего раскритичится на жену: отчего у ней непорядок в доме? Глядишь, вечером поздно, когда все село уже спит, Семен Иваныч пьяненький плетется домой и ругает про себя Михайлу, грозясь кулаком на его новую избу, а придет домой тише воды, ниже травы – да прямо в сарай спать. Но до чего

дошла дерзость Михайлы!.. По своей простоте он однажды сказал при встрече с Семеном Иванычем:

– Давно я хочу заказать тебе икону; Иверскую ты мне написал бы, или Афонскую.

Семен Иваныч оглядел Михайлу с ног до головы и с расстановкой сказал:

– Сделать-то сделаю, а хватит ли у тебя грошей? Пожалуй, чего другого у тебя найдется – так ли?

– Что о деньгах говорить? Коли знатно намалюешь, не пожалею и зелененькой.

– А синицу не хочешь? – спросил, подбоченясь, Семен Иваныч и заранее торжествовал над дерзостью своего врага; но вышло наоборот: победителем-то вышел Михайла:

– Что ж, по рукам! Пять так пять, согласен и на синицу. Доска моя; у меня давно стоит на примете в лесу липа; срублю и доску для образа выстружу.

Пять рублей и доска его – вот так штука! Семен Иваныч этого уж никак не ожидал. Некоторое время он стоял, с недоумением глядя на Михайлу, и, ни слова не говоря, пошел прочь. Он был разбит наголову и это чувствовал, но икону писать не стал, а вместо того так запил, так запил – как никогда! Целых три недели без просыпу пил; все с себя в кабаке оставил: и сапоги, и порты; пришел домой, как цыган, в одной рубашке, без шапки, и деревенские мальчишки немало смеялись над «беспорточником». С этих пор пошла в семье у него свара, бедность и беспорядок: сам пьянствовал, добро,

накопленное годами, тащил в кабаки, а придя оттуда пьяный, бил жену и гнал из дому детей. Только когда Семен Иванович ездил по селам для заработков и на стороне пьянствовал, семья его немного отдыхала от всего этого, хотя бедствовала по-старому.

В таком печальном положении застаем его в то время, когда он взялся писать «Второе пришествие» в церковную паперть. Беспомощному состоянию Семена Ивановича тогда вполне соответствовал и его внешний вид. Волосы торчали вихрами, лицо, покрытое веснушками и с коротко остриженной бородой наподобие щетки, носило следы пьянства и беспорядочной жизни. Дикий взгляд немного косивших белых глаз выражал человека погибшего, а бескровные сухие губы носили в себе выражение чего-то в высшей степени жалкого, беспомощного и забитого; невольным состраданием сжималось сердце, глядя на эти плачущие бескровные губы. Одежда у него всегда была грязная, пальто надевалось прямо на рубашку, черную от грязи. Голос он имел грубый и хриплый, ходил сгорбившись, как бы жался от холода или как бы старался скрыться, исчезнуть от взглядов людских.

«Виноват, перед всеми виноват», – как бы выражала его наружность в трезвом состоянии.

Таков был вид человека погибшего, сдавленного властью рока.

Проснувшись утром на другой день после памятного ве-

вчера, проведенного на ступеньках церковной лестницы, когда Семен Иваныч выразил решительное намерение взяться за изображение судилища светопреставления, он смутно сознавал, что ему надо в этот день совершить из ряда вон выходящий поступок, но что именно – ясно не сознавал; так, вспоминая, Копысов лежал некоторое время, глядя в потолок.

– Ах ты, соснова-елова! К отцу Михаилу надо бежать, – вдруг вспомнил он и быстро поднялся с постели.

Семен Иваныч помещался в старой церковной избе, находившейся на краю села, мрачном до мистичности жилище, удобном только для крыс и привидений; недаром ходили по селу слухи, что в этой избе «неладно», намекая тем на нечто сверхъестественное. Обстановка комнаты, где он обитал, была самая непривлекательная. Спал он на соломе, разостланной прямо на грязном полу и прикрытой каким-то тряпьем вроде одеяла. Из мебели находился всего один только сломанный стул перед мольбертом, связанный мочалкой и наминавший собою инвалида на костылях. Хромая скамья дополняла убранство и служила в одно и то же время сиденьем и столом; на ней лежали пустой штоф от водки, кусок хлеба и лук – вот и все, если не упомянуть о горшках и черепках с тертой краской да о картузе, висевшем на гвозде, – как о единственном свободном представителе одежды. Семен Иваныч все предпочитал носить на себе и, если что оказывалось лишним, находил более удобным вешать у це-

ловальника за стойкой в виде залога. Умывшись по деревенскому способу, т. е. набрав в рот воды и выпуская ее в пригоршни, иконописец съел головку луку, чтобы не так разило водкой; потом похлопал о колено картуз, желая тем придать ему более привлекательный вид, надел его на всклокоченную голову и вышел.

В дверях живописца встретило яркое майское солнце, заставившее его прищуриться, и дружный хор воробьев и галок приветствовал его отовсюду. Зеленая лужайка перед церковной избой так и горела под лучами солнца, усыпанная желтыми цветами одуванчика, как золото блиставшими среди зелени луга. Такая кругом была благодать, что Копысов невольно сел на завалинку у избы и ушел весь в тупое, бессознательное созерцание природы: он зараз и видел, и слышал, и обонял, не отдавая себе отчета ни в чем в отдельности. Он устремил неподвижный взгляд серых глаз с воспаленными от пьянства веками на прелестную бабочку, гревшуюся на одуванчике и то расправлявшую, то снова лениво сжимавшую свои крылышки. Так он просидел с добрую четверть часа и, как бы очнувшись, поднялся и пошел, по пути сорвав горький лопух, которым на ходу натер порыжевшие сапоги, – средство, нередко практикуемое деревенскими щеголями для придания сапогам черноты и блеска. Семен Иваныч пошел прямо к отцу Михаилу и на этот раз не зашел даже по пути в кабак для храбрости «пропустить рюмочку-другую». Отец Михаил, услышав ясно и решительно выражен-

ное намерение иконописца, благословил его на труд.

– Вот как Бог свят, ни капелиночки не буду пить водки, вот вам, святые иконы, разрази маня Бог, чтобы если... – Семен Иваныч даже прослезился – так искренно было его сознание: по его щекам катились слезы, которые он утирал дрожащею рукой. Они сговорились на восьми рублях с половиной за изображение Страшного суда. Саженная доска для картины была сделана из соснового дерева столяром Кондрашей – первым приятелем Семена Иваныча: как хмель без тычины, так и Сенька без Кондраши... Кто как не Сенька с Кондрашей идут из кабака по селу, обнявшись и переплетаясь ногами? А под огородом в поле кто двое кроме Кондраши с Семеном Иванычем спят мирным сном? Как шли они, обнявшись и распевая излюбленную местную песню: «Во починочке жить невесело», – как запнулись они за подпору у огорода, так и повалились оба и не утруждали уж себя напрасным вставаньем.

Семен Иваныч для работы переселился со своими пожитками в церковную левую сторожку, называемую также и палаткой. В ней свободно поместилась саженная доска для Страшного суда и свету из сводчатых, хотя и закоптевших окон для нее было вполне достаточно. Почерневшие от дыма своды в этой палатке, слюдяной фонарь необыкновенной формы, спускавшийся на цепи из середины свода, решетчатые окна и кирпичный пол, в котором кирпичи были поставлены ребром и наискось друг к другу, – придавали сто-

рожке вид старорусской палаты, в каких, по всей вероятности, и помещались древние иконописцы. Перекрестясь, Семен Иваныч начал работу. Он уже загрунтовал глиной с вареным маслом доску, обвел было «абрес», оставалось только «накладывать краски», да как назло в это время случились у знакомого мужика Ивана с Сосновца поминки по старухе; тот и поднеси приятелю стаканчик – и всего-то небольшой. Ну, а как понюхал спиртного духу наш художник, его и потянуло, как гончую за зайцем.

Пробрался он втихомолку в кабак и сильно хмельной по задворкам юркнул по старой памяти в церковную избу. Целую неделю пил Семен Иваныч и в понедельник пришел в палатку, как наблудившая кошка, пришел – и сел за работу.

На этот раз велел он себя запереть и не выпускать из палатки ни в каком случае, а воду и хлеб просил Омельяна подавать через окно. Горячо принялся он за дело и отдыхал только во время сна, а спал всего часа четыре, работает, работает, а потом прямо бросится в постель и спит, покуда не заглянет сквозь решетчатое окно в палатку только что взошедшее солнышко.

Но раз, на беду, вышло такое искушение. Просил Семен Иваныч Христом богом выпустить его не надолго, но что-то уж слишком умоляющий тон слышался в просьбе; это показалось Омельяну подозрительным, и он ему отказал. Немного спустя заключенный опять просит Омелю – и на этот раз как бы между прочим – подмести пол: «натерся, – говорит, –

кирпич под ногами и садится на образ». Омеля сказал «ладно» и пошел мочить веник. Но лишь только отворил палатку, ничего не подозревая, как Семен Иваныч мигом очутился на воле.

Омеля за ним с метлой; к нему на помощь поспешил Егор Николаич, который как раз в это время шел в церковь; и оба они пустились по церковной ограде через могилы за Семен Иванычем, а он сколь было мочи ударился по направлению к кабаку. Только оставалось ему перепрыгнуть через решетку церковной ограды – как его схватили в одно время за ноги Омеля с Егором Николаичем. Тут беглец стал клясться и умолять всеми святыми, чтобы ему дали выпить хоть рюмочку – всего одну рюмочку с наперсток.

– Мне бы лизнуть у него краюшек...

Но противники были неумолимы.

– Хоть бы капельку винца... с воробьиного бы перушка – больше не запрошу, – взмолился он под конец чуть не со слезами; но и тут не смягчились его преследователи. Тогда он безнадежно махнул рукой, сам слез с решетки, надел пальто и пошел обратно, в душе решив перенести всякие лишения. Но перед самым входом в палатку у него еще раз мелькнула надежда: нельзя ли как-нибудь улизнуть, но было поздно: его насильно втолкнули, и, как он ни упирался, принужден был уступить. Тогда Семен Иваныч стал ругаться чертом-дьяволом, но вскоре замолк, услышав за дверьми торжествующий смех победителей.

По-прежнему Омеля давал узнику хлеб, воду и лук – любимое лакомство живописца. В Семене Иваныче заметно произошла перемена: он стал тих и незлобив, а приходившие приятели, заглянув в замочную скважину, видели его постоянно сидевшим за мольбертом. Омелин слух порою неожиданно поражался бог весть откуда долетавшими звуками пения, немного дикого и странного. Сначала глухой старик думал, что ему послышалось, но, выйдя раз на паперть, убедился в том, что Семен Иваныч умел петь тропари и кондаки,⁵⁴ хотя и замогильным голосом.

– Что, Семен Иваныч, не надо ли чего? – спрашивал его Омеля, отворяя дверь, – ты сегодня плохо ел: смотри, коврига хлеба целехонька.

– А вот что я скажу тебе на это, старина: не единым хлебом сыт будет человек. Эге! знаешь ли, кто это сказал? Да где тебе знать: ты ведь сыч.

Но вот картина уже перед окончанием; приходят смотреть произведение приятели. Они вошли все разом: сначала старик дьякон, покрякивая и скосив рот на одну сторону, как бы собираясь «отмочить штучку». За ним Егор Николаич, Лука, Мальгинов и в заключение – Омеля с ключами, как тюремный сторож. Старик дьякон сейчас же нашел пищу для своей остроты в пустой «косушке» от водки, стоявшей на окне. Тогда Семен Иваныч, взяв стеклянку и с силой бросив ее в угол, сказал:

⁵⁴ *Тропари, кондаки* – церковные песнопения.

– Вот же тебе, старый хрен! Не для водки она была у меня припасена, а для воды: смачивать пересохшее горло. Стану я во время такого дела да взбадривать себя сивухой?... Эх ты! Пришел смотреть образ, а увидел косушку! Ха, ха! Видно человека сразу, каков он есть.

Отец дьякон никак не ожидал такого отпора и даже смутился, не замедлив обратить взгляд на картину. Все хвалили Семенову работу; особенно нравился всем геенский огонь и мытарства, где живописец изобразил мучения каждому по заслугам; хорош был огонь негасимый, и червь ненасытный, и змий, и сатана на дне ада с Иудой-предателем во рту.

– Ты, старик, должно быть, войдешь туда первым за свои старые грешки, – заметил в сторону дьякона Егор Николаич.

Тот ответил:

– А ты у меня будешь держаться за полу: кто ворует лес у Сверчкова?

– Эх вы!.. у вас смех, а разве легко такую картинищу написать, и всякому разве дано это? – с горечью в голосе сказал автор. – А у вас смех... Эх вы, исчадия праха! Вы не знаете того, что для этого нужно быть посвященным, вдохновенным, как говаривал покойник Тараска... а вам смех... Над вами смеюсь... вот что! Сами над собой зубы скалите. Ты думаешь, легко написать лицо там, где небо?... Взял подходящую краску – и дяпай! Не тут-то было! Ты пишешь лицо – так и краску составляй, чтобы тельная была: мягкость и теплоту тела передавала. Лазурь небесную хочешь изобразить –

так чтобы глаз тонул в ней, и зелень радовала бы глаз своей природной яркостью – вот что значит картина! Поди, не знал ведь, соснова-елова!

– Где нам, дуракам, пироги есть, – ответил Егор на вопрос, обращенный к нему.

– То-то вот и есть! Ты смотришь в окно, видишь Лукин дом, реку, лес, а там Караульская гора синее; ты пошел туда – все на версте друг от друга. А в картине изволь-ка все на гладком месте изобразить, да так, чтобы дерево ты обошел, до леса можно было проехать, чтоб твой взгляд проходил туда сквозь доску или холст. Да сделай ты мне так, чтобы я дышал, любовался, радовался там или грустил, задумался от твоей картины, чтоб она, как пальцем, коснулась до струн моей души и заговорила.

– Молодец, Сенька! люблю! – воскликнул в восторге Егор и потрепал приятеля по плечу.

– То ли еще скажу. Теперь насчет фона. Ты думаешь: его намазал так, зря – и готово! ан нет! Если я твое лицо пишу и за тобой печь, – печь будет фоном, чтоб лицо твое перло от нее, а не сначала печь казалась, потом лицо. Если пишу тебя на улице и за тобой твой же терем, – он и будет фоном, а терему фон – поле, а полю – небо, а в небе облакам летучим фон – лазурь ясная. Вот что я скажу: все фон и нет фона, одно тело другому служит фоном.

– Мудрено уж больно говоришь, Сенька, кабы ладно?... – вставил Мальгинов.

– Молчи ты, иерихонская труба!⁵⁵ А насчет человеческого лица? Да тут целая бездна! Каких нет оттенков, выражений – в нем весь мир отражен, как в музыке. Ты думаешь: намазал подобие лица – и дело в шляпе? Хоть бы взять Николая-угодника? Ты посмотри, как я его пишу: строг лицом старик и мощна длань, а добр... бесконечная доброта в глазах – таков он и был. А лик Христа – тут я не берусь уже и говорить. А Богоматерь, склоненная над Младенцем? Вообще, сказать к слову, коли на то пошло, призвание живописца: раскрывать глаза незрячим. Не стоит портить кистей и красок ради того, что мы каждый день видим, всякий может видеть. Живописуй сокровенное, пиши, что не может всякий видеть. Живописец должен быть волшебником и чародеем, он должен руководить чувством и мыслью, а не подчиняться требованиям всякого встречного. С простых дел он должен срывать покровы и казать скрытую в них суть – вот его призвание!

– Говоришь-то ты хорошо, да делаешь ли это? – спросил дьякон, ехидно улыбаясь.

– А я вот скажу словечко, – промолвил Лука, – вычитал я в «Воскресном Досуге» – так твоей картины как не бывало: всю сравнивает с ничтожеством. Где у тебя воздушная перспектива? Опять и кисть у тебя груба – вот это так словечки печатные – не чета твоим.

⁵⁵ *Иерихонская труба* – в переносном значении: очень громкий, сильный голос; в одной из книг Библии содержится эпизод, в котором рассказывается о том, что крепостные стены города Иерихона разрушились от звука священных труб.

– С налету такие слова бьют, как шальная пуля: кого попало, – возразил Копысов.

– Ну, Сенька! Смотрите, спереди он посадил больших чертей, а кои поменьше, задвинул сзади; да и с грешниками тоже: дети там первых, что ли, сидят? Ишь чертягу какого посадил к грешнику на плечи, а за ним, как комар, другой, – рассматривая картину, говорил Мальгинов.

Тогда Семен Иванович молча взял говорившего за плечо и подвел к окну.

– Видишь мою руку? – сказал живописец, протянув растопыренную кисть руки перед самым носом его.

– Ну, вижу.

– Видишь Лукин дом?

– Вижу.

– Рука моя больше Лукина дома – видишь?

– Ах ты, чтоб тебя комары съели, и впрямь больше, – удивился Мальгинов, в первый раз заметив такую, по его мнению, несообразность в природе.

– Ну вот, до седин дожил, а этого не знал, что спереди стоит, то больше кажется, а что позади – меньше. Человек стоит на площади таков, а он же за версту – чуть разглядишь. Мудрено, брат, у Бога устроено, и не таким, как тебе, видно, угадывать пути его – идеи.

– А не больно же чисто писал, Семен Иваныч: волоски видно, – вставил свое замечание близорукий Омеля, до того внимательно рассматривавший тыльную сторону доски, лю-

бопытствуя больше знать то, из какого она дерева и крепко ли сосна рвена.

– Эх вы, ценители, прости Господи!.. Другой ни аза-в-глаза не знает, а туда же... Наберется слов откуда-то и садит их, куда не следует, как попугай; слышал я про таких! А того не знают, что есть поумнее их, да помалкивают. Как-то в Волме приходит ко мне заказчик; провел, не глядя, рукой по иконе; почувствовал, что шаршаво, и говорит: не кончено, а сам даже не посмотрел на доску: что на ней изображено. Ох уж эти мне ценители! Все они у меня вот здесь сидят, – и Семен Иванович постучал себя по затылку. – Есть тут один человек, которого и можно слушать – он дело понимает – и говорить ему – не то, что в стену горох метать. Это – Анемподист Маркеловский – он в чувство приходит. Придет, сядет перед образом и долго смотрит молча, а потом вздохнет и скажет: «хорошо, Семен Иванович, умеешь ублажать душу – великий это в тебе дар». За «Благословение детей» он раз отвалил мне трешницу, а я еще смотрю на него и думаю: восемь гривен с него сорвать или рублевку? Что-то уж очень хвалит. Только хотел заикнуться о рубле, а он из-за сапога и вынул зелененькую: «за это, – говорит, – и денег не жаль». Вот это дело понимает, люблю его! Кто много имеет в себе – много и получает. А вы? Тьфу! Вот что! – и Семен Иваныч с горечью отошел к окну.

– Полно, Сенька, не сердись; молодец ты, радуешь ты мое сердце, – говорил Егор, утешая друга, – все представлено,

как быть должно: и лстец, который лижет раскаленное железо, и блудница, которая корчится на раскаленных углях, – эх ее светло, голубушку!

– Не блуди, поделом: в сладострастии извивалась на земле, забыв свою грешную душу, корчись же теперь от мук, – говорил автор, подойдя к картине, ободренный словами Егора. Немного помолчав, он вздохнул и укоризненно покачал головой, промолвив:

– Егор, а Егор!

– Что?

– Обидел ты меня... От тебя-то я уж большего ждал. Что ж, для себя, что ли, я писал райскую обитель? Что ж ты молчал, Егор?

Тогда только, действительно, все заметили, что их внимание все было устремлено на низ картины, верх же как будто исчез от внимания зрителей, а между тем картина рая занимала добрую половину доски.

– Что ж, и рай у тебя хорошо вышел... Ничего, как следует, – говорил Егор, стараясь заглазить промах.

– Эх, вы, вы!.. Всякая пакость, зло мерзкое, пагуба вам понятнее – видны низкие души! Что ж вы, как свиньи, разве не можете поднять рыло-то кверху? Разве Бог вас не наградил провидением добра, а только дал златоркование? Куда же девали первое, куда закопали навеки?

– Ну, ну, молчи, Сенька; говорят тебе: и рай у тебя хорош.

– Нет, ты погоди, соснова-елова... где у вас чувство

добра? Когда вас в геенне огненной скорпионами, раскаленными жалами драконьими, бичами из раскаленной проволоки проберут, тогда только вы взмолитесь о добре; восплачете, что, живучи, даже не попытались узнать его, а знали суету и зло. Кто из вас опишет качества доброго человека, а злого вы вдоль и поперек знаете; потому-то пройдете мимо доброго; поклонитесь и заговорите со злым, ибо он сродни вам; блудница полюбит только развратного человека, и блудодей ищет развратницу.

– Перестань, Сенюшка, ну, голубчик! Золотая твоя душа, замолчи; обидели мы тебя – забудь обиду! – И с этими словами Егор обнял друга и поцеловал.

Долго натянутые нервы Копысова не выдержали: затрясись всем телом, он зарыдал и повис на доброй и широкой, как стол, груди Егора. Все стали утешать Семена; говорили, что они никак не ожидали от него такого мастерства и притом в такой большой картине, и хвалили рай. Уговоры и участие всех присутствовавших успокоили его; он как бы очнулся и, успокоившись окончательно, стал описывать изображение райской обители.

– Вы смотрите – вот райская благодать: цветы, лазоревые реки, райские птицы на деревьях, свет ослепительный льется от Господа-Саваофа. А посмотрите, как лики праведных умильны, как кроток и любвеобилен взгляд Христов. А хоры ангелов? Разве они не восторгают душу? Не слышно разве, как они поют: «осанна»? Смотрите: вот Пречистая с ясной

улыбкой смотрит на бывшего распятым предвечного Сына; смотрите, сколько любви и надежды в ее взоре, она не сомневается, что будут отпущены грехи тем осужденным, заслуживающим снисхождения, которых она привела под своим покровом. Ты смотри: внизу дым, огонь, вверху ясная и тихая радость. Я и краски подходящие клал там и тут. Внизу – все поганые, а здесь: лазорь, белило серебристое – прообраз душевной чистоты, иерусалимская охра, бакан, крон – все благородные краски. Внизу я клал сажу, жженую кость да красную киноварь с суриком; ты думаешь, это так, спроста, сглупа, ан нет! Сажа откуда? От дыма, а дым темен; он же огненная нечисть, прах огненный. Что теперь сказать о жженой кости? Об этом другая философия. Э, ты ровно ничего не понимаешь, – обратился он к кому-то. – Жженая кость – это, во-первых, в знак того, что грешники будут палимы огнем неугасимым и истлеют, как эта кость: ничего не останется от их смрадного мяса и будут они, как камни. Бьюсь об заклад: хоть сейчас ставь на стол полштоф водки, если я покажу жженую кость и камень черный – не отличишь одно от другого ни за что; а во-вторых, я не говорю уж о том, что жженая кость чертом пахнет, его паленым копытом и нечистой шерстью, и пахнет, я тебе скажу, так мерзко: затыкай нос и беги вон. – Вспоминая этот запах, Семен Иваныч даже сплюнул, так гадок он ему казался.

– От паленого черта или от жженой кости тебя тошнило? – осведомился дьякон.

– Что ж, конечно, от паленого черта.

– Ты разве нюхал?

– Нюхал, и не раз.

Тут все переглянулись и, вспомнив, как Семен Иваныч напивался до чертиков, разразились неистовым смехом. Егор даже присел от душившего его хохота и, держась за живот, катался со смеху, подымая то одну, то другую ногу, как гусь в осенние заморозки. В продолжение всей этой сцены Семен Иваныч, серьезно глядя на всех, стоял молча и только с сожалительным видом покачивал головой, а когда понемногу неистовый смех стал переходить у приятелей в вздохи, чиханья и кашель, он сказал:

– Не мечите, видно, бисера перед свиньями, но я продолжаю. Киноварь и сурик? И в них есть тайный смысл. Киноварь – первый яд: подсыпь в пиво – и сват к утру протянет ноги; да и сурик – поганая краска. Это раз, а кроме того, нет их краснее, а для адского пламени это и надо. Земной пламень бел и горяч, а адский красен и холоден, и горяч вместе. Не погрелся бы ты, Лука, около него, когда городишь в поле в осенние заморозки упавшие прясла огорода против твоих полос.

– А ты разве зябнул около него? – спросил Лука.

– Видно, подлинно, не мечите бисера перед свиньями, и я не стану, – сказал Семен Иваныч и взялся за картуз.

– Ну, не сердись, горячка! Я ведь так, пошутил только, – оправдывался Лука.

– Шутка шутке – рознь. Да я не сержусь, что ж, не мне стыдно, а вам.

– Ну, полно, полно, цыц! Что хорошо, то хорошо! Геенну огненную намалевал важнецкую: сам сатана поджал бы свой длинный хвост и убежал бы со страху в преисподнюю чрез это подполье, – добавил Мальгинов, указывая на дверь в полу, ведущую в церковный подвал.

– Стой! никак ты и себя посадил с ведерной бутылью? – спросил дьякон, рассматривая картину; все последовали его примеру и впрямь увидели автора сидевшим в пламени в самом углу картины, где обыкновенно художник подписывает свою фамилию, там сидел Копысов с ведерной бутылью, за ключавшей пьяное зелье.

– Туда мне и дорога за старые грехи, – подтвердил он на удивление всем. – А что касается горемыки под пазухой – пушай! Не скучно будет сидеть одному: нет-нет да и потяну из горлышка, а как подойдешь и ты, старик, разопьем вместе, вспомянем прошлое... Э, дуй вас горой! все вместе будем.

Отец Михаил много хвалил труд Семена Иваныча и сейчас же велел старосте отсчитать из церковной кружки десять рублей. Тут произошло событие, облетевшее все село. Семен Иваныч, получивши десять рублей, тут же отделил половину и опустил в кружку, на которой было написано: «для сирот». Дело было в воскресенье, и отец Михаил еще не вышел из церкви. Узнав самоотверженный поступок Семена Иваныча, он поцеловал его и сказал: «дающему возместится сто-

рицею». Семен Иваныч прослезился и, отирая слезы, почти шепотом проговорил:

– Умру – помяните за упокой души.

Не хотелось ему и минуточки оставаться после получения денег: тянуло в свою Волму. Твердо он решил не заходить по пути в кабак и только забежал на минутку в лавку, чтобы купить пряников своим ребятам да сушек к чаю. Зашел, купил, а идти обратно привелось мимо дверей кабака; увидел его знакомый мужик Спиридон Зайцев и крикнул:

– Эй, Семен Иваныч! аль минуешь, не зайдешь?

Семен Иваныч постоял, помялся, почесал за ухом, потом, как бы решившись зайти, шагнул шаг по направлению к кабаку, затем остановился в раздумье, взглянул на вывеску над дверями кабака, где красовались соблазнительные слова для всякого пьяницы: «распивочно и навынос», опять задумался и, решительно затем махнув рукой и обращаясь к стоявшему в дверях приятелю, сказал, причем его голос звучал необыкновенно торжественно:

– Замолчи, соблазнитель! Не изрыгай скверну богомерзкими устами, диавол! Теперь я не ваш. Да, другое призвание имею: от земли с ее соблазнами я далек стал – слышите ли вы все, которые тут собрались?

Действительно, услышав голос Семена Иваныча, кабацкие завсегдатаи высыпали на улицу поглядеть, что случилось.

– Да, не пропойца теперь говорит во мне, а здравый ум. Слышите ли вы, садовые головы, что говорит вам Сенька?

Сенька теперь не тот. Довольно! Сенька пьяница, Сенька такой-сякой, а на поверку выходит: Сенька взялся за свое дело – вот что! Довольно! теперь ни единая и сухая рюмка не подойдет к моей глотке!

Заключив свою речь такими решительными словами, Семен Иваныч, не оборачиваясь, пошел туда, где ждали его жена и дети.

Слышно было, что Семен Иваныч, и на самом деле, перестал пить.

Опять вечернее солнышко уходило за вершины Сверчковского леса, но то было солнце печальное, солнце холодных дней осени. Поля стояли голые, деревья желтый лист сбрасывали по ветру, как невеста срывает – обманутая женихом – венчальный наряд, наряд, ставший никому не нужным... В сумерки воет ли холодный ветер по голым полям, звезды ли на черном небе, тучами ли низко нависшими покрыто оно – все равно: чувство уныния веет на душу... Чу, голодные волки завыли по лесным оврагам; храпит конь, почуяв зловещий их вой, и вместе с хозяином, погоняющим быстрее, спешит скорее домой. В эти темные длинные вечера семьи по деревням мирно коротают время за пряжей и работой при свете дымной лучины, сидя на печи или в теплой избе. А настанет день – слышен гулко по лесу стук топора: запасливый хозяин торопится наготовить дров на долгую зиму...

Выпал ясный октябрьский вечер, тихий да теплый. На

церковной паперти опять сидят рядком старые воробьи; тут были: Омеля, старик дьякон, Мальгинов, Лука, Егор – недоставало только Семена Иваныча.

– А что, Лука, убрал в огороде? – спрашивает Егор Николаич.

– Убрал, да не совсем: капуста не вырублена.

– А я так репную яму уже соломой завалил. Картофель нынче уродился на славу, зато капуста подгуляла. Смотри, Лука, зима молчит, молчит, да как накатит – к Казанской жди, пожалуй, снегу; тогда наплачешься с капустой, когда она замерзнет на кочне.

– Ничего, Бог даст, уберусь ко времени.

– Лука, нет ли у тебя писаной бумаги? Ты ведешь канцелярию: черновых метрик там или чего-нибудь, – спросил старик дьякон. – Сегодня замазывал окна, да бумаги не хватило, ну, и оставил. Замажешь вовремя, так дров меньше в заморозки пойдет.

– На что бумага, дьякон? Законопатил хорошенько коноплей, так и дело в шляпе и замазывать не надо. А как мой-то дворец веретенем стряси, так и никакая бумага не поможет: мажь, не мажь, а толку никакого – везде дыры. Пошел сегодня с долотом и мхом, думаю, где надо – заткну. Полез, наставил долото, хлоп по нему обухом – ан, все долото и ускочило в избу через паз. Ну, думаю, здесь надо деревом заделать. В другое место наставил – хлоп! – опять то же; я только свистнул; вижу, ничего не поделаешь; по весне надо новый

терем класть, а эту зиму как-нибудь промерзнем на печи, а летом и в этом хорошо. В мороз перекрывать избу не станешь, а в тепло – и так живет.

– «В дождь не кроют, а в ведро не бежит», известно, ведь твоя поговорка, – добавил Лука.

– Что это: гуси или журавли тянут на полдень? – спросил Мальгинов, глядя вверх.

– Недели две еще простоит тепло: высоко летят, – глубоко-комысленно вставил Омеля.

– Вот закурлыкали, закурлыкали, что твоя флейта!.. – воскхитился Лука.

– Ружьем бы шаркнуть, – заметил Егор.

– Так тебе и долетит...

– Покрепче зарядить – долетит. Эх, Омеля, дайка понюхать: что-то глаза стало заволакивать, – сказал дьякон и потянулся в Омелину табакерку.

– Здорово забрало! Когда молоть? Чхи, чхи!

– Ну, дьякон! испортил погоду: жди, видно, завтра дождя или снега...

– Картофель всю не выкопал, а ты – дождь. А что быть скоро ненастью – так это верно: всю спину разломило да и ноги точно пудовые. Эх, видно, старость-то не радость; придется скоро ноги протянуть; дожждаться бы хоть, когда внучата подрастут.

– Что тебе делается, старому хрену: поперек шире.

– Поживи еще с мое, тогда узнаешь.

Наступило молчание.

– А скучно стало без петуха, – вздохнувши, сказал Лука.

– Да и я замечаю: как не стало у нас Сеньки, компания наша куда не та, – сожалел Егор. – Бывало, затеет он какую-нибудь историю – умора! умел посмешить. А теперь сойдемся, сидим, сидим, то да другое, а все как бы не то, каждое слово из нас как будто кто клещами тащит.

– Пусть ему хорошо икнется, – душа был человек, хоть и пьяница, – водка, проклятая, его сгубила, – чтоб ей пусто было, и когда только она переведется на Руси.

– Доброй души был человек, – вспоминал Егор своего друга. – Раз прихожу к нему, корпит, согнувшись над образом Николая-чудотворца; сидим, калякаем, а у него огарок догорает. Сенька, говорю, пойдём ко мне чай пить, у меня и ночуешь, чем в пустой хоромине одному спать. Не до чаю, говорит, когда жена и дети чуть не голодом сидят; так ведь и не вызвал его к себе.

Наступило грустное молчание. Солнце давно уже скрылось за темный Сверчковский лес, оставив после себя ясную осеннюю зорьку. Быстро надвинулись сумерки; вот только бледный призрак зари остался на темном, усеянном далекими звездами небе... Настала ночь. На церковной паперти было тихо: она была пуста, и дверь давно уже была крепко задвинута изнутри Омелиной рукой.

Облик старой Москвы⁵⁶

История города, которому посчастливилось быть центром жизни страны, в высшей степени поучительна. Как в фокусе, здесь сходятся равнодействующие всех влияний, складывающих национальный облик.

Такой город, как зеркало, отражает развитие страны. С характером этого поступательного движения неразрывно связано и внешнее изменение города: то и другое идет параллельно. Если зодчество, как прямое наследие привычек, вкусов, образа жизни и т. д., накладывает на внешний вид города характерный, свойственный только этому городу отпечаток, то в равной степени зодчество обусловливается и тем необходимым строительным материалом, какой находится под рукой для постройки стен и городских зданий. Если бы центр жизни, передвинувшись на север, благодаря давлению с юга кочевых орд и беспрестанных разорительных усобиц южнорусских князей, остановился где-нибудь на берегах Оки, богатых природным строительным камнем, а не двинулся дальше в дебри лесов, на болотистые берега Москвы-реки, то и внешний вид города был бы другой. Стоит только взглянуть на удивительную технику и красоту кладки и форм остатков древней белокаменной стены Серпухо-

⁵⁶ Печатается по изданию: Москва в творчестве А. М. Васнецова. М.: Московский рабочий, 1986.

ва, чтобы убедиться в справедливости этого заключения. Тогда, конечно, каменное зодчество заявило бы себя с большей энергией, дав формы неожиданные, и, быть может, оставило бы позади деревянное зодчество, с такой виртуозностью и силой выразившееся в лесной московской стороне. Но ужасы ордынских и княжеских погромов гнали дальше на север пульс жизни – на Волгу, Клязьму, Москву, и последняя как географический центр, стоявший вблизи верховьев притоков медленно текущих великих рек российской равнины, став в более выгодные условия перед другими, уже существовавшими городами Суздальской стороны, быстро стала развиваться. Если взглянуть на так называемый Сигизмундов план 1610 года,⁵⁷ где Москва представляет, в сущности, огромную деревню, то невольно поражаешься, перенеся взгляд к 1910 году – на триста ровно лет вперед – к виду современной нам Москвы: такую метаморфозу можно найти разве только в американских городах, вырастающих по щучьему веленью из нескольких лачуг и через несколько десятков лет превращающихся в огромные города. Начавшись в XII веке маленькой ячейкой в виде боярской усадьбы на взлобье холма при впадении реки Неглинной в Москву-реку, Москва-город на Герберштейновском плане⁵⁸ XVI века уже

⁵⁷ *Сигизмундов план 1610 года* – план начала XVII в., составленный западными картографами предположительно на основе русских планов и изданный с посвящением польскому королю Сигизмунду III.

⁵⁸ *Герберштейновский план XVI века* – древнейший план Москвы, опубликованный в 1556 г. в книге «Заметки о московских делах» немецкого дипломата

изображена в виде каменного Кремля с башнями, каменными храмами и дворцом и сплошь покрыта, как внутри Кремля, так и в пригородах, деревянными домами – избами с характерными наружными лестницами, какие мы встречаем и по сие время в деревнях средней и северной России. В начале XVII века на Сигизмундовом плане замечаем уже пригороженной к Кремлю кирпичную стену Китай-города и белокаменную – Царь-Города, или Белого, шедшего по теперешнему кольцу бульваров. Сверх того, эти каменные твердыни опоясывает по современной линии Садовых улиц деревянная стена с башнями искусной работы, заключавшей в себе деревянный город Скородом, он же и Земляной город, так как деревянная стена возвышалась на Земляном валу, рядом с которым был вырыт глубокий ров. За Скородомом, названным так потому, что здесь дома так же быстро строились, как и сгорали, тянулись пригороды: Ямские слободы, Кукуй, Немецкая слобода, Хамовники, деревни и села, непосредственно примыкавшие или на некотором расстоянии расположенные за стеной Земляного города.

Рассматривая Сигизмундов план да и все вообще планы Москвы XVII века, дошедшие до нашего времени (а их довольно много, так как всякий путешественник считал своим долгом зарисовать интересный город, изображая его с птичьего полета), невольно обращаешь внимание на доминиру-

и путешественника Зигмунда Герберштейна (1486–1566), посетившего Москву с посольством в 1517 и 1526 гг.

ющее положение Кремля. Окруженный с трех сторон Белым, Земляным и Китай-городом и с юга – Стрелецкой слободой (Замоскворечье), сплошь деревянными, он высился среди домов с соломенными и тесовыми кровлями, буквально как будто среди большой богатой деревни. Вооружившись лупой, при дальнейшем рассматривании Сигизмундова плана, который, кстати сказать, имеется в Москве в двух экземплярах – в Историческом музее и в Музее С. И. Щукина, можно увидеть столько неожиданных подробностей, говорящих о внутренней жизни города, что не даст того иная книга. Тут и одворицы⁵⁹ с садами и грядками для овощей при них, бревенчатые мостовые, бани с журавцами для подъема воды, уличные решетки в конце улиц, ведущих к Кремлю, с воротами из крепких бревен. При этих решетках жили решеточные сторожа, запиравшие их на ночь и во время пожаров, чтобы преградить наплыв народа и грабителей, расхищавших имущество погорельцев. Продолжая рассматривать древние планы, можно заметить бражные тюрьмы, куда сажали вконец пропившихся, площади с продающимися на них бревнами и целыми срубами домов, как Лубянская и у Трубы, там, где теперь Петровский бульвар; царские сады, полигон в Стрелецкой слободе на болоте с обозначением пушек и т. д. Все это уносит в седую старину и говорит понятным всем временам и народам языком, как изображение давно минувшего.

⁵⁹ *Одворица* – земля вокруг дома, усадьба.

Изрезанная из-за подпочвенных вод массой рек, речек и ручьев, таких, как Яуза, Неглинная, Черторый, Черногрязка и другие, от которых теперь остались только названия урочищ, Москва изобиловала деревянными мостами и мостиками, и если считать их десятками, то в этом не будет большой ошибки.

Эта подробность в топографии старой Москвы давала своеобразный характер ее пейзажу. Все мосты, за исключением ведущих в Кремль, были деревянные на сваях и некоторые довольно большие, как, например, мост через болото на месте современной Театральной площади; начинаясь у Охотного птичьего ряда, он кончался почти у Пушечно-литейного двора и имел длину около 50 сажен. Одни из мостов – горбатые, другие – пологие или наклонные к одному концу; при въездах на них имелись иногда часовни и кресты, так как мост считался местом опасным, в особенности в ночную пору, когда тати и разбойники, хоронившиеся под мостом, неожиданно нападали на прохожих, грабя и убивая их. По словам Таннера⁶⁰ и других путешественников XVII века, на прудах часто всплывали трупы утопленных, а по городским улицам каждое утро подбирали ограбленных и убитых за ночь – жизнь была тревожная. Мост, как неотъемлемая принадлежность пейзажа старой Москвы, по словам некото-

⁶⁰ *Таннер* Бернгард (XVII в.) – чешский путешественник, посетил Москву в составе польского посольства, автор книги «Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678-году».

рых исследователей, в том числе и И.Е. Забелина, мог даже послужить поводом к наименованию города благодаря единственному в крае мосту через большую реку.

Первоначально селение могло называться Мостовой или Мос-т-квой, впоследствии изменившееся в сокращенное Мос-ква. В том нет ничего невероятного, так как единственная сухопутная дорога с запада и непосредственно с юга в северные и северо-восточные суздальские города по необходимости должна была пересечь многоводную тогда реку где-нибудь в среднем ее течении.

Мост изображен уже на самом древнем плане Герберштейна. Около моста сосредоточилась и жизнь. До XVIII века на Москворецкой улице, идущей к мосту, мы видим Мытный двор (таможню). Здесь церкви Меркурия Смоленского и Спаса Смоленского говорят о связи Москвы со Смоленском, а следовательно, и о дороге туда. Здесь же на многих планах обозначена торговая пристань и, по-видимому, амбары для складов товаров, привозимых по реке, что также подтверждает догадку о необходимости сосредоточения жизни именно у моста, послужившего причиной названия осевшего здесь города.

То обстоятельство, что самым замечательным архитектурным памятником XVII века был Большой Каменный мост, или Всехсвятский, говорит уже о том значении, какое имел тогда мост. Называемый современниками восьмым чудом света – до того он поражал тогда москвичей технической

и художественной стороной – этот замечательный памятник русского зодчества был варварски разрушаем в продолжение двух следующих веков со времени его основания. Разрушали его не иноплеменники, а свои же русские люди – циркулярами, предписаниями и донесениями о необходимости разборки этого замечательного памятника из единственного желания перед кем-то выслужиться, а кстати, из камня, полученного при разборке, выстроить себе в одном из переулков уютный домик. Главный мотив искусственного разрушения – непрочность, «грозит опасностью жизни», как сообщалось в донесениях, – сам собою отпал: когда в половине XIX века приступили к окончательной сломке быков и сводов, то не только лом не брал крепкой цементировки камня, но и порох с трудом разрушал устои, следы основания которых мы видим теперь, идя по так называемому по старой памяти Каменному мосту, с торчащими из воды его остатками в виде рядов дубовых свай.

Печальный мартиролог этого памятника великолепно иллюстрирован сохранившимися рисунками. На гравюре Пикарта,⁶¹ представляющей панораму Кремля, современного Петру I, он изображен в полной исправности и прекрасно передает облик этого навеки погибшего памятника русского зодчества. Около половины XVIII века он изображен уже без

⁶¹ *Пикарт* Петр (конец XVII – начало XVIII в.) – гравер, работал в России, автор панорамы Москвы (1707–1708 гг.) и ряда изображений московских монастырей; некоторое время служил в московской Оружейной палате.

двух шатровых башен над шестью проезжими в Замоскворечье воротами, подобных тем, какие украшали Иверские ворота, но еще с основанием шестиворотной башни и галереей на мосту. В половине XIX века мост представляет собой уже только семь массивных арок.

Мосты в жизни старой Москвы имели немаловажное значение. Помимо того, что у большинства из них были водяные мельницы, на них шла бойкая торговля. Так, на только что упомянутом Всехсвятском мосту в каменных лавках торговали красным товаром и пивом. Сюда же, как на самое бойкое проходное место, выводились под стражей так называемые языки – подследственные преступники в кандалах с лицами, завешенными тряпками, с отверстиями для глаз, оговаривавшие прохожих как соучастников. Оговоренных, большею частью несправедливо, схватывали и подвергали пыткам. Этот варварский и жестокий прием тогдашнего кривосудия был уничтожен только в половине XVIII века. На Спасском мосту у Фроловских ворот шла торговля книгами, на Воскресенском, у Воскресенских ворот (Иверских) торговали пряниками, так как неподалеку жили пряничники. Старый каменный мост у Троицких ворот, восстановленный теперь в том виде, какой он имел в XVI веке, также отличался оживлением; это была единственная дорога в Кремль с севера – из Занеглименья.

При дальнейшем рассматривании Сигизмундова плана замечаются характерные подробности обывательских по-

строек – бочковые и кубовые кровли, а также колокольни на столбах, о которых упоминают многие современные путешественники. Эти колокольни по большей части представляли из себя простой столб с крышей наверху и с колоколами под ней, подобно тем столбам, какие мы и теперь видим в усадьбах и на фермах со звонками для созыва рабочих. Одна из таких колоколен изображена у церкви Христофора в Кремле на Ивановской площади; затем на фоне моря деревянных построек выплывают многочисленные деревянные церкви, одноглавые и пятиглавые. На рисунках Мейерберга они приобретают особенно оригинальную форму, отчасти напоминая сохранившиеся до сего времени церкви северного края.

Рассматривая другие планы Москвы – Федора Борисовича Годунова,⁶² Михаила Федоровича, Олеария,⁶³ Матеуса Мериана,⁶⁴ Исаака Массы,⁶⁵ Мейерберга⁶⁶ и другие, мы

⁶² *План... Федора Борисовича Годунова* – план Москвы, напечатанный в Амстердаме в 1597 г.; по преданию, составлен Федором Годуновым.

⁶³ *Олеарий* Адам (1603–1671) – немецкий ученый и путешественник, в составе посольств неоднократно посещал Москву, автор книги «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию» с альбомом рисунков и планом Москвы.

⁶⁴ *Мериан* Матеус (1593–1650) – швейцарский гравер, издатель, его план-чертеж Москвы (1643 г.) в основном повторяет более ранние и является их перерисовкой.

⁶⁵ *Масса* Исаак (1587–1635) – голландский купец, жил в России в 1601–1609, 1612–1634 гг., автор сочинения «Краткое известие о Московии в начале XVII века», к которому был приложен план Москвы 1606 г.

⁶⁶ *Мейерберг* Августин (1622–1688) – австрийский дипломат, посетил Москву в 1661–1662 гг., автор книги «Путешествие в Московию... в 1661 году», альбома

встречаемся с теми же подробностями, как и в Сигизмундовом плане, но с добавлением новых. План Массы характерен обозначением золотых куполов и архитектурных деталей городских стен в Белом и Китай-городе. Годуновский план Кремля, послуживший И. Е. Забелину неисчерпаемым кладезем для изучения Кремля, дает такой же богатый материал для характеристики каменных построек, как Сигизмундов — для деревянных.

При сравнении того и другого плана уместно сделать заключение об их художественных достоинствах. Если Годуновский план благодаря значительно большему масштабу более точен и сделан с вполне правильными приемами топографического искусства, то Сигизмундов обнаруживает в авторе несомненного художника. Это, в сущности, пейзаж, сделанный с птичьего полета, как делались вообще все планы древней Москвы. Часть ее с улицами Никитской, Воздвиженкой, Знаменкой, с переулками и церквями очень характерна в этом отношении, так как художественно достоверно передает деревянные постройки древней Москвы.

В левом углу картины изображены старый Земский приказ, часть Кремлевской стены и Троицкие ворота с мостом через Неглинские пруды и башней Кутафьей, по некоторым данным с подъемным мостом. Затем идет пустое пространство в сто сажен, отделяющее Занеглименье от Кремля для предохранения последнего от пожаров. Видны уличные

решетки при въездах в улицы со стороны Кремля, мостовые, стены Белого города, пространство, отделяющее его от Земляного города, и площадь с церковью, вероятно, у Конюшенного двора, там, где до 1880 года была пересылочная тюрьма и где теперь построен Музей изящных искусств.

При сличении Годуновского и Сигизмундова планов Кремля замечаются некоторые особенности того и другого, свои неточности и совпадения; последние говорят о большей вероятности достоверности изображения. Так, совпадают намеченные улицы, идущие от Никольских ворот Кремля: Никольская, Житная и наперерез им – Троицкая, проходящая от Троицких ворот мимо Троицкого подворья с шатровой церковью Сергия, Цареборисова двора и Чудова монастыря.

На обоих планах на Ивановской площади изображена церковь Христофора и храм Черниговских чудотворцев, но звонница Ивана Великого на Годуновском плане, сходная с современной, воссоздана в том же виде, какой она имела до разрушения в 1812 году, на Сигизмундовом же – одноверхая, с закомарами и кокошниками. Хотя, быть может, тут виноват слишком малый масштаб Сигизмундова плана, где арки с колоколами вследствие этого вышли похожими на закомары. Зато пропорции Ивановской колокольни и рисунок ее взяты вернее. Золотая палата на Годуновском плане изображена схематически и довольно путано; на Сигизмундовом же ясно нарисованы как фасад, так и золотое крыльцо. Вид-

ны на том и другом плане в каменной стене Колымажные ворота, но без башни над ними, построенной позже, вероятно вместе с теремами. «Спас на Бору» очень тщательно нарисован на Годуновском плане и даже с деревом на запад, вероятно, имевшим какое-нибудь историческое значение. Некоторые здания на Сигизмундовом плане совершенно отсутствуют. Так, нет житниц у стены Кремля, начинавшихся у Никольских ворот. Но зато на Запасном дворце изображены очень интересные деревянные терема, построенные Дмитрием Самозванцем, которых, естественно, при Годунове не могло быть. Вид стен Кремля на Годуновском плане, бесспорно, более достоверен; это заключение подтверждается сравнением с рисунками Мейерберга, сделанными с натуры во второй половине XVII века, с некоторыми позднейшими добавлениями в виде, например, надстройки над Фроловскими воротами.

Среди других графических источников, разбросанных по альбомам, оставленным художниками, находившимися при посольствах, прежде всего обращает на себя внимание альбом Мейерберга, пейзажная сторона которого дает несомненные доказательства того, что рисунки деланы с натуры, и те архитектурные мотивы, какими переполнен альбом, вносят ценный вклад в историю изучения деревянного зодчества. Альбом Пальмквиста, шведского инженера, путешествовавшего по России в 1674 году, также дает ценный графический материал. Олеарий уже не так достоверен, и мно-

гие из гравюр о его путешествии по Московии сделаны по воспоминаниям или по рассказам. Правда, рисунки костюмов довольно правдоподобны и как будто взяты с натуры, что весьма удобно было сделать с костюмов, захваченных с собой посольством и рисованных потом в Германии. Искусство деревянного строительства в старой Москве, так высоко стоявшее, по словам путешественников, еще более подтверждается теми памятниками, какие дошли до нашего времени или остались в виде точных рисунков, каков, например, Коломенский дворец или деревянный теремок-кабачок, существовавший в XIX веке между Костромой и Ярославлем, который зарисован в альбоме А. Демидова,⁶⁷ художника, сопровождавшего его в путешествии по России в 1839 году. В 40-х годах с этих рисунков французский художник Andre Durand сделал серию литографий, составившую большой альбом, изданный Демидовым. Самобытность основных форм, разнообразие и оригинальность деталей в этих изображениях дают некоторые понятия о том богатстве деревянного зодчества, какое процветало до XIX века и заглохло впоследствии. Смутное представление о деревянных орнаментах, какими украшали свои дома москвичи, можно получить по некоторым письменным свидетельствам. В Стоглаве в порицание москвичам говорится так: «Над воротами

⁶⁷ Альбом А. Демидова – имеется в виду издание: «Живописное и археологическое путешествие по России, совершенное под руководством Демидова. Рисунки исполнены с натуры и литографированы Андре Дюраном». Париж, 1848 (на франц. языке).

домов христиан поставлены звери и змеи, и неверные храбрые мужи»; это те самые резанные из дерева львы, единороги и сирины, которые и до наших дней можно еще встретить на воротах домов по деревням и старинным захолустным городам. Коломенский дворец, вероятно, обильно украшенный этими «зверями и неверными храбрыми мужами», выражаясь образно, был только зеркалом, отражавшим за восемь верст современную ему Москву; в нем, как в фокусе, сосредоточивались всевозможные архитектурные мотивы крыш, окон, переходов, гупбищ и т. д., какими изобиловала тогдашняя Москва, и упомянутый трактир может служить как бы добавочным архитектурным звеном к Коломенскому дворцу; виртуозность замысла здесь соединена с удивительной ловкостью распорядиться материалом, послушным топору и долоту. Какой бы ценный вклад был сделан в русскую архитектуру, если бы памятники деревянного зодчества старой Москвы не пожирались пламенем несколько раз в столетие! Огонь «растекался рекой», по образному выражению того времени, и эта огненная река сметала и превращала в пепел целые концы, унося вместе с домами дивные образцы узорочья, одежды, всякую «кузнь», иконы, мебель и иные плоды народного труда и творчества. И если бы не сохранившиеся на Севере остатки в виде деревянных церквей и иконостасов, резных расписных фронтонов на избах, резных наличников, ставней, ворот, то казалось бы, что связь с деревянным зодчеством прошлого безвозвратно по-

гибла. Смутные следы архитектурных приемов прошлого, правда, мы видим и теперь. Что такое наши полукаменные дома, как не намек на каменные подклеты и деревянные жилые терема наверху, подобные деревянному терему Василия Ивановича на каменном Ивановском тереме или подобно дому Морозова в Кремле на рисунке Мейерберга? Что такое наши мезонины, чердаки, как не видоизмененные терема и теремки, ясные следы которых можно заметить на Сигизмундовом плане, с тою только разницею, что у нас конек мезонина перпендикулярен фасаду здания, на плане же параллелен, отчего получаются по концам дома два фронтона, один из которых соответствует нижней части дома, другой – терему. В деревнях же и в захолустных городах следы архитектурных мотивов прошлого можно проследить еще больше. Пройдет двадцать, тридцать лет, и на Москве не останется этих следов, напоминающих о деревянном теремном строительстве. Уголки Москвы с мезонинами, крылечками, застекленными галереями, какими мы любимся еще теперь, будут скоро вытеснены шестиэтажными громадами.

Белокаменное зодчество в седой старине Москвы, начатое Иваном Калитой, продолжалось при его преемниках, переходя постепенно при итальянцах в кирпичное, достигшее в XVI и XVII веках высокого совершенства. Повторяя вначале основные формы деревянного зодчества, оно дало, именно благодаря этому обстоятельству, совершенно новые формы. Так, наружные деревянные лестницы на Герберштейновском

плане превратились в красивые, не занимающие места внутри здания, декоративные приделки в виде лестниц на ползучих арках, с шатровыми покрытиями над площадками между маршами лестниц. Этот архитектурный мотив, так широко развитый в старой Москве, теперь, к сожалению, совершенно забыт. Прекрасный образец таких лестниц мы видим в маршах входов Василия Блаженного; а прежде они были и у Грановитой палаты, у приказов, у посольских дворов, как на Ильинке, так и на Маросейке, и у многих боярских хором. Павел Алеппский⁶⁸ во второй половине XVII века, описывая храмы и дома московитов, украшенные рубленными из кирпича орнаментами и изразцами, приходил в восторг от изящества работы и удивлялся искусству, с каким мастера из грубого материала – кирпича вырубали тонкие узоры.

Характер природы, отразившийся в деревянном зодчестве, продолжал влиять на дальнейший ход строительного искусства. Обилие леса дало возможность обжигать массу кирпича и породило своеобразное искусство – ценное, в тесном значении – гончарное, давшее в XVII веке поразительные памятники в виде муравленых печей, фриз и целых церковных глав и создавшее такой удивительный памятник, как Крутицкий теремок, равного которому в этом роде искусства трудно найти не только в России, но и во-

⁶⁸ *Павел Алеппский* (ок. 1627–1669) – патриарший архидиакон, посетил Москву в составе свиты антиохийского патриарха Макария, автор описания путешествия в Россию.

обще в Европе. Занесенное с далекого Востока, из Средней Азии, ценное искусство пришлось по душе натуре северного славянина, склонного к узорочью и краскам, и в начале XVIII века быстро заглохло из-за переноса центра жизни далеко на север, на неприятные болотистые берега Финского залива.

По словам иностранных послов и путешественников, Москва XVII века не уступала по величине Парижу и превышала многие выдающиеся города Европы; население ее достигало 200 тысяч жителей. Но, несмотря на обширную территорию, занимаемую Москвой, ее многолюдство и некоторую городскую организацию (о чем речь будет впереди), это была все-таки огромная деревня, притом же деревня трудовая. Все ее концы – с названиями Кожевники, Сыромятники, Серебряники, Гончары, Оружейники – разве не говорят о чисто народном характере города, разделенного на участки по роду занятий? Производя впечатление огромной деревни, старая, допетровская Москва во многом напоминала ее и внутренними распорядками. Непролазная грязь, болота, хотя и вымощенные по проездам бревнами, представляли для конного и пешего немало затруднений. О санитарном состоянии города можно судить по весьма характерной подробности в одном из документов о размежевании городских угодий. В планах старой Москвы, изданных Археологическим обществом в 1861 году, в одном месте сказано: «От саду до навозной кучи 34 сажени». Если в центре горо-

да в Занеглименье, неподалеку от Кремля, существовал подобный межевой знак, вероятно, почтенного возраста, то на окраинах, в Белом и Земляном городе, их было несравненно больше. О подобных нравах московских писали многие из путешественников – Таннер, Олеарий и другие, но это не дает еще права считать по крайней мере Москву XVII века городом неустроенным. При этом не нужно забывать, что в то время и города Европы не отличались большим благоустройством, и на улицах Парижа в XVII веке была такая же непролазная грязь и валялась падаль.

Несмотря на деревенский облик, древняя Москва имела свое городское управление. Был Земский приказ, и не один, а два – старый и новый. Один стоял на месте теперешнего Исторического музея, а другой – неподалеку от Троицких ворот, в Чертолье. Земский приказ ведал городскими делами. В его распоряжении находились мостовые, пожарное дело, богадельни, или убогие дома, больницы и проч. За мостовыми надзирали так называемые «мостовые головы»; на обязанности их лежало следить за починкой мостовых и уборкой с них грязи на огороды и в сады.

Мостовые были бревенчатые и шли по всем главным улицам. Следы древних мостовых легко можно было заметить при прокладке на улицах водопроводных и канализационных труб лет семь-восемь назад. Они представлялись в виде деревянной настилки на аршин ниже булыжной мостовой; их можно было наблюдать на Мясницкой, Москворецкой,

Тверской и других улицах. На последней мостовая была, по-видимому, из белого камня, о чем можно было заключить по гудам этого материала, вынутого из канализационных траншей. В этом предположении нет ничего невероятного, так как эта улица была самая главная, называлась Царской, и по ней обыкновенно совершались торжественные въезды послов. В самых бойких местах – в Кремле, Китай-городе – поверх бревенчатой мостовой вдоль настилались доски, что устраняло тряску. Продольную настилку можно проследить на Годуновском и на частичных планах Москвы, изданных в 1898 году. Комиссией печатания государственных грамот и договоров. Езда по таким мостовым, по всей вероятности, была несравненно покойнее, чем по современным булыжным. Были извозчики, и путешественники находили езду очень быстрой и недорогой – за каждый конец платилась копейка, причем, проехав на копейку, извозчик останавливался и, если седок хотел ехать дальше, требовал еще копейку.

Существовали убогие дома – богадельни. На обязанности божедомов лежало воспитание подкидышей, а также они должны были подбирать на улицах убитых и залившихся. Были «зяблые больницы» – не то для обмороженных, не то дома для обогрева во время сильных морозов. Была своя городская полиция – земские ярыжки с буквами З и Я на груди. Были «пожарные головы», заведовавшие пожарным делом; а в конце XVII века появились даже пожарные трубы –

машины, по крайней мере, в Кремле. В том же веке в Кремле был устроен и водопровод. «Хитростройными художества возвел (архитектор) воду из Москвы-реки на царский двор ради великого потребления», – как сказано в записях того времени про это знаменательное для москвичей событие. Вода была проведена с Портомойной (Свибловой) башни по свинцовым трубам в Запасной дворец, в висячие сады, в Теремной дворец и, судя по некоторым данным, к Фроловским воротам. Все это говорит в пользу того, что культурные начинания не были чужды и старой, допетровской Москве, а такие учреждения, как Заиконоспасская академия, Печатный двор, Монетный двор, стоявший на Полянке и от которого осталось только название Старомонетного переулка, Пушечно-литейный двор и т. д., заставляют вспомнить более или менее монументальные здания, возвышавшиеся среди деревянных обывательских одвориц и придававшие Москве вид внушительного, культурного и богатого города.

Но что же было главным пульсом жизни этого интересного города? Что спланивало его двухсоттысячное население? Сложившееся мнение, что старая Москва была только вотчиной князя или царя, работавшей на их двор, едва ли справедливо. Целые концы и улицы, названные по роду занятий их обитателей, едва ли могли иметь целью своего производства единственно только снабжение царского или княжеского дома. Для царских потребностей были при Теремах Мастерская и Оружейная палаты, где вырабатывались предме-

ты самого разнообразного характера, а если чего не хватало, то покупалось на стороне. Если Иван Грозный, терзаемый враждой к боярам, основал свой отдельный в Москве город и для прокорма жадной опричнины окружил его улицами и переулками по роду занятий, какие несли опричники при дворе, исполняя обязанности хлебников, скатертников и проч., оставивших после себя память в названиях улиц и переулков целого района, то это не дает права заключить, что и другие концы Москвы – Котельники, Гончары, Кожевники, Сыромятники, Хамовники и проч. – тоже служили исключительно для царских потребностей.

Получая из-за границы и городов русских разные товары, Москва должна же была давать что-нибудь в обмен. А предметы обмена, судя по самым разнообразным родам занятий в многолюдных концах Москвы, были многочисленны и давали образцы высокого искусства, вроде ценного дела или серебряного, породившего своеобразные виды производства, каковы, например, обронные и сканные работы. Всякая «кузнь», куда причислялись и ювелирные изделия, обнаруживала тонкий художественный вкус и умение, судя по церковной утвари, басменным и эмалевым окладам и ризам на иконах. Техника в некоторых производствах стояла не менее высоко. Секрет выделки кож – сафьяна, замши, находившийся в руках московских кожевников, ставил Москву в исключительно благоприятные условия для торговли с иностранцами и русскими городами.

Иконное дело, достигшее в Москве в XVII веке небывалого до того времени подъема в художественном и техническом отношениях, также поставило ее в очень выгодные условия перед другими русскими городами, так как давало обильный и ценный материал для обмена. Такие имена, как Рублев, Ушаков, и образовавшиеся целые иконописные школы (Строгановская, царских писем) говорят о недюжинных успехах этой отрасли художества. Писались целые руководства по иконописи, составлялись всевозможные технические рецепты и советы, вроде того, как готовить золото, краски, грунтовку. Стоит вспомнить известное описание подготовки грунта к стенописи Успенского собора, чтобы убедиться в той серьезности, с какой относились московиты к иконописному делу. Помеченный в Кремле на рисунке Мейерберга иконописный терем говорит уже как бы о начале в Москве художественной школы, через сто с лишком лет возродившейся на берегах Невы в Академии художеств.

Строй художественного и всякого вообще производства был по преимуществу семейно-кустарный. Производство всевозможных узорочий – вышивок, кружев – ютилось по теремам бояр, по монастырям. Всякая «кузнь» и ценное дело производилось тоже по дворам, не развиваясь в широкое заводское и фабричное производство. В этом было большое преимущество, дававшее свободу личному творчеству, развившемуся с таким разнообразием и художественностью в памятниках прикладного искусства, дошедших до наше-

го времени, какими мы теперь любуемся в церквях, музеях и дворцах. Таким образом, трудовой уклад народного города, выразившийся в разделении труда наподобие средневековых цехов, дал неизгладимые следы в продуктах свободного творчества. Этот же чисто народный характер наложил своеобразную печать и на его облик.

Попробуем перенестись воображением на триста – четыреста лет назад и проследить то, что подскажут нам мысль и чувство в воссозданном смутном образе того, что когда-то было. Центр средневекового уклада жизни города сосредоточивался в Кремле. Здесь были главные храмы, жили царь, митрополит и самые богатые и властные мужики – бояре; здесь находились приказы на Ивановской площади, где шли суды и расправы. Окруженный со всех сторон водой и рвами, он имел вид неприступного замка, как его и называли иностранцы. С юга его замыкали река Москва и двойные стены, со стороны Красной площади – глубокий ров, обложенный кирпичом и наполненный водой по подземной трубе из Верхнего Неглиненского пруда, находившегося за Воскресенским мостом, там, где теперь площадь перед зданием бывшей думы; с запада, на месте теперешнего Александровского сада – глубокие Неглиненские Нижние пруды с мостами и мукомольными мельницами при них.

Взглянув на Годуновский план Кремля, еще более убеждаешься в том, какая громадная разница в характере построек между пригородами и собственно городом – Кремлем.

Там дерево, солома, здесь же белокаменные златоверхие храмы, крепкие двойные и тройные стены с высокими башнями, каменные дворцы-терема и даже водопровод. По гравюре Пикарта начала XVIII века можно до некоторой степени представить все богатство и красоту тогдашнего Кремля. Если бы он остался нетронутым даже в том виде, какой имел в начале XVIII века, то это был бы единственный архитектурный памятник средневековья, не уступавший по цельности впечатления острову Сен-Мишель в Бретани. Кремль прежде всего казался буквально битком набитым каменными зданиями. Огромнейший дворец, начинавшийся под горой Запасным дворцом и взбиравшийся на гору грудой теремов со всевозможными надстройками и пристройками, имел не одну тысячу комнат. Соборы, церкви, приказы, частные дома, три башни, находившиеся в царском дворе, занимали юго-западный угол Кремля; это был отдельный, собственно царский кремль – замок. Эти башни: Гербовая – над Колымажными воротами, ведущими на площадь у Спаса «на Бору» перед Теремами; круглая – в Нижнем Набережном саду и третья – над воротами в Конюшенном дворе, с часами. Золото куполов, изразцы, сверкающие яркими цветами, черепичные поливные кровли на башнях, узорчатые золотые кресты, как жар горящие в небе, ряды слюдяных окон в замысловатых переплетах – как все это было оригинально и красиво!

Кремль был продуктом векового народного творчества;

здесь вылилось в осязательную форму все то, что могло создать оно. Складывались про него былины, сказки; он принимал облик сказочного жилища Жар-птицы. Что такое эти архитектурные фантастические мотивы, постоянно встречающиеся на древних иконах московского письма в виде башен, теремов, чудных каких-то фронтонов вроде закомар и кокошников, как не отголоски сказочного современного им Кремля?

Неудивительно после всего сказанного, что Кремль во все времена был центром города, Москва жила им. На Красной площади с утра до вечера толпился праздный и деловой народ, узнавая новости и слушая бирючей, возвещавших царские указы. Отсюда вести разносились по всему городу – то о войне, то о казнях и новых налогах и поборах. Отсюда же, вероятно, волны народной жизни, взбудораженные кознями бояр и насилиями тиранов, ударялись о кремлевские твердыни, порождая смуты, бунты и крамолу. Красная площадь для Москвы была и Великий торг, и то же, что Форум для старого Рима. Здесь стояла трибуна «роста», или, как у вечевиков «степень», – Лобное место. Отсюда до Москворецкой улицы рукой подать, где были калашный и рыбный ряды, или, как называют в провинции, «обжорный ряд». За грош, за два здесь был сыт обыватель. В Китай-городе – кружала и харчевни, погреба в Гостином дворе с фряжскими винами, продаваемыми навынос в глиняных и медных кувшинах и кружках. Тут же брадобреи и стригуны для желающих, прямо на

открытом воздухе занимавшиеся своим ремеслом, отчего за многие годы накопился на улице такой слой человеческих волос, что по нему ходили и ездили как по войлоку; поэтому и название ряда было «вшивый». Здесь же, на крестцах, перекрестках улиц, неожиданно раздавшийся вопль и причитание о покойнике говорили о том, что родственники узнали в выставленном божедوماми покойнике своего сродника... Здесь же зазывали прохожих в кружала и притоны словоохотливые веселые женщины с бирюзовыми колечками во рту. Слышен был плач детей-подкидышей, вынесенных сюда в корзинах все теми же божедوماми, собирающими добровольные приношения на их пропитание... Пройдет толпа скоморохов с сопелями, гудками и домрами... Раздастся оглушительный перезвон колоколов на низкой деревянной колокольне на столбах... Склоняются головы и спины перед проносимой чтимой чудотворной иконой... Разольется захватывающая разгульная песня пропившихся до последней нитки бражников... Гремят цепи выведенных сюда для сбора подаяния колодников... Крик юродивого, песня калик перехожих... Смерть, любовь, рождение, стоны и смех, драма и комедия – все завязалось неразрывным непонятным узлом и живет вместе как проявление своеобразного уклада жизни средневекового народного города. Но вот день клонится к вечеру, пустеют улицы и площади: народ разошелся – кто по домам, кто по церквам к вечерне и всенощной, а кто в бани.

Насколько москвичи любили бани, можно судить по тем

подробностям, с какими они изображены на всех планах старой Москвы: у Олеария, Мейерберга, на Сигизмундовом и др. Они помечены у Пушечно-литейного двора, направо от длинного Охотнорядского моста, на месте современного «Метрополя», где они существовали вплоть до постройки этого дома; Серебрянические – у Яузского моста; гравюра XVIII века, изображающая эти бани, вполне передает вид, какой они имели и в XVII веке. Бани на Москвереке – у Москворецкого моста и у Каменного. Характерная особенность, с какой все они изображены, – это отсутствие крыш. Подобные бани можно встретить теперь по деревням: крыша заменена у них толстым слоем дерна, наваленного на бревенчатую настилку потолка, вероятно, для большей сохранности тепла. Затем все бани помечены с журавцами для подъема воды в банные желоба из Москвы-реки или прудов. Подобные журавцы встречаются и теперь по всей Руси для подъема воды из колодцев. На миниатюре в одном синодике половины XVII века изображен пресвитер в предбаннике с банщиком, снимающим с ноги его сапог; между ними, видимо, идет мирный разговор; на фоне этой жанровой картины над крышами зданий изображен журавец и банщик при нем, поднимающий воду. У бояр, именитых купцов бани, баньки и мыленки стояли по дворам и в садах и были часто липовые, со всеми удобствами и комфортом. В таких банях парились в душистом пару отброшенных на каменицу мяты или зори, которые можно встретить и теперь в провинции растущими

у бань большими кустами.

Но вот вышли последние посетители из общественных бань, отошли давно всенощные. Заскрипели на все лады тяжелые городские по башням ворота, окованные железом, – и в Деревянном городе, и в Белом и Китай-городе, и в Кремле, и у царя на дворе; день кончился. Теперь ни в город никому ни пройти, ни проехать, ни из города: всюду решеточные сторожа, привратники, крепкие засовы и замки, а где и подъемные мосты. Догорают последние огни в слюдяных паюсных брьюшинных⁶⁹ окнах; закрывают ставни, закрепляют оконные заслоны изнутри. Настает ночь – время тревожное, темное, чреватое бедами и напастями. Кто хочет пробраться к сродникам или кто запоздал, засидевшись в гостях, бери фонарь и крепкую охрану с сулицами и кистенями, а то быть на утре неосторожному у божедомов. Выползут из-под мостов, из землянок, с окраин московских темные люди; идут крадучись возле уснувших домов... Лай собак стоит над городом, постукивания в била сторожей и их оклики, да слышно, как шумят мельницы у мостов. Спят Серебряники, не стучат молоты в Кузнецком конце, замолкли Гончары, Хамовники безмолвны и пусты их улицы. Где-то крик о помощи... Вдруг набат, завыли псы... Всполыхнуло зарево над Москвой! Ревет, сзывает всполошный колокол на кремлевской башне, что у Фроловских ворот. Отвечает ему тревож-

⁶⁹ Паюсные, или паючие – похожие на паутину, составленные из небольших кусочков слюды. Брьюшинные – натянутые брьюшиной.

ным криком какая-то маленькая деревянная церковка, ярко освещенная заревом сверху донизу. А тати не дремлют – им пожива. Крепче замкнули решеточные сторожа уличные решетки, участилась дробь колотушек караульщиков: того и гляди пожаром воспользуются грабители и выкрадут казну из амбаров. Так и случилось в 1595 году. Несколько головорезов с какими-нибудь типичными прозвищами вроде Онипко Беспалый да Ондрейко Сухота затеяли ограбить великую казну бояр и купцов, хранившуюся в кладовых под «Василием Блаженным», воспользовавшись для этого темной бурной ночью и пожаром, который они хотели произвести, запалив Москву с четырех сторон. Но замысел был открыт, и они поплатились за него своими буйными головами, сложив их где-нибудь на болоте или «у той ли лужи поганой».

Но вот еле заметный свет утра прокрался на небе. Загудели колокола на «Иване», пошли перезвоны по всей Москве к заутрене и ранней обедне – начался день. Опять заскрипели городские ворота, впуская мужиков из деревень с провизией и запоздалых с вечера приезжих гостей, ночевавших за городом по постоялым дворам и дожидавшихся рассвета. Загремели замки и цепи в Гостином дворе, застучали молоты в Кузнецком конце и в Серебряниках и у Котельников, заскрипели банные журавцы, пошли по площадям блинники, кисельники, сбитенщики, вывалил московский народ на улицы – пошел чредою шумный день.

Город жил чудной, полной страстей жизнью. Будет большой ошибкой считать жизнь старой Москвы скучной, монотонной и неодоухотворенной. Масса народа гудела, как улей, и волновалась подчас бурно и жестоко; стоит только вспомнить народные бунты, чтобы убедиться в этом. Трудовой народ, составлявший главный контингент населения Москвы, имел свои, отсутствующие теперь зрелища и забавы; они вливали в жилы энергию, смелость и бодрость. Торжественные царские выходы, помпезные въезды послов, великолепные крестные ходы вроде Вербного или Крещенского водосвятия, обставленные театрально и красиво. Такие же крестные ходы, хотя и менее торжественные, происходили в продолжение всего года. То крестный ход в Сретенский монастырь, в память избавления Москвы от нашествия Тамерлана, то в память избавления от моровой язвы, от которой, к слову сказать, вымерло больше половины жителей. Периодически повторявшиеся ярмарки также немало способствовали оживлению городской жизни. Грибной торг на льду реки Москвы в первую неделю великого поста, когда москвичи запасались постной провизией на весь пост; Птичий торг на трубе, Вербный – на Красной площади, торг под Новинским, торг под Новодевичьим монастырем новинами и всяким крестьянским рукоделием. Наконец, народные гулянья на масленицу и на пасху – все это было пищей для того, чтобы развлечь и облегчить ход тяжелой трудовой жизни. Тут еще медвежьи и кулачные бои на льду Москвы-реки, есть где

разгуляться удали и потешиться, в особенности когда ударит стенка на стенку и, к примеру сказать, котельники начнут тузить гончаров и серебряников. Затем волнующее зрелище представляли из себя и судебные поединки у «Троицы, в старых полях», в углу у стены Китай-города. А то вдру перекатится по улицам города: «На Москве-реке головы рубят», – стремглав несутся туда толпы москвитян. Так и случилось однажды при Иване III: лечил немчин дочь жившего при дворе одного татарского князя и не вылечил, дочь умерла, и отец бил челом на немчина великому князю, а тот головой выдал немчина татарину, который, недолго думая, свел лекаря на Москву-реку да там у Москворецкого моста и зарезал его. Жизнь стоила дешево. Рубили же головы часто и помногу: рубили на Красной площади, рубили на болоте, рубили «у той ли лужи поганой», т. е. у теперешних Чистых прудов, бывших прежде грязной лужей, и москвичи молча толпами стекались на казнь – одни с гневом и мстостью в сердце, другие – со страхом и рабской покорностью... Мрачный дух средневековья не жалел людей.

Если идти от Москвы-реки к «Василию Блаженному», то следующая за угловой Беклемишевской стрельней будет башня-застенок. Виден ряд окон, узких, как бойницы; они начинаются от Безымянной башни и идут вплоть до застенка. Здесь-то и было место пыток, и проходивший в те давние времена мимо мрачных стен слышал стоны, мольбы и проклятия из этих узких, как бойницы, черных отверстий...

Эта башня была тогда значительно больше; она перекидывалась через ров двумя уступами и оканчивалась уже за рвом так называемой отводной башней; имела справа ворота Константино-Еленинские – по церкви того же названия. Судя по рисунку Мейерберга, через ров, вероятно, был подъемный, или передвижной, мост. Вид башня имела внушительный и мрачный.

Средневековый строй жизни допетровской Москвы сказывался во всем и проявлялся иногда в таких непонятных для нас формах, которые можно понять, разве только переселившись мысленно в то стародавнее время. Взять хоть следующий обычай. Как известно, безвременно погибших от пьянства или насильственной смерти, подобранных на улице, божедомы выносили на крестцы: не опознает ли кто в погибшем своего сродника? Если родственников не находилось, то таких без роду и племени увозили божедомы в так называемые «гноевещища» – общие ямы в обширном сарае – и складывали их рядами, где они и должны были лежать до Троицына дня, дожидаясь погребения. Нетрудно представить, во что превращались сложенные в этих «гноевещищах» трупы во время весеннего тепла. И вот в Троицын день приходили москвичи, приносили рубахи и саваны, разбирали покойников, одевали, клали в гроб и, совершив погребальный обряд, хоронили. Для погребавших это были совершенно чужие люди, может быть, разбойники, убитые во время ночных нападений на темных улицах. Не менее удивитель-

на была и Радуница – день поминовения усопших, приходившийся на весеннее время. Сначала по кладбищам на могилах служили с панихидой: печальное пение, кадильный ладан, колеблющееся красноватое пламя восковых свечей, воткнутых в могилы. Затем на могильных насыпях появлялась разная поминальная снедь, брага, мед, пиво, приходили скоморохи с домрами и сопелями – начиналось веселие: плескание рук, скакание и всякие непотребы, принимавшие особенный разгул, когда на кладбище появлялись веселые женки с бирюзовыми колечками во рту. Древний бог Ярило опять праздновал весеннюю победу над смертью, как в седой старине, и, потрясая снопом и серпом, плясал босыми ногами на могильных курганах, плел венки, играл в горелки, умыкал девиц в лесные чащи. Это был остаток язычества, с которым упорно боролось духовенство.

Своеобразный уклад народной жизни как результат духовного облика москвитов неизбежно должен был отразиться и на искусстве. Целый ряд мастеров «травного дела» в росписях стен, в иконах, в декоративных украшениях теремов говорит уже о серьезности и большой потребности к этого рода украшениям. Вспоминая приземистые, пузатые колонны московского периода в архитектуре, выразительные низкие своды и маленькие, растесанные конусообразно внутрь окна, распалубки, много центровые арки, массивы куполов-луковиц, золотых, черепичных и раскрашенных, и в то же время памятуя легкие гульбища теремов, светлицы,

воздушные переходы с колонками расписных галерей, мы невольно поражаемся многообразию форм в архитектуре и живописи, выражающему настроение народного духа – в основе мятежного, совмещающего в себе нередко самые противоречивые элементы, которые тем не менее живучи и развиваются, несмотря на их, по-видимому, непримиримость и диссонансы.

Н.К.Рерих
1874–1947 гг.⁷⁰

Иконный терем

I

На Москве в государевом Иконном тереме творится пре-хитрое и прекрасное дело. Творится в тереме живописное дело не зря, как-нибудь, а по уставу, по крепкому указу, ведомому самому великому государю царю и государю патриарху. Работаются в тереме планы городов, листы печатные, исполняются нужды денежного двора, расписываются болванцы,⁷¹ трубы, печи, составляют расчеты, но главная работа – честное иконописное дело; ведется оно по разному старинному чину. Всякие иконные обычаи повелись издавна, со времен царя Ивана Васильевича, со Стоглавого собора⁷²

⁷⁰ Все произведения печатаются по изданию: *Рерих Н.* Собрание сочинений. Кн. 1. М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1914.

⁷¹ *Болванцы* – различные деревянные фигурные поделки.

⁷² *Стоглавый собор* – сборник законов, регулирующих и определяющих деятельность русской церкви, принятый в 1551 г. на церковном соборе, в котором

и много древнее еще – от уставов афонских.⁷³

По заведенному порядку создается икона. Первую и главную основу ее положит знаменщик⁷⁴ и назнаменит на липовой или на дубовой доске рисунок. По нему лицевщик напишет лик, а долицевщик – доличное все остальное: ризы и прочие одеяния. Завершит работу мастер травного дела, и припишет он вокруг святых угодников небо, горы, пещеры, деревья; впроскребку наведет он золотые звезды на небо или лучи. Златописцы добрым сусальным золотом обведут венчики и поле иконы. Меньшие мастера: левкащики и терщики готовят левкас, иначе говоря, гипс на клею для покрытия иконной холстины, мочат клей, трут краски и опять же делают все это со многими тайнами, а тайные те наказы старых людей свято хранятся в роде, и только сыну расскажет старик, как по-своему сделать левкас или творить золото, не то даст и грамоту о том деле, но грамота писана какой-нибудь мудреной тарабарщиной.⁷⁵ Подначальные люди готовят доски иконные, выклеивают их, выглаживают хвощом; немало всякого дела в Иконном тереме и меньшему мастеру тер-

участвовали также царь Иван IV и представители Боярской думы. Решения Собора были оформлены в документ, содержащий сто глав, откуда и название сборника.

⁷³ *Уставы афонские* – древнейшие, относящиеся к X–XI вв. правила, регламентирующие различные сферы монастырской жизни и деятельности, созданные в первых православных монастырях, находившихся на горе Афон в Греции.

⁷⁴ *Знаменщик* – мастер-рисовальщик.

⁷⁵ *Тарабарщина* – тайнопись.

щику, немало и дьяку и окольниковому, правящему теремное приказное дело.

Шибко идет работа в тереме. А идет шибко работа за то, что великий царь Всея Руси Алексей Михайлович подарил иконников окружную грамотою,⁷⁶ сам бывал в тереме и часто жалует тщаливых мастеров своею царскою брагою да романею, платьем знатным и всякою прочею милостию. Но не только за царскую ласку идет живописное дело с прилежным старанием, а и потому, что дело это свято, угодно оно богу, прияло честь от самого Христа господя «аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати»,⁷⁷ почтется оно и от святых апостолов и работают живописное дело люди всегда по любви, не по наказу и принуждению.

Утром, на восходе красного солнышка, от Китай-города из Иконной улицы, где живет много иконников, гурьбами, дружно идут на работу мастера, крестятся на маковки храмов кремлевских и берутся за дело. Надевают замазанные в красках да в клею передники, лоб обвяжут ременным либо пеньковым венчиком, чтобы не лезли в глаза масляные

⁷⁶ *Окружная грамота* – грамота, дающая какие-либо милости и привилегии.

⁷⁷ «Аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати» – имеется в виду христианское предание, повествующее о том, что эдесский царь Авгар, страждущий в болезни, обратился к Иисусу Христу с просьбой посетить его и исцелить, на что Иисус послал полотняное полотенце (убрус), которое приложил к лицу и на котором появилось изображение его лица; в традиции иконописи изображение Иисуса Христа на полотенце называется «Нерукотворным (нерукотворенным) образом Спаса»

пряди волос, и творят на ногтях или на доске краски. Кто работает молча, насупясь, кто уныло тянет стихирь,⁷⁸ подходящие под смысл изображения, иной же за работой гугорит, перекидывается ласковым, либо спорным словом с товарищем, но письмо от таких разговоров порухи не терпит, ибо знает свое дело рука; если же приходится сделать тонкую черту или ографить рисунок прилежно, то не только спор замолкает, а и голова помогает локтю и плечу вести линию, сам язык старательствует по губам в том же направлении.

Не божественные только разговоры, а мирские речи ведут иконники и шутки шутят, но шутки хорошие, без скверного слова, без хулы на имя господне и честное художество.

Собрались в тереме разные мастера: и жалованные, и кормовые, и городовые всех трех статей;⁷⁹ на статьи делятся по своему художеству, – иконники первой статьи получают по гривне, мастера второй статьи по 2 алтына по 5 денег, а трехстепенные иконописцы по 2 алтына по 2 деньги. Кроме денег иконникам идет и вино дворянское, и брага, и мед цеженный, а с кормового да с хлебного двора яства и пироги.

Некоторые именитые изографы: Симон Ушаков,⁸⁰ Богдан

⁷⁸ *Стихирь* – церковные песнопения.

⁷⁹ *Жалованные* – пожалованные званием царского иконописца; *кормовые* – получающие плату из казны; *городовые* – приписанные к городу.

⁸⁰ *Ушаков* Симон Федорович (1626–1686) – выдающийся живописец и гравер, теоретик, автор трактата о живописи; его творчество в истории русского искусства было переходным этапом от церковного к светскому.

Салтанов⁸¹ и другие прошли не в терем, а в приказную избу Оружейной палаты – там они будут свидетельствовать писание новоприбывшего из Вологды молодого иконника, и скажут про него изографы: навычен ли он писать иконное изображение добрым, самым лучшим письмом, а коли не навычен, то дьяк объявит неудалому мастеру, что по указу великого государя он с Москвы отпущен и впредь его к иконным делам высылать не велено, а жить ему на Вологде по-прежнему.

II

Промеж работы ведутся разговоры про новую окружную грамоту. Сгорбленный, лысый старик изограф с картофельным носом, важно подняв палец, самодовольно оглядывает мастеров и твердит место грамоты, – видно, крепко оно ему полюбилось:

– «... Тако в нашей царской православной державе икон святых писателие тщаливии и честнии, яко истинние церковницы церковнаго благолепия художницы да почтутся, всем прочиим председание художникам да восприимут и кисть различноцветно употреблена тростию или пером писателем да предравенствуют». Не всякого человека почтит

⁸¹ *Салтанов* Богдан (вторая половина XVII века) – художник, по происхождению армянин, работал в Оружейной палате; известен как талантливый живописец и хороший педагог.

великий государь таково ласковым словом!

– Да так и во вся времена было. Еще Стоглав велит почитать живописателей «паче простых человек».

– А что такое паче? коли перед простым человеком шапку ломаешь, то перед иконником надо две сломать?

– И кто есть простой человек? Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему бог не открыл хитрости живописной.

– Коли не твоего разума дело – не суесловье: всякому ведомо, что есть почитание иконописцев, честных мастеров. Почитаются они и отцами духовными, и воеводами, и боярами, и всеми людьми, – вступился старик, – и похваляется тем, что сам антиохийский патриарх Макарий челом бил государю на присылке икон, вот-де какво русское иконописание, а того не вспомнил старый, что патриарху иначе и негде было бы удобнее докучиться об иконах. Впрочем, это рукоделию московских изографов – не в укор сказано. Говорят и дивуются мастера, как выходец шаховой земли изограф Богдан Салтанов поверстан по московскому дворянскому списку; такому делу, чтобы иконник верстался в дворяне, – еще не бывало примера. О Салтанове голоса разделились: одни подумали, что пожалован он за доброе художество, другие подумали, что за принятие православной веры. От шахового выходца Салтанова заговорили и о прочих всяких иноземцах; вспомнили, как непочтительно отнеслись некоторые из иноземцев к благословию патриарха и как за то патриарх

разгневался и приказал им по одеже быть отличными от русских людей. Одни не прочь и за иноземцев, а другие на них, – зачем-де часто великий государь жалует заморских мастеров лучше, чем своих, а по художеству и свои, часом, не хуже взбодрят.

– Вон-поди, Лопуцкого⁸² мастера хвалили, нахвалили, а он того доучил, что сами ученики его челобитье подали, как мастер их живописному мастерству не учил. И была то не выдумка, а правда, после чего поотнимали у него учеников и отдали Даниле Вухтерсу.⁸³

Особенно нападает на заморских мастеров длинный иконник с ременным венчиком на прямых льняных волосах; по его речи выходит, что нечего иноземцам потворствовать, коли своим жалованья не хватает, и указывает он на Ивашка Соловья, иконника оружейной палаты, отставленного за скорбь⁸⁴ и старость и как скитался он сам-четверт с женишкою и с робятишки между двор, где день, где ночь, и наги, и босы, о чем и челобитье писал Соловей государю и просился хоть в монастырь поступить.

Но длинному возражают, на память приводят, как государь и патриарх входят даже в самые мелкие нужды иконни-

⁸² *Лопуцкий* Станислав (вторая половина XVII в.) – польский художник, работал в Москве, ему принадлежит портрет царя Алексея Михайловича, писанный маслом.

⁸³ *Вухтерс* Даниил (вторая половина XVII в.) – голландский живописец, в 1663–1668 гг. работал в Москве, в Оружейной палате.

⁸⁴ *Скорбь* – здесь: болезнь.

ков, коли до них дело доходит:

– Так-таки и отписал патриарх: Артем побил мужика Панку, от воров боронясь, хотя бы и больше перерезал, от них боронясь, все же малая его вина.

– Что говорить, грех государю, коли об иноземцах паче своих бережение имеет, – и свои государеву пользу блюдут накрепко: Ушаков как отрезал, – боярам сказал, что грановитые палаты вновь писать самым добрым письмом прежнего лучше или против прежнего в такое время малое некогда: приходит время студеное, и стенное письмо будет не крепко и не вечно. И ведь все думали, что переписывать осенью станут, а как Симон-от отрезал, так и отложили.

Ш

Двери Иконного терема висят на тяжелых кованых петлях, лапка петель длинная, идет она во всю ширину двери, прорезная узором. Заскрипели петли – отворилася дверь, пропустила в терем старых изографов и с ними боярина и дьяка. Пришли те именитые люди с испытания. Сего ради дела изографы разodelись в дорогую, жалованную одежду: однорядки с серебряными пуговицами, ферези камчатные с золототкаными завязками, кафтаны куфтерные, охабни зуфные, штаны суконные с разводами, сапоги сафьяновые – так знатно разodelись изографы, так расчесали бороды и намазали волосы, что и не отличишь от боярина.

На испытание вологжанин, крестьянский сын Сергушко Рожков, написал вновь иконного своего художества изображение: на одной дщке образ Всемилоственного Спаса, Пречистыя Богородицы и Иоанна Предтечи. И по свидетельству московских изографов Симона Ушакова с товарищи, Сергушко оказался мастер добрый. Иконники окружают нового товарища, спрашивают, кто у него поручники, потому за новопринятого должны поручиться иконники бывалые, должны поручиться в том, что если Сергушко у государевых иконописных дел быть не учнет или сбежит, или забражничает, и на поручиках пеня государя царя; расспрашивают, откуда Сергушко родом; каково теперешнее художество на Вологде, как живут мастера вологодские, и слушают Сергушкины сказки.

Сергушко сказывает, что Матвей Гурьев иконник обманом ушел из Знаменского монастыря с Вологды и живет на Тотме, Агей Автомаков да Дмитрий Клоков устарели, Сергей Анисимов стемнел,⁸⁵ а которые иконники сверх того есть, и те у государева иконного, и у стенного, и не у каково письма не бывают, потому что стары, и увечны, и писать никакого письма не видят, и разошлись в мир для ради недороды хлебные кормиться Христовым именем, ибо люди они старые, и увечные, и скудные, и должные. Слушают иконники невеселыя вологодские сказки, глядят на старый кафтан Сергушкин; неуместен такой кафтан в светлом тереме, смешны за-

⁸⁵ *Стемнел* – здесь: ослеп.

платы при золототканых окрутах.⁸⁶ Помялись, потупились и опять расспрашивают Сергушку, каким письмом пишут иконы по вологодским селам и заглушным местам, не пишут ли там иконы с небрежением, лишь бы променять темным поселениям невеждам? Хранят ли древние переводы?⁸⁷ – об этом дал государь грозную грамоту, когда дошла до него весть о неискусных живописцах Холуйских.

С окольниковым разговаривает только что вошедший в терем заморский мастер цесарской земли Данило Вухтерс; подошел он к боярину с низкими поклонами, хитро выгибая тонко обутые ноги, и говорит (толмач переводит), а смысл его речи такой, что только, мол, ради пресветлой неизреченной милости царя и многомилостивого и похвального жалованья решился он на трудную поездку в Московию; улаживается Вухтерс с боярином, сколько он будет получать жалованья; порешили: будет получать Вухтерс – денег 20 рублей, ржи 20 четвертей, пшеницы 10, круп грешневых четверть, гороху две чети, солоду 10 четей, овса 10 четей, мяса 10 полоть, вина 10 ведер. Поскулил Вухтерс набавить 5 белужек да 5 осетров – набавили и напишут поручную – будет Вухтерс учить русских мастеров писать мастерством самым мудрым.

Отошел боярин от Вухтерса и теперь решает с дьяком и с жалованными мастерами: откуда способнее вызвать иконников на время росписи Успенского собора, ибо для этой ра-

⁸⁶ *Окруты (новг.)* – праздничные, богато украшенные одежды.

⁸⁷ *Переводы* – образцы, с которых переводят рисунок.

боты не хватит теремных и городских мастеров московских. Степенно приказывает боярин дьяку:

– Изготовь, Артамон, грамоту во Псков, чтобы сыскали по росписи и сверх росписи иконописцев всех, что ни есть: и посадских людей, и боярских, и княжеских, и монастырских, и торговых, и всяких людей, У кого ни буди, только чтобы стенному церковному письму прорухи не было.

Сыскать и вызвать мастеров надо не спроста, надо наблюдсти строгую очередь, иначе будут жалобы, что-де иным иконописцам в дальних волокитах чинятся многие убытки и разоренье, а других вовсе к стенному письму не емлют. Хорошим мастерам везде дело есть; добрыми мастерами всякий дорожит; с великим нехотеньем отпускают их в ненасытную Москву. Лишь бы сохранить иконника, – и воеводы, и даже духовные люди – игумены и архиереи – идут на обман, готовы сообщить в государев терем облыжные сведения, нужды нет, что их уличат в бездельной корысти и шлют к ним самопальных⁸⁸ с грозными указами, а святые отцы и государевы слуги все же покажут добрых мастеров в безвестном отсутствии и укроют их в монастырских кельях – уж такая всюду необходимость в истинствующих иконниках.

⁸⁸ Самопальный – в XVII в. так назывались воины, вооруженные пищалями-самопалами.

IV

– Смилуйся, пресветлый боярин, не дай вконец разориться! – пробирается к боярину ободранный мужичонка и, дойдя, кланяется земно.

– Докучаюсь тебе, боярин, о сынишке моем, иконной дружины ученике. Смилуйся, отец, на парнишку! Вконец изведет его мастер корысти ради, и грозы нет на него, потому и сбежать от него невозможно – больно велика пеня показана. Вот и список с поручной...

Дьяк принимает поручную; молча просматривает ее, сквозь зубы процеживает: «дожив своих рченых лет не сбежать и не покрасть» – и вполголоса читает боярину:

– «...а будет сын его, Ларионов, не дожив урочных лет, от меня пократчи сбежит, взяти мне в том Ларионе по записи за ряду двадцать рублей». Да, пеня не малая проставлена, уж пятнадцать рублей и то большая пеня, а двадцать и того несообразнее. А дело-то в чем? – спрашивает дьяк, недовольный, что судьбище будет при всех, при боярине, и не придется ему, дьяку, распорядиться с челобитчиком по-своему, по-приказному, и не будет ему, дьяку, никакой пользы.

– Бью челом на мастера иконного Терентия Агафонова, – зачастил мужичонка, – что взял парнишку моего в учение, и тому пошел без малого год третий, а живописному письму не учил, только выучил по дереву и по полотнам золотить.

И ученье мастера этого негожее; учит он не в ученика пользу, а в свою; примеры телесные дает неверные, ни ографить, ни знаменить искусно, ничему не учил. А что парнишко напишет добрым письмом по своему разумению, и то мастер альбо похуляет, альбо показывает работою ученика иного, своего племянника, и моему парнишке ни пользы, ни чести не выходит. И на том смилуйся, боярин, и пожалуй взять мне парнишку моего Ларивонку домой без пени! – кланяется мужичонка, а позади его выдвигается тощий человек в темной однорядке и, заложив руку за пазуху, кашлянув, переминаясь, начинает:

– И в учении Стоглавого собора в главе 43 сказано есть: «аще кому не даст бог такового рукоделия, учнет писати худо или не по правильному завещанию жити, а мастер укажет его горазда и во всем достойна суща и показывает написание инаго, а не того, и святитель, обыскав, полагает такового мастера под запрещением правильным, яко да и прочие, страх приимут и не дерзают таковая творити». Сказано есть во Стоглаве, а посему повинен мастер Агафонов, что дружит ко своему племяннику и тем неправое брежение к государеву делу имеет. Племяннику его не открыл бог рукоделия, и коли Агафонов своею нелепою хитростью устроит племянника своего в Тереме, и на том царскому делу поруха...

– А ты что за человек? – перебивает его дьяк.

– Он, значит, свояк мой Филипко; парнишку моего жалко ему. Ен, парнишко-то, добрый, да вот неудача в мастере вы-

шла, прости создатель! А что Агафонов на племяннике на своем душою кривит, – это точно, и племянник-от его живет бездельно, беспутно щапствует,⁸⁹ а парнишко мой за него виноват.

– Челобитье твое большое и хитрое, – нахмуривается боярин (и нахмуривается не тому, чтобы жалел царское дело, а тому, что не скоро придется ему уйти из терема домой). – На народе негоже судиться, идите в Приказную избу; туда позвать и Терентия; он где работает? здесь? – распорядился боярин.

– Терентий не в тереме сейчас пишет, а в пещерах от Красного крыльца.

– Посылайте за ним; пусть не мешкает, бросает работу и бегом идет в Приказ, – уходит боярин, с ним дьяк и челобитчики.

Иконники притихли; знают, что над товарищем стряслось недоброе, но знают и то, что недоброе это заслужено, хотя не только Терентию, а, и некоторым иным мастерам грозит та же гроза за дружество и милость к своим родным.

– Да, – решает Симон Ушаков, а все знают, что Симон зря слова не скажет, – все то корысть, все то щапство, а любви к делу не видно. Продает Терентий хитрость свою живописную, богоданную, только о себе думает: и поделом ему, коли наложат на него прещение, и будет он сидеть без работы. Не завидуй; веди своего ученика честно, не криви душой, не

⁸⁹ Щапствовать – шеголять, жить в роскоши.

укрывай таланта. Недаром не любили молодые Терентия!

Молчат иконники; многие понурили головы, глядят на работу, не поднимают глаз. Думается им: «хорошо говорить Симону, не все такие, как он», а в душе они уже не любят Ушакова, зачем он знатен в художестве, зачем все слушают его, зачем он говорит правдивое слово. Но, слава богу, думают так не все и больше половины искренно кивают головою Симону на добром слове его. Такими мастерами, как Симон, и держится живописное дело. Теперь не так скоро опять загудит говор, не так скоро усмехнется кто-нибудь. В полдень отобедают, отпаужинают,⁹⁰ а там и до конца работы недолго.

В углу старый иконник – борода крупными куделями упала на грудь, нос сухой с горбинкой, глаза глубоко запали в орбитах – протяжно ударяя на «о», поучает молодого:

– ...дали ему святую воду и святые мощи, чтобы, смешав святую воду и святые мощи с красками, написал святую и освященную икону. И он писал сию святую икону и только по субботам да воскресеньям приобщался пищи и с великим радением и бдением в тишине великой совершил ее...

«Что-то Оленка?» – мелькает о человеческом у молодого, а изограф уже угадывает его мысли, еще строже впивается в него своими стальными глазами и твердит внушительно:

– Спаси бог нынешних мастеров! Многие от них пишут таковых же святых угодников, как и они сами: толстобрюхих, толсторожих, и руки и ноги яко стульцы у каждого. И сами

⁹⁰ Паужин – еда между обедом и ужином.

живут не истинно, не помнят, да подобает живописцу быть смиренну, кротку, благоговейну, не празнословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не грабежнику, не убийце, но и паче ж хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасением. А не можешь тако пребыти до конца, то женись по закону и браком сочetaйся и приходи ко отцем духовным и во всем извещайся, и по их наказанию подобает жити в посте и молитвах и воздержании со смиреномудрием, кроме всякого зазора и с превеликим тщанием пиши образ господя; да мнутя люди страстями телесными, ты же, духовно ревнуя ко славе честного художества, подвижайся кистию и словом добрым. Не всякому дает бог писати по образу и подобию, и кому не дает – им вконец от такового дела престати, да не божие имя такового письма похуляется. И аще учнут глаголати: «мы тем живем и питаемся» – и такому их речению не внимати. Не всем человеком иконописцем быти: много бо и различно рукодействия по даровано от бога, им же, человеком, препитатись и живым быти и кроме иконного письма... – поучает мастер.

Закату не осилить слюдяных оконцев. В Тереме темнеет. Расходятся иконники. Не блещут венчики и узоры на ризах. Дрожат темные очертания ликов, и острее сверкают большие белые очи угодников. Сумрак ползет из углов, закутывает серым пологом запасы иконных досок и холстины, смягчит тени станков. Истово и мерно звучит поучение о добром живописном рукоделии.

Творится в Иконном тереме хитрое и красное дело.

По пути из варяг в греки

Плывут полунощные гости.

Светлой полосой тянется пологий берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловатые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями – всполошило их мирную жизнь что-то мало знакомое, невиданное. Новая струя пробивается по стоячей воде, бежит она в вековую славянскую жизнь, пройдет через леса и болота, перекатится широким полем, подымет роды славянские – увидят они редких, незнакомых гостей, подивуются они на их строй боевой, на их заморский обычай.

Длинным рядом идут ладьи; яркая раскраска горит на солнце. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким, стройным носом-драконом. Полосы красные, зеленые, желтые и синие наведены вдоль ладьи. У дракона пасть красная, горло синее, а грива и перья зеленые. На килевом бревне пустого места не видно – все резное: крестики, точки, кружки переплетаются в самый сложный узор. Другие части ладьи тоже резьбой изукрашены; с любовью отделаны все мелочи, изумляешься им теперь в музеях и, тщетно стараясь оторваться от теперешней практической жизни, робко пробуешь воспроизвести их – в большинстве случаев совершен-

но неудачно, потому что, полные кичливого, холодного изучения, мы не даем себе труда постичь дух современной этим предметам искусства эпохи, полюбить ее – славную, полную дикого простора и воли.

Около носа и кормы на ладье щиты привешаны, горят под солнцем. Паруса своей пестротой наводят страх на врагов; на верхней белой кайме нашиты красные круги и разводы; сам парус редко одноцветен – чаще он полосатый: полосы на нем или вдоль или поперек, как придется. Середина ладьи покрыта тоже полосатым наметом, накинут он на мачты, которые держатся перекрещенными брусьями, изрезанными красивым узором, – дождь ли, жара ли, гребцам свободно сидеть под наметом.

На мореходной ладье народу довольно – человек 70; по борту сидит до 30 гребцов. У рулевого весла стоят кто по-сановитей, поважней, сам конунг там стоит. Конунга можно сразу отличить от других: и туры рога на шлеме у него повыше, и бронзовый кабанчик, прикрепленный к гребню на макушке, отделкой получше. Кольчуга конунга видала виды, заржавела она от дождей и от соленой воды, блестят на ней только золотая пряжка-фибула под воротом да толстый браслет на руке. Ручка у топора тоже богаче, чем у прочих дружинников – мореный дуб обвит серебряной пластинкой; на боку большой загнутый рог для питья. Ветер играет красным с проседью усом, кустистые брови насупились над загорелым, бронзовым носом; поперек щеки прошел давний

шрам.

Стихнет ветер – дружно подымутся весла; как одномерно бьют они по воде, несут ладьи по Неве, по Волхову, Ильмену, Ловати, Днепру – в самый Царьград; идут варяги на торг или на службу.

Нева величава и могуча, но исторического настроения в ней куда меньше по сравнению с Волховом. На Неве берега позастроились почти непрерывными, неуклюжими деревушками, затянулись теперь кирпичными и лесопильными заводами, так что слишком трудно перенестись в далекую старину. Немыслимо представить расписные ладьи варяжские, звон мечей, блеск щитов, когда перед вами на берегу торчит какая-нибудь самодовольная дачка, ну точь-в-точь – пошленькая слобожанка, восхищенная своею красотой; когда на солнышке сияют бессмысленные разноцветные шары, исполняющие немаловажное назначение – украсить природу; рдеют охряные фронтоны с какими-то неправдоподобными столбиками и карнизами, претендующими на изящество и стиль, а между тем любой серый сруб – много художественнее их.

За всю дорогу от Петербурга до Шлиссельбурга выдается лишь одно характерное место – старинное Потемкинское имение Островки. Мысок, заросший понурыми, серьезными пихтами, очень хорош; замкоподобная усадьба вполне гармонирует с окружающим пейзажем. Уже ближе к Шлиссельбургу Нева на короткое время как бы выходит из свое-

го цивилизованного состояния и разворачивается в привольную, северную реку – серую, спокойную, в широком размахе, обрамленную темной полосой леса. Впрочем, это мимолетное настроение сейчас же разбивается с приближением к Шлиссельбургу. Какой это печальный город! Какая закоружлая провинция, – даже названия улиц, и те еще не прививаются среди обывателей.

Левее города за крепостью бурой полосой потянулось Ладожское озеро. На рейде заснуло несколько судов. Все как-то неприветливо и холодно, так что с удовольствием перебираешься на громоздкую машину, что повезет по каналу до Новой Ладogi. Накрененная набок, плоскодонная, какой-то овальной формы, с укороченной трубой, она производит впечатление скорей самовара, чем пассажирского парохода, но все ее странные особенности имеют свое назначение. Главное украшение парохода – труба – срезана, потому что через пароход часто приходится перекидывать бечевы барж, идущих по каналу на четырех лохматых лошаденках; глубина канала заставляет отказаться от киля и винта; тенденция к одному боку является вследствие расположения угольных ящиков, а почему их нельзя было распределить равномернее – этого мне не могла объяснить пароходная прислуга.

Затрясая, задрожал пароход, казалось, еще больше накренился набок, и мы тронулись по каналу параллельно Ладожскому озеру с быстротою 6 верст в час. Случайный собе-

седник, знакомый с местными порядками, успокаивает, что, вероятно, придем вовремя, если не сцепимся со встречною баркою или не сядем на мель, – и то и другое бывает нередко.

Через вал канала то и дело выглядывает горизонт Ладожского озера. Среди местных поверий об озере ясно сказывается влияние старины: озеро карает за преступления.

Подобные рассказы сводятся к следующему типу. Позарился мужичок на чужие деньги, убил своего спутника во время пути в Ладогу по льду и столкнул труп на лед. Сам поехал дальше и заснул. Просыпается, – уже ночь; поднялся ветер, снег дочиста сдуло со льда; понесло мужика вместе с лошадью прочь с дороги неведомо куда. Увидал мужик, что дело плохо, потому что при сильном ветре бог весть как далеко занести может и, чего доброго, в полынью попадешь; отпряг он лошадь, вывернул оглобли, заострил концы и пошел по знакомым приметам: пускай и лошадь, и санки, и все пропадает, лишь бы самому от смерти уйти. Крепчает ветер, слепит вьюгой глаза, затупились колья, не цепляются они больше за лед, и мужика понесло по ветру. Среди снежного моря зачернелось что-то, ближе и ближе – прямо на чернизину летит мужик. Смотрит, перед ним убитый товарищ; хочет свернуть в сторону – не слушаются ноги, зацепают за труп, подламывается лед, и убийца вместе с убитым тонут в озере. Интересный осколок новгородских былин! Последняя картинка этого эпизода, когда роковым образом встречаются убийца со своею жертвою, – очень художественна.

По правую сторону парохода низкая болотная местность; среди нее где-то, по словам местного пассажира, притаилась богатая раскольничья деревня, пробраться в которую можно лишь в удобное зимнее время. Небось, в таком уголке сохранилось немало интересного: и песни, и поверья, и окруты старинные, – делается обидно, почему теперь не зима. Мимо тянутся баржи, носы часто разукрашены хитрыми резными коньками, невольно напрашивающимися на параллель с Байёским⁹¹ ковром. С одной грузной беляной струсилась беда, – затонула, широко расплылись массы дров. На берегу примостился ее экипаж, выстроили шалашик, развели огонь, варят рыбку, мирно и спокойно, словно и зимовать здесь собрались.

Серый, однообразный пейзаж тянется вплоть до самой Новой Ладogi. Сравнительно поздно возникшая, она, конечно, не может дать ни художественного, ни исторического материала; за ней впереди чуеться что-то более значительное: в 12-ти верстах от нее историческое гнездо – Старая Ладoga. Скучно дожидаться волховского парохода, – торопясь, на почтовых, скачешь туда по прекрасной шоссированной дороге. Слева местами выглядывает Волхов – берега песчаные, заросли сосной и вереском. Потом дорога возьмет правее и пойдет почти вплоть до самой Старой Ладogi по обычному

⁹¹ *Байёский ковер* – ковер XI в., хранящийся в г. Байё (Франция), вышитый женой Вильгельма Завоевателя Матильдой и изображающий различные военные, государственные и бытовые сцены того времени, является ценным историческим источником.

пологому пейзажу, с лесом на горизонте. Из-за бугра выглянули три кургана – волховские сопки. Большая из них уже раскопана, но со стороны она все же кажется очень высокой. Взираемся на бугор – и перед нами один из лучших русских пейзажей. Широко развернулся серо-бурый Волхов с водоворотами и светлыми хвостами течения посередине; по высоким берегам сторожами стали курганы, и стали не как-нибудь зря, а стройным рядом один красивее другого. Из-за кургана, наполовину скрытая пахотным черным бугром, торчит белая Ивановская церковь с пятью зелеными главами. Подле самой воды – типичная монастырская ограда с белыми башенками по углам. Далее – в беспорядке – серые и желтоватые остовы посада, вперемежку с белыми силуэтами церквей. Далеко блеснула какая-то главка, опять подобие ограды, что-то белеет, а за всем этим густо-зеленый бор – все больше хвоя; через силуэты елей и сосен опять выглядывают вершины курганов. Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение.

Когда вас охватывает настроение, словно при встрече с почтенным старцем, невольно замедляете походку, голос становится тише и, вместе с чувством уважения, вас наполняет какой-то удивительный покой, будто смотрите куда-то далеко, без первого плана.

Поэзия старины, кажется, самая задушевная. Ей основательно противопоставляют поэзию будущего; но почти беспочвенная будущность, несмотря на свою необъятность,

вряд ли может так же сильно настроить кого-нибудь, как поэзия минувшего. Старина, притом старина своя, ближе всего человеку... Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладугу. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем сколько прекрасного и типичного можно вывезти из этого забытого уголка – осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать. (Совершить такую поездку, как видно из приведенных подробностей пути, чрезвычайно просто.)

Мне приходилось встречать художников, пеняющих на судьбу, не посылающую им мотивов.

«Все переписано, – богохульствуют они, – справа ли, слева ли поставлю березку или речку, все выходит старо. Вам, историческим живописцам, хорошо, – у вас угол непочатый, а нам-то каково, современным, и особенно пейзажистам».

Вот бедные! – они не замечают, что кругом все ново бесконечно, только сами-то они, вопреки природе, нороят быть старыми и хотят видеть во всем новом старый шаблон и тем приучают к нему массу публики, извращая непосредственный вкус ее. Точно можно сразу перебрать неисчислимые настроения, разлитые в природе, точно субъективность людей ограничена? Говорят, будто нечего писать, а превосходные мотивы, доступные даже для копииста и протоколиста, остаются втуне, лежат под самым боком нетронутыми.

Да что говорить о скудных художниках, которым не най-

ти мотива!.. я почти уверен, что даже поэту пейзажа будет превосходная тема, если он в тихий вечер, когда по всему небу разбежались узорчатые, причудливые тучи, постоит на плоту, недалеко от Успенского монастыря в Старой Ладоге и поглядит на крепостную церковь, посад, на далекий Никольский монастырь – все это, облитое последним лучом, спокойно отразившееся в засыпающем Волхове. Стоит только обернуться – и перед вами другой мотив, не менее прекрасный. Старый сад Успенского монастыря, стена и угловые башенки прямо уходят в воду, потому что Волхов в разливе. Сквозь уродливые, переплетшиеся ветки сохнувших, высоких деревьев, с черными шапками Грачевых гнезд по вершинам, чувствуется холодноватый силуэт церкви новгородского типа. За нею ровный пахотный берег и далекие сопки, фон – огневая вечерняя заря, тушующая первый план и неясными темными пятнами выдвигающая бесконечный ряд черных фигур, что медленно направляются из монастырских ворот к реке, – то послушницы идут за водою.

Ладожские церкви, такие типичные по внешнему виду, как и большинство церквей Новгородской области, внутри представляют мало интересного. Живопись нова и неудачна, древней утвари не сохранилось. Исключение представляет церковь в крепости, – в ней уцелела древнейшая фресковая живопись. Подле каменной церкви приютилась тоже старинная, крохотная, серая деревянная церковочка, – тип церкви какого-нибудь далекого скита. Вся она перекосилась, главка

упала, и крест прямо воткнул в уцелевший барабан ее. Интересное крылечко провалилось, дверка вросла в землю. Церковка обречена на паденье.

Подле крепости указывают еще на два церковных фундамента, открытых г. Бранденбургом, исследовавшим местные древности. Раскопка Ладоги еще впереди.

Пишем этюды. Как обыкновенно бывает, лучшие места оказываются застроенными и загороженными. Перед хорошим видом на крепостную стену торчит какой-то несуразный сарай; лучший ракурс Ивановской церкви портится избой сторожа. Вечная история! Теперь хотя сами-то памятники начинают охраняться, – на постройки или на починку дорог остерегаются их вывозить, и то, конечно, только в силу приказания, а настанет ли время, когда и у нас выдвинется на сцену неприкосновенность целых исторических пейзажей, когда прилепить отвратительный современный дом вплотную к историческому памятнику станет невозможным, не только в силу строительных и других практических соображений, но и во имя красоты и национального чувства. Когда кто-нибудь поедет по Руси с этою, никому не нужною, смешною целью? – думается, такое время все-таки да будет.

На прощанье взбираемся к вершине кургана и фантазируем сцену тризны. Невдалеке от реки возвышается какой-то «холм», поросший вереском.

«А ведь там, смотри, на бугре когда-нибудь жило стояло: может быть, городок был», – указывает на холм мой товарищ

и затягивает: – «Купался бобер».

Видно, и на него повеяло древним язычеством.

От Старой Ладogi до Дубовика характер берегов и течение реки не изменяются. Берега высокие, на самом откосе торчат курганы. Много портят пейзаж прибрежные плито-ломни. Что-то выйдет из Волховских берегов, если подобная работа и впредь будет производиться так же ревностно? За поворотом исчезли последние признаки Старой Ладogi, и мы радуемся этому, потому что увозим от нее самые приятные воспоминания, пропустив мимо всю ее неприглядную обыденную жизнь, сосредоточившуюся, как заметно уже на второй день пребывания, лишь на прибытии парохода с низа или с верха.

Пароход дальше Дубовика нейдет, – тут начинаются пороги, так что до Гостинопольской пароходной пристани (расстояние около 10 верст) надо проехать в дилижансе. Дилижанс этот представляет из себя не что иное, как остов большого ящика, поставленный ребром, с выбитым дном и крышкою. Мы сели лицом к реке. Лошади рванули и проскакали почти без передышки до пристани. Дорога шла подле самой береговой кручи; несколько раз колесо оказывалось на расстоянии не более четверти от обрыва, так что невольно мы начинали соображать, что, если на какой-нибудь промоине нас выкинет из дилижанса, упадем ли мы сразу в Волхов или несколько времени продержимся за кусты. А Волхов внизу кипел и шипел. Мы скакали мимо самых злых поро-

гов. Несмотря на разлив, давно незапамятный, из воды все же торчали кое-где камни; подле них белела пена, длинным хвостом скатываясь вниз. Сила течения в порогах громадна: в половодье груженная баржа проходит несколько десятков верст в час. Целая толпа мужиков и баб правит ею; рулевого нередко снимают от руля в обмороке – таково сильно нервное и физическое напряжение.

Баржу гонят с гиком и песнями; личность потонула в общем подъеме. Вода бурлит, скрипят борты... Какая богатая картина! Название Гостинополь заставляет задуматься – в нем слышится что-то нетеперешнее. Наверное, здесь был волчок, ибо против течения пройти в Волховских порогах и думать нечего. В Гостинополе же ладьи снова спускались и шли к Днепровскому бассейну. Может быть, до Дубовика шли в старину на мореходных ладьях (слово *дубовик* напрашивается на производство от дуб – лодка), а в Гостинополе сохранились лодки меньшего размера – резные. Впрочем, становиться на точку таких предположений – опасно.

В Гостинополе нагрузились на пароход, что повезет нас до Волховской станции Николаевской дороги, – там опять пересадка. На палубе парохода целое стадо телят: лежат они связанные, жалобно мыча, – иных пассажиров не видно, но удивляться этому нечего, ибо поездки по Руси ведь совсем не приняты, да к тому же нельзя сказать, чтобы и сообщение было хорошо приспособлено; так мы приехали в Гостинополь в 8-м часу вечера, а пароход отходил в 3 1/2 часа утра:

почему не в 5 или не в 4 – неизвестно. Впрочем, отхода его мы не дождались, ибо к тому времени уже спали крепким сном. Проснувшись заутро, товарищ выглянул в окошко.

– Ну, что там? красиво?

– Тундра какая-то! Болота и топь.

Часа через два я выглянул – опять низкое место, которое потянулось вплоть до станции Волхов. Знаменитое Аракчевское Грузино – нечто очень печальное, суровое, опустившееся, ничего общего не имеющее с тою великолепною декорацией, какую нам представляют его современные гравюры. На Волховской станции нас усердно угощали продолжать путь по железной дороге и, наконец, посмотрели с сожалением, как на людей, действующих к явной своей невыгоде; для продолжения водного пути пришлось сидеть на станции от 11 часов утра до 5 утра же, тогда как поезд проходил через полчаса. Оставалось спать и спать, потому что в сером пейзаже, состоявшем из затопленных деревень, было мало интересного и красивого.

– Гуся, что ли, нарисовать на память о великом водном пути, – предложил я, и мы смеялись, вспомнив, как один художник объяснял цель и смысл художественных поездок: «...а то другой едет за тысячи верст и там коровой занимается или курицей самой обыкновенной, точно он дома не мог то же самое сделать с большим успехом и удобством», – говорил он.

Путь от Волховской станции до самого Новгорода ни-

чем особенным не радуется. Аракчеевские казармы, бесконечные пашни – все это благоустроено, но ординарно. Перед Новгородом несколько монастырей самого обыденного вида. Единственно красивое место за весь этот кусок пути – так называемые Горбы с остатками славного соснового бора, сильного и ровного, как щетка. Чем ближе подвигались мы к Нову-городу (местный житель никогда не скажет: Новгороду, а подчеркнет: Нову городу), тем сильней и сильней овладевало нами какое-то разочарование. Разочаровал нас вид Кремля, разочаровали встречные типы, разочаровало общее полное безучастие к историчности этого места. Что подумает иностранец, когда мы, свои люди, усумнились: да полно, господин ли это великий Новгород?

На мосту стояла старица,
На мосту чрез синий Волхов⁹²... —

вспомнил мой спутник, когда мы входили на мост, направляясь в Кремль. Но вместо старицы, на мосту стоял отвратительного вида босяк с кровавой шишкой под глазом. Навстречу попало несколько мужиков – истые «худые мужички-вечники⁹³», за кого кричать, за что – все равно, лишь бы поднесли.

⁹² Цитата из стихотворения поэта-декабриста А. И. Одоевского «Старица-пророчица».

⁹³ Мужички-вечники – мужики-новгородцы, имеющие голос на вече и продающие свой голос.

Софийский собор в лесах; там идет, как известно, капитальный ремонт. Уже давно было слышно, что, по какому-то странному стечению обстоятельств, важная задача расписать этот славнейший и древнейший русский собор миновала руки художников и выпала на долю артели богомазов. На расстоянии как-то все смягчается, многое важное ускользает от внимания в заглазных рассказах, пока не увидишь воочию. Я думаю, и вы, кому придется читать эти строки, не обратите на них никакого внимания; кругом все тихо и смиренно, какое кому дело, что где-то в отжившем городе совершается нечто странное? А между тем, это «нечто странное», если вдуматься, оказывается чрезвычайно знаменательным. На рубеже 20-го века, при возрастающем общем интересе к отечественным древностям, при новых путях религиозной живописи, один из лучших русских памятников старины расписывается иконописцами-богомазами, и притом – как расписывается! Жутко делается, когда лазишь по внутренним лесам храма мимо этих богомазных изображений – глубоко бездарных, сухих, пригодных разве в захолустную церковь сверхштатного городишки, а никак не уместных при соседстве с памятником тысячелетия Руси. Еще обиднее и гаже становится, когда осмотришь внизу превосходную древнюю фреску Константина и Елены и купольные изображения пророков и архангелов, наводящие на мысль: какой высококонфессиональный храм мог бы получиться из Софии под мастерскою кистью, при таких основных базисах, каковы сохранившиеся

остатки древних фресок; как стильно и художественно можно бы было заживить остальные стены! Какой богатый материал, какая возможность поддержать славный памятник и расцветом его, быть может, оживить целый город! – но вдруг все умышленно попирается, производится небольшая экономия... а что впереди? – там хоть потоп. Если не хватает средств, то отчего попросту не заштукатурить стены, оставив лишь остатки древней росписи? Или уже покрыть и старую живопись богомазными изделиями, не заказывать г. Фролову удачные подражания древних мозаик, убрать сохранившиеся, чтобы и сравнения не было, как оно могло быть и как есть на самом деле, – по крайности не было бы полумер. Если изгонять художественность и национальность, то уж гнать их основательно, по всем пунктам, без пощады.

Мне кто-то хотел объяснить, как это печальное событие произошло, говоря, что много было всяких мелких обстоятельств; но, полагаю, для истории будет знаменательно, выясняя развитие русского искусства в конце 19-го века, отметить крупный факт росписи первейшей русской святыни артелью богомазов, без участия пригоднейших к этому делу даровитых художников. Какое отрадное сведение, в особенности для всех причастных к современному искусству! – и перед собою-то стыдно, а еще стыднее перед иностранцами, когда они скажут, и на этот раз вполне заслуженно: уж эти варвары!

Джон Рескин,⁹⁴ услышав о таком деле, наверное бы, писал о нем в траурной рамке.

Новгородская косность простирается до такого предела, что из 10 встречных лишь один мог указать, как пройти к Спасу, что на Нередице, – к древности, которая должна бы быть известна каждому мальчишке, да и была бы известна в европейском городе.

Невелик городской музей Новгородский, содержание его больше случайное, а местонахождение не совсем удачно, ибо для него пришлось погубить одну из кремлевских башен; но это не беда, если бы музей хоть сколько-нибудь интересовал обитателей, а то посетители его почти исключительно приезжие, тогда как среди местных жителей находятся некоторые, вовсе и не подозревающие о существовании городского музея или знакомые с ним лишь понаслышке.

Интересен Знаменский собор, хотя особою древностью он не отличается. Сени и внешняя галерея его, видимо, первоначально были открытые, на арках с грушами, – теперь они заложены, и довольно неблагополучно: напр., внутри сеней новая кладка расписана «под мрамор» малярами, тогда как остальное пространство сплошь покрыто живописью. Можно представить, насколько выиграет общий характер собора, если восстановить эти типичные арки, само же восстановление

⁹⁴ *Рескин* Джон (1819–1900) – английский художник, писатель, теоретик искусства; идеолог художественного течения прерафаэлитов; его сочинения на социальные и художественно-теоретические темы пользовались мировой популярностью, в России было издано в переводе на русский язык собрание его сочинений.

ние не должно обойтись слишком дорого.

Наиболее цельное впечатление из всех новгородских древностей производит церковь Спаса на Нередице. Не буду касаться исторических и иных подробностей этой интересной церкви, сохранившей в сравнительной цельности настенное письмо, – такие подробности можно найти в трудах Макария (опис. Новгор. церк. древн., 1, 798), Прохорова, Н. В. Покровского и в имеющем выйти в ближайшем будущем VI выпуске «Русских Древностей», изд. гр. И. И. Толстым и акад. Н. П. Кондаковым. Основанная в 1197 году князем Ярославом Владимировичем, Спасская церковь по древности, а главное, по сохранности является памятником исключительным, и надо желать, чтобы как можно скорее она была издана полным и достойным для нее образом.

С софийской стороны, из Воскресенской слободы (в которой тоже типичные и древние храмы Фомы-апостола и Иоанна Милостивого), мы перерезали Волхов, бесконечный в своем разливе, – направляясь к Нередице. Дело шло к вечеру, солнце било желтым лучом в белые стены Спаса, одиноко торчащего на бугре, – пониже его лепится несколько избышек, и торчат ивы, кругом же ровный горизонт. Такие одиночные, среди пустой равнины, церкви очень типичны для новгородского пейзажа: то там, то тут, при каждом новом повороте, белеют они. Проехали мы Лядский бугор, где в былое время стоял монастырь, – само же название урочища будто бы производится от божества Ладо.

На горизонте Ильмени выстроился ряд парусов – они стройно удалялись. Чудно и страшно было сознавать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские, Садко – богатого гостя вольные струги, проплывала Новгородская рать на роковую Шелонскую битву...⁹⁵

Ракурс Спаса с берега, пожалуй, еще красивей, нежели его дальний вид. Колокольня несколько позднейшей постройки, но зато сам корабль⁹⁶ очень строен и характерен. Живопись, сплошь покрывающая стены и теряющаяся во мраке купола, полна гармонии, ласкает глаз на редкость приятным сочетанием тонов, облагороженных печатью времени.

Надо торопиться полно и достойно издать этот памятник – он уже требует серьезного ремонта, для которого, как говорят, не хватает средств. На первые нужды необходимо хоть 5000 рублей, – неужели сейчас же не найдется любителя старины, располагающего такой суммой? Есть много богатых людей, не жалеющих своих достатков на добрые дела; ремонт Спаса ведь тоже доброе дело, да еще какое!

Возвращаясь к дому с Шелони, я дожидался поезда в Шимске. Среди многочисленных вокзальных объявлений бросался в глаза изящный плакат Дрезденской художественной выставки, и невольно думалось: что Шимску искусство?

⁹⁵ *Шелонская битва* – битва на реке Шелонь 1471 г. между войсками Новгорода и Московского государства, закончившаяся поражением новгородцев; последствием битвы была потеря Новгородом политической независимости и вхождение его в состав Московского государства.

⁹⁶ *Корабль* – название центральной части здания церкви.

да и будет ли когда оно для Шимска – не пустым далеким звуком?

Сказки

Детская сказка

В очень известном и большом городе жил старый царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. Царевна далеко славилась и лицом и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были и князья, воеводы, и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить; были разные люди. Царевна назначила день, когда могут придти к ней женихи и сказать громко при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене; царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвалились женихи, кто именитым родом за тридевять поколений, кто богатством, но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни; песни его напоминали всем их молодые, лучшие годы, при этом он говорил красиво, и его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был князем, но все женихи обращались с ним, как с равным.

В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату, к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились

лись царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода, за ним слуги несли тяжелую, красную книгу. Князь говорил:

– Царевна, мой род очень знатен. В этой книге вписано более ста поколений... – И князь очень долго читал в своей книге, а под конец сказал: – И в эту книгу впишу жену мою! Будет она ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма знаменитых.

– Царевна, – говорил именитый воевода, – окрест громко и страшно имя мое. Спокойна будет жизнь жене моей и поклонятся ей люди – им грозно имя мое.

– Царевна, – говорил залитый сокровищами заморский торговый гость, – жемчугом засыплю жену мою; пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе.

Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него.

– Что же ты принесешь жене своей? – спросил певца царь.

– Веру в себя, – ответил певец.

Улыбнувшись, переглянулись женихи, изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила:

– Скажи, как понять твою веру в себя?

Певец отвечал:

– Царевна! Ты красива, и много я слышал об уме твоём, но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя. Выходи, царевна, замуж за князя древнего рода и каждый день

читай в его алой книге имя свое и верь в алую книгу! Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового, засыпь палаты свои сверкающим золотом и верь в это золото! В покое спи на золотом ложе и верь в этот покой! Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя! Моего имени нет в алой книге, не могу я засыпать эту палату золотом, и куда иду я – там не читают алой книги и золото там не ценно. И не знаю, куда иду я, и не знаю, где путь мой, и не знаю, куда приду я, и нет мне границ, ибо я верю в себя!..

– Обожди, – прервал певца царь, – но имеешь ли ты право верить в себя?

Певец же ничего не ответил и запел веселую песню; улыбнулся ей царь, радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песнь; и примолкла палата, и на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку; не о властном искусстве говорил он, а о том, как шли в жизнь разные люди, и пришлось им возвращаться назад – и кому было легко, а кому тяжело. И молчали все, и царь голову опустил.

– Я верю в себя, – сказал певец, и никто не смеялся над ним. – Я верю в себя, – продолжал он, – и эта вера ведет меня вперед; и ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли имя мое в алых книгах, но поверю я не золоту и не книге, а лишь самому себе, и с этою верой умру я, и смерть мне будет легка.

– Но ты оторвешься от мира. Люди не простят тебе. Веря

лишь в себя, одиноко пойдешь ты, и холодно будет идти тебе, ибо кто не за нас – тот против нас, – сурово сказал царь.

Но певец не ответил и снова запел песню. Пел он о ярком восходе; пел, как природа верит в себя и как он любит природу и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна, и сказал певец:

– Вижу я – не сочтут за врага меня люди и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней; без песни не будет мира. Меня сочли бы врагом, если бы я уничтожил что-либо, но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, уместивший любовь ко всей природе, не найдет разве в себе любви – к человеку? Возлюбивший природу не отломит без нужды ветки куста, и человека ли сметет он с пути?

И кивнула головой царевна, а царь сказал:

– Не в себя веришь ты, а в песню свою.

Певец же ответил:

– Песня лишь часть меня; если поверю я в песню мою больше, чем в самого себя, тем разрушу я силу мою и не буду спокойно петь мои песни, и не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все я делаю лишь для себя, а живу для людей. Я пою для себя, и пока буду петь для себя, дотоле будут слушать меня. Я верю в себя в песне моей; в песне моей – все для меня, песню же я пою для всех! В песне люблю лишь себя одного, песней же я

всех люблю! Весь для всех, все для меня – все в одной песне. И я верю в себя и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песнью моею живлю всех – так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь. Пусть она верит в себя и верою этой дает счастье многим!

– Хочу веры в себя; хочу идти далеко; хочу с высокой горы смотреть на восход!.. – сказала царевна.

И дивились все.

И шумел за окном ветер, и гнул деревья, и гнал на сухую землю дожденосные тучи – он верил в себя.

Гримр-викинг

Гримр, викинг, сделался очень стар. В прежние годы он был лучшим вождем, и о нем знали даже в дальних странах. Но теперь викинг не выходит уже в море на своем быстром драконе.⁹⁷ Уже десять лет не вынимал он своего меча. На стене висит длинный щит, кожей обитый, и орлиные крылья на шлеме покрыты паутиной и серою пылью.

Гримр был знатный человек. Днем на высоком крыльце сидит викинг, творит правду и суд и мудрым оком смотрит на людские ссоры. А к ночи справляет викинг дружеский праздник. На дубовых столах стоит хорошее убранство. Дымятся яства из гусей, оленей, лебедей и другой разной снеди.

⁹⁷ Дракон – корабль.

Гримр долгое темное время проводит с друзьями. Пришли к нему разные друзья. Пришел из Медвежьей Долины Олав Хаки с двумя сыновьями. Пришел Гаральд из рода Мингов от Мыса Камней. Пришел Эйрик, которого за рыжие волосы называют Красным. Пришли многие храбрые люди и пировали в доме викинга.

Гримр налил в ковш меду и подал его, чтобы все пили и каждый сказал бы свою лучшую волю. Все говорили разное. Богатые желали почета. Бедным хотелось быть богатыми. Те, которые были поглупее, просили жизни сначала, а мудрые заглядывали за рубеж смерти. Молодые хотели отличиться в бою, им было страшно, что жизнь пройдет в тишине, без победы.

Гримр взял ковш самый последний, как и подобает хозяину, и хотел говорить, но задумался и долго смотрел вниз, а волосы белой шапкой легли на его лоб. Потом викинг сказал:

– Мне хочется иметь друга, хоть одного верного друга!

Тогда задвигались вокруг Гримра его гости, так что закрипели столы, все стали наперерыв говорить.

– Гримр, – так говорил Олав, который пришел из Медвежьей Долины, – разве я не был тебе другом? Когда ты спешил спасти жизнь твою в изгнании, кто первый тебе протянул руку и просил короля вернуть тебя? Вспомни о друге!

С другой стороны старался заглянуть в глаза Гримра викинг Гаральд и говорил, а рукою грозил...

– Эй, слушай, Гримр! Когда враги сожгли усадьбу твою и

унесли казну твою, у кого в то время жил ты? Кто с тобою строил новый дом для тебя? Вспомни о друге!

Рядом, как ворон, каркал очень старый Эйрик, прозвищем Красный:

– Гримр! В битве у Полуночной Горы кто держал щит над тобою? Кто вместо тебя принял удар? Вспомни о друге!

– Гримр! Кто спас от врагов жену твою? Вспомни о друге!

– Слушай, Гримр! Кто после несчастного боя при Тюленьем заливе первый пришел к тебе! Вспомни о друге!

– Гримр! Кто не поверил, когда враги на тебя клеветали. Вспомни! Вспомни!

– Гримр, ты сказал неразумное слово! Ты, уже седой и старый, много видал в жизни! Горько слышать, как забыл ты о друзьях, верных тебе даже во времена твоего горя и несчастий.

Гримр тогда встал и так начал:

– Хочу я сказать вам. Помню я все, что вы сделали мне; в этом свидетелями называю богов. Я люблю вас, но теперь вспомнилась мне одна моя очень старинная дума, и я сказал невозможное слово. Вы, товарищи мои, вы друзья в несчастьях моих, и за это я благодарю вас. Но скажу правду: в счастье не было у меня друзей. Не было их и вообще, их на земле не бывает. Я был очень редко счастливым; даже не трудно вспомнить, при каких делах.

Был я счастлив после битвы с датчанами, когда у Лебединого мыса мы потопили сто датских ладей. Громко трубили

рога; все мои дружинники запели священную песню и понесли меня на щите. Я был счастлив. И мне говорили все приятные слова, но сердца друзей молчали.

У меня не было друзей в счастье.

Был я счастлив, когда король позвал меня на охоту. Я убил двенадцать медведей и спас короля, когда лось хотел бодать его. Тогда король поцеловал меня и назвал меня лучшим мужем. Все мне говорили приятное, но не было приятно на сердце друзей.

Я не знаю в счастье друзей.

Ингерду, дочь Минга, все называли самой лучшей девою. Из-за нее бывали поединки, и от них умерло немало людей. А я женою привел ее в дом мой. Меня величали, и мне было хорошо, но слова друзей шли не от сердца.

Не верю, есть ли в счастье друзья.

В Гуле на вече Один⁹⁸ послал мне полезное слово.

Я сказал это слову народу, и меня считали спасителем, но и тут молчали сердца моих друзей.

При счастье никогда не бывает друзей.

Я не помню матери, а жена моя была в живых недолго. Не знаю, были ли они такими друзьями. Один раз мне пришлось увидеть такое. Женщина кормила бледного и бедного ребенка, а рядом сидел другой – здоровый, и ему тоже хотелось поесть. Я спросил женщину, почему она не обращает внимания на здорового ребенка, который был, к тому же, и

⁹⁸ *Один* – в скандинавской мифологии – верховный бог.

пригож. Женщина мне ответила: «Я люблю обоих, но этот больной и несчастный».

Когда несчастье бывает, я, убогий, держусь за друзей. Но при счастье я стою один, как будто на высокой горе. Человек во время счастья бывает очень высоко, а наши сердца открыты только вниз. В моем несчастье вы, товарищи, жили для себя.

Еще скажу я, что мои слова были невозможными, и в счастье нет друга, иначе он не будет человеком.

Все нашли слова викинга Гримра странными, и многие ему не поверили.

Вождь

*Таково предание о Чингиз-хане, вожде Темучине*⁹⁹

Родила Чингиз-хана нелюбимая ханша.

Стал Чингиз-хан немилым сыном отцу.

Отец отослал его в дальнюю вотчину.

Собрал к себе Чингиз других нелюбимых.

Глупо стал жить Чингиз-хан.

Брал оружие и невольниц, выезжал на охоту.

Не давал Чингиз о себе вестей.

⁹⁹ *Чингиз-хан* (Чингисхан), также назывался Тэмуджин, *Темучин* (ок. 1155–1227) – основатель и великий хан Монгольской империи, организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы; в результате его походов, отличавшихся крайней жестокостью, были истреблены целые народы.

Вот будто упился Чингиз кумысом
И побился с друзьями на смертный заклад,
Что никто от него не отстанет!
Тогда сделал стрелку-свистунку Чингиз.
Слугам сказал привести коней.
Конными поехали все его люди.
Начал дело свое Чингиз-хан.

Вот Чингиз выехал в степь,
Подъезжает хан к табунам своим.
Нежданно пускает свистунку Чингиз.
Пускает в лучшего коня десятиверстного.
А конь для татар – сокровище.
Иные убоялись застрелить коня.
Им отрубили головы.

Опять едет в степь Чингиз-хан.
И вдруг пускает свистунку в ханшу свою.
И не все пустили за ним свои стрелы.
Тем, кто убоялся, сейчас сняли головы.
Начали друзья бояться Чингиза,
Но связал он их всех смертным закладом.
Молодец был Чингиз-хан!

Подъезжает Чингиз к табунам отца.
Пускает свистунку в отцовского коня.
Все друзья пустили стрелы туда же.
Так приготовил к делу друзей,

Испытал Чингиз преданных людей.
Не любили, но стали бояться Чингиза.
Такой он был молодец!

Вдруг большое начал Чингиз.
Он поехал к ставке отца своего
И пустил свистунку в отца.
Все друзья Чингиза пустили стрелы туда же.
Убил старого хана целый народ!
Стал Чингиз ханом над Большой Ордой!
Вот молодец был Чингиз-хан.

Сердились на Чингиза Соседние Дома.
Над молодым Соседние Дома возгордились.
Посылают сердитого гонца:
Отдать им все табуны лучших коней,
Отдать им украшенное оружие,
Отдать им все сокровища ханские!
Поклонился Чингиз-хан гонцу.

Созвал Чингиз своих людей на совет,
Стали шуметь советники;
Требуют: «идти войною на Соседний Дом».
Отослал Чингиз таких советников.
Сказал: «нельзя воевать из-за коней»,
И послал все ханам соседним.
Такой был хитрый Чингиз-хан.

Совсем загордились ханы Соседнего Дома.

Требуют: «прислать им всех ханских жен».
Зашумели советники Чингиз-хана,
Жалели жен ханских и грозились войною.
И опять отослал Чингиз советников.
И отправил Соседнему Дому всех своих жен.
Такой был хитрый Чингиз-хан.

Стали безмерно гордиться ханы Соседнего Дома.
Звали людей Чингизовых трусами,
Обидно поносили они ордынцев Большой Орды,
И, в гордости, убрали ханы стражу с границы.
И забавлялись ханы с новыми женами.
И гонялись ханы на чужих конях.
И злоба росла в Большой Орде.

Вдруг ночью встал Чингиз-хан.
Велит всей Орде идти за ним на конях.
Вдруг нападает Чингиз на ханов Соседнего Дома.
Полонил всю их Орду.
Отбирает сокровища, и коней, и оружие.
Отбирает назад всех своих жен,
Многих даже нетронутых.

Славили победу Чингиза советники.
И сказал Чингиз старшему сыну Откаю:
«Сумей сделать людей гордыми.
И гордость их сделает глупыми.
И тогда ты возьмешь их».
Славили хана по всей Большой Орде;

Молодец был Чингиз-хан!

Положил Чингиз Орде вечный устав:
«Завидуящему о жене – отрубить голову,
Говорящему хулу – отрубить голову,
Отнимающему имущество – отрубить голову,
Убившему мирного – отрубить голову,
Ушедшему к врагам – отрубить голову».
Положил Чингиз каждому наказание.

Скоро имя Чингиза везде возвеличилось.
Боялись Чингиза все князья.
Как никогда богатела Большая Орда.
Завели ордынцы себе много жен.
В шелковые одежды оделись.
Стали сладко есть и пить.
Всегда молодец был Чингиз-хан.

Далеко видит Чингиз-хан.
Приказал друзьям: разорвать шелковую ткань
И прикинуться больными от сладкой еды.
Пусть народ по-старому пьет молоко,
Пусть носят одежду из кож,
Чтобы Большая Орда не разнежилась.
У нас молодец был Чингиз-хан!

Всегда готова к бою была Большая Орда,
И Чингиз нежданно водил Орду в степь.
Покорил все степи Таурменские.

Взял все пустыни Монгкульские.
Покорил весь Китай и Тибет.
Овладел землею от Красного моря до Каспия.
Вот был Чингиз-хан-Темучин!

Попленил Ясов, Обезов и Половцев,
Торков, Косогов, Хозаров,
Аланов, Ятвягов разбил и прогнал.
Тридцать народов, тридцать князей
Обложил Чингиз данью и податью.
Громил землю русскую, угрожал кесарю.
Темучин-Чингиз-хан такой молодец был.

Марфа Посадница¹⁰⁰

По Мете, красивой, стоят городища. На Тверской стороне во Млеве был монастырь. Слышно, в нем скрывалась посадница Марфа. В нем жила четырнадцать лет. В нем и кончилась.

Есть могила Марфы во Млеве. Тайно ее там схоронили. Уложили в цветной кафельный склеп. Прятали от врагов. Так считают. Уже сто лет думают так, и склеп не открыт до сих пор.

¹⁰⁰ *Марфа Посадница* (XV в.) – вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, возглавляла ту часть новгородского боярства, которая выступала против присоединения Новгорода к Московскому государству.

Чудеса творятся у могилы Марфы. С разных концов новгородской земли туда идет народ. Со всеми болезнями, со всеми печальями. И помогает Марфа.

Является посадница в черной одежде с белым платком на голове. Во сне является недугующим и посылает на могилу свою. Идут. Молятся. И выздоравливают.

Марфа-заступница! Марфа – помощница всем новгородцам! Лукавым, не исполнившим обещания, Марфа мстит. Насылает печаль еще горшую.

В старую книгу при млевской церкви иереи вписали длинный ряд чудес Марфы. Простодушно вписали вместе с известиями об урожаях, падежах, непогодах.

С Тверской стороны не являются на могилу Марфы. Обаяние ее туда не проходит. К посаднице идут только от новгородских пятин.¹⁰¹ Идут, почему не знают. Служат молебны. Таинственный атавизм ведет новгородцев ко млевской могиле.

Когда речь идет о национализме искусства, вспоминаю этот путь новгородцев. Мы мало различаем чванный пестрый национализм от мистики атавизма. Пустую оболочку – от внутренних нитей. Мешаются часто последовательности, племенная и родовая.

Уже не смеемся, а только не доверяем перевоплощению. С недоумением подбираем «странные» случаи. Иногда страшимся их. Уже не бросаем их в кучу, огулом. То, что чет-

¹⁰¹ *Пятинны* – районы Новгорода.

верть века назад было только смешно, теперь наполняется особым значением.

Новые границы проводятся в искусстве. Пестрый маскарад зипуна и мурمولки далеко отделяется от красот старины в верном их смысле. Привязные бороды остаются на крюках балагана.

Перед истинным знанием отпадут грубые предрассудки. Новые глубины откроются для искусства и знания. Именно атавизм подскажет, как нужно любить то, что прекрасно для всех и всегда. Чарами атавизма открывается нам лучшее из прошлого.

Заплаты бедности, нашивки шутовские нужно суметь снять. Надо суметь открыть в полном виде трогательный облик человеческих душ. Эти образы смутно являются во сне, – веки этих путей наяву трудно открыть.

Время строить сущность земли. Под землю не спрятать того, что нужно народу. Незнаемый никем склеп Новгород помнит. Славит хозяйку. Тайком служит молебен.

Марфа, сильная духом, нам помоги.

Старинный совет

В одной старинной итальянской рукописи, кажется, пятнадцатого столетия, – начальные страницы и все украшения книги были вырваны благородною рукою любителя библиотек, – простодушно рассказывается о том, как пришел уче-

ник к учителю-живописцу Сано-ди Пиетро за советом о своей картине.

Учитель трудился над спешной работой и не мог придти на зов ученика, начавшего самостоятельную картину «Поклонение волхвов» для небольшой сельской церкви Сиеннского округа.

Учитель сказал:

– Мой милый, я дал слово настоятелю Монтефалько не покидать своего дома, пока не закончу заказанное им «Коронавание Пресвятой Девы». Но скажи, в чем сомнения твои. Я боюсь, не слишком ли долго проработал ты у меня, – что теряешься теперь перед своею работой.

– Почтенный учитель, – сказал ученик, – картина моя сложна, и трудно мне сочетать отдельные части ее. Как лучше писать темную оливковую рощу на красноватом утесе вдали. Видны ли там стволы деревьев и насколько отчетлив рисунок листвы?

– Мой милый, пиши так, как нужно тебе.

– Плащ Богородицы полон золотого рисунка. Лучше ли перебить его мелкими складками или навести рисунок в больших плоскостях?

– Сделай его так, как нужно тебе.

– Почтенный учитель, ты слишком занят превосходною работой своей, я лучше помолчу до времени ближайшего отдыха.

– Мой милый, я не думаю отдыхать скоро, а тебе нельзя

терять время, если в картине твоей так много неоконченно-го. Я все слышу и отвечаю тебе, хотя и с некоторым удивлением.

– Головы воинов, сопровождающих царей, многочисленны; найти ли для них общую линию или дать каждую голову и из частей получить абрис толпы?

– Просто так, как тебе нужно.

– Я сделал кусты на дальних полях и полосами струи реки, но захотелось дать их отчетливо, как только иногда видит свежий глаз. Захотелось в воде увидеть волны и челнок на них и даже весло в руках гребца. Но ведь это вдали?

– Нет ничего проще; сделай так, как нужно.

– Учитель, мне делается страшно. Может быть, все-таки скажешь мне, стоит ли короны царей сделать выпуклыми или только для венцов оставить накладное золото?

– Положи золото там, где нужно.

– Мне приходит в мысль, не сделать ли на ягнятах волокна шерсти. Положим, они почти не видны, но вспомни, какие шелковистые, мягкие пряди лежат на ягнятах, так и хочется сделать их тонкою кистью, но в общей картине они почти не видны.

– Делай их так, как нужно.

– Учитель, я не вижу в ответах твоих совета моему делу. Я знаю, что все должно быть так, как нужно, но как нужно – затемнилось у меня сейчас.

– Скажи, ставил ли тебе какие-нибудь условия работы

отец Джиованни?

– Кроме срока, никаких условий. Он сказал: Бенвенуто, напиши хорошее изображение «Поклонение трех волхвов Пресвятому Младенцу», и я заплачу тебе десять дукатов из монастырских сумм. Потом назначил срок работы и размеры доски. Но во время работы являлись мне разные мысли от желания сделать лучшее изображение. И к тебе, учитель, по-прежнему обратился я за добрым советом. Скажи, что же значит «как нужно»?

– Как нужно, значит, все должно быть так, как хорошо.

– Но как же так, как хорошо?

– Несчастный, непонятливый Бенвенуто, о чем мы всегда с тобой говорили? Какое слово часто повторял я тебе? Так, как хорошо, может значить лишь одно – так, как красиво.

– А красиво?

– Бенвенуто, выйди за двери и иди к сапожнику Габаккуку и скажи: возьми меня мять кожи, я не знаю, что такое «красиво». А ко мне не ходи и лучше не трогай работы своей.

После этой истории в рукописи идет сообщение о рецептах варки оливкового масла и об употреблении косточек оливы. Затем еще рассказ о пизанском гражданине Чирилли Кода, погребенном заживо. Но два последних рассказа для нас интереса не представляют.

Лют-Великан

На роге¹⁰² Крикуне под красным бором,
На озере жил Лют-Великан,
Очень сильный, очень большой, только добрый.
Лютый зверье гонял,
Борода у Люта —
На семь концов.
Шапка на Люте —
Во сто песцов.
Кафтан на Люте —
Серых волков.
Топор у Люта —
Красный кремень.
Копье у Люта —
Белый кремень.
Стрелки у Люта черные,
Приворотливые.
Лютовы братаны за озером жили.
На горе-городке избу срубили.
С Крикуна рога братанам кричал,
Перешептывал.
Брату за озеро топор подавал,
Перекидывал.
С братом за озером охотой

¹⁰² *Рог* – мыс, коса, высокий берег.

Ходил;
С братом на озере невод
Тащил;
С братом за озером пиво
Варил;
Смолы курил, огонь добывал,
Костры раздувал, с сестрою гулял,
Ходил в гости за озеро.
Шагнул, да не ладно —
Стал тонуть;
Завяз великан Лют
По пояс,
Плохо пришлось.
Собака скакнула за ним —
Потонула.
Некому братанов поведить.
Не видать никого и на день ходьбы.
Озеро плескает.
Ветер шумит.
Осокою сама смерть идет.
Заглянул великан под облако.
Летит нырь.¹⁰³
Крикнул великан:
«Видишь до воды?»
«Вижу-у», – ответ дает.
«Скажи братанам:
«Тону-у, тону-у!»
Летит нырь далеко.

¹⁰³ *Нырь* – нырок, птица из отряда утиных.

Кличет нырь звонко.
«Тону-у, тону-у!»
Не знает нырь,
Что кричит про беду.
Не беда нырю на озере.
Озеро доброе.
Худо нырю от лесов,
От полей.
Братаны гогочут,
Ныря не слышат.
Лося в трясине загнали.
Пришли братаны,
А Лют утонул.
Сложили могилу длинную,
А для собаки круглую.
Извелась с тоски Лютова сестра
За озером.
Покидали великаны горшки
В озеро.
Схоронили топоры под кореньями.
Бросили жить великаны в нашем
Краю.
Живет нырь на озере
Издавна.
Птица глупая. Птица
Вещая.
Перепутал нырь клики
Великановы.
На вёдро кричит:

«Тону-у, тону-у!» —

Будто тонет, хлопает

Крыльями.

Под ненастью гогочет:

«Го-го, го-го».

Над водою летит, кричит:

«Вижу-у!»

Знает народ Люто озеро,

Знает могилы длинные,

Длинные могилы великановы.

А длина могилам – тридцать сажений.

Помнят великанов плесы озерные.

Знают великанов пеня дубовые.

Великаны снесли камни на могилы.

Как ушли великаны, помнит народ.

Повелось исстари так,

Говорю: было так.

Лаухми Победительница

На востоке от горы Зент-Лхамо в светлом саду живет благая Лаухми, богиня Счастья. В вечной работе она украшает свои семь покрывал успокоения, – это знают все люди. Все они чтут богиню Лаухми.

Боятся все люди сестру ее Сиву Тандаву, богиню разрушения. Она злая и страшная и гибельная.

Но вот идет из-за гор Сива Тандава. Злая пожаловала пря-

мо к жилищу Лаухми. Тихо подошла злая богиня и, усмирив голос свой, позвала Лаухми.

Отложила благая Лаухми свои драгоценные покрывала и пошла на зов. А за нею идут светлые девушки с полными грудями и круглыми бедрами.

Идет Лаухми, открыв тело свое. Глаза у нее очень большие. Волосы очень темные. Запястья на Лаухми золотые. Ожерелье – из жемчуга. Ногти янтарного цвета. Вокруг грудей и плечей, а также на чреве и вниз до ступней разлиты ароматы из особенных трав.

Лаухми и ее девушки были так чисто умыты, как после грозы изваяния храма Абенты.

Все доброе ужаснулось при виде злой Сивы Тандавы. Так ужасна была она даже в смиренном виде своем. Из песьей пасти торчали клыки. Тело было так красно и так бесстыдно обросло волосами, что непристойно было смотреть.

Даже запястья из горячих рубинов не могли украсить Сиву Тандаву; ох, даже думают, что она была и мужчиною.

Злая сказала:

– Слава тебе, Лаухми, добрая, родня моя! Много ты натворила счастья и благоденствия. Даже слишком много прилежно ты наработала. Ты настроила города и башни. Ты украсила золотом храмы. Ты расцветила землю садами. Ты – любящая красоту!

Ты сделала богатых и дающих. Ты сделала бедных, но получающих и тому радующихся. Ты устроила мирную торгов-

лю. Ты устроила между людьми все добрые связи. Ты придумала радостные людям отличия. Ты наполнила души людей приятным сознанием и гордостью. Ты – щедрая!

Девушки твои мягки и сладки. Юноши – крепки и стремительны. Радостно люди творят себе подобных. Забывают люди о разрушении. Слава тебе!

– Спокойно глядишь ты на людские шествия, и мало что осталось делать тебе. Боюсь, без труда и заботы утучнеет тело твое и на нем умрут драгоценные жемчуга. Покроется жиром лицо твое, а прекрасные глаза твои станут коровьими.

Забудут тогда люди принести приятные тебе жертвы. И не найдешь больше для себя отличных работниц. И смешаются все священные узоры твои.

Вот я о тебе озаботилась, Лаухми, родня моя! Я придумала тебе дело. Мы ведь с тобой близки, и тягостно мне долгое разрушение временем. А ну-ка, давай разрушим всё людское строение. Давай разобьем все людские радости. Изгоним все накопленные людьми устройства.

Разорви твои семь покрывал успокоения, и возрадуюсь я и сразу сотворю все дела мои. И ты возгорись потом полная заботы и дела и вновь спрядешь еще лучшие свои покрывала.

Опять с благодарностью примут люди все дары твои. Ты придумашь для людей столько новых забот и маленьких умыслов, что даже самый глупый почувствует себя умным и значительным. Уже вижу радостные слезы людей, тебе принесенные...

Подумай, Лаухми, родня моя! Мысли мои очень полезны тебе и мне, сестре твоей, они радостны!

Очень хитрая Сива Тандава! Только подумайте, что за выдумки пришли в ее голову.

Но Лаухми рукою отвергла злобную выдумку Сивы Тандавы. Тогда опять приступила злая богиня, уже потрясая руками и клыками лязгая.

Все предложения Сивы Тандавы отвергла Лаухми и сказала:

– Не разорву для твоей радости и для горя людей мои покрывала. Тонкою пряжею успокою людской род. Соберу от всех знатных очагов отличных работниц. Вышью на покрывалах новые знаки, самые красивые, самые богатые, самые зачатые. И в этих знаках, в образах лучших животных и птиц пошлю к очагам людей добрые мои зачатия.

Так решила Лаухми. Из светлого сада ушла Сива Тандава ни с чем. Радуйтесь, люди!

Безумствуя, ждет теперь Сива Тандава долгого разрушения временем. В безмерном гневе иногда потрясает она землю, и тогда погибают толпы народов. Но успевает всегда Лаухми набросить свои покрывала покоя, и на телах погибших опять собираются люди. Сходятся в маленьких, торжественных шествиях.

Добрая Лаухми украшает свои покрывала новыми священными знаками.

Замки печали

Идете по замку.

Высокая зала. Длинные отсветы окон. Темные скамьи.

Кресла.

Здесь судили и осуждали.

Еще зала, большая. Камин в величину быка. Колонны резные из дуба.

Здесь собирались. Решались судить.

Длинные переходы. Низкие дверки в железных заплатах.

Высокий порог.

Здесь вели заподозренных.

Комната в одно окно. Посередине столб. На столбе железные кольца и темные знаки.

Здесь пытали огнем.

Высокая башня. Узкие окна. Узкая дверка. Своды.

Здесь смотрели врага.

Помещение для караула. Две старые пушки. Горка ядер.

Пять алебард. Ободок барабана.

Сюда драбанты¹⁰⁴ кого-то тащили убить.

Ступеньки вниз. На колоннах своды. У пола железные кольца.

Здесь были осужденные.

¹⁰⁴ *Драбанты* – в средние века стража, телохранители владетельных особ.

Подвал. Перекладина в своде. Дверка на озеро. Большой плоский камень.

Последняя постель обреченных.

Двор у ворот. Камни в стенах. Камни на мостовой. В середине столб с кольцом.

Кольцо для шеи презренного.

Молельня. Темный, резной хор. Покорные звери на ручках кресел.

Здесь молились перед допросом.

Тесная ниша. Длинное окошко в зало совета. Невидимое око, тайное ухо.

Здесь узнавали врагов.

Исповедальня. Черный дуб. Красная с золотом тафтяная завеса.

Через нее о грехе говорили.

Малая комната. Две ступени к окну. Окно на озеро. Темный дорожный ларец. Ларец графини.

Около него не слышно слова печали.

Не в нем ли остались искры радости или усмешка веселья?

Или и в нем везли горе?

Все, что не говорит о печали, слезы выели из серого замка.

Проходила ли радость по замку?

Были в нем веселые трубы. Было твердое слово чести. Было познание брака.

Все это унесло время.

Долго стоят по вершинам пустые, серые замки.

И время хранит их смысл.

Что оставит время от наших дней? Проникнуть не можем.

Не знаем.

Если бы знали, может быть, убоялись.

Страхи

Стояли дубы. Краснели рудовые сосны. Под ними в заросших буграх тлели старые кости. Желтели, блестели цветы. В овраге зеленела трава. Закатилось солнце.

На поляну вышел журавль и прогорланил:

– Берегись, берегись! – И ушел за опушку.

Наверху зашумел ворон:

– Конец, конец.

Дрозд на осине орал:

– Страшно, страшно.

А иволга просвистела:

– Бедный, бедный.

Высунулся с вершинки скворец, пожалел:

– Пропал хороший, пропал хороший.

И дятел подтвердил:

– Пусть, пусть.

Сорока трещала:

– А пойти рассказать, пойти рассказать.

Даже снегирь пропищал:

– Плохо, плохо.

И все это было. С земли, с деревьев и с неба свистели, трещали, шипели.

А у Дивьего Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик поселился. Сидел старик и ловил птиц ловушками хитрыми. И учил птиц большими трудами каждую одному слову.

Посылал неведомый старик птиц по лесу, каждую со своим словом. И бледнели путники и робели, услышав страшные птичьи слова.

А старик улыбался. И шел старик лесом, ходил к реке, ходил на травяные полянки. Слушал старик птиц и не боялся их слов.

Только он один знал, что они ничего другого не знают и сказать не умеют.

Клады

– От Красной Пожни пойдешь на зимний восход, будет тебе могилка-бугор. От бугра на левую руку иди до Ржавого ручья, а по ручью до серого камня. На камне конский след стесан. Как камень минуешь, так и иди до малой мшаги, а туда пять стволов золота Литвою опущено.

В Лосином бору, на просеке, сосна рогатая не рублена. Оставлена неспроста. На сосне зарубки. От зарубок ступай прямиком через моховое болото. За болотом будет каменистое место, а два камня будут больше других. Стань промеж

них в середину и отсчитай на весенний закат сорок шагов. Там золота бочонок схоронен еще при Грозном царе.

Или еще лучше. На Пересне от Княжего Броду иди на весенний закат. А пройдя три сотни шагов, оберни в полгруды да иди тридцать шагов вправо. А будет тут ров старый, а за рвом пневое дерево, и тут клад положен большой. Золотые крестовики и всякий золотой снаряд, и положен клад в татарское разорение.

Тоже хороший клад. На Городище церковь, за нею старое кладбище. Среди могил курганчик. Под ним, говорят, старый ход под землю, и ведет ход в пещерку, а в ней богатства большие. И на этот клад запись в Софийском соборе положена, и владыка новгородский раз в год дает читать ее пришлым людям.

Самое трудное скажу. Этот клад хоронен со смертным зарокон. Коли сумеешь обойти, коли противу страхов пойдешь, – твое счастье.

За Великою Гривой в Червонный ключ опущено разбойными людьми много золота; плитою закрыто, и вода спущена. Коли сумеешь воду от земли отвести да успеешь плиту откопать, – твое счастье большое.

Много кладов везде захоронено. Говорю – не болтаю. Дедами еще положены верные записи.

Намедни чинился у меня важный человек. Он говорил, а я услышал:

«В подземной Руси, – сказал, – много добра схоронено.

Русь берегите».

Сановитый был человек.

Про всякого человека клад захоронен. Только надо уметь клады брать. Неверному человеку клад не дастся. Пьяному клад не взять. Со скоромными мыслями к кладу не приступай. Клад себе цену знает. Не подумай испортить клад. Клады жалеть надо. Хоронили клады не с глупым словом, а с молитвою либо с заклятием.

А пойдешь клад брать, иди смирно. Зря не болтай. На людях не гуляй. Свою думу думай. Будут тебе страхи, а ты страхов не бойся. Покажется что, а ты не заглядывайся. Криков не слушай. Иди себе бережно, не оступайся, потому брать клад – великое дело.

Над кладом работай быстро. Не оглядывайся, а пуще всего не отдыхай. Коли захочешь голос показать, пой тропарь богородичный. Никаких товарищей для кладов никогда себе не бери.

А, на счастье, возьмешь клад, – никому про него не болтай. Никак не докажи клад людям сразу. Глаз людской тяжелой, клад от людей отвык, – иначе опять в землю уйдет. И самому тебе не достанется, и другому его уж труднее взять. Много кладов сами люди попортили, по своему безобразию.

– А где же твой клад, кузнец? Отчего ты свой клад не взял?

– И про меня клад схоронен. Сам знаю, когда за кладом пойду.

Больше о кладах ничего не сказал черный кузнец.

Города пустынные

Мир¹⁰⁵ пишется, как ветхий муж.
Повинны человеки устремлением.
Устремлением возрастают помыслы.
Помысел породил желание.
Желание подвигло веление.
Здание человеческое устремлениями сотрясается.
Не бойся, древний муж!
Радость и печаль – как река.
Волны преходят омывающие.

Возвеселился царь:

– Моя земля велика. Мои леса крепки. Мои реки полны.
Мои горы ценны. Мой народ весел. Красива жена моя.

Возвеселилась царица:

– Много у нас лесов и полей. Много у нас певчих птиц.
Много у нас цветочных трав.

Вошел в палату ветхий муж. Пришлый человек. Царю и царице поклон дал. Сел в утомлении.

Царь спросил:

– Чего устал, ветхий? Видно, долго шел в странствии?

Воспечалился ветхий муж:

– Земля твоя велика. Крепки леса твои. Полны реки твои.

¹⁰⁵ Здесь слово «мир» употреблено в значении «вселенная».

Горы твои непроходны. В странствии едва не погиб. И не мог дойти до града, где нашел бы покой. Мало, царь, у тебя городов. Нам, ветхим, любо градское строение. Любы стены надежные. Любы башни зрящие и врата, велению послушные. Мало, царь, у тебя городов. Крепче окружились стенами владыки соседних стран.

Воспечалился царь:

– Мало у меня городов. Мало у меня надежды стенной. Мало башен имею. Мало врат, чтобы вместить весь народ.

Восплакал царь:

– Муж ветхий! Летами мудрый! Научи заростить городами всю мою землю великую. Как вместить в стены весь народ?

Возвеселился ветхий муж:

– Будут, царь, у тебя города. Вместишь в стены весь народ. За две земли от тебя живет великанский царь. Дай ему плату великую. Принесут тебе великаны от царя индийского городов видимо-невидимо. Принесут со стенами, с вратами и с башнями. Не жалея наградить царя великанского. Дай ему плату великую. Хотя бы просил царицу, жену твою.

Встал и ушел ветхий. Точно его, прохожего, и не было.

Послал царь в землю великанскую просьбу, доuku великую. Засмеялся смехом великанский мохнатый царь. Послал народ свой к царю индийскому своровать города со стенами, вратами и башнями. Взял плату великанский мохнатый царь немалую. Взял гору ценную. Взял реку полную. Взял целый

крепкий лес. Взял в придачу царицу, жену царя. Все ему было обещано. Все ему было отписано.

Воспечалилась царица:

– Ой, возьмет меня мохнатый царь! Ой, в угоду странному мужу, ветхому! Ой, закроют весь народ вратами крепкими. Ой, потопчут городами все мои травы цветочные. А закроют башнями весь надзвездный мир, помогите, мои травы цветочные, – ведомы вам тайны подземные. Ой, несут великаны города индийские, со стенами, вратами и башнями.

Жалобу травы услышали. Закивали цветными макушками. Подняли думу подземную. Пошла под землю дума великая. Думою море вспенилось. Думою леса закачались. Думою горы нарушились, мелким камнем осыпались. Думою земля наморщилась. Пошло небо морщинкою.

Добежала дума до пустынных песков. Возмутила дума пески свободные. Встали пески валами, перевалами. Встали пески против народа великанского.

Своровали великаны города индийские, со стенами, вратами и башнями. Повытряхивали из закуток индийский народ. Поклали города на плечи. Шибко назад пошли. Пошли заслужить плату великую своему мохнатому царю.

Подошли великаны к пустынным пескам. Сгрудились пустынные пески. Поднялись пески темными вихрями. Закрыли пески солнце красное. Залегли пески по поднебесью. Как напали пески на великанский народ.

Налезли пески в пасти широкие. Засыпали пески уши

мохнатые. Залили пески глаза великановы. Одолели пески великанский народ. Покидали великаны города в пустынные пески. Еле сами ушли без глаз, без ушей.

Схоронили пески пустынные города индийские. Схоронили со стенами, воротами и башнями. Видят люди города и до наших дней. А кто принес города в пустынные пески, то простому люду не ведомо.

Распустились травы цветочные пуще прежнего.

Поняла царица от цветочных трав, что пропали города индийские. И запела царица песню такую веселую. Честным людям на услышание, Спасу на прославление.

Услыхал песню царь, возрадовался ликованием. И смеялся царь несчастью великанскому. И смеялся царь городам индийским, скрытым теперь в пустынных песках. Перестал царь жалеть о чужих городах.

Осталась у царя река полная. Осталась гора ценная. Остался у царя весь крепкий лес. Остались у царя травы цветочные да птицы певчие. Остался у царя весь народ. Осталась царица красивая. Осталась песня веселая.

Возвеселился царь.

Ветхий муж к ним не скоро дойдет.

Граница царства

В Индии было.

Родился у царя сын. Все сильные волшебницы, как знаете,

принесли царевичу свои лучшие дары.

Самая добрая волшебница сказала заклятие:

– Не увидит царевич границ своего царства.

Все думали, что предсказано царство, границами безмерное.

Но вырос царевич славным и мудрым, а царство его не увеличилось.

Стал царствовать царевич, но не водил войско отодвинуть соседей.

Когда же хотел он осмотреть границу владений, всякий раз туман покрывал граничные горы.

В волнах облачных устилались новые дали. Клубились облака высокими градами.

Всякий раз тогда возвращался царь, силою полный, в земных делах мудрый решением.

Вот три ненавистника старые зашептали:

– Мы устрашаемся. Наш царь полон странною силою. У царя нечеловеческий разум. Может быть, течению земных сил этот разум противен. Не должен быть человек выше человеческого.

Мы премудростью отличенные, мы знаем пределы. Мы знаем очарования.

Прекратим волшебные чары. Пусть увидит царь границу свою. Пусть поникнет разум его. И ограничится мудрость его в хороших пределах. Пусть будет он с нами.

Три ненавистника, три старые повели царя на высокую го-

ру. Только перед вечером достигли вершины, и там все трое сказали заклятие. Заклятие о том, как прекратить силу:

– Бог пределов человеческих!

Ты измеряешь ум. Ты наполняешь реку разума земным течением.

На черепахе, драконе, змее поплыву. Свое узнаю.

На единороге, барсе, слоне поплыву. Свое узнаю.

На листе дерева, на листе травы, на цветке лотоса поплыву. Свое узнаю.

Ты откроешь мой берег! Ты укажешь ограничение!

Каждый знает, и ты знаешь! Никто больше. Ты больше.

Чарыними.

Как сказали заклятие ненавистники, так сразу алою цепью загорелись вершины граничных гор.

Отвратили лицо ненавистники. Поклонились.

– Вот, царь, граница твоя.

Но летела уже от богини доброго земного странствия лучшая из волшебниц.

Не успел царь взглянуть, как над вершинами воздвигся нежданный пурпуровый град, за ним устлалась туманом еще невиданная земля.

Полетело над градом огневое воинство. Заиграли знаки самые премудрые.

– Не вижу границы моей, – сказал царь.

Возвратился царь духом возвеличенный. Он наполнил землю свои решениями самыми мудрыми.

Е. В. Честняков
1874–1961 гг.¹⁰⁶

Чудесное яблоко **Сказка¹⁰⁷**

Жили-были дедушко да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят, – парнёков и девонек.

Пошел дедушко в лес дрова рубить и видит: стоит старая-старая яблоня, а на ней большущее яблоко.

«Мне не унести», – подумал дедушко. Яблоко росло не совсем высоко, – дедку по плечи, – а сучок, на котором оно выросло, был очень толст. Упирается дедушко обеими руками в яблоко, хочет покачнуть и плечами старается приподнять хоть немножко: нет, – тяжело...

– Ха-ха! – ровно что в лесу засмеялось.

– Мне не унести, – говорит сам себе дедушко, – лучше и

¹⁰⁶ Все произведения печатаются по изданию: *Честняков Ефим. Чудесное яблоко. Иванушко. Сергиушко.* СПб.: изд-во «Медвежонок», 1914. (Факсимильное воспроизведение в кн.: Ефим Честняков. Новые открытия советских реставраторов. М.: Советский художник, 1985.)

¹⁰⁷ Во всех трех сказках сохранен говор крестьян Костромской губ., уроженцем которой они созданы.

не отшибать: пожалуй, на земле и мыши огложут или другие какие зверьки. Домой пойду, запрягу лошадь да и приеду сюда за яблоком. А созрело хорошо, – гляди, какое румяное, особенно с полуденной стороны.

И ходит кругом, любитесь, осматривает.

– Ха-ха-ха! – опять захохотало в лесу.

– Да что это? ровно кто засмеялся, и давеча послышалось мне, – говорит дедушко. Глядит: стоит старая дупластая осина, а в дупле сидит птица сова, и глаза круглые светятся.

– Не ты ли это подшучиваешь? – спрашивает старичок.

– Ха-ха! – засмеялась сова.

А тетерев на березе:

– Кво-кво, не унести тебе яблока.

– Я на лошади приеду, – говорит дедушко.

– И на лошади не увезти, – говорит тетерев.

А дедушко:

– На вот, али на паре приезжать мне?

– Хоть на тройке, на четверке; сколь хочешь запрягай лошадей – не увезти тебе яблока... кво-кво...

– Али уж такое тяжелое?

– А так... кво-кво... впрягайтесь сами все, до-выгреба, сколь вас найдется в избе.

– Ха-ха! – засмеялась сова.

Дедушко не поверил, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал и домашним – разбрыкают-де все раньше времени, соберется народ. Приехал и подъезжает близко под яб-

лоню, чтобы яблоко упало прямо в ондрец.¹⁰⁸ Привязал лошадь, взял ядреную дубину отшибать яблоко и ходит, любит, со всех сторон рассматривает: уж больно румяно да красиво, жаль потревожить... И захотелось дедушку потрогать его рукой. И только прикоснулся лишь пальцем, – яблоко упало прямо в ондрец. «Созрело, видно, свалилось чуть не само», – думает дедушко. Отвязал лошадь и нукает: не трогает. Сам подсобляет, и лошадь старается – ни с места ондрец.

– Ха-ха-ха! – засмеялось в дупле.

– Я тебе говорил, – квохчет тетерев.

– В самом деле, на лошади не увезти, – сказал себе дедушко, – лошадь неплохая, ест сено хорошее, ставь тут хошь колоколо, – увезла бы не хуже пары... здесь дело не в том.

Закрыв яблоко ветками на ондрец, чтобы не так приметно было, ежели бы кому случилось мимо итти, выпряг лошадь, сел верхом и поехал без ондрца домой. Приехал и говорит старухе да сыну с женой:

– Пойдемте со мной в лес, нашел диковину, сами увидите.

Пришли и не могут тронуть, как ни стараются.

– Ха-ха-ха! – засмеялось в дупле...

– Я говорил, все-де до-выгреба, – квохчет тетерев.

– Мы и то все пришли, дома только ребята остались.

– Нужно и их... кво-кво...

И пошла баба в деревню, привела всех ребят – парнёков

¹⁰⁸ Так называют телегу в Костромской губ. (Примеч. автора.)

и девонек. И только нянька с самым маленьким дома осталась... Все запряглись и стараются... Но ондрец не идет.

– Ха-ха! – сова засмеялась.

А тетерев квохчет:

– Кто дома остался?

– Да маленький с нянькой там.

– Нужно и их.

Ушли за теми. И нянька пришла в лес, на руках держит маленького. Сама наваливается на ондрец и свободной рукой помогает везти, и маленький ручонками прикасается. Все подсобляют, – и поехал ондрец...

– Ха-ха-ха, – засмеялось в дупле...

А тетерев на березе:

– Кво-кво...

Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядит.

– Кто вам дал? – спрашивают.

– Бог дал, – отвечает дедушко.

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое. «И мне, – просят, – и мне!» Дедушко дает всем. Вся деревня наелись, похваливают: такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и ихние ребята – парнёки и девоньки... Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня.

Иванушко

Сказка

Вышел Иванушко на крылечко красной весной. Сияет солнышко... травки зеленеют, цветочки цветут, пташки поют. И слышит: «Кирлы-мурлы, кирлы-мурлы...» – высоко в небесах летят веревки гусей-лебедей.

– Гуси-лебеди! Спуститесь на землю к нашей избушке... унесите меня, куда желаю.

Услыхали гуси-лебеди; ниже и ниже, ближе и ближе подлетают к Иванову дому... и опустились у самого крыльца.

– Ка-ка-ке... садись к нам на спину... куда тебе надо?

– Да охота побывать, где вы живете...

– Садись, унесем.

Сел Иванушко на гусей-лебедей, и полетели...

Выше и выше... Прощай, деревня!.. все дальше и из виду вон пропала. Летят высоко, а внизу видно деревни, поля, горки-пригорки, речки-ручьи и река широкая в зеленых берегах. Идут плоты по реке, гребни скрипят, огоньки горят, плотовики меж собой перекликаются. И сидят у шалашек девицы да бабы, песенки распевают. И видят гусей-лебедей, а не знают, что гуси-лебеди несут парнёка: далеко – не различить, ровно точка какая темнеет; и не догадуются, что такое, незнакомчи.

Дальше и дальше летят. Лес пошел гуще: елки да сосны,

березы, осины, деревья разные. Пролетели волок большой. Опять видит Иванушко избы с дворами... житницы, овины и бани, всякие лачуги, мякинницы, соломенники, погребушки... и церкви. Народ ходит. Малые ребята указывают пальцами на гусей-лебедей. А они тут летели не совсем высоко. И увидали люди Иванушка:

– Ай, ай!.. глядите-ка...

А гуси-лебеди скорехонько пронеслись над деревней, уже над лесом летят; и дальше все лес, кажется, и конца ему нет.

Долго так над лесами летели...

– Скоро ли ваши-то дома? – спрашивает Иванушко.

– Скоро... вон за этим перелеском большое озеро... там мы и живем...

Прилетели на озеро, – и видимо-невидимо плавают всякой водяной птицы: лебеди, утки, гуси, гагары:

– Ка-ка-ка... ке-ке... вот какого гостя к нам принесли...

И посадили парнёка на зеленый бережок, на сухие кочки...

Там ягодки растут – князенички,¹⁰⁹ морошинки да клюковки... И там гнезда гусей-лебедей и всяких птиц водяных.

Сидит Иванушко на хорёчке да ест ягодки-князенички... Его окружили мамушки-нянюшки птицыны, ягодками кормят, всяко забавляют, в красивых шапочках, шляпках, платочках... Мительки¹¹⁰ летают, коростели керкают, кулич-

¹⁰⁹ Князеницей называют в Костромской губ. ежевику. (Примеч. автора.)

¹¹⁰ Мители – мотыльки, бабочки. (Примеч. автора.)

ки куликают... чайки кричат, соловейки поют. Ходят и летают пташки разряженные... в разных сарафанах, рубашках: в беленьких, сереньких, пестреньких, красненьких, синеньких, голубеньких, желтеньких, аленьких, зелененьких – всяких разноцветных... Походят и побегают, постоят и посидят и полетают... В тени и на солнышке... по земельке гуляют... На озере плавают... ныряют в воде, и на крыльях летают...

Играет Иванушко с ребятами-лебедятами да с девицами-лебедицами, гуляет по садам и цветочкам, в ягодках разных...

Забыл и про дом... А когда вспомнил – и говорит:

– Хорошо мне у вас, да стосковался по доме... Простился со всеми, и понесли его домой гуси-лебеди.

Летят-летят: опять внизу леса да деревни. И говорят гуси-лебеди:

– В тот раз мы забыли побывать у дедушка-медведущка – знакомый, тут живет в лесу... не желаешь ли к нему ночевать?

– Ладно... – говорит. И осередь дремучего леса опустились на землю. Елки и сосны стоят толщиной чуть не с избу.

А медведущко сидел в черничнике, ел ягоды.

– А... здорово, здорово... а это кто?...

– Да вот носили к себе в гости... Ночевать непустишь ли?

– Просим милости... ко мне залетайте во всякое время...

И повел в свою избушку, накормил-напоил, ягод нанес – потчует.

– А старуха твоя, медведица, где?

– Ушла по ягоды... скоро придет...

Пришла медведица, полный кузов ягод ставит на лавку:

– Ух, как устала... Али гости у нас?... вот и ладно. Мы потчуем сыроехой из свежих ягод да черничным киселем... и еще испеку пшеничных лепешек.

– Мы уже все пробовали, – сказал медведь, – только лепешек не пекли.

А медведица говорит:

– Я сейчас затоплю печку – живочко напеку – поедят горяченьких, в ягодках вареных.

Скоро затопилась печка, ясно загорели дровца сухие. Напекла лепешек и всех накормила.

Ночевали у медведишек, а утром отправились в путь.

Прилетели в Иванову деревню, посадили его на крыльцо и сказали:

– Ежели будет нужно когда, выйди на крыльцо, кликни нас: «гуси-лебеди», – мы и прилетим.

Иванушко стал останавливать:

– Останьтесь да погостите...

– Нет, пора нам...

Сказали и улетели. Увидали Иванушка домашние – все обрадовались.

А он стал рассказывать, где был.

Сергиюшко

Сказка-бывальщина

Жил-был парнёк Сергиюшко. Все ушли на работу, стался один дома. Сидит у окошечка. На улице было расно: травка зеленела, цветочки расцветали, и солнышко пригревало.

Прилетела пташечка, села на прутьшек в листочках перед окошком и чивиликает. И говорит пташечка:

– Дай мне крошечку хлебца, может, я тебе и сама пригожусь.

Парнёк положил крошечек на окошко. Птичка поклевала и улетела.

Пришла ватага с работы, принесла парнёку ягодок из лесу.

– Это тебе баушка береза послала.

– А где она живет?

– В лесу. Велела тебе приходиться по ягоды.

На другой день большие опять пошли работать на кулиги.¹¹¹ И Сергиюшко просится:

– Возьмите и меня к баушке березе.

– Да ведь мы далеко пойдем, устанешь, и комары в лесу заедят.

Заплакал Сергиюшко.

– Ну, ладно, пойдем!

¹¹¹ Кулиги – прогалина, поляна среди леса. (Примеч. автора.)

Обули в маленькие лапотки и пошли на кулиги. Пришли и стали работать. А Сергиюшко спрашивает:

– Где баушка береза?

– А вот тут коло лесу... Ищи ягод у пеньков да далеко не отходи, не заблудися, – покрикивай нас. – Сделали ему берестяную коробичку: – Клади тут ягоды.

Ходит коло пенечков, ягодки забирает, а домашние вопят:

– Сергиюшко, тут ли ты, не заблудися!

– Тут, тут! – откликается.

А сам все подальше отходит и очутился на тропочке. Идет и видит: стоит избушка, и гриб вырос выше крыши. Сергиюшко отворил дверки и вошел в избушку. Никого нет, а на шестке у печки лук да галанка¹¹² печеная. Он съел луковку – хороша показалась, – сладкая. И галанки попробовал... Вдруг вошел старичок, маленький сам, а борода до полу долгая.

– Зачем, – говорит, – ешь мое доброе без спросу?

Испугался парнёк.

– Тепереча не отпущу и домой. Забирай мне ягоды, – говорит старичок, подал ему большую коробицу и вывел из избушки.

Делать нечего, стал Сергиюшко брать ягоды в старикову коробицу. А старичок сел на скамеечку коло избушки, лапоть плетет и с виду парнёка не отпускает. Долго брал Сергиюшко ягоды и как-никак набрал чуть не полную коробицу.

¹¹² Так называют в Костромской губ. брюкву. (Примеч. автора.)

Подошел старичок, поглядел и говорит:

– Ну, ладно, будет с тебя... пожалуй, ступай и домой. – И дал большую ягоду – с горшок. – Это тебе за труды, получай. Ягоду ешь, а семечки посади.

Парнёк обеими руками в обхватку взял ягоду и пошел по тропочке. Идет, идет, а по сторонам ягод так и усыпано. Сошел с дорожки, от хорёчка к пенечку перебегает, срывает ягодки... да и заблудился. Вдруг видит: чивить-чивить, пташечка та самая, которая прилетала к нему на окошечко.

– Что пригорюнился? – говорит.

– Да вот не знаю, как выйти.

– Иди за мной, – сказала пташечка и перелетела на другое деревце.

Пошел за пташечкой, – а она с кустика на кустик перелетывает да чивиликает:

– Вот близко кулиги, здесь и живу коло краю. Тут что-то делают ваши, они уж давно ищут тебя.

И слышит парнёк, вопят:

– Сергиюшко, у-а!

– Ээй! Я здесь-а! – откликнулся, обрадовался.

И видит: идут ихние, увидали его. И побежал к ним. Прощай, пташечка!

– Ну, слава Богу, – говорят, – а мы напугались. Ищем, думали, что уж медведь съел тебя... Долго ли до греха. Говорили тебе: «не отходи, парень, далеко да откликайся». Ладно, нашелся. А ежели бы совсем заблудился, съели бы звери

или с голоду умер... Пропал бы Сергиюшко наш.

Пришли к шалашке.

– Ешь, вон каша в котле, тебе оставили. А это что у тебя? Глядите-ка, какая Ягодина у него. Где ты нашел? Мы никогда не видывали.

И стал рассказывать, что с ним приключилось. Домой пришли – всем казали ягоду. Стали есть и другим давали пробовать.

А семечки Сергиюшко посадил – и растут ягоды величинной, как самые большие горшки. И весь народ стал садить от этих семян. Но случились весной морозы, а лето сухое и жаркое; все засохло, ничего не уродилось. Только в одном местечке, в ложбинке возле ручейка под горой, сохранился кустик Сергиевых ягод. Зеленцы¹¹³ были уже большие, как шоргунцы.¹¹⁴ Но огороды плохо загорожены, вошли коровы да овцы и лошади – все съели да затоптали и копытами выбили. А семян этих ни у кого в запасе не было. Всем понемножку досталось – и рассадили всё. Так и перевелись Сергиевы ягоды. Горевали люди, а Сергиюшко больше всех.

Стал подрастать и с ребятами ходит в лес по грибы да по ягоды коло кулиг по тропинкам. Ищет избушку под грибом – ровно пропала, как увидел во сне. Не знает, где живет и баушка береза.

¹¹³ Зеленцы – незрелые, зеленые ягоды. (Примеч. автора.)

¹¹⁴ Шоргунцы – большие бубенцы, которые привешивают на шею лошади или к узде. Шоргунцы – шерготят, т. е. позвякивают. (Примеч. автора.)

П. А. Родимов

1887–1967 гг.¹¹⁵

І. Природа

Земля

Никто мне не сказал про землю,
Но к ней моя любовь.
Долины, реки – все приемлю,
Люблю до страсти вновь.

И эту мелкую осину
На дальнем бугорке,
За ней весною небо сине;
С котомкой налегке

Брожу среди полей бескрайных

¹¹⁵ Стихи печатаются по изданиям: *Родимов П.* Картины Подмосковья. М.: Художественная литература, 1958; *Родимов П.* Столбовая дорога. М.: Советский писатель, 1959; *Родимов П.* Стихи пешехода. М.: Художественная литература, 1968; *Родимов П.* Перелески. М.: Советский писатель, 1973.

Под птиц веселый грай,
И сколько радостей случайных
Дает мне милый край.

Природа

Еще звучит в тебе, природа,
Широколиственное слово
Зеленых девственных лесов,

Еще в лазури небосвода
Сияют первозданно-ново
Гряды летучих облаков,

Еще гремит родник кипучий,
И пенной влагой орошает
Долину светлая струя,

И ум, пытливостью могучий,
Еще упорно вопрошает
Текущий облик бытия.

1937

Воля

Курлычут журавли в лазоревом зените,
Весенним запахом наполнены поля,
И ветер желтый пух на молодой раките
Колелет, ласково барашки шевеля.

Кой-где еще лежат седые глыбы снега,
Насквозь проточены дыханьем полевым,
Но солнца теплая разымчивая нега
Без устали их пьет и превращает в дым.

И вмиг летучий пар струею белой, тонкой
Уносится за даль к синеющим лесам,
Где ржаных полей глашатай с песней звонкой
Дрожащей точкою взлетает к небесам.

1912

Перед весной

Зимы пуховая постель
Укутала лощины.
Еще далек в году апрель,
Когда цветут лозины,

И пчелы шумною семьей
Собирают мед весенний,
И одуванчик золотой
Разрыхлит лист последний.

Должна быть дружная весна,
Снега осядут разом,
И солнце, встав из-за гумна,
Весь, мир окинет глазом.

Ручей

Лощину завалил сугроб,
В снегу следов от зайцев много.
С теплыню ухнула дорога,
Весна стучится у ворот,

И ястреб в облаке летит,
У птиц же щебеты и звоны.
Меняет поле прежний вид,
Заметно обнажились склоны,

И влагой чистою своей,
Пробившийся в осевшем насте,
У моста заиграл ручей

Весенней молодой страстью.

Вешние дни

Весна щекой прижалась к изголовью
От зимних снов оттаявшей земли.
Волнуясь давнишнею любовью,
С заморья кликом кличут журавли.

И в мареве волнующего света
Широк простор и гомон у лесов.
И кружевом береза приодета,
Синеет лыка волчьего покров.

А дятел смотрит за лесным порядком
И нарушителю стучит «тук-тук».
На огороде показались грядки,
И землю поднимают сотни рук.

Журавли

Тлеет день чуть жаркий, духовитый,
Пьяный запахом сырой земли.
Желтым пухом расцвели ракиты,

Стороной курлычут журавли.

Еле видно призрачную стаю
В золоте расплавленных небес.
К голубому улетают краю
Через буерак за синий лес.

Журавли, воздушные бродяги!
Знать, милы вам вольные места,
Заводи, болота да коряги,
Дикая, глухая красота!

1936

Опушка

Весна. Все ново. Солнце блещет,
И с каждым мигом чудеса,
И вольный ветер рукоплещет,
Мешая птичьи голоса.

Там ворон каркнул, там свистит
Щегол, аукнула кукушка;
Поет, звенит и шелестит
Зазеленевшая опушка.

И слушает, внимая, бор,

Как старец, к детям терпеливый,
Пестроголосицы шумливой
Неумолкаемый задор.

Вечер

Заря янтарной пеленой
Горит за синими лесами,
И месяц в дымке голубой
Нависнул между облаками,
Как серп, с округлыми краями.

В овсах слышался дергач
И тянет песнь одну и ту же.
Перед мостом блеснула лужа,
И грузно пролетает грач.
Заря же стала как кумач.

Покой на паханой земле,
Проехала телега тряско,
Звезд позолоченная связка
Уж проглянула в сизой мгле,
Огонь зажегся на селе.

Легкий ветер

Покраснела за сараем бузина,
Легкий ветер на пригорке пролетел.
Сыплет солнце из зенита сотни стрел,
И лощина незабудками полна.

По нагорью раскричались грачи,
Знать, готовятся к отлету за моря.
Сушит рожь теперь спожинками заря,
В роднике же всё колышутся ключи.

Родник

Родник не иссякнет под горкой крутой,
И нет холодней той подземной воды.
Как вьются стрекозы веселой гурьбой,
Над самой струею кружат чередой,
Между купырей и травы-лебеды.

А речка в низине, в кустах осока,
И птицы спуют, все одни кулики,
И кличут подруг с золотого песка,
И впадин речных темнота глубока,

К воде наклонились купав лепестки.

Полденная дрема вступает в права,
Русалка на тине плеснула хвостом,
И, может, от щуки вскипела трава,
И в омут на дно прокатилась молва,
И бучень забукал под низким кустом.

Бабье лето

Перепутывает ветки паутина
Белым, тонким, шелковистым волокном.
В тяжких гроздьях наклонилась рябина,
Закраснелась над поломанным плетнем.

Нитью зацепились тонкие шерстинки,
Обмотали колья, виснут по бокам,
Протянулись к мосту до кривой лозинки,
Просияли в небе и застыли там.

День сухой и звонкий с эхом голосистым,
Грач ли гаркнет в поле, слышно за версту.
Ворон пролетает, и крыло со свистом
Редким взмахом режет купол-высоту.

* * *

Заянтарел кустарник мелкий,
И липа уронила лист.
В лесу лишь тетерев, да белка,
Да стай синичьих тонкий свист.

Сквозь маковки вершин зеленых
Светлеет просинь, и на ней
Зардели огненные клены
Червонным полымем ветвей.

Здесь осень гостьей неминучей
Пришла, как скорбная жена,
И стелет из листвы зыбучей
Постель для векового сна.

1937

Золотые будни

Уж осени дыханьем золотистым
Овеяны леса.
Сквозит уже в отроге темнолистом
Янтарная краса.

Звончей, слышней, просторней в поле сжатом,
Пустынном и нагом.
Лишь заяц, проскакав, мелькнет за скатом
Да грач свистит крылом.

За выгоном

За выгоном набиты колья,
Воронам есть где отдохнуть.
Осыпал дождь полей приволья,
Осенний мокнет в лужах путь.

Но клен сияет красотою,
Он в листьях золотых резных.
Цветет татарник над межою,
Поэт слагает новый стих

И внемлет голосу пустыни
И кличу серых журавлей.
Как сердце трепетно! В низине
Бежит без усталы ручей.

II. Деревня

Спозаранок

Еще сизый туман над лугами,
А от солнца по хвое лучи,
Вот и встало оно над лесами,
Взгомонились по небу грачи.

От скирдов протянулись тени,
Поутру оживает гумно,
Пред трудом преклоню я колени,
Полюбил я работу давно.

Начинается день перепалкой,
Каждый с делом рабочим спешит.
Уж проснулись крикливые галки,
Облака поднялись в зенит.

В поле ржанище все опустело,
И кладушки легли на воза,
Хорошо ты, мужицкое дело,
Хороша и небес бирюза.

Пашня

Гром прогремел стороною, лягушки в пруду
раскричались.

Крупный, как белый горох, дождь застучал по траве.

Дальний порядок села занавесился частою сеткой.

Миг – и ушло на поля облако дымом седым.

Снова разведрился день, и сверкает зеленой щетиной

С красною былкой в корню озимей пестрый ковер.

«Быть урожаю, – решили тогда же в беседе на бревнах

В голос один мужики, – время с сохой поспешить».

Утром, чуть-чуть жаворонок запел над полынной межою

И, трепыхаясь, в зенит выше и выше пошел,

Поле пестрело народом: шагая прямой бороздою,

Пахарь за лошадью шел, звякал палицей в сошник.

Рядом, лукошко с овсом перекинув на ленте суровой,

Сеятель в землю бросал горстью наотмашь зерно,

Возле телег молчаливо собаки дремали и лаем

Не нарушали почин важного сельского дня.

Только грачи, из ночевки с церковных берез подымаясь,

Каркали в небе пустом, после за пахарем шли.

Следом за ними стрижи прилетели, и долго их стая,

Воздух пронзая крылом, реяла на высоте, —

Знать, и они захотели почтить земледельца работу,

Ревностный пахаря труд, дело святое земли.

Спожинки

Шумно ликует в ристалище неба крылатая стая
Птицы осенней: грачей, галок и с ними ворон.
Слышится свист от гульбища, как будто бы буря
проходит,
День же с утра золотой, бабьего лета пора.
В поле снопа не осталось, блестит на меже паутина,
Через пустой косогор лентой дорога лежит.
Стылый дымок над овином синеет; село на ладони;
Видно, какие дела будний заполнили день:
Бабка Аганя пестом обдирает сушеное просо
И на веретье потом сыплет из ступки крупу;
Митрий Алешин повез умолот на Большую Водянку,
В горку коню подсобив, он ухватился за гуж;
А на гумне всей семьею молотит Степан оржаное,
Сам, да жена, да мальцов пятеро, спорых к труду,
Только мелькают тяпицы, в черед ударяя о землю.
Даже трехлеток – и тот хочет за всеми поспеть, —
Цеп ему сделал отец для забавы по росту и в меру,
Им он поодаль стучит, бьет в колосок по зерну.

Хлеб

Хлебы испечь нороя, приступила с обычной сноровкой
Дарья-хозяйка, – она делала это вот так:

В погребке гущу квасную ковшом зачерпнула до края,
С теплой смешавши водой в липовой емкой квашне;
Две плоскодонные чашки с мукой опрокинула следом,
После, мутовкой взболтнув, к печке поставила греть,
Чтобы в тепле этой ночью повыше поднялась опара
И без закала был хлеб, с крупной и пышной ноздрей.
Сверху тряпицей покрыла и, фартук свой сняв,
подвязала, —

Чуть ли не баба теперь стала по виду квашня.

Утром, тряпицу загнув, увидала хозяйка: недаром
Слышно ей было сквозь сон, точно ворчал домовой,
Дулся впотьмах пузырями и лопался с жалобным писком,
—

Это гуляло всю ночь тесто и липло к бокам
Плотно закрытой квашни, а теперь все опало, как надо,
След показавши густой более чем на вершок.

«Тесто укисло», – решила хозяйка и всыпала соли,
Бросив две горсти, затем долго мешала рукой,
Голой до локтя, все время муку подсыпая. Как только
Ком загустел, кулаком Дарья ударила вниз,
Дно не достала, а тесто от пальцев тянулось, как лента,
В пленке пузырчатой сплошь, словно в стоячих глазах.

Горстью комок оторвав, развалила по чашкам с мукою
Дарья, подбросила вверх полные чашки не раз,
Даже, примету блюда, широко покрутила рукою;
На печь поставила в ряд чашки, чтоб тесто взялось.
Стали хлеба подыматься; тут печку она затопила;
Красным лизнул языком черные сучья огонь;
Коркой с полена скоробясь, тогда береста затрещала,
И разгорелся костер. Баба не раз и не два
Тесто по чашкам до печки ходила проведать. Все выше
Ком вылезал из краев; Дарья сказала себе:
«Хлебы дошли!» – и, руку снабдив полновесным
оружьем
Кухонных дел, кочергой, весь свой истоп загребла,
Угли, как кудри в ряду, по краям от заслонки ровня.
Дальше, схватив помело, точно на миг обратясь
Ведьмой, всю золу смела без остатку веником мокрым,
Чтоб уголек не пристал к корке исподней и зря
Он не попортил красоты пропеченного хлеба, – ведь этим
Много гордится подчас баба, хозяйка-жена.
Под приготовив на славу и бросив метлу на полати,
Дарья с лопатой теперь стала справляться: раз, раз!
И опрокинула чашку; и тесто в муке отвалилось,
Пышность свою сохранив, – хлеб испечется неплох.
Все посовавши, тут skutала печку хозяйка, заслонку
Плотно прикрыла к челу, вьюшки, блинок за блинком,
дружку на дружку поклала и сбила задвижку.
Запахла духом печеным изба. Время свое просидят
Хлебы и легкими станут, с подсушенной нижней коркой,
Так что руки не обжечь, еслистряпню вынимать.

Твердую корку хозяйка, как хлебы брала, прищелкнула,
В чашки рассунула все жареным исподом вверх.
А поостынут лишь, Дарья ножом каравай перекрестит,
Тесно под груди прижмет, срежет горбушку в длину;
И, коль случишься тут быть, обернется к тебе и
промолвит,
Свежий гостинец подав: «Съешь на здоровье ломоть!»

1920

Блины

Кучу больших рогачей, круторогих в обхвате, раздвинув,
Чапельник цепкий взяла баба: пекутся блины;
В липовой кадке опара, туда и ныряет половник;
Смазана маслом, шипит жаркая сковорода.
Шлепнется тесто ноздристым, прилипчивым комом в
середку
И, разойдясь по краям, круг весь займет на огне.
Полымя бок зарумянит, а чапельник сунется в печку, —
Чтобы тот блин не сгорел, вынуть его на шесток.
Нож с деревянною ручкой, скользнувши под испод
немедля,
Блин на весу обернет, снова тот сунут на жар.
Вот и испекся. А вышел красавцем, с двойною сережкой,
Пышен, поджарист, румян, коркой, как хворост, хрустит.
Целую стопку сложила в тарелку таких жестряпуха,

После на стол подала к ним из пера помазок,
В масло топленое в чашке его обмакнуть не забыла.
Коли ты в гости пришел, тут же садись и за стол.
Мажь, не жалеючи сдобы: еда ведь на редкость какая!
Блин и другой закусив, добрую бабу хвали.

1920

Печка

Печку Анисья с утра протопила и, жар загребая,
Старым гусиным крылом золу с загнетки смела.
Стукнула жестью заслонки, заботливо под посмотрела,
Щи, в чугуне прокипев, преют капустным листом,
Каша в горшке разварилась и коркой поджаренной
вспухла,
В плошке свинины кусок салом избу продушил.
Пыл от углей сберегая, Анисья завесила тряпкой
Печку с чела, рогачи кряду поставила все,
А кочергою баран заслонила и сунула выюшки,
Чтобы тепло по трубе только до борова шло.
Кончив дела и махотки обсохнуть засунув в печурки,
На печь полезла сама старые кости погреть,
Кофту на средний кирпич от ожога под тело постлала,
С теплой поддевкой затем долго возилась она,
После решила и ею накрыться совсем с головою,
Сонная дрема верней в эдаком разе возьмет.

Сход

В било, в чугунную доску, колотит мужик деревяшкой.
Знак он народу дает, чтоб собирался на сход.
Только что стадо прогнали, и утро за крышами рдеет,
Осени ясной пора, бабьего лета конец.
Звон услышавши железный, идут мужики и степенно
Речи ведут меж собой; ладно ль с уборкой полей.
Все собрались: Николай, Тимофей, Адриан,
Пантелеймон,
Яков Баширов, Мысев, Пронин, Брызгалин Кузьма,
Стенька Вавилов, Терехин Василий, Максим Агафонов,
Трое Иванов, Петра два и Гришин Егор.
Важное дело они обсудить порешили на нынче:
Можно ли стадо пускать на озимья или нет.
Первым сказал Адриан, рыжеватый мужик, со штаниной
В частых заплатах, в лаптях: «Озимь-то в былку пошла,
—
Коль не запустим скотину, без хлеба весь год насидимся,
Вот мое слово: велеть, чтобы не медлил пастух.
Я-то ему говорил, а пастух мне ответил: «Ты скажешь,
Сделаю я, а весь мир мне по загровку и даст».
Мешкать не следует, братцы», — тем речь Адриан и закончил,

Сел на завалень, свернул тут же сигарку и ждал.

«Правда! – то Пантелеймон вступился, мужик тороватый,

С черной большой бородой, в валенках и в зипуне: —
Только б коровы кормов не объелись, следить непременно,

Лошадь ведь жвачку жует, та же глотает в живот».

«Да постеречь не мешало б, – из кучки откликнулся
Пронин, —

На озимях лошадей, чтоб не ушли далеко».

«Вот уж с неделю в Баракове скот весь по озимям ходит,
—

Молвил старик Тимофей, дед всей деревни он был. —

Прежде и мы запускали, случалось, себя не корили, —

После бывал урожай: конный не виден во ржах».

Стенька Вавилов прибавил: «Как войлок озими стали,

Выросли в дождь и тепло, в пору косою косить».

«Братцы, пускать и решим, – рассудил Николай, – для
работы

Сходное время стоит, зря не годится терять».

Крепко надвинув шапки на лоб, мужики разошлись:

Надо картошку копать иль молотить на гумне,

Бревна тотчас опустели у двери Мысева амбара,

Било покойно висит, случая нового ждет.

Бабка Сентябриха

Бабка Сентябриха до грибов охоча,
Только листик липы глянет золотым,
Над трубой в деревне не повиснет дым,
Подобрав подол (так росы не намочат),
Бабка в лес плетется с кузовом пустым.
Как сморчок по виду бабка Сентябриха,
Кожица желтее восковой свечи,
Полям над старухой каркают грачи,
Только бор зеленый встренет гостью тихо,
Ей под лапоть кинет вороха парчи.
У корней средь моха грузди и совики,
Розовых волвеночек тесная семья.
Белый гриб покажет желтые края
Испода, как масло. Рядом, невелики,
Боровик-малина и валуй-скуфья.
Бабка Сентябриха все сберет. Поганку
Палкой поколотит, ворохнет листок.
Так и есть: глядится молодой груздок!
Видно, нынче утром вылез спозаранку.
Бабка тут и шамкнет: «Ну, иди, милоч!»
Обойдет по лесу бабка все овраги,
Ей давно грибные ведомы места,
У какого корня, или у куста,
Или у побитой грозами коряги

Гриб родится, – чует бабка неспроста.
Оттого и нынче бабка с божьим даром,
Сбор листом накрыла. До дому идет.
В поле – бабье лето. Паутины лёт.
Бабка, чтоб добычи не терять задаром,
Кузов обернула задом наперед.

1925

Хозяин

Двор белый как ладонь, светло, и все видать.
Ночь месячна в звездах, горит снег хрусталями,
Бежит от месяца тень робкая, как тать,
От перекладины ложится костылями.

Спи, старый хрыч! Пора свой двор прибрать!
И домовой кряхтит, нагнувшись над лаптями.
Овцам бросает сноп (чтоб мягче было спать),
Коровам чешет шерсть корузлыми ногтями.

Под лаской нежною скотине сладко млеть,
Сощуривши глаза, размеренно сопеть,
А домовой в дозор уходит за ворота.

Все старому нужда, все старому забота:
Где сторожит беда? Не видно ли волков?

И, руку козырьком, глядит в простор снегов.

Ветряк

Как эта мельница потрепана ветрами:
Одно изломано, другого нет крыла;
На крыше, по стене, меж ветхими столбами
Трава высокая так густо поросла.
А мельника уж нет. Глядит за жерновами
Лишь старый домовый из темного угла...
А ветер налетит и крылья закачает,
И мельница вздохнет и стоном отвечает.

* * *

Тишина и покой умирающей ночи,
Звезд прекрасных неслышный, размеренный бег.
Месяц бледен, и тени короче...
Спит туман на лугу, как белеющий снег.

Зазывает русалка. Плеснулась игриво.
Плавником шевельнула. Вот машет рукой.
Провалилась. В тумане лениво
Леший лапоть плетет над рекой.

БесыЕСЫ

Зимний бес блудить заставил,
Потерял я все пути,
Много есть молитв и правил,
Их на четках перечти.

В поле слышно песнопенье,
То полночная яга.
Отпусти ты прегрешенье,
Замети следы, пурга!

Хлопья вьются несудом,
Не найду родимый дом,
Утомился ходом пешим,
Повстречался с чертом-лешим,

Под микитки хочет взять,
Длинным пальцем щекотать.
Чур меня, слепые бесы,
Чур, гуляки и повесы.

Здравствуй, русская зима!
Ведьма плачется сама.

Старая мельница

Кругом пустырь: снега, полынь да вешек строй.
Налево – в Серкино, в Рожново путь – направо.
В лощине мельница с поломанной ветлой
И стогом небольшим, где сложена отава.

На всем зима легла пушистой бахромой.
Прикончилась в реке беспутная забава.
Все черти вымерзли. Один лишь водяной
Отвоевал себе местечко близ постава.
Он дует из угла и плещется в воде,
Гремит сосульками на длинной бороде
И гонит белый пар от мерзнущего плеса,

А ночью перейдет через окрепший лед,
По-старчески кряхтя, все силы соберет
И ледяной рукой вертит, вертит колеса.

1914

Пан

Потемнели ночи. Звезды поярчели.

В тишине осенней слышен звук свирели.

Это Пан забытый, древний бог лохматый,
Леший молчаливый, хмурый и рогатый,

У межей оржанных за седой полынью
В травяную дудку дует над пустынью.

И летят от духа листья парчевые,
Низовых туманов облака густые,

И, заклатьем тайным скованы, покорно
Припадают к нивам обнаженным, черным.

Оттепель

Подтаяло. Ноздрястый снег осел.
С застрехи каплет. Куры спозаранку
Кудахчут, и петух свой клич пропел.
Подтыканы поневы наизнанку

У старых баб. Нет никого без дел:
Сторновки на плечо взвалив вязанку,
Идет мужик. За ним телок поспел
И корм жует, свинья грызет лоханку.

Вороны, галки – все орут без толку.
Мальчишка-карапузик втихомолку
Себе готовит из полозьев лыжи,

Скрипит бадья и журавель сгибает,
Ушат молодка верхом наполняет,
И лапти хлюпают в навозной жиже.

Будни

Запахло талою землею,
Навоз обмяк и побурел,
Деревня с раннею зарею
Полна хлопот и всяких дел.

Зима, ей скатертью дорога,
Ушла с полей наверняка,
И телки чешут у порога
Амбаров рыжие бока.

В пурыни распушились куры
И горлопанят петухи.
Собаки, нос уткнувши в шкуры,
Следят за скоками блохи.

На розвальнях проезда нету,

Дорога пупом поднялась,
Весенним солнцем разогрета,
У крылец показалась грязь.

Ее разбрызнув сапогами,
С ушатом, с ведрами, с бадьей,
Молодки с карими глазами
Ведут коров на водопой.

Ровно в колоду льется влага,
С мохнатых морд бежит струя.
А в небе галочья ватага
И вздорный щебет воробья.

Начало весны

Едва туманами клубящаяся мгла
С оттаявших бугров сползла на топь болота
И ясный вспыхнул день, на землю низошла
Весенней кутерьмы спешащая забота.
Для всех нашлись дела: вон бабы у села
Вступили в жаркий спор, мальчишек рьяных рота
Уж строится в полки. Навозный сор, зола —
Для петухов и кур давнишняя работа.
Враз топоры стучат. Ревет рогатый скот,
Учуяв дух земли и сладостную негу.

Весна! Свистят скворцы в скворечнях у ворот,
И воробьи дождем осыпали телегу.
И важный и большой за тощим стариком
Мирской шагает бык с отвислым кадыком.

1913

Утро

Рассеялась, как дым, ночная мгла.
Бледнея, звезды ясный лик скрывают.
Восход зари все петухи села
Приветом велегласно возвещают.

Какая алая заря пришла!
На небе облака, зардевшись, тают.
Проснулось и село. Из-за угла
Амбара стадо бабы выгоняют.

Косясь на шутки бойких молодух,
Идет седой, маститый вождь-пастух,
Его зипун прорехами богат.

В руках, как жезл, огромная дубина.
За ним ревет, мычит на разный лад
Спешащая на бедный корм скотина.

1912

На рассвете

В избушке пахнет молодым ягненком,
Вчера лишь окотилась пестрая овца.
В передрассветной мгле спросонку
Старуха охает. Болит у костреца.
Тряпье горбом развесилось с полатей.
Тулуп махорится дубленным рукавом.
Молодка разметалась на кровати.
Прижалась к армяку зардевшимся лицом.
Рука висит на переплетах зыбки.
Ребенок дремлет. Теплый воздух полон снов.
И только кот, неугомонно-прыткий,
Свершает свой обход вокруг пустых горшков.

1925

Давнее

Весна. Весенний гам. Торопятся капли,
Срываясь жемчугом, пробить зернистый снег.
Вот неожиданно сосульки загремели,
С застрехи сорвались, рассыпав звонкий смех.

Дорога ухнула. И сколько канители,
Пока обоз с пенькой до городских утех
Дотянет большаком. Погонщики взопрели,
И сладкая мечта теперь томит их всех:

В трактире у окна заняв скрипучий стол
С клеенкой липкою, из вывернутых пол
Извлечь горсть медяков не без скупого стона,

Оправить волосы и осенить крестом
Маститый крупный лоб, чтоб, закусив, потом
Пить желто-бурый чай под хрипы граммофона.

III. Черед жизни

РОДИНА

Деревья в инее, а снега вовсе нет.
Зима задумалась у столбовой дороги.
Радимов Павел я, художник и поэт,
Советский гражданин и человек нестрогий,

В Коломенском краю свой написал сонет,
Бродя вблизи Оки, где берега пологи,
Где протекла пора моих ребячьих лет,
Где ездил много раз, усевшись на дроги.

Я помню, помню вас, поемные луга!
Вот на реке паром, вот Ловцы, Белоомут,
Вот бричка ямщика и с колкольцем дуга,

Вот Горки на яру и под горою омут.
Внизу ж стоят стога, и зелени нет края,
Дай ширь твою вдохнуть, о сторона родная!

1941

Омут на Воже

Воспоминаньями себя тревожу,
Я помню Глебово и речку Вожу.
Передо мною луг некошен и нетронут,

Вдали лесок, осинник молодой,
У Глебова обрыв и черный омут,
Что там лежит под темною водой?

И мысль бежит вопросам тем навстречу,
Былых времен страница мне ясна,
Здесь дал Донской впервой татарам сечу
С дружиной москвитян, и кровь алей вина

Стекала в омут тот. Следов я не примечу
Боев старинных. Край цветет. Весна,
И марево волной колеблется далече,
И неба высока немая тишина.

1952

Куликово поле

С детства помню вас, Ослябя, Пересвет,

Монахи-иноки несокрушимой силы.
Стоял туман в лугах, слетал с небес рассвет,

И солнце купы роц лучом позолотило.
А на земле была великая вражда:
Донского тихий стан, пред ним гроза – орда.

Вот тучный богатырь от ней несется вскачь
И алой епанчой по росным травам плещет,
Он наводил на Русь полон, и стон, и плач,
Он яростно коня ременной плеткой хлещет.

Но смерть найдет себе неистовый палач,
Сжал Пересвет копьё и сдвинул брови резче,
Вот сшиблись, пыль кипит, подковы искры мечут,
Богатыри мертвы, и бой трубит трубач.

1943

Свежее утро

Как хорошо! И нет нужды в стихах,
Прозрачный день воздвигнут над буграми,
Луч солнечный их золотит утрами,
И листьев осени насыпан прах.

Уж льдинок светится меж лужами стекло,

В дыму курчавится соседнее село,
И гнется журавель в колодец у колоды;
Над русскою землей идут бессменно годы.

Как долог путь для ней, скажу наверняка,
Не счесть столетия, не перечесть века.

Север

Свой отблеск бросивши в зенит,
Мерцают зимние закаты.
И пламень желто-розоватый
В тумане сумерек сквозит,

Как исчезающая тайна
Неуловимой красоты.
О, сколько милой простоты
И прелести необычайной

Во всем: в глубоком рыхлом снеге,
В примолкших избах и дворах,
В далеком вскрике, в хрустком беге,
В тычинках, вешках и кустах,

В пустых однообразных склонах,
В леске, синеющем едва,

И в распушившихся воронах,
Нагнувших веток кружева.

1953

Глухомань

В перелесках застряли туманы,
Дождик брызжет весь день спозарань,
Но мила мне страна глухомань,
Косогоры и травы-бурьяны,

И еловая роща седая,
И кукушки волнующий стон,
И моя в людях жизнь прожитая,
И заштатных церквей перезвон.

Смутно эхо разносится с бора,
Дорог осени плач золотой,
Каркнул ворон в небесном просторе,
Рад я жизни неспешной, простой.

Поэт и леший

Давний приятель мой, дятел, стучит по утрам на березе.

Не отогнать мне синиц, их я кормлю под окном.
Леший ко мне забредет, он шалун не хмельной и
тверезый.
В чаще лесной проживаю, кто же зайдет ко мне в дом?

Я балагурить горазд, а у лешего дел неотложных
Мало бывает, не он, знать, председатель села.
В эти же дни, когда в мире событий тревожных
Множество, лучше узнать новость, какая мила.

Здравствуй, косматый шатун! Зашумела буран непогода,
Запорошила снежком птичий, звериный ли след?
Рад я послушать заветы и сказы из жизни народа,
Ну, начинай болтовню, мой драгоценный сосед!

Перед весной

Весна застряла в снеговых сугробах,
За непогодой не летят грачи.
Лишь стаи галок, серых, крутолобых,
Кружат в зените заревой парчи.

И рушатся на голые березы
Вагагой, говорливой без ума.
Еще гремят последние морозы,
Еще метет метелица-зима.

Но в каждый вечер золотистой зори,
И дальний лес заметно почернел.
Близка пора, как в полевом просторе
Подымет солнце алый самострел,

И рухнет наст, и струйки лужи талой
Разрыхлят снег, и желтая вода,
Забрав соломы и щепы немало,
Забулькает под корочкою льда.

1955

Дума

Старинная песня за лесом пропелась,
И это носилось в бору до утра.
Подумать о жизни давно мне хотелось,
Но старости вдруг наступила пора.

Возьму я котомку, пройдуся по полю,
Вся в колосе рожь, среди ней – васильки,
Зачем же стремлюся опять я на волю?
Ведь дни пролетают, как волны реки.

Мне нужен клочок синеглазого неба
И узкая стежка, путей колея,

Где запах душистый оржаного хлеба,
Где бегал мальчонком доверчивым я.

Рязанский гость

Бежал за годом год. Я снова гость в Рязани,
Я в роше Рюминой среди берез опять.
Прославлена земля с Оки и до Казани,
И много трав пришлось ногою мне примять.
Я псалмопевец ржей, я гармонист-матаня,
Я внук родной яги и лешему я зять.
Я, мерина взнуздав, сам завалюся в сани,
Веревочной вожжой мне замахнуть под стать.

Спешу, спешу, поэт! Не то догонит баба,
С железною косою кощеева карга.
Как весело скакать чрез горки и ухабы!
Смотри ж, чудесный край перед тобой. Луна
За Трубежом-рекой, и хороша, раздольна
Широкая Ока, и воздух вольный, вольный.

Грибы из Луховиц

Грибы из Луховиц, моей отчизны милой,

Старуха древняя в корзине принесла
На нынешний базар. Меня остановила
Хозяйственная мысль: всю мелочь без числа

Я отберу с собой. «Два дня в бору ходила,
Грибок-то как кремень». – «С какого ты села?» —
«Из Городца, родной!» С неведомою силой
Воспоминаний рой нахлынул... У стола

Сижу с грибом в руках, запачкан он землею,
Моей родной землей. О юности пора,
Темно-зеленый бор, и летнею зарею
Тропинка между ржей!.. Вся наша детвора
С корзинками в руках стремится в лес ватагой,
Чащоба не страшна, и все полны отвагой.

Абрамцево

Этот дуб на усадьбе Аксакова
Повидал самого в старину.
А зима, как всегда, одинакова,
И ее я люблю белизну.

У избушки с куриными ножками
Я пройду оснеженной тропой.
Бабы скифские стали дорожками,

Охраняют столетний покой.

Вот и церковь под куполом синим,
О неведомом царстве мечта.
А повсюду нетронутый иней
И Абрамцева тишь – красота.

Парк в Абрамцеве

В портрете Врубеля ты, Савва, словно Грозный.
В заветный парк люблю я в день морозный
Пройти оснеженной средь старых лип дорожкой

Укрыта елками здесь церковь Васнецова,
Избушка возле ней стоит на курьих ножках,
Спитмышь летучая под снеговым покровом,

И баба скифская, степей задонских гостья,
Две тысячи годов легко пережила.
Здесь, Савва Мамонов, твои останки-кости,
Здесь жизнь текла друзей искусства и ушла.

Лишь птички тренькают близ церкви на погосте,
Их болтовня в тиши пленительно мила,
И сам я в седине, идти мне легче с тростью,
И светлая печаль на сердце мне легла.

1942

МУРАНОВО

Тих неширокий пруд, где Талица-речушка
Журчит в ольховнике. Теперь одна беда:
От старой мельницы не стало и следа,
Лишь колесе торчит зубчатая верхушка.

У выгона стоит под дранкою избушка.
Над окнами резьба и стекла, как слюда,
Блестят в закатный час. Как в прошлые года
Усадьба на бугре и темных рощ опушка.

Уносит жизни сон река забвенья Лета:
Сто добрых лет назад здесь жили два поэта,
И звучные стихи слагались в тишине,

Ты в них прославлена, владычица-любовь,
И первый гром гремит, играя по весне,
И за рекой слышна свирель пастушья вновь.

1942

Старая ветла

Ветла с одиноким вороньим гнездом,
Сухая дорога и черное поле,
Под синим широким небесным шатром
Унылая древняя воля.

Взлетевшего чибиса жалостный крик,
Да возле сожженной громами березы
Печальник болотной пустыни, родник,
Точащий подземные слезы.

Янтарный лист

Еще сверкнул янтарный лист,
И осень гостьей стала:
На речке стих куличий свист,
От ветел тень упала.

Как широко, и ни души
Единой на просторе,
И дни короче станут вскоре,
И порыжеют камыши.

Пастуший слышится рожок,
Для стада нет поживы,
Воспоминанья в сердце живы,
И близок мой осенний срок.

Пускай по мне не будет плачу,
Я весел в горести своей,
Грач улетает, галки крачут,
В долине все бежит ручей.

* * *

Осенний день не говорлив.
Он смотрит строго.
Среди дуплистых редких ив
Бежит дорога.

Над косогором слет грачей,
Шумна ватага.
Сверкает лентою ручей
На дне оврага.
Лазурь сметает облака,
Уходят тучи.
Как жизнь твоя всегда легка,
Простор могучий!
Цепь говорливых журавлей,

Нить паутины.
Да придорожник, да репей,
Да ширь равнины.

1951

Звезда

С листопадом приключилась кутерьма, —
Знать, у осени дырявая сума.

По оврагам разлетелися листы,
Небо синее спустилось с высоты.

Паутины протянулася кудель,
Озимей колышется постель

Вихрь гудит в полях меж проводов,
Сбиты яблоки румяные с садов.

Поржавела у плотины осока,
И звезда упала в речку с висока.

Калиновый кусток

Растет на бугорке калиновый кусток,
И с оржанных полей летает ветерок.

Уходит в синеву за перелеском даль,
И сердцу моему теперь близка печаль.

Спадай, осенний лист, на глинистую кручу,
В затихнувших полях я словом сердце мучу.

Озимое поле

Побродить по озимому полю,
Понаслушаться песен весны —
Это выпало нонче на долю,
Небеса широки и ясны.

Вьется тропка до самого леса,
Запестрела цветами опушка,
Угомону не знает кукушка,
Для нее распахнулась завеса.

Мне годов предсказала немало,
Мое сердце еще не устало,
И на свете еще поживу,
Чтобы счастье узнать наяву.

Одиночество

Нет одиночества чудесней
Среди оржаниц полевых,
Сливается шум ветра с песней,
И сам собою льется стих.

Как бы пронзен стрелою мысли,
Простор волненьем озарен,
На травах капли рос повисли,
И на бугре янтарный клен.

Мне вовсе думать и не надо,
Иду дорогой не спеша.
Ты, одиночество, отрада,
Тобой наполнена душа.

Простой стих

Слетелись сорок сороков,
И началась весна.
Ручей бурлит у берегов,
Песнь издали слышна.
Чтобы обрадовать меня,

Знать, встали зеленыя.
И жаворонок озарен,
Под ним широкий небосклон.
Мне весело с таким певцом,
Поэт он мировой.
Чтоб не ударить в грязь лицом,
Пишу я стих простой.

Перелески

Перелески от инея белы,
Санний путь от полозьев широк.
Передешь ты мелкий лесок —
И от солнца морозного стрелы
Освещают любой бугорок.

Только заячий след и заметен,
Возле гумен дорога видна,
И стоит молодая сосна,
На березах шум галочьих сплетен,
Отлетела в леса тишина.

Потянулся дымок от овина,
Над колодцем повис журавель,
Разостлалась, как скатерть, равнина.
У плетня, где росла конопель,

Наклонилась сухая рябина.

Зима

Сорока щиплет паклю из пазов,
К морозу тянет у ветлы в серебре.
Примолкший день пустынной от снегов,
Ветряк крылом не машет на горе.

Зайчиных лап в снегу петлят следы.
В синеющих дымках с утра село.
Под пышной бахромою спят сады,
С головкой вешки в поле замело.

Покоем тишины и дуб объят,
Век сторожем стоит на перекрестке.
Какой простор! Куда ни кинешь взгляд —
Пушинки, льдинки, снеговые блестки.

1953

Волны реки

Видишь мелькнувшую тень
Там, за далеким пригорком.

Только всмотришься ты зорко —
Это уходит мой день.

Также мелькнули печали,
В жизни все дни коротки,
Все мы немного устали,
Годы, как волны реки.

Черед жизни

В деревне шелкнул кнут пастуший,
И гурт выходит на заре,
Ничто молчанья не нарушит, —
Какая осень на дворе!

Опавший прах слежался в куче.
Оборонил и клен листы.
Смотрю в долину с этой кручи, —
Полна окрестность красоты.

А в синеве застыли нити,
Осенней паутины лёт,
Не нужно никаких событий,
Пусть мерно жизнь идет в черед.

25 августа 1965 г.

Дума ночью

Над долиною день отгорел,
И над полем великая дрема.
Переделано множество дел,
И за ригой в ометах солома.

В эту ночь лишь на звезды смотреть,
Нету им ни конца и ни краю,
К ним мечтою моей полететь,
Словно милую я вспоминаю.

А такая была у меня,
На нее я смотрел, веселился,
Только дожил потом до тяжелого дня
И навеки я с ней распростился.

Она стала, должно быть, звездой,
От нее и сиянье сверкает.
Пролетел над межой козодой,
И заря предвечерняя тает.

Браслеты вечера

Грозно каркнула ворона на сосне,
Чья-то юность заскучала о весне.

А уж сыплет лист метелица в долу.
И туман свою клубком свивает мглу.

Вся осиновая роща в янтарях,
Будто медяками весь засыпан шлях.

Моя дума одинока в этот час,
На закате свет мерцающий погас.

Если б в поле овсяное мне пройтись,
Чтобы песнь осеннюю мне кинуть ввысь,

Чтобы сердце говорило про любовь...
Зря, что ль, помнится ее, как бархат, бровь?...

11 августа 1965 г.

Одеяло

Иду я знакомой тропинкою к дубу,
Зима распахнула пушистую шубу,

И дятел в чащобе стучит без умолку,
Облазил доверху косматую елку,

И заяц пугливые уши расставил,
Живет глухомань без намеченных правил,

И в ней никогда не смолкает молва,
И ночь караулит вещунья-сова.

Не правда ль, тепло у зимы одеяло?
Поэту его иной раз не хватало.

Гаданье

Снежное поле. Мороз и метель,
Небо затмила высокая ель.

А под бугром деревенька во мгле.
Лампа блеснула в соседнем селе.

В избу девчата ввалились гурьбой,
Облако пара впустив за собой.

Ночь коротка, запоют петухи,
Девки на песню не так уж плохи.

Бабке на печке тужить о грехах,
Девкам пропеть о своих женихах.

Молодость – золото, сила земли!
Глянь на гаданье: у всех короли.

24 ноября 1965 г.

Лукоморье

Обманчива моя строка,
И в ней не высказать всех дум.
Идет-гудет зеленый шум,
И кипень неба высока.

А что там видится вдали,
В полденном небе над бугром?
Летят с заморья журавли,
В поречье им и кров и дом.

О вестники моей весны
И старости моей подспорье!
Моя страна вам Лукоморье,
И с вами дни проведены.

И ваших кличей дальний зов,
И реки выше берегов,
И даль синеющих лесов, —
Родная песнь души без слов.

Крестьянский поэт

Засветилась заря в это утро погожее,
И трава вся в росе, в повители плетень,
На селе только что показались прохожие,
Тени длинные под ноги бросил им день.
Заскрипел журавель, поднялася бадья,
Из ведра просочилась влага,
С криком галочья вдруг пролетела ватага,
И туманы в разъемчивой мгле.
Вдруг пастух продудел на селе.
Стали тени от вётел короче,
Не спеша наступил день рабочий,
На току обмолот, стукотня,
Приучилась к делам ребятня
И отцам помогает умело.
Как люблю я мужицкое дело
И умелую в этом сноровку,
Где солому сложить, где сторновку,
Где лопатой провеять зерно.
Сам я не был в деревне давно,
Хоть слыву я крестьянским поэтом.
Что мне к славе прибавить при этом?
Мою славу ветра не сотрут,
Я прославил усердьё и труд.

О родном и близком¹¹⁶

Пейзаж

Раскричались сорочьи дети,
Росы свежи, утро в холодке.
Рыбаки раскидывают сети,
Кулики просвищут на реке.

Две-три утки пронеслись сторонкой,
Почему-то не охотник я —
И заслушиваюсь песней звонкой,
И хожу без всякого ружья.

Не губить хочу я жизнь живую,
А любить и радостно пылать.
Оттого-то сторону родную
Называю теплым словом – мать!

Я научился писать пейзажи в деревне Щербаковке близ Казани. На берегу голубого озера, где в пучине была такая ясная холодная вода, что гривенник, брошенный за борт лод-

¹¹⁶ Печатается по изданию: *Радимов Павел. О родном и близком: Воспоминания.* М.: Моск. рабочий, 1973.

ки, светился серебряной каплей на песчаном дне, где по краям провала далеко в глубину зеленой бахромой таинственно спускался мох, образуя некий сказочный балдахин, расположилась небольшая, в тридцать домов, деревня Щербаковка, славная своей картошкой и старинными штофными сарафанами.

Там, на высоком обрыве, откуда можно было видеть за пятнадцать верст в одну сторону Казань с кремлем и башней Суюмбеки, в другую – село Высокая Гора с белой колокольней, стояла летняя изба старика Федора Демидовича Степанова, осанистого, с большим лбом и седой бородой, степенного, тихого человека, большого охотника ходить по грибы, в чем я ему был неутомимым и по зоркости глаза счастливым соперником.

Там я прожил семь зеленых лет, спал на верху омшаника под соломенной крышей, где одну жердочку по соседству на все время облюбовали куры-хохлушки, любимицы старухи Даниловны, хозяйки Федора Демидовича. Моими часами был кочет с золотым пером, горлопан на всю улицу, он и будил меня на живописную работу. Его бодрящий крик и жизнерадостность воспел я в одном краткостишии. Старуха Даниловна, бойкая говорунья-сваха, охотница до песен и до нечаянной рюмки, была моей постоянной натурщицей в живописи и в поэзии. Ее простодушные рассказы я перекладывал в гекзаметрические стихи о деревне. Делал я это с большой точностью, упоминая в строках и подлинное имя геро-

ини.

Как-то я зашел на гумно, где молотила семья Степановых, и заметил легкую пересмешку у работников. Я, выведывая названия несложных частей овина для поэмы «Обиход», расспрашивал подробности и увидел, что старик Федор Демидович порывается мне сказать что-то лукавое.

«Да тебе все расскажи, а потом ты и опишешь, как мою старуху описал; про картошку-то она тебе рассказывала, а ты как есть правду описал», – добавил он уже добродушно и поощрительно.

Я не думал, что старик знает про мой гекзаметрический стих «Картошка», который был напечатан в это лето в газете «Красная Татария». Номер этой газеты принес в Щербакровку Даниловне ее внук, узнавший в моем бесхитростном описании точный портрет своей бабушки.

Мне понравилось, что деревенские люди не подивились древнему многосложному размеру и похвалили меня за правду. Эту же правду я искал и в увлекательном для глаза пейзажном деле. Небольшая заводь у леса, образованная хаусом,¹¹⁷ струившим прозрачную голубую воду к мельнице под известковой горой, служила мне всегдашним мотивом. Рядом, на берегу речки Казанки, росла ивовая роща, где пастухи в полдень ставили стадо на стойло, и я присаживался к их костру с этюдником, мольбертом и холстом и писал по несколько дней подряд тихие аркадские виды.

¹¹⁷ Хаус (татарск.) – водоем, мельничная запруда.

Тень живописца Пуссена проходила в моем воображении, слава барбизонцев вставала в моей памяти. Светло-зеленая золоченая краска Клода Моне была разлита всюду по щербаковским долинам. Я много писал темперой по холсту, мне хотелось освободиться от черноты и тяжести в масляной краске.

Писал я все лето, а осенью развешивал эти картины у избы на Степановом дворе, выбирая непременно воскресный день, не рабочий в поле, и сухую погоду. Накануне вечером я писал на листе картона крупным шрифтом об открытии выставки и вешал это на часовне, где бывала всегда сходка и стоял высокий столб с колоколом, снятым за ненадобностью в советское время с монастырской церкви. Утром ко мне приходила толпа односельчан, они обменивались мнениями, грызли семечки и поощряли меня добродушными отзовами.

Эти беседы и любовная критика деревенских жителей помогали мне в живописном мастерстве. Замечания были живые, исполненные непосредственного ума и ясного понимания задач искусства, искусства открывать людям красоту окружающей их жизни.

«Какие красивые места», – говорили сельчане, глядя на картины, где были написаны щербаковские роща, заводь, поле за деревней, степановский частокол на бугре и раскидистая ветла возле мостика на речке Казанке. Другие добавляли: «Да, сами живем тут век, ходим, а не замечаем». Так я

делал в течение семи лет, щербаковцы ко мне привыкли, и, когда я приезжал весной, молодежь спрашивала меня, скоро ли будет выставка.

Трудящийся человек в моих картинах прежде всего видел и ценил труд. Однажды, когда я сидел на щербаковском лугу под зонтом у мольберта, проходивший мимо старик из соседнего села Борисоглебского сказал мне вместо обычного приветствия: «Слава труду».

На моей выставке были и жанровые картины, и портреты деревенской детворы. Останавливал внимание зрителей этюд девочки в бедном, поношенном платьице с большой дыркой на худеньком плече. «Никогда бы так не снялась, – говорила розовощекая девка Аксинья, – сидит, как нищенка». Зато хвалили щербаковские бабы и девки этюд невесты в запоне, сарафане и белой рубашке с кисейными рукавами: «Какая рубашка-то редкая». Степенные мужики также считали своим долгом прийти на деревенскую выставку. Они наряжались в новые пиджаки и картузы и молча ходили возле картин.

Когда я спросил одного пожилого щербаковца, что ему понравилось на выставке, он ответил: «Виды». И посоветовал мне зайти на поляну в Репиховскую рощу и зарисовать там вековую липу: «Под липой дух медовый, а на поляне ягод – ряса рясой». Если велика потребность в пейзаже у деревенского жителя, то еще сильнее она должна сказываться в горожанине. Когда после лета я вешал щербаковские пейзажи

в мастерской друга художников 'Уншлихта, то не раз заходил туда и Ольминский. Он садился в кресло перед пейзажами и молча разглядывал их. Он как бы гулял по зеленым рощам Щербаковки. «Хорошо, что в пейзаже людей нет», – как-то мне сказал Ольминский. Я понял его так: человек иногда хочет быть один лицом к лицу с природой.

Валерий Брюсов

1913 год. Я в Москве. Иду на Мещанскую в гости к Валерию Брюсову. Профессор философии Казанского университета Ивановский после выхода в свет моей первой книги стихов дал мне адреса известных московских писателей. По его адресу я нашел Валерия Брюсова.

Сдержанный, приветливый Валерий Яковлевич знакомит меня с супругой Иоганной Матвеевной. Кабинет весь в книгах. Брюсов спрашивает меня о моей деятельности в Казани. Рассказываю ему, что я преподаватель истории искусств в Казанской художественной школе, участник выставки Товарищества передвижников. Брюсов замечает: «Но ведь члены Товарищества передвижников староваты в искусстве. Кого вы назовете? Бяльницкий-Бируля? Да, он хороший пейзажист. А знаете, кого я люблю больше всего из художников? Рембрандта. Если вы узнаете, где есть в провинциальном музее Рембрандт, я тотчас же приеду в этот город. Гостиницы там есть?» Я обещал это сделать.

В другой приезд, когда я был в гостях у Брюсова, на стене его кабинета висела моя деревенская картина «Сарай», мой подарок Брюсову. Брюсов сказал, что она ему нравится по своим тонам, а о стихах он высказался в журнале «Русская мысль», где напечатал рецензии на изданные в Казани «Полевые псалмы» и «Земную ризу», похвалил строки моих стихов о «старце Никаноре».

Во время беседы я усердно расспрашивал Брюсова о гекзаметре, этим размером была написана моя поэма «Поппида».

В один из вечеров я застал у Брюсова большую группу молодых поэтов. Это были переводчики: он руководил изданием антологии армянской литературы. Брюсов то уходил к ним, то возвращался ко мне. Супруга Брюсова Иоганна Матвеевна приготовила вкусную яичницу, и Брюсов за дружеской беседой угостил меня бутылкой армянского портвейна.

В двадцатом году Брюсов предложил мне выступить на поэтическом вечере в Доме печати. Там я познакомился с Есениным, Кусиковым, Шершеневичем и Мариенгофом. Есенина я любил как поэта, а остальная молодежь была уж очень напориста. Шершеневич, злой на язык, предлагал в шутку своего метра, Валерия Брюсова, так как он якобы уже устарел как поэт, треснуть топором по черепу. Подобные шутки были тогда в моде.

Гиляровский

Я бывал у дяди Гиляя, этого знаменитого москвича, пил чай в Столешниках. В 1914 году я участвовал своей картиной «В избе» на выставке «Современное искусство», где экспонировался портрет Гиляровского, написанный художником Александром Герасимовым. Портрет был написан мастерски: дядя Гиляй в белой рубахе, как запорожец, сидел в плетеном кресле на террасе, освещенный июньским солнцем. Было ли это в Малеевке, известном доме отдыха писателей, – не знаю.

С этих пор началось мое знакомство с Герасимовым и с дядей Гиляем, с которым Герасимов меня познакомил.

Дядя Гиляй подарил мне свою поэму «Стенька Разин», а я ему только что изданную в 1914 году мою книгу «Земная риза». На книге, подаренной мне, Гиляровский написал:

Радимову П. А. Художнику и поэту.

Пиши, рисуй и вдохновляй,

Чернил и краски не жалея.

В день молодого юбилея

Привет тебе!

Старик Гиляй

Чай в Столешниках был вкусен, а беседы об искусстве интересны и разнообразны. Здесь я познакомился с искусственно-

ведом и талантливым критиком В. М. Лобановым. В беседах принимала участие жена В. М. Лобанова, дочь Гиляровского.

Я не просто был знаком с Гиляровским, он оказал на меня творческое влияние: с легкой руки дяди Гиляя я начал часто писать шуточные, дружеские экспромты. Вот стих тогдашнему президенту Академии художеств Александру Михайловичу Герасимову:

Дорогой мой президент!
Я в торжественный момент
Говорю с тобой, как Паша,
В АХРРе жизнь сошлася наша.

Другой экспромт был адресован Борису Иогансону. Он является моим ответом на жестокую дискуссию о пейзаже. Подумать только, в споре о пейзаже мы, старые ахровцы и молодые рапповцы, которых было очень трудно убедить, дошли до здания Реввоенсовета, зашли в кабинет к Клименту Ефремовичу Ворошилову – с вопросом, можно ли в нашу пролетарскую эпоху писать пейзажи.

Об этом и говорится в моем экспромте, посвященном народному художнику Борису Иогансону:

В Абрамцеве я видел сон:
Сидел со мной Иогансон,
Художник СССР народный.

Водил он кистью благородной
И тихий вид живописал.
С вопросом я к нему пристал:
«В картинах пишешь ты людей,
Кой черт от неба и ветвей?»
На слово мастер был речист:
«Я истый чистый пейзажист».
Сказал, умолкнул, и объятья
Мы заключили с ним, как братья...
И въявь скажу тебе, Борис:
«Век за тематику борись!..»

Экспромт художнику Аралову:

Довольно нам художников маралов,
У нас есть пейзажист Аралов.

О Маяковском

Маяковского я впервые увидел на лекции футуристов в Казани в зале Дворянского собрания в 1912 году.

Зал был полон молодежи и солидных представителей дворянства. Новые поэты – Маяковский, Бурлюк и Каменский «давали пощечину общественному вкусу». На эстраде стоял широкий стол, на нем стаканы с чаем. Поэты сидели за столом перед публикой и тихо позвякивали ложками, по очере-

ди выходили к кафедре и читали стихи. Бурлюка, учившегося раньше в Казанской художественной школе, я знал как хорошего пейзажиста, его картины были вывешены в классах Казанской школы как художественные экспонаты. Теоретически в этот вечер Бурлюк доказывал, что автомобиль красивее, чем тело Венеры Милосской. Он показывал снимки автомобиля, не помню какой марки, и фотографию статуи Венеры Милосской. Слушателей ему убедить не удалось. Не удалось Бурлюку и увлечь слушателей своими стихами: «Небо труп, звезды труп, земля труп...»

Превосходно читали стихи Каменский и Маяковский.

С Маяковским я встретился через много лет на лестнице в газете «Известия». После рукопожатия Маяковский мне предложил: «Радимов! Делайтесь футуристом!»

В те годы я с группой друзей-художников организовывал АХРР.

На диспуте в Леонтьевском переулке я прочел доклад «Быт в живописи». Сторонники беспредметного искусства встретили мой доклад в штыки. Поддерживал меня в этом споре Касаткин. Был на этом диспуте и Маяковский, но, не дослушав речи Касаткина, ушел. После диспута в коридоре ко мне подошел Осип Брик и начал упрекать, зачем я воскрешаю покойников, мертвецов-передвижников.

Затем я встретился с В. Маяковским в траурные дни похорон Владимира Ильича Ленина, я писал этюд из окна Исторического музея. У другого окна стоял Маяковский и смот-

рел на траурную процессию: склонив знамена, шли войска.

Незадолго до смерти поэта я видел его в Доме Герцена, в ресторане. Он сидел за столом недалеко от меня с какой-то женщиной. На лице его не было улыбки.

И последнее свидание с народным поэтом было у гроба.

Встреча с Максимом Горьким

Писатель Леонид Максимович Леонов при одной встрече показал мне письмо Горького к нему, Леонову. Горький писал, что хотел бы видеть вышедшую в то время книгу моих стихов «Деревня». Он просил Леонова сообщить об этом мне, автору, по его словам, «интереснейшей «Поппиады». По совету Леонова я тогда же послал свою книгу стихов Максиму Горькому в Италию, в Сорренто.

Прошли годы, я любил и читал Горького, но с ним ни разу не встречался. В первый приезд Горького в Москву из Италии я был уже москвичом, покинул Казань, занимался общественной деятельностью, был одним из организаторов Ассоциации художников революционной России и председателем Всероссийского союза советских поэтов. Последняя организация существовала недолго, но, когда в Москву приехал Максим Горький, мне было прислано приглашение как председателю Всероссийского союза советских поэтов, присутствовать на совещании у Луначарского.

Я был очень рад встретиться с Горьким. Когда я пришел,

Горького еще не было, но собравшиеся знали, что он придет. Луначарский начал заседание, а я положил на стул рядом с собой портфель в надежде, что, когда Горький войдет, я сниму с соседнего стула портфель и Горький сядет рядом. Немного спустя открылась дверь – и вот он, Горький!

Высокий, костистый, с бобриком на голове. Я принимаю со стула портфель, Горький садится рядом. Но как отрекомендоваться ему? Пускаюсь на новую хитрость. Пишу Горькому записку: «Дорогой Алексей Максимович! С Вами рядом сидит Павел Радимов». Лодочкой-ладонью подсовываю по столу эту записку к Горькому. Горький наскоро пробегает ее глазами. Вот он неожиданно повернулся, моя рука в его руке, говорит окающим баском: «Какой вы еще молодой! Знаете, где мы читали вашу «Поппиаду»? В Сорренто. Знаете, кто читал? Шаляпин!» Я был смущен.

Моя поэма в гекзаметрах «Поппиада», имевшая много лестных отзывов в прессе, была напечатана во втором сборнике моих стихов – «Земная риза» в Казани в 1914 году. Молодые годы Горького и Шаляпина, как известно, тоже прошли в Казани. Горький работал пекарем в булочной, а Шаляпин был писцом в духовной консистории. Они дружили и подрабатывали пением в хоре церкви Святого Духа, что в Суконной слободе. Регент принял их в хор с условием, что они будут петь разными голосами. Поэтому в церкви Святого Духа Горький пел басом, а Шаляпин тенором.

Редкое для меня мгновенье кончилось. Горький и я сиде-

ли за столом и мирно слушали блестящую, как всегда, речь Луначарского. Прощаясь, Горький пригласил меня в гости для беседы на квартиру в Машков переулок. Я захватил с собой три живописных этюда темперой на ватмане: «Хоровод в деревне Щербаковке под Казанью», «Девушка» и архитектурный этюд собора Василия Блаженного.

Первая беседа началась со стихов. Горькому нравились мои деревенские гекзаметры, он упомянул, что ему из этого цикла нравится стихотворение «Брань», где в горячем споре, пока стелют холсты, сошлись две горячие на слово и словцо кареглазые молодки:

...грудью подались вперед,
то и гляди, что заденет какая другую под локоть,
обе, как порох, сошлись, обе на кровь горячи.

Кофе хозяину и мне принесла сноха Горького, я знал, что она успешно занимается живописью, и я при ней показал Горькому свои этюды.

Горький крупными шагами заходил по комнате, память о знакомых местах под Казанью вызвала легкую поволоку в серых внимательных зорких глазах.

Он попросил: «С этюда «Хоровод» напишите большую картину, а этюд мне продайте!» Горькому я подарил этюд собора Василия Блаженного, а картину «Хоровод» я писал долго и закончил уже, к сожалению, после смерти Горького.

Никитина Евдоксия Федоровна

Каждому приходится мириться с тем, что ему не остановить время. Через год с небольшим мне будет уже восемьдесят лет. Просматривая залежи в своем письменном столе, я нахожу пожелтевший давний пригласительный билет от литературного общества «Никитинские субботники»... 390-е заседание.

П. А. РАДИМОВ

XV лет в литературе и живописи

1912–1927 гг.

Организатор этого общества мой друг и друг многих русских литераторов Евдоксия Федоровна Никитина.

Программа вечера:

1. Выставка картин П. А. Радимова.
2. Проф. А. А. Сидоров. Радимов как художник.
3. Проф. П. С. Коган. Поэзия Радимова.

Напечатан на билете каталог выставки картин П.

А. Радимова (АХРР) 1912–1927 годов из цикла «Деревня».

В доме Евдоксии Федоровны Никитиной, по словам писателя К. А. Федина, «собран нигде и уже никогда неповторимый материал по истории советской литературы, с ее возникновения до наших дней...».

В квартире дома № 14 по Вспольному переулку все необычно: и тесные ряды книжных шкафов и стеллажей, до отказа набитых пухлыми папками, картинами, альбомами, пакетами, и кипы бумаг и свертков, что громоздятся штабелями на столах и по углам комнаты, и стены, сверху донизу увешанные картинами, рисунками, гравюрами...

Привлекают внимание первые посмертные маски В. Маяковского, С. Есенина. Рядом – уникальная вещь пушкинской эпохи: чудесные настольные часы, когда-то украшавшие гостиную дома в Полотняном Заводе – вотчине Гончаровых, родителей жены Пушкина. Словом, в этой до предела заставленной комнате, где действительно яблоку негде упасть, находятся и на виду и под «замками» огромные культурные богатства. Мы говорим об интереснейшем, представляющем значительную литературно-историческую ценность собрании Евдоксии Федоровны Никитиной, – собрании, материалы которого накапливались ею на протяжении почти полувека.

В 1920–1931 годы Евдоксия Федоровна Никитина возглавляла в Москве издательство художественной литерату-

ры. На «Никитинских субботниках», организованных по ее инициативе еженедельных субботних вечерах издательства (отсюда название «Никитинские субботники»), бывали известные литераторы, художники, актеры, музыканты, ученые.

Огромное количество рисунков, дружеских шаржей на писателей было создано на «Никитинских субботниках» их участниками – Е. Лансере, К. Юоном. Особенно много вещей Кукрыниксов, и все это, нигде не опубликованное, оставалось в никитинском собрании, так же как рукописи и книги с автографами.

Евдоксия Федоровна Никитина передала свое собрание в дар государству. А ныне это собрание превращено в филиал Государственного Литературного музея. Пожизненным хранителем назначена Евдоксия Федоровна Никитина – старый литератор, член Союза писателей СССР.

Полвека встречаясь на путях жизни как поэт и как художник с Евдоксией Федоровной Никитиной, я знал ее привычки, страсти и увлечения. Одна у нее была сильная, неистребимая страсть – собирать коллекции рукописей, или, что то же, создавать широкий по размерам литературный и живописный архив. Я сам грешил страстью устраивать и устраивал художественные выставки без конца. За свои годы я сделал не меньше пятидесяти выставок. Об одной из них мой теперешний рассказ.

В этой страсти мне помогала и неугомонная Евдоксия Фе-

доровна. Эта выставка должна была быть по ее предложению в Музее изящных искусств. Никитина была в дружбе с главной администрацией музея. Главный зал на втором этаже был в моем распоряжении. Все было решено, утверждено и одобрено домашней непридирчивой комиссией.

Евдоксия Федоровна по-своему скомпоновала повестку, или, вернее, пригласительный билет вечера, посвященного открытию выставки:

1. Выставка художника Павла Радимова, картины Родины.
2. Литературный вечер Павла Радимова, участвуют Качалов и Москвин.

Широкая программа привлекла многочисленных зрителей и слушателей. Качалов, с которым я несколько раз встречался, на этом вечере не мог быть по болезни, он был заменен Аксеновым. А Москвин Иван Михайлович пришел, но шепнул мне на ухо при входе: «Я никогда не читал стихов, но тебе по дружбе прочту какую-нибудь маленькую прозаическую вещицу».

В те годы у меня в сборнике антирелигиозных рассказов была напечатана миниатюра «Панихида». В ней было мало скорби и много добродушного юмора. Москвин сел на лестнице: «Дай книжку!» Я дал знаменитому чтецу свой рассказ.

Боже мой! Что он, волшебник, с ним сделал! Я ему прощаю множество фраз, которых я в жизни никогда не писал. Он читал блестяще, он был на высоте, хохот перекатывался

по рядам стульев.

После концерта и выставки был домашний вечер. Деятельное участие в нем принял тогдашний редактор «Известий» Иван Михайлович Гронский. Для гостей он любезно предоставил свою широкую квартиру в Доме Правительства. На вечере выступил известный тенор Николай Николаевич Озеров, мой однокашник по духовной семинарии в Рязани и по Казанскому университету. Он спел романс, написанный композитором Г. Медведевым на мои слова «Журавли». Среди писателей был и Павел Васильев.

В тот вечер все были молоды, стихи и песни лились без остановки, из-за стола мне хлопала в ладоши уважаемая Евдоксия Федоровна, при чьем участии огни вечера разгорались сильнее и сильнее. Даже я сам простил себе свою дерзость, что собрал без основательной причины столько народу.

Вчера я только перевернул страницы изданной обо мне в издательстве «Советский художник» художественной монографии. На последних страницах я прочел список устроенных мною художественных выставок, начиная с деревни, с деревенского двора, с избы-читальни, с советской чайной, с музеев русских городов до музеев Москвы – итог для меня внушительный. Я думаю, что это были незаметные, но крепкие камни нашего дорогого искусства.

Следуя этим заветам, я буду и в восемьдесят лет, и по-

сле восьмидесяти работать для искусства и говорить о нем. Оружие советских художников и поэтов – кисть и слово. Этим мы отгоняем во мрак прошлого призраки бесчеловечной войны. Пусть же Солнце, встающее с утра, не устанет светить над миром и просторами нашей Родины.

К.Ф.Юон
1875–1958 гг.¹¹⁸

Москва в моем творчестве

Когда в юные годы мне приходилось вступать на почву Московского Кремля, мною овладевало большое душевное волнение. Не было понятно, почему я так волновался, и, вместе с тем, казалось, что причин для этого много, что они большие, сложные и глубокие.

Чувство глубокого подъема, повышенного душевного состояния и повышенной работы воображения меня до сих пор всегда охватывает при соприкосновении с памятниками древней архитектуры, как живой свидетельницы исторических событий народной жизни, борьбы, страданий и радостей родного народа.

Теперь, на склоне лет, я стал яснее видеть причины тех переживаний, которые безотчетно меня потрясали в юные годы; сейчас мысль работает конкретнее, лучше осознаешь и воспринимаешь факты истории. Современная действительность научила глубже проникать в прошлое народной жизни,

¹¹⁸ Печатается по изданию: Юон К. Ф. Москва в моем творчестве. М.: Советский художник, 1958.

она же научила сознательнее смотреть и в будущее.

Архитектура, в формах которой всегда выражались мысли, стремления, чувства народов, и сейчас призвана в лучших своих творениях быть тем маяком для грядущих поколений, каким для русских людей с веками становился, а в настоящее время еще больше стал Московский Кремль, являющийся теперь символом дружбы народов всех стран.

Московский Кремль, многовековой центр столицы, образует как бы сердце и разум нашего народа, он сосредоточил в себе память о всем пережитом, о борьбе и победах, он горделиво говорит о достоинстве, о великой красоте помышлений создавших его русских людей.

Художественные формы древней кремлевской архитектуры свидетельствуют о любви ее создателей к прекрасному, о желании навечно воплотить в незабываемых образах свои возвышенные чувства и передать их поколениям далекого будущего.

Чем ярче выражен национальный характер искусства, тем больше к нему интерес других народов. Древние камни красноречиво повествуют в прекрасных формах искусства о самых высоких идеях своего времени, о способностях ума и сердца своей нации, о глубинах ее душевной жизни. Перекликаясь с вековыми архитектурными памятниками народов разных стран, Московский Кремль являет собой неповторимо уникальный вклад в сокровищницу мировой человеческой культуры. Памятники архитектуры и живопись их

интерьеров, отражающие политическую, военную и общественную стороны народной жизни и выдержавшие испытания веков, говорят о высоких взлетах национальной творческой мысли; они являются одновременно вдохновляющим примером и отправной базой для творческих дерзаний будущих поколений.

Такие чувства и мысли возбуждались и возбуждаются во мне при соприкосновении с древней художественной архитектурой, и в частности с наиболее мне понятными формами Московского Кремля.

Мне трудно говорить о моих работах, посвященных воспроизведению Кремля, Красной площади и иных частей Москвы, оторвано от других аналогичных произведений, сюжетом для которых послужили исторические города бывшей русской провинции, и даже от моих изображений русского пейзажа.

Все их объединяет моя любовь и привязанность к родной стране, к моему народу, к его истории и его живой современности. Единый национальный колорит, единые черты народности роднят жизнь столицы и ее провинций, жизнь русского народа с русской природой. Общим стилем и характером объединены русские города, в которых я много работал: Новгород Великий (ныне г. Новгород), Псков, Киев, Ростов Великий (ныне г. Ростов), Троице-Сергиева лавра (ныне г. Загорск), Нижний Новгород, Суздаль, Торжок, Владимир и др.

Я родился в 1875 году, в Москве, на 4-й Мещанской улице, близ Садового кольца, где прожил первые пять лет своей жизни в типичном для 70-х годов двухэтажном доме с просторным садом из старых вязов, с цветочными клумбами и скамейками.

Этот дом был написан масляными красками другом родителей, талантливым любителем живописи А. М. Солодовниковым в подарок моей матери. Я постоянно видел эту картину висящей на стене столовой комнаты нашей квартиры. Художник отлично передал колорит 70-х годов прошлого века в красках и стиле дома и сада на тихой московской улочке. Он изобразил миниатюрные фигурки моего отца, беседующего в саду, за столом, со своим знакомым, матери, спускающейся в сад с лестницы балкона первого этажа, сестренки и меня – в окне, на руках у кормилицы в кокошнике. Можно заключить, что мне довелось на первом году жизни увидеть палитру живописца с выложенными на ней цветистыми красками и прельститься ею на всю свою жизнь. Когда мне было семь лет, я стал уже рисовать, и тот же любитель научил меня основному закону перспективы.

Первые впечатления, воспринятые мной от Москвы и московской жизни в самые ранние годы, были уютные московские переулочки на Мещанских улицах с обилием садов и церковей.

Тишина нарушалась здесь лишь изредка проезжавшим извозчиком или голосом разносчика, гроыхавшей по бу-

лыжной мостовой телегой или ассенизационным обозом, который оглушал своим нестерпимым грохотом. Поблизости от нашего дома была Сухаревская площадь со знаменитым Сухаревским рынком и возвышавшейся посреди Сухаревой башней.

С детства, как я это сейчас понимаю, мне запала в душу какая-то особая простота московской жизни, примитив ее уклада, однако, вместе с тем, и какая-то особая задушевность, теплота чувства, то ли сердечная доброта в людских отношениях. Гораздо позднее, в зрелые годы, я вновь ощутил эту запавшую в душу с детства чисто русскую теплоту чувств: она согревала зрителя в портретах лучших русских живописцев XVIII и XIX веков: Боровиковского, Левицкого, Рокотова, Аргунова, Венецианова, Кипренского, Брюллова и других.

Отроческие годы моей жизни пришлось прожить на Лефортовской окраине Москвы. Эти годы в значительной мере определили мой будущий путь живописца. Лефортовская окраина, как известно, богата историко-архитектурными памятниками петровского времени, она насыщена историческими преданиями о детстве Петра I и в значительной мере связана с его последующей жизнью и деятельностью. Мое пристрастие к архитектурным памятникам родилось именно в Лефортове в отроческие и юношеские годы. Лефортовский дворец и при нем Лефортовский парк, расположенный на берегу реки Яузы, с обилием каналов, мостиков через них, ру-

ин, гротов позднейшего – екатерининского времени, с беседками начала XIX века стали первыми объектами моих живописных упражнений. Я не раз писал так называемый «Дворцовый мост» через реку Яузу, на которой молодой Петр строил свой первый ботик. Бывшая при Петре I Немецкая слобода, превратившаяся позднее в Немецкую улицу, древняя немецкая церковь (кирка) петровской архитектуры, Преображенская площадь близ реки Яузы, находящаяся на месте бывшего здесь села Преображенского, в котором юный Петр формировал свои «потешные полки», более поздний по архитектуре Анненгофский дворец на самой окраине столицы и многое другое дышало историей и питало воображение.

Вместе с увлечением памятниками русской архитектуры, естественно, углублялся интерес к историческому прошлому родной страны, к исконному быту и укладу жизни русского народа, к народным традициям, к поэтическому национальному колориту всей русской жизни.

Углублению моего интереса к Москве и ее историческим богатствам в значительной мере способствовали прочитанные в школьном возрасте замечательные исторические романы Загоскина, Лажечникова, А. К. Толстого и других авторов. В этих произведениях была показана жизнь старой Москвы, жизнь в Кремле, на Красной площади – центре города, всегда бушевавшем и кипучем. Стали излюбленными прогулки в Кремль и вокруг него. Я изучал Москву-реку и ее приток Яузу. Воображение рисовало жизнь прошлых времен

на берегах этих рек, волнуя ум и сердце. Вместе с тем, другое мое увлечение в молодые годы, заключавшееся в пристрастии к рисованию и живописи, требовало своего развития и влекло к изучению живой природы. Мои первые рисунки и этюды маслом были сделаны в Лефортовском парке; дома же я писал предметы домашнего обихода. Заниматься композицией тогда не решался, для этого еще не хватало умения и опыта. Однако все воспринятое с детства от древней Москвы и Кремля впоследствии мне сильно пригодилось и получило свое творческое претворение в ряде моих картин и декораций театральных постановок.

После окончания реального училища я поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, намереваясь стать архитектором. Начальный курс был общим для всех трех отделений: там только рисовали. Находясь в училище, я имел возможность видеть работы учеников старших курсов живописного факультета, которые так меня пленили, что я, уже не задумываясь над выбором профессии, твердо решил стать живописцем.

В годы учебы в Училище живописи, ваяния и зодчества я не раз совершал поездки по Оке и Волге, видел Тверь, Ярославль, Кострому, Углич, Нижний Новгород и другие города, изобилующие древними архитектурными памятниками, с оживленными базарами, с живой прибрежной сутолокой около пристаней. Плененный красотой этих древних русских городов, я чувствовал их органическую связь с Москвой,

вначале – как с историческим соперником, а затем – как со своей столицей. Больше всего захватил и ошеломил меня необычайный колорит народной архитектуры, он поражал цветистыми сочетаниями красок и форм древних церквей и колоколен, пестрых, веселых, наивно-провинциальных раскрашенных домиков и расположенных рядом с ними садов с темной зеленью старых лип и дубов. Меня привлекали и гористые пейзажи с извилистыми дорогами и светлыми лужайками. Над таким уютным красочным мирком нередко возвышались древние каменные стены с бойницами и башнями древнего кремля или монастырей. В этих своеобразных картинах сочетались хранившие свое былое величие остатки архитектурных форм прошлого, в которые было вложено много художественного чутья и народного понимания красоты, с окружающей природой. То же солнце, своим живительным светом некогда озарявшее древние каменные стены, по-прежнему светит и нашим современникам – потомкам ушедших поколений.

В этих живописных городках я обрел для себя тему живописи, которая в воображении органически срасталась с впечатлениями, воспринятыми от Москвы и ее Кремля, с московским духом жизни, определявшим собой единый характер и стиль народного быта и нравов всей северной и средней полосы России. Однако к Москве я обращался много раз, вплоть до последних дней, всегда с новыми целями и чувствами, всегда находя в ней новое содержание и новые

черты. Мои ранние работы над московскими мотивами были первыми исканиями «самого себя» в искусстве.

Написанные мной картины о Москве можно разделить на несколько циклов, из которых каждый занимал меня более или менее длительное время. Среди них самый ранний – ученический цикл составляли сценки из жизни московских окраин. Ко второму циклу можно отнести картины ночной Москвы – «Московские ноктюрны». Третий круг произведений раннего периода охватывает виды Кремля, Красной площади, и в частности собора Василия Блаженного. Значительно позднее появился цикл картин и театральных постановок на темы древней Москвы и, наконец, мои последние работы, посвященные изображению новой Москвы.

Для раннего периода моего художественного пути было свойственно непосредственное воспроизведение природы, когда я, намеренно отказываясь от творческой работы в мастерской, стремился изучить законы изображения окружающего мира в различных условиях света и пространства. При этом с особым вниманием я работал над материалом полюбовавшихся мне древних городков русской провинции, считая передачу их неповторимого характера и «живость» изображения важнейшими художественными достоинствами произведения живописи.

Для работ второй, более зрелой половины моей художественной жизни типичным является творческий подход к решению поставленных задач, стремление к обобщениям и к

идейной целенаправленности.

Сейчас я не вижу противоречий между задачами дней юности, которым более свойствен анализ, и задачами зрелого возраста, носящими характер обобщений. По существу, эти задачи никогда не следует разъединять, а, наоборот, их необходимо соединять и связывать. Причина этого кажущегося противоречия в том, что в юные годы художник обладает еще недостаточными навыками, знания его ограничены, впереди еще путь исканий, тогда как в зрелом возрасте накопившийся опыт дает ему возможность мыслить обобщенно и действовать целенаправленно. Характерным примером моих работ раннего периода могут служить полотна: «За Дорогомиловской заставой», «Лавочка съестных припасов», «Искатели на свалках», «Мальчик с собакой», «По ночной Москве», «Ночь. Пивная на Смоленском рынке», «Ночь. Тверской бульвар», «Тройка у старого Яра», «Заутреня в Кремле XVII в.», «Красная площадь в лунную ночь».

Наиболее типичные позднейшие работы: «Вид Кремля», «Собор Василия Блаженного (от Варварки)», «У Новодевичьего монастыря».

К композиционным произведениям следует отнести: «Москворецкий мост зимой», «Гулянье на Девичьем поле» (написана к 800-летию Москвы), «Кормление голубей на Красной площади», «Первомайская демонстрация на Красной площади в 1929 году», «Военный парад на Красной площади 1929 г.», «Утро индустриальной Москвы», «Парад на

Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года», «Вузовцы», «У нового университета» и др.

В Московском училище живописи, ваяния и зодчества в годы моего учения были организованы лекции, которые читали профессора Московского университета. Особой популярностью у студенчества пользовался профессор русской истории В. О. Ключевский. В лектории обычно не хватало мест для всех желающих его послушать, так как присутствовали не только учащиеся, но и весь преподавательский состав. Сам Ключевский однажды сказал, что ни одна аудитория не удовлетворяла его так глубоко, как слушатели Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Ключевский читал живо и содержательно, он умел доходчиво, образно осветить исторические события и факты из прошлой и современной ему жизни русского народа. Его проникновенные слова западали в душу, будили воображение и вызывали патриотические чувства. С особенным интересом я слушал его лекции о событиях, происходивших в Москве, и об исторической роли русского народа, боровшегося за свою судьбу, свободу и независимость. Благодаря Ключевскому я еще больше полюбил памятники истории.

Были у меня встречи и с другим крупнейшим русским историком – И. Е. Забелиным, который иногда приходил на собрания Общества друзей старой Москвы, регулярно проводимые в Историческом музее. Забелин, лучший знаток Москвы, является автором большого труда по ее истории.

Постоянным посетителем и одним из самых активных членов Общества друзей старой Москвы был А. М. Васнецов. Он принимал личное участие в археологических раскопках Москвы, производимых в местах нового строительства или ремонтных работ, нередко делал сообщения об этих раскопках на собраниях общества. Васнецов был фанатично предан духу старой Москвы и прекрасно ее знал. Его художественные работы, в которых он воскрешает облик старой Москвы разных периодов, производят впечатление выполненных непосредственно с натуры. Они настолько убедительны и правдивы, что могут служить буквально документами о прошлом времени.

Удивительно, что многие русские ученые-патриоты не только своими особыми душевными качествами, образом мышления и целостностью всего своего духовного существа являлись носителями характерных черт русской народности, но они даже во внешнем облике сохранили типические черты передовых людей XVII века – эпохи высокого развития русской национальной культуры и народного искусства. Таковы были Ключевский, Забелин и братья Васнецовы, таковы же по духу и складу характера были великие русские художники А. Иванов, Репин, Суриков и Серов.

Убедительные своей правдивостью работы Репина, Сурикова, братьев Васнецовых, поэтические картины Рябушкина производили сильнейшее впечатление на выставках. Казалось, что вернее и лучше их написать нельзя.

Горячо любя русское народное искусство, я не стал в своих работах композиционно перерабатывать материалы архитектурных и других национальных памятников старины, а решил изображать их в ярком, сияющем свете, реально и осязательно. У подножья сооружений, сотворенных нашими предками, я рисовал живых потомков создателей этой прекрасной архитектуры. Изображение русских людей нашей эпохи на фоне древних архитектурных ансамблей мне представлялось вполне органичным и художественно убедительным. Для будущих поколений эти современные нам живые картины должны стать такими же историческими документами о жизни народа, какими для нас, например, являются рисунки городов и сел, народных типов и костюмов, сделанные в XVII веке художниками, сопровождавшими немецкого посла Мейерберга во время его путешествия по России.

Время с большой быстротой меняет облик городов и сел. В период Великой Отечественной войны и послевоенного строительства успели в корне измениться, а иногда и полностью исчезнуть многие объекты моих живописных трудов: здания знаменитой Нижегородской ярмарки превратились в склады и амбары; на месте бывшей «Сибирской пристани» сооружен большой речной порт со сложной системой погрузочных и подъемных кранов. В годы Отечественной войны древний город Торжок более чем наполовину разрушен вражеской авиацией. Ярославль лишился многих своих древних храмов еще в гражданскую войну. Значительно пострадали

от чужеземной интервенции Новгород и Псков. В Московском Кремле, превращенном теперь в музей, реставрированы древние храмы, появились новые государственные сооружения.

Изменились быт, торговля и обряды городов бывшей русской провинции и самой Москвы с тех пор, как мне приходилось изображать их на своих полотнах. Большинство картин, написанных мной в первой половине творческого пути, стали уже документами об ушедшей жизни и быте.

Одна из многочисленных миссий художника заключается в том, чтобы быть летописцем своего времени, запечатлеть лицо родной страны и ее людей определенного исторического периода.

Таковыми летописцами русской жизни в большинстве своих произведений, особенно в портретах, были гениальный Репин и Серов, таким был Верещагин в своих батальных картинах, такими были Шишкин, Саврасов и Левитан, изображавшие русскую природу.

Большинство людей всегда более всего интересуются окружающей их действительностью и, естественно, более всего любят живую жизнь, данную им самой природой, как ничем не заменимое «счастье бытия». Должен признаться, что и я любил окружавший меня живой мир, жадно всматривался в каждое новое явление, поражавшее меня, будь то редкое солнечное освещение или впервые увиденная картина праздника, гулянья или свадебного обряда.

В старой, современной мне, но теперь уже ушедшей Москве в течение длительного времени я особенно прельщался картинами народной жизни в самых разнообразных ее проявлениях. Темами моих работ были «Масленичное катанье», «Вербный базар на Красной площади», «Кормление голубей на Красной площади», «Гулянье на Девичьем поле», «Москворецкий мост зимой». Ряд произведений на аналогичные сюжеты был написан в подмосковной деревне Лигачево (Химкинского района), с которой я тесно связан начиная с 1910 года и до последнего времени. Там мной было создано несколько вариантов «хороводов» и праздничных гуляний, большая картина «Пляска свих», картины «Девичник» и «Семья», а в советское время – «Сестры-комсомолки», «Подмосковная молодежь», «Молодые – смех», «Инструктаж колхозниц» и др.

Живя в Москве, я часто бывал на Девичьем поле (теперь превращенном в большой сквер-сад), проводя там иногда буквально целые дни. Интересно отметить, что все бывшие на этом обширном песчаном пространстве постройки затевались и выполнялись по инициативе самого народа: балаганы, карусели, так называемые «американские горы» со скользящими по рельсам вагонетками (в Америке аналогичный аттракцион назывался «русскими горами»), цирки, эстрады, торговые ларьки с мороженым и напитками, открытые и закрытые песенные павильоны, где в самодельных национальных костюмах выступали смешанные хоры под акком-

панемент импровизированных оркестров. Эти артисты и артистки обычно жили в переулочках и улицах, прилегающих к Девичьему полю. Все свое время они отдавали артистической деятельности.

Перед балаганными театрами, где в основном ставились пьесы на патриотические темы (например, «1812-й год»), находились кассы с висевшим около них колоколом, который извещал о начале представления. Специальные глашатаи рекламировали спектакль и зазывали гуляющих посмотреть его. На эстраду перед театром выходили исполнители ролей в костюмах и гриме с целью заинтересовать и привлечь зрителей.

Собранный мной обильный материал из жизни Девичьего поля остался, к сожалению, далеко не использованным.

На основании этого материала и небольшой акварели на аналогичную тему к выставке, посвященной 800-летию Москвы, я написал картину «Гулянье на Девичьем поле». К этой же юбилейной выставке мной было написано другое произведение, изображающее кормление голубей на Красной площади. Этот обычай, исстари установившийся в Москве и доживший у нас до октябрьских дней, существовал и поныне существует во всех европейских столицах и многих других городах Европы. Особенно он популярен в Венеции. Прирученные голуби с полной доверчивостью садятся на руки, плечи и даже на голову кормящих их людей. Сейчас этот красивый обычай вновь возродился в Москве – на

Манежной площади, в тихих Петровских линиях и других местах.

С большим интересом я писал сценку из московской жизни – «Тройку у старого Яра». В картине изображена подлетевшая к подъезду известного ресторана взмыленная лихая тройка, запряженная в широкие сани, крытые малиновым бархатом, из которых выходит солидный мужчина со своей дамой. Над подъездом светит ослепительный фонарь, окна ресторана блистают разноцветными стеклами, освещенными изнутри. Старый загородный ресторан «Яр» в Петровском парке со знаменитым цыганским хором был излюбленным увеселительным местом москвичей. Преимущественными посетителями его были представители богатой московской буржуазии (купцы, фабриканты и др.). Там проводила время и значительная часть интеллигенции, чиновничества и военных. По преданиям, в «Яре» любил бывать А. С. Пушкин; известно также, что туда часто наезжал С. В. Рахманинов – в дни, когда он работал над своей дипломной оперой «Алеко»: дружба с цыганами была нужна композитору для осуществления своих творческих замыслов.

Меня лично работа над «Яром» очень интересовала с живописно-технической стороны. Чудесное смешение света от белого фонаря и разноцветного стекла окон с морозной пылью от подкативших саней, с паром, валившим от фигур и из ноздрей разгоряченных лошадей, рождало целый вихрь вибрировавших красок редкого звучания. Это давало простор

своеобразной технике масляной живописи и одновременно пробуждало не лишнее поэзии настроение.

Будучи реалистом по природе, я всегда невольно подмечал не только привлекательные, парадные, но и отрицательные стороны жизни (как бы ее изнанку), которые особенно сильно овладевали моими мыслями как существовавший факт, как, казалось, грустная житейская неизбежность. Тяжелое, мрачное чувство испытывал я, видя несчастных людей.

Интересуясь московскими окраинами, где жизнь бедноты заметнее и понятнее, чем в центре города, я нередко наблюдал поражавшие меня сценки.

Помню, за одной из московских застав находились мусорные свалки. Я замечал, как туда всякий день приходили странные фигуры, в рваных одеждах, с палками, и подолгу шарили в мусоре, мечтая найти в нем «жемчужное зерно». Я не знал, что именно привлекало этих несчастных к свалкам, однако происходившее произвело на меня такое впечатление, что этой теме я посвятил свою раннюю московскую картинку под названием «Искатели на свалках».

В другой моей работе этого же периода изображена расположенная на окраине Москвы примитивная деревянная лавочка со съестными припасами (вплоть до горячих сосисок). Перед лавочкой – фигура бледного, голодного человека в истрепанном пальто, жадно всматривающегося в съестное.

Иными по содержанию, но аналогичными по духу бы-

ли более поздние произведения (ноктюрны) на тему ночной Москвы. Такова, например, композиция «Кафе на Тверском бульваре» с таинственными силуэтами фигур, выступающих на фоне рассыпавшегося звездой света от яркого фонаря кафе. Ей близка и небольшая картина, на которой представлены две пары мужчин и женщин, стоящих перед входом в пивную и о чем-то спорящих. За ними тянется уходящая вглубь, в темноту, длинная вереница фонарей Смоленского рынка и Садово-Кудринской улицы. К числу московских ноктюрнов относится и «Тройка у старого Яра».

В подмосковной деревне Лигачево мной была написана большая картина «Пляска свах», которая отражала укоренившийся в деревне обычай для новобрачных – после свадьбы обходить с ближайшими родными присутствовавших на ней гостей. Такое шествие обычно возглавлялось пляшущими свахами, поющими во весь голос непристойные частушки; эта церемония совершалась неизменно в хмельном состоянии.

Однако подобные сюжеты меня привлекали лишь изредка, в виде исключения; по преимуществу же я искал в окружающей реальной действительности выражения бодрого, красочного колорита русской народной жизни и красоты родной природы.

Мой художественный путь в целом был лишен каких-либо значительных колебаний. Мимолетные сомнения в правильности его не были органичными, а скорее наносными, наве-

янными модными увлечениями и свойственным молодежи стремлением к новому во что бы то ни стало. Так, сильное влияние в молодые годы на меня оказали, с одной стороны, петербургские художники, которые группировались вокруг журнала «Мир искусства» и проповедовали необходимость поисков «новой эстетики» и «нового искусства». С другой стороны, в моем раннем творчестве некоторую роль сыграло импрессионистское течение, шедшее из Франции и властно захватившее умы художников всех стран.

Не прислушиваться и не присматриваться к этим сильнейшим факторам современного тогда искусства для молодого художника было невозможно. Еще в годы учебы в Училище живописи, ваяния и зодчества в летнее время мне удалось побывать за границей, в частности в Париже, и увидеть там произведения родоначальников этой новой (импрессионистской) живописи. Имена Мане, Моне, Ренуара, Сислея, Дега, позднее Гогена, Сезанна, Ван Гога были тогда самыми модными. Их живопись мне нравилась, она поражала своей необычайной свежестью, новизной техники, богатым и новым колоритом, восхищала многообразием оттенков, предельной насыщенностью цвета, светосилой. Я не могу сказать, что возвратился на родину с «пустыми руками».

Мной было принято то, что, казалось, поможет лучше увидеть красоту родного живого Мира; моя палитра, бывшая до того несколько серой, после знакомства с этими мастерами стала просветляться и зазвучала звонче. Однако им-

прессионизм как самоцель для меня никогда не существовал. Всегда стремясь собрать мед со всех медоносных трав, я старался использовать его для своих художественных намерений.

Под воздействием внешних влияний, не довольствуясь достигнутым, в поисках новых путей я затосковал. Хотелось избежать повторения пройденного, увидеть новое в окружающем мире, найти свое место как художника.

В то время я совершил ошибочный шаг, который, однако, впоследствии оказался для меня счастливым. Бессознательно стремясь к экзотическим переживаниям, я уехал на Кавказское побережье Черного моря с намерением там найти давно желанный новый материал для своей живописи. Я отправился в Сухуми – в субтропический климат, искать там свое счастье; в трех километрах от Сухуми, в знаменитом саду Синоп, я прожил целое лето, сделав много рисунков и крупных этюдов богатого и разнообразного, необычайно декоративного растительного царства.

Более трех тысяч пород деревьев растет в Синопе: пальмы, гигантские цветущие азалии и камелии. Поля роз и лимонных деревьев гармонически группируются чудесными ансамблями на фоне морской синевы и захватывают своей красотой. Однако в этом райском саду обитали ядовитые змеи, пауки, сколопендры и фаланги, в темноте ночи в горах по-кошачьи визжали шакалы.

Чем дальше я оставался там, тем яснее понимал, что ду-

шой не был связан со всем этим сказочным миром, прекрасным, но чуждым мне. Мне не хватало родных северных зорь, вечерних и утренних, не хватало красок, которые рождаются в лучах заходящего солнца, окрашивающих в желтый, фиолетовый и пурпурный цвета природу; я заскучал по просторным полям, по зеленым лужайкам, речушкам, по березовым рощам.

Любимый мной с детства Московский Кремль призывно манил назад, домой, где каждый домик, каждая мелькнувшая человеческая фигурка, каждая лошадка и даже трубный дым казались настолько родными, близкими и дорогими, что я затосковал по ним, с тех пор полюбив их навсегда и больше всего другого. Там, на юге, я понял с предельной ясностью, где мне искать свое счастье художника. Я почувствовал себя поистине счастливым от охватившего меня нового сознания, которое пробудилось так неожиданно и с такой разительной силой.

Вернувшись в Москву, окрыленный сильным душевным подъемом, я больше не сомневался в том, что мне необходимо делать и где искать нужные материалы. Этот год был для меня переломным, он открыл перед воображением далекие перспективы и совершенно новые задачи. Таким математическим методом – методом «от противного» я познал свой путь художника и никогда более не отходил от него.

Москва сыграла в моей художественной жизни большую роль. В Москве началась моя живопись; Москва вскормила

во мне основные интересы и увлечения.

К этому городу я постоянно возвращался. В 1911 году мной была написана акварель «Москворецкий мост зимой (со стороны Балчуга)». Большое оживление на этом мосту, соединяющем Красную площадь с Замоскворечьем, наглядно выражает неизменно господствовавшие в московской уличной жизни неразбериху и людскую сутолоку. Картина написана на фоне Кремля и части Китайгородской стены; в ней передан серебристо-серый, жемчужный колорит московского зимнего дня. Эта большая акварель была издана книжной фирмой «Гроссман и Кнебель» и напечатана в Лейпциге в натуральную величину. Ее репродукция, висевшая во всех школах Германии, служила пособием по географии, показывающим облик русской столицы.

Моя работа на природе вне Москвы и систематические поездки в древние города русской провинции теснейшим образом были связаны с темой Москвы, являясь как бы ее продолжением.

Спустя некоторое время после моего возвращения с Кавказа меня потянуло в Нижний Новгород. В этом городе, изобилующем бесчисленными историко-художественными богатствами, я, к полному своему удовлетворению, нашел то, о чем затосковал на Кавказе.

Другие переживания, с такой же мощью охватившие все мое существо, связаны с Сергиевым Посадом, Троицкой лаврой (ныне г. Загорск). Сильно взволновали меня красочные

архитектурные памятники этого сказочно-прекрасного городка, исключительного по ярко выраженной русской народной декоративности. Да и сама народная жизнь, оживлявшая это историческое место, потрясла мое воображение.

Московский дух, понимание красоты по-московски отражены в колоритных красках, в причудливых сочетаниях архитектурных форм построек лавры. Узнав Троицкую лавру, я стал еще лучше и глубже понимать все «московское».

Влияние московской народной культуры, в известной мере знаменовавшей единство самосознания русского народа, передалось не только Троицкой лавре, но и другим древним городам средней России, получив свое яркое выражение в их архитектуре.

Однако вместе с общим, связующим художественным единством вкусов и навыков отдельные города обладали особыми неповторимыми чертами, придававшими каждому из них свою уникальность. Таковы древние города: Ростов, Ярославль, Углич, Кострома, Владимир, Суздаль, Торжок, Тверь, Коломна, в которых мне удалось побывать. Несколько иные по архитектуре великие северные города – Новгород и Псков, однако и они объединены с Москвой общими корнями русской народности.

Моя работа в Москве в дооктябрьский период заключалась не только в изображении видов столицы, но также в изучении характера жилищ и особняков, ее торговых помещений и деловых дворов. Специфические черты Замоскво-

речь сравнительно с центральной частью Москвы, особый склад жизни, домоустройства и бытовой уклад, отличающие Таганский район от Арбатского, Сокольнический от Тверского или Хамовнического, требовали своего специального изучения для обретения историко-художественных знаний о Москве.

Основательное знание «внутренней» Москвы требовалось не только для создания картин, но и для осуществления театральных постановок: между дворянским особняком на Поварской и купеческим домом в Замоскворечье была большая разница, хотя в том и другом господствовал единый московский стиль и характер жизненного обихода.

Дооктябрьская жизнь Москвы и москвичей конца прошлого века была нашей живой современностью; она по времени как будто была далека от быта, нравов и привычных устоев русской жизни исторического прошлого. На самом же деле эта дистанция была не таких уже огромных размеров, что особенно касалось бытовой стороны жизни. Унаследованные от прошлого «устои жизни», выражавшиеся в народных традициях и в привычках, продолжали жить не только в дворянских и купеческих домах, но они бытовали и среди сельского населения, среди простого городского люда и городской интеллигенции в нетронутom виде. Переходя от поколения к поколению, эти устои казались нерушимыми. Четыре времени года делили его на части, в которых бытовая сторона домашней, семейной жизни определялась во многом

церковными праздниками, накладывавшими свою печать на распорядок и характер домашних работ городского и сельского населения, на поведение и даже на одежды купечества, фабрикантов и ремесленников, интеллигенции и чиновничества. Здесь невольно вспоминается замечательное описание рождественских дней в «Евгении Онегине» Пушкина.

Жизнь и быт Москвы второй половины XIX века получили свое яркое выражение в произведениях Тургенева, Чехова, Достоевского и особенно Л. Толстого, например в его известном описании пасхальных дней в романе «Воскресение»; они замечательно воплощались в пьесах Островского. Показанная этими авторами современная жизнь глубоко уходит своими корнями в прошлое, с которым она была связана всеми своими привычками и предрассудками, всем укладом и бытом. Лишь Великая Октябрьская революция перестроила вековые жизненные устои, в значительной степени покоившиеся на основах религии и царизма.

С детства мне приходилось вращаться главным образом в кругу служащих, однако были знакомства, позволявшие мне еще в юные годы бывать в купеческих и дворянских семьях. Практически жизнь моя сложилась так, что в поле моих наблюдений оказались тогда люди, близкие героям пьес Островского.

Мне очень хорошо запомнилась специфика некоторых богатых купеческих домов Замоскворечья, большей частью двухэтажных, с антресолями. Просторные помещения в этих

домах были поделены на пустовавшие парадные комнаты, которыми пользовались лишь в праздничные дни или во время приема гостей, и на интимную жилую часть, где проходила будничная жизнь ее обитателей.

При домах были уютные дворики, поросшие зеленой травкой, и более или менее обширные сады с беседками и цветочными клумбами. В парадных комнатах висели люстры и нередко портреты «предков» в золотых рамах, стояли горки с серебром – в подражание дворянским домам. Хорошо запомнились вместительные деревянные сени в виде хозяйственных пристроек к каменным домам, с чуланами, шкафами и сундуками, обладавшие всегда своим особым запахом.

Приходилось бывать и в более скромных купеческих домах, где неизбежно господствовал тот же хозяйственный уклад и быт, тот же распорядок и те же тенденции. Позднее эти впечатления моих юношеских лет обогащались в результате изучения торговых помещений, контор и складов самых разнообразных типов и видов, знание устройства которых мне требовалось как художнику для некоторых текущих театральных работ. Этими бесконечно разнообразными складами и конторами московского купечества и московских фабрикантов был густо застроен так называемый Китай-город: Зарядье – улочки и переулки бывшей Варварки (ныне ул. Разина), бывшая Ильинка (ул. Куйбышева) и Никольская (ул. 25 Октября), примыкавшие к бывшим торговым рядам на Красной площади (ныне ГУМ). Весь этот тес-

ный складской и торговый городок восходит к XVI–XVII векам и стоит на том же месте, где в те времена была сосредоточена московская торговая жизнь, от которой осталась та же сутолока и те же привычки торгового дела. Живые впечатления, полученные мной в юности от обстановки домашнего быта и торговых дел московского купечества, явились обильным и очень нужным материалом для моих иллюстрационных и театральных работ. Я много пользовался им для постановок пьес Островского в Малом театре, где они до последнего времени не сходят со сцены. Для художественного оформления этих спектаклей необходимо было хорошо знать не только купеческое Замоскворечье, но и другие районы Москвы. Действие «московских пьес» Островского происходило не только в домашней обстановке, но и в ресторанах и увеселительных садах Петровского парка; в московских трактирах, у ворот древних монастырей, в подвальных помещениях купеческих домов, в особняках московских вельмож и в дворянских домах. Пьесы Островского заставляли меня расширять свой опыт и углублять знания о Москве, собирать о ней материалы, интересоваться, как и чем она живет, каковы особенности не только дворянских, купеческих домов, но и жилищ чиновников, интеллигенции, студентов, мещан, рабочих и других слоев и классов московского населения. Очень важно было изучить и самих типических представителей этих слоев и классов, их характер, психологию, их взаимоотношения, образ жизни, одежду

и т. п. Диапазон нужных и содержательных материалов для творческой художественной работы простирался от богатейших особняков до ночлежных домов, от крупнейших богатеев до беднейших людей.

Необходимым материалом для моих текущих художественных работ были также объекты древней Москвы. Так, для постановки оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Париже в 1913 году (спектакль «Дягилевской» антрепризы) требовалось знание истории архитектуры Новодевичьего монастыря, в котором происходит 1-е действие оперы (сцена обращения народа и бояр к Борису с просьбой занять царский престол), а также Чудова монастыря, в котором жил летописец Пимен. Для других картин оперы нужно было познакомиться с внутренней архитектурой Московского Кремля: царских теремов, Грановитой палаты, Красного крыльца, Благовещенского и Архангельского соборов. Кроме того, пришлось тщательно исследовать материалы, хранящиеся в Оружейной палате. Изученный материал позднее был использован мной и в станковой живописи – в картине «Пасхальная ночь в Кремле». Это полотно находится в Швеции, в частном собрании. Все эскизы к «Борису Годунову» были приобретены у меня Ф. И. Шаляпиным и ныне принадлежат Гос. театральному музею им. Бахрушина.

Подобную же исследовательскую работу я проделал при постановке мной оперы Мусоргского «Хованщина» в Большом театре (в 1940 г.) и Глинки «Иван Сусанин» в Ново-

сибирском театре (в 1945 г.). Для воссоздания в обеих операх картины Красной площади XVII века нужно было придать взамен современного ее облика черты прошлого. Сцена в Стрелецкой слободе также требовала творческого решения на основании документов и планов старой Москвы. Загородный деревянный дворец Хованского был мной выдержан в духе форм бывшего дворца царя Алексея Михайловича в селе Коломенском под Москвой. Этот ярчайший образец русской сказочно прекрасной древней деревянной архитектуры вобрал в себя все характерные формы и декоративные богатства, которые были типичными для боярских дворцов и теремов, заполнявших улицы и площади Кремля в XVI и XVII веках.

Собранные мной материалы о Москве XVII века вызвали желание дать, хотя бы в автолитографиях, цикл картин о народной жизни древней Москвы, показать в сценках около кружал (кабаков) уличные пляски и представления, кулачные бои и т. п., отобразить разнообразные типажи и удивительные костюмы того времени. Должен признаться, что часто приходилось испытывать душевную боль из-за постоянного недостатка времени для выражения всех переживаний и впечатлений, связанных с прошлым и настоящим любимой Москвы.

Есть в Москве хорошо сохранившиеся, горячо почитаемые народом и сейчас еще полные жизни памятники старины большой притягательной силы – это Архангельский,

Останкинский и Кусковский дворцы.

Останкинский дворец – живое свидетельство об огромных талантах, которые таит в себе русский народ. Я видел дворцы эпохи Возрождения в Италии, я видел Версальский дворец и Трианон под Парижем, Потсдамский дворец около Берлина. Несомненно, там больше утонченной культуры, зрелого и завершенного профессионального мастерства, но то глубоко русское, что есть в Останкинском дворце, их богатствами не заменить. Это русское народное начало является одной из наиболее дорогих черт нашего самосознания, затрагивает самые глубокие душевные струны.

В Останкинском дворце словно сконцентрировались все лучшие представления народа о русской красоте, в красках дворца получило свое выражение и дальнейшее развитие богатейшее наследие национальной орнаментики деревянных дворцов и древнейших храмовых украшений, которое зазвучало здесь еще более гармонично. Не беда, что декоративное убранство дворца порой сыровато, иногда грубовато, но оно всегда полно светлой искренности, там все сделано с открытой душой, по-народному просто, трогательно и доходчиво.

В интерьерах Останкинского дворца много тепла и уюта; в них чувствуешь себя, как дома, они напоминают что-то родное, знакомое с детства. И потому, будучи здесь, испытываешь благородные и дружественные чувства к создателям этого прекрасного творения.

Свою нежную любовь к Останкинскому дворцу я старал-

ся выразить в написанных мной двух его интерьерях – Концертном зале и Итальянском зале (зале скульптуры).

В 1910 году я выполнил большую картину «Вид на Москву с Воробьевых гор», ныне находящуюся в Гос. картинной галерее Армянской ССР.

В 1916 году, непосредственно перед революцией, мной были сделаны две акварели на тему московской жизни. Первая из них – «Лубянская площадь» – написана из окна бывшего Российского страхового общества. В ней изображена Лубянская площадь (ныне площадь Дзержинского) с фонтаном, позднее перенесенным на площадь Свердлова. Москва в военные годы была переполнена приезжим народом; на площади, представленной в картине, царит оживленное движение. Декабрьское небо густо покрыто дымом, валящим из всех труб, по небу проносятся черные стаи ворон.

В другой работе воспроизведен последний вербный базар, ежегодно повторявшийся в Москве весной перед пасхой, так называемой вербной неделей. Обычно местом базара была Театральная площадь, однако в последние два предреволюционных года его стали устраивать на Красной площади. Эту акварель я писал из окон бывших торговых рядов. Вербные базары были очень популярными и отличались исключительной пестротой красок, веселым весенним гомоном и крикливостью. На базаре шла бойкая торговля различными товарами: искусственными цветами, игрушками, воздушными шарами; особенным успехом пользовались «тещины язы-

ки» и «морские черти», прыгавшие в пробирках, наполненных водой.

Когда началось плановое созидание новой Москвы и было принято решение в целях упорядочения возраставшего уличного движения расстаться с некоторыми практически ненужными объектами старины, я поспешил запечатлеть в акварелях наиболее достопримечательные уголки Москвы на память о ее бывшем историческом облике. Так были написаны «Варварские ворота» с московским извозчиком и городовым на пустынной улице, так был запечатлен памятник первопечатнику Ивану Федорову, который ранее стоял в Театральном проезде и выгодно вырисовывался на фоне Китайгородской стены, тянувшейся от Никольских ворот к Театральной площади. У меня имеются материалы и к некоторым другим уголкам ушедшей Москвы, пока еще не использованные.

Наступил 1917 год. Грянувшая Октябрьская революция потрясла до основания привычные устои прежней жизни. Идеи и лозунги революции всколыхнули умы, заставили волноваться и мыслить по-новому; они привели к решительному пересмотру содержания и смысла всего «бывшего» под углом зрения народных нужд и интересов, под углом зрения требований трудящихся масс. Многие, ранее не служившие, пошли служить народу. В 1918 году я занял место в МОНО (Московский отдел народного образования) и получил длинный титул «инструктора-организатора по изобразительному

искусству в трудовой школе и по внешкольному образованию». Однако я не бросил и живописи. Будучи очевидцем происходившей в Москве борьбы рабочих, солдат, матросов и крестьян, я тотчас после окончания боев и сдачи юнкерами Кремля пошел смотреть места недавних битв.

Под влиянием увиденного у меня зародилась мысль запечатлеть в картинах последние моменты этой борьбы. Вначале я сделал две небольшие акварели. В первой была изображена группа солдат и рабочих, пеших и на грузовиках, подоспевших к еще забаррикадированным Никольским воротам Кремля, который был только что взят Красной гвардией. Картина называлась «Перед вступлением в Кремль у Никольских ворот». Другая акварель воспроизводила момент последнего боя около Манежа и Кутафьей башни, у Троицких ворот Кремля. Разобрав баррикады, большевики через эти ворота вторглись в Кремль.

Обе акварели были напечатаны в журнале «Красная панорама», ныне они находятся в Музее Революции. Позднее картина «Перед вступлением в Кремль у Никольских ворот» была мной написана масляными красками в двух больших вариантах, из которых один находится в Гос. Третьяковской галерее, а второй принадлежит Художественному фонду СССР. Маслом же и в еще большем размере я сделал другой вариант картины – «Последний бой у Манежа». Эта работа сейчас находится в Художественном музее гор. Кирова.

В 1932 году издательством «Федерация» мне было пред-

ложено сделать иллюстрации к повести Александра Яковлева «Октябрь». Повесть передает правдиво и просто знаменательные события, происходившие в Москве в памятные дни Октября 1917 года. Их свидетелем мне пришлось быть самому. Главным героем повести был юнец Акимка, проживавший на Пресне и ушедший с вооруженными отрядами рабочих к центру столицы для свершения своего классового долга.

Автор рассказывает об основных этапах борьбы, развернувшейся в октябрьские дни в Москве.

Из двух рисунков, помещенных в настоящей книге,¹¹⁹ один изображает раздачу оружия рабочим в штабе Красной Пресни; на другом показана заполненная вооруженными рабочими и солдатами парадная лестница бывшей резиденции московского генерал-губернатора (на Тверской улице), превращенной в главный штаб восставших (ныне в этом здании находится Московский Совет депутатов трудящихся).

После революции утвердилась традиция ежегодного празднования дня победы Великого Октября – 7 ноября, отмечаемого парадом Красной Армии на Красной площади и демонстрацией трудящихся.

Первый такой парад происходил в пятую годовщину революции, в 1922 году. Мне довелось присутствовать на нем и отобразить это зрелище на полотне. На том месте, где теперь находится Мавзолей, тогда стояла огромная белая фи-

¹¹⁹ Замечание К. Ф. Юона относится к книге 1958 г. (*Сост.*)

гура рабочего, выполненная скульптором Лехтом. Позднее я написал «Первомайскую демонстрацию на Красной площади в 1929 году». На картине изображены демонстранты, несшие в руках модели первых тракторов отечественного производства как образец наших достижений в области техники.

Одно из моих произведений московского цикла – акварель «В те дни» – связано с памятью о Владимире Ильиче Ленине.

Кончина великого вождя глубоко потрясла народ. Январь 1924 года стал незабываемым. В те дни стояли сильные морозы, словно сам воздух, наполненный ледяным туманом, скорбел вместе с людьми. Я был в числе немногих художников, которые присутствовали тогда в Колонном зале Дома союзов и запечатлели В. И. Ленина в гробу.

В картине «В те дни» изображен нескончаемый поток народных масс, пришедших проститься с Лениным.

В 1928 году я написал учащуюся молодежь в дни экзаменов, перед зданием Московского университета. Эта картина, вначале называвшаяся «Пролетарское студенчество», позднее получила название «Вузовцы». Она была посвящена юношам и девушкам, пришедшим с фабрик и заводов, от станка – в университет. Мне удалось запечатлеть характерный типаж тех лет и типичные для рабочей молодежи того времени костюмы.

В 1930 году я снова воспроизвел парад войск на Красной площади, который в отличие от первого восхищал своей

организованностью, строгой дисциплиной, геометрическим порядком в расстановке войсковых частей и новой военной формой.

Третий и последний раз я писал военный парад на Красной площади в годы Отечественной войны; на картине мной изображены заснеженные войска Красной Армии 7 ноября 1941 года – в тот памятный день, когда война была объявлена «священной Отечественной войной». Суровый день начинающейся зимы; свинцовые тучи, покрывая небо, удаляются вместе с маршем войсковых частей в глубь пространства. Вариант этой картины был подарен Советским правительством правительству Чехословакии.

В конце войны я запечатлел на большом полотне один из последних «салютов Победы» на Красной площади у собора Василия Блаженного.

Много лет меня преследовало желание посредством живописи опозитизировать индустриальный труд. В 1949 году я осуществил свою мечту, написав картину «Утро индустриальной Москвы»: сквозь старые высокие деревья – остатки какого-то сада – на фоне зимнего восходящего солнца открывается вид на сложный индустриальный пейзаж со множеством дымящих фабричных и заводских труб. Разноцветные дымы смешались со снежным пейзажем и зданиями, образовав на картине перламутровый колорит. На переднем плане встречаются молодые рабочие и работницы, спешащие на работу. На ходу у них происходит короткий разговор. На

втором плане проносится товарный поезд, ведомый паровозом новой конструкции.

Поэтическое чувство может сопровождать каждый трудовой будничным день, каждый трудовой процесс любой профессии. Одна из важных задач искусства – помочь трудящемуся человечеству почувствовать и полюбить поэзию труда, а вместе с ней и сам труд, увидеть в нем невиданную ранее красоту, которая кроется в красках, в ритме, в освещении, в настроениях, в трудовой обстановке, в лицах окружающих людей, в молодости молодых и в мудрости старых, воспеваемых в песнях, прозе, живописи и скульптуре художниками звука, слова, кисти и резца. Относительная немногочисленность моих работ, посвященных новой Москве, объясняется тем, что после Октябрьской революции моя творческая направленность значительно расширилась и углубилась. Мысль с годами стала обращаться к большим тематическим, композиционным картинам, требовавшим много времени и дополнительной исследовательской работы.

Картины, которые не имеют прямой связи с Москвой и написаны на темы исторических революционных событий или нового быта, не вошли в настоящее издание.¹²⁰ Среди них большие полотна: «Первое выступление В. И. Ленина в Смольном», «Проводы рабочих отрядов на гражданский фронт», «Есть такая партия!», «Инструктаж колхозниц», «А. М. Горький на полях совхоза «Гигант» в 1929 го-

¹²⁰ Замечание К. Ф. Юона относится к изданию 1958 г. (Сост.)

ду», «Семья», «Подмосковная молодежь», «Город Горький» и др.

Много времени мной было отдано советскому театру и научно-художественным трудам по вопросам педагогики и художественной культуры.

Теперь, когда Советский Союз отметил 40-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, когда руками наших трудящихся создана и продолжает совершенствоваться мощная социалистическая база для процветания новой экономики и новой культуры, все мои художественные помыслы направлены на то, чтобы прославить языком искусства подвиги, совершенные великим советским народом.

Будучи старым патриотом Москвы, я приветствую ее плановое строительство как новой советской столицы и ничего лучшего не могу пожелать ей, как бережно сохранить все памятники русского национального зодчества, являющиеся ценнейшим народным достоянием, и рядом с ними воздвигнуть новые творения архитектуры и искусства, достойные нашей великой эпохи.

В своей живописи я стремлюсь и буду всегда стремиться давать художественное истолкование новой Москвы с учетом высоких идей и целей, к достижению которых направлено советское строительство. О Москве социалистической я давно лелею мечту, которой хотелось бы поделиться не только с москвичами и со всем русским народом, но которую хотелось бы донести и до общественности братских республик,

имеющих свои представительства в Москве.

Москва, являющаяся теперь не только исторической столицей русского народа и Русского государства, но ставшая столицей всего многонационального Советского Союза, должна обрести свой достойный облик как таковая.

Надо сделать так, чтобы представители всех народов, входящих в состав СССР, приезжая в Москву, почувствовали и увидели, что они находятся действительно в столице СССР и что старшая и самая мощная из братских республик – РСФСР оказала достойное внимание другим республикам, отвела почетное место на своей территории для их представительств. На площадях столицы, в парках, садах и скверах должны быть установлены произведения искусства, образно выражающие те нерушимые идеи и моральные устои, те отличительные, принципиальные черты, которые объединяют все советские народы в единую семью. В скульптурных композициях, мозаике, фресках и архитектурных сооружениях должны быть запечатлены основные принципы советской культуры, служащей единой общей цели: счастью, свободе, независимости и благосостоянию всех народов нашей Родины.

Мероприятия, с помощью которых новой Москве можно было бы придать черты столицы советского многонационального государства и одновременно сохранить ее облик исторического центра русского народа, не слишком сложны, чтобы о них нельзя было помечтать. Само собой разумеет-

ся, что для практического осуществления этих мероприятий потребовались бы и некоторые усилия союзных республик, их согласие принять участие в этом общенародном деле.

Будущая Москва представляется мне в следующем виде. Московский Кремль – вековой памятник русской народности и русской народной культуры – с достаточной выразительностью отмечает Москву как древнюю столицу. Однако в Кремле находятся Верховный Совет и Большой Кремлевский дворец, которые в новой Москве как столице всего Советского Союза имеют важнейшее значение для современной жизни. Московский Кремль как символ мирного труда, как маяк наступившей новой эры в мировой культуре желательно еще более подчеркнуть и зрительно выделить там, где возможно. Это возможно сделать с западной стороны, в продолжение Александровского сада. Если за счет сноса существующих там мелких домов, идущих до самой Москвы-реки, разбить большой цветочный сквер, в результате этого мероприятия издалека откроется чарующий вид на Троицкие и Боровицкие ворота, на высокую кремлевскую стену и на золотые главы соборов и Большого Кремлевского дворца. В новом обширном сквере будет много места для постановки памятников, воплощающих основные идеи коммунистического учения. Этот сквер, будучи «ювелирно» обработан, еще более украсит Кремль. Ничто так не способствует завершению архитектурных ансамблей, как хорошо организованная, художественно обработанная почва с клумбами цветов, ку-

старниками и т. п.

Западная сторона Кремля – единственная, откуда он ныне плохо виден. Предполагаемый сквер сделал бы возможным обозрение Кремля со всех четырех сторон, отчего вид наиболее прославленной части Москвы – ее центра – значительно бы обогатился.

Надо признать, что Москва далеко не богата зелеными насаждениями, освежающими и украшающими город. Однако есть нечто более важное, чем скверы и сады сами по себе. Сады, скверы, парки и городские площади должны быть использованы для осуществления монументальной пропаганды, для воздвижения памятников не только великим людям, но и великим идеям, великим принципам коммунистической культуры, основным идеям и целям Великой Октябрьской революции, учению Маркса и Ленина. Ничто другое не было бы в состоянии популяризировать с большей силой наглядности высокие жизненные идеалы советских народов, чем произведения скульптуры, архитектуры, мозаики и живописи, используемые в целях идейной пропаганды. Такая пропаганда была бы полной противоположностью осужденному партией культу личности.

Сюжеты скульптурных групп и архитектурно-декоративных сооружений могут отражать самые разнообразные стороны советской жизни. Таковы, например, «Братство народов», «Труд и отдых рабочих и колхозников», «Основные положения Советской Конституции», «Союз науки и труда»,

«Охрана материнства и младенчества», «Спорт и физкультура» (во всех видах), «Оборона» и т. п. Образное воплощение в монументах, устанавливаемых в садах и скверах, могут получить науки и искусства, все характерные особенности культуры братских национальностей. Главными героями этих произведений могут быть создатели нашей новой жизни: шахтеры и металлурги, транспортники и летчики, геологи и пограничники...

Было бы желательно, чтобы все союзные республики, имеющие представительства и другие учреждения в Москве, строили свои здания в традиционных национальных архитектурных формах их родины, с художественным использованием всего богатства декоративного и орнаментального национального искусства, дабы по одному их внешнему виду можно было определить, какой народ это искусство представляет. Не только наружный вид зданий, но и внутренние дворики с водоемами, фонтанами и растениями чудесно украшали бы социалистическую Москву.

Это придавало бы ей вид подлинной столицы всех братских республик и одновременно интереснейшего международного города, полного самых неожиданных и чарующих впечатлений.

Что касается сооружений РСФСР, то в них идейные цели их назначения должны также иметь свое образное выражение. Здания специального назначения, как, например, банки, лечебницы, торговые предприятия, вузы и другие учебные

заведения, клубы и санатории, театры и концертные залы, могут быть художественно обработаны таким образом, чтобы зритель сразу понял их функции. Так, при помощи изображений можно указать назначение того или иного министерства (обороны, путей сообщения, речного или воздушного флота, машиностроения и т. п.). Для зданий и больниц, например, могла бы быть использована тематика помощи раненым на поле брани, работы сестер милосердия, санаторного лечения, хирургии. Здания учреждений транспорта можно оформить изображениями различных средств передвижения и т. п.

Очень важно, чтобы фасады государственных зданий не были плоскими, а по возможности художественно решенными в самих архитектурных массах. В этих условиях можно успешно применять скульптурные, мозаичные и другие изобразительные средства для олицетворения функций учреждений взамен оставшихся от прошлого прозаических вывесок, которые носят лишь осведомительно-рекламный характер.

Художественно оформлять следует не только фасады, но и внутренние дворы и дворики учреждений и жилых домов. Хорошо разработанный двор-сад всегда является показателем высокой культуры; он украшает жизнь, создает уют, вносит порядок и прививает привычку к чистоте.

Непосредственно перед зданием желательна хотя бы узкая полоска обработанной почвы под цветы или иные растения,

что придает постройкам и всему городу высококультурный облик.

Москву в старину называли вторым Римом.¹²¹ Как Рим, так и Москва, по преданиям, выросла на семи холмах. Хорошо было бы на самых высоких местах Москвы, при общественных зданиях, устраивать видовые площадки или высокие террасы, с которых открывался бы вид на Кремль.

Такие виды ранее существовали в Москве, однако, по мере развития строительства, их становится все меньше и меньше. При существующем плановом строительстве кое-где можно было бы открыть такие видовые перспективы на радость москвичам и к восторгу приезжающих в столицу туристов.

Одной из замечательных особенностей, отличавших Москву второй половины XVIII и начала XIX века от западных городов, был обычай окрашивать большинство домов в разные цвета: розовый, красный, синий, темно-малиновый, оранжевый. Здания принимали яркие или бледные тона; разные этажи иногда были раскрашены в два цвета. В соединении с белыми колоннами, карнизами, наличниками окон и дверей это выглядело исключительно нарядно, разнообразно.

¹²¹ *Москву в старину называли вторым Римом.* – Надо: третьим Римом. В конце XV – начале XVI в. в период образования Русского централизованного государства возникла политическая теория о Москве как о третьем великом центре мирового христианства, наследнице и преемнице великих государств: Древнего Рима и Византии (Царьграда), называвшейся публицистами того времени вторым Римом.

но и красиво. Этот особый характер облика ушедшей Москвы не случаен; в нем получил свое выражение национальный характер вкуса и понимания красоты русским народом. Такого рода национальный колорит отличал древнюю русскую архитектуру как деревянных (раскрашенных), так и каменных построек. Любовь к чистым и ярким краскам можно видеть в произведениях древней русской живописи, на древних иконах, она же звучит и в древней раскраске собора Василия Блаженного. Использование этой особенности в строительстве новой столицы означало бы сохранить очень привлекательные народные традиции и придать Москве своеобразный колорит, утверждающий жизнерадостный, бодрый облик любимого города.

Много нового и красивого можно внести в оформление Москвы, пользуясь приемами вечернего освещения. Один из его важных принципов заключается в том, чтобы источники света (фонари) не ослепляли чрезмерно и не резали глаз, но вместе с тем, чтобы на улицах и площадях было достаточно светло. Особо приятное чувство вызывает освещение, когда источник света скрыт, а все освещаемое хорошо видно. Такова, например, хорошо организованная осветительная система сцены в театрах. Этот принцип следовало бы использовать гораздо шире на улицах и площадях города; здания желательно освещать сильнее, чем улицу. Тогда пестрота теней и ослепляющих фонарей смягчится и исчезнет, что позволит все уличное движение видеть в рассеянном

свете так же, как мы видим его днем. Такое освещение стало бы привлекательной особенностью Москвы. Оно придало бы вечерней Москве поэтическое настроение, сделало бы ее еще более красивой. Сказочно-прекрасной станет вечерняя Москва, если для ее оформления использовать люминесцентную живопись (светящиеся краски). Хорошо разработанная люминесцентная живопись способна вызывать восторг у зрителей.

Обновленная социалистическая Москва, пробуждающая в сердцах всех советских людей неповторимые патриотические чувства и эстетические переживания, несомненно станет местом паломничества огромных масс туристов из всех стран.

Увидеть Москву станет заветной мечтой для всех, еще не побывавших в ней.